Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Рассказы разных лет



УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА



Издается с 1967 года
Второй выпуск

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Рассказы разных лет



Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1985

84Р1
М22

Под редакцией И. А. Дергачева

М $\frac{4702010100-014}{М158(03)-85}$ 42-85

Разбойники

Очерки

I
Аверко

1

Мое детство прошло в далекой глуши Уральских гор, захватив последние годы сурового крепостного режима, окрашенного специально заводской жестокостью. Небольшой горный завод с пестрым населением, согнанным сюда из разных концов России, точно был вставлен в зубчатую раму вечнозеленых гор. Эта горная панорама являлась первым сильным впечатлением, а с ней неразрывно связывалось представление воли, дикого простора и какого-то размаха. Правда, что и осевшее в горах волей и неволей население резко отличалось от крепостного расейского брата, отличалось именно неумиравшим духом протеста, глухой борьбой и взрывами дикой воли. Одним из самых ярких воспоминаний моего детства является именно разбойник, как нечто необходимо-роковое, как своего рода судьба и кара, как выражение чего-то такого, что сплеча ломило и разносило вдребезги все установившиеся нормы, до дна возмущая мирное течение жизни и оставляя после себя широкий след.

В репертуаре действующих лиц этого детства разбойник являлся самым ярким героем. Даже сейчас я как-то не могу себе представить родных гор без того, чтобы в них где-нибудь не притаился разбойник. Да, настоящий разбойник, так сказать, не умирающий, потому что, когда ловили одного, на смену ему являлся сейчас же другой. Если есть какая-то законность в известном числе писем, ежегодно отправляемых без адреса, то и здесь была тоже своя законность, только уже формулируемая совсем иначе. Разбойник являлся необходимым действующим лицом, как производивший известное брожение фермент. Он служил неистощимой темой для рассказов, сказок и легенд, которые без конца рассказывались в задумчивые летние сумерки и

бесконечные зимние вечера. Няня, кухарка, кучер, разные старушки, бродившие из дома в дом,— все знали тысячи разбойничьих историй, которыми охотно делились с нами, детьми. Делалось это, конечно, под сурдинку, когда дома не было отца и матери или когда они не могли слышать. Некоторые рассказы отливались уже в стереотипную форму и повторялись сотни раз, но все-таки вызывали дрожь. Получалось какое-то тяготение к «страшному», которое вот сейчас тут, за стеной, где с воем и стоном гуляет зимняя метель. Начинало казаться, что что-то такое неугомонное и роковое бродит у самой стены и ищет удобного случая, чтобы ворваться в дом и разом нарушить наше скромное существование. Делалось страшно до слез и вместе с тем было кого-то жаль, даже вот это мятущееся «неприкаянное» зло.

Один рассказ особенно волновал нас, и мы приставали к старушке Филимоновне, остававшейся иногда домовничать с нами:

— Баушка, расскажи про репку...

— Будет вам, пострелы!.. Намедни рассказывала...

— Баушка, миленькая...

Баушка Филимоновна жила бобылкой и существовала тем, что кое-чем приторговывала у себя на дому — мукой, медом, крупой, сальными свечами, китайской выбойкой, холстом и проч. Она появлялась в доме при каждом необыкновенном случае, как родины, крестины, именины, похороны, и была всегда желанной гостьей. Между прочим, она обладала талантом рассказывать «страшное».

— Баушка, расскажи про репку...

Старушка, поломавшись «для прилику», начинала рассказ каким-то особенным, былинным речитативом, причем у слушателей уже вперед захватывало дыхание со страху.

— Жила я еще в девушках тогда,— начинался рассказ о репке стереотипной фразой.— Годов, значит, с сорок тому назад. Ну, вот, летней порой, как-то утром, народ и бежит по улице... «Корнило беглого убил». Я-то еще глупая была, по шестнадцатому году, и тоже за другими бегу, а Корнило жил в Пеньковке. Кержак[1] был и злой-презлой. Еще один глаз у него был

[1] Кержак — раскольник. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

кривой... Народ бежит, я бегу, ну, прибежали в Пеньковку — все в огород, а там в борозде и лежит бегляк-то. Так, мужчина на возрасте, с бородой, в красной рубахе... А кровь из него так и хлещет. Застрелил его Корнило, значит, в бок жеребьем. А всего-то дела было, что покорыстовался бегляк репкой. Отощал, значит, да ночью и забрался в огород к Корниле, а у того собака. Ну, значит, собака заурчала, а Корнило сейчас снял ружье со стены, посмотрел в огород из окошка, ну, видит, что кто-то шевелится в борозде,— он и пальнул. Злой был... Целые сутки промаялся сердяга.

Получалось страшное несоответствие между преступлением и наказанием,— в этом и заключалась вся суть трагического начала. Старушка делала драматическую паузу и уж потом разрешала взволнованную совесть.

— Ну, народ-то сбежался, все смотрят на бегляка... Женщины которые плачут, потому хоть и бегляк, а душа-то человечья. А он мается, сердечный, и все только пить просит, потому как в нутре у него горит все. Потом уж затихать стал — раньше-то стонал, ну, у смерти конец. Тогда он и говорит: «Прости, народ православный... Это я в Невьянском заводе вдову с мальчиком зарезал». Сказал и сейчас же помер. Оно и вышло, что Корнило-то его не за репку застрелил, а так, бог злодея нашел. Дело-то такое было... Жила вдова в Невьянске, сын у ней по седьмому годочку. Ну, значит, этот бегляк и заберись к ней ночью в избу и сейчас насел на вдову: «Подавай деньги...» Душил ее, тиранил, ну, баба и придумала: «В голбце у меня деньги спрятаны...» Значит, в подполье. Повела она его туда. А потом как закроет западню да на щеколду. И как уж это случилось, а мальчоночко-то с бегляком в голбце и попал. Бегляк кричит: «Пусти, а ежели не пустишь, мальчика зарежу...» Вот и взметалась вдова: и разбойника выпустить невозможно, и мальчоночка жаль. А мальчоночка-то из голбца кричит: «Мамынька родимая, бегляк мне пальчик режет ножом... Мамынька родимая, на ножке пальчик отрезал...» Легко это материнскому сердцу!.. И молилась она, и плакала... А разбойник-то уж на одной ручке все пальчики обрезал мальчику. Ну, тогда она не стерпела и выпустила его, а он совсем расстервенился и ее затиранил до смерти. А потом ограбил все и убежал. Мальчоночко-то жив остался,

только пальчиков на одной руке не осталось. Так и ушел бегляк и все бегал, пока Корнило его не застрелил за репку. Как ни бегал, значит, а бог-то все-таки нашел...

2

Нам как-то особенно хотелось слушать этот рассказ о репке, вероятно, потому, что в нем разбойничья психология была мотивирована и разбойничья жестокость несла высшую кару. Слушатель успокаивался, потому что порок наказывался. Стихийное зло покрывалось возмездием и отмщением.

Текущая действительность иллюстрировалась подвигами «природных» заводских разбойников. Они не переводились. Савка, Федька Детков, Чеботка — все это были свои люди. Их ловили, сажали в острог, потом они убегали и их опять ловили. Разбойник всегда был тут, под рукой. Случаи убийства повторялись довольно часто: убили вязниковца Илью, который накануне у нас пил чай, потом на дороге застрелили поверенного, который вез деньги, потом Чеботка бросился с ножом на заводского приказчика Павла Зотеича, потом насмерть избили целовальника Мишку, потом насмерть самым зверским образом замучили гулящую солдатку и т. д. Уголовщина не прекращалась, но случайные примеры еще ничего не доказывали и скоро забывались, а на первом плане оставался все-таки настоящий разбойник, в своем роде специалист и профессиональный человек. Он являлся чем-то обреченным, роковым и неизбежным.

Как теперь помню ноябрьское серенькое утро. Снег только выпал и не успел еще потерять присвоенной первому снегу девственной белизны. Для нас, мальчишек, это был праздник. В саду, сейчас под окнами, мы уже устраивали катушку, то есть гору, как говорят здесь. Эта катушка занимала все наше внимание, и с мыслью о ней мы просыпались каждое утро. Итак, в одно прекрасное утро, когда по установившемуся порядку мы должны были готовить уроки, я не утерпел и незаметно ускользнул из классной, чтобы хоть посмотреть на предмет наших вожделений. Шел мягкий снежок, обещавший новые наслаждения. Выбегаю стремглав в сад и останавливаюсь как вкопанный. По нашей катушке ходил какой-то мужик с метлой и волочил

зловеще звонившую цепь,— он был в ножных кандалах.

«Разбойник...» — мелькнуло у меня в голове, и я прянул назад.

Детское любопытство неудержимо. Следующую вылазку мы сделали уже совместно с братом. Сначала посмотрели в щель — разбойник с самым мирным видом разметал снег с нашей катушки. А цепи так и звенят... Мы выглянули в приотворенные ворота, потом долго стояли в воротах и наконец, подталкивая друг друга, подошли на «приличное расстояние» к самому разбойнику.

— Ты это что делаешь, дядя?

— Снег подметаю...

— А ты кто такой?

— Кузнец...

— А тебя как зовут?

— Аверкием звали...

— А зачем у тебя кандалы на ногах?

— А уж, видно, так случилось...

Страшного в этом разбойнике решительно ничего не было. Самый обыкновенный мужик. Небольшого роста, широкоплечий, с добродушным бородатым лицом и веселыми серыми глазами. Говорил он с какой-то мягкой ласковостью. И эта мужицкая обыкновенность как-то уже совсем не вязалась с лязганьем кандалов.

— А ты как к нам попал, Аверкий?

— Да я в школе сижу... В машинной места не хватает.

Крепостное зверство иногда отличалось самыми наивными формами. Кузнец Аверкий попался с поличным, как фальшивый монетчик,— преступление, за которое предусматривалась каторга и даже, кажется, предварительное наказание плетьми. Человека схватили, заковали в кандалы и посадили в пустую школу, где он должен был стеречь себя уже сам. Мы жили в казенном заводском доме, а пустая школа стояла рядом. Аверкию наскучило сидеть в ней без дела, он вышел в сад и сейчас же нашел себе работу. Как видите, все так просто и наивно.

Сначала появление Аверкия произвело сенсацию в нашем доме, то есть его кандалы, а потом все успокоились. Страх уступил место совершенно другому чув-

ству: все прониклись сожалением к несчастному. В самом деле, Аверкий смастерил из олова несколько очень скверных двугривенных, сейчас же попался с ними и теперь сидел в школе, ожидая с каким-то фатальным терпением, когда «выйдут» плети и каторга. Преступление было такое наивное, а наказание такое страшное, что Аверкия нельзя было не жалеть. Притом это был свой человек, и его знал весь завод как кузнеца. А там где-то уже по всем правилам искусства приготовлялась каторга, чей-то мозг подводил все под закон, чья-то воля должна была осуществиться...

— Эх, пропала твоя голова ни за грош,— в глаза жалел наш кучер Яков будущего каторжника.

— И то пропала...

— Дернул тебя, Аверкий!.. Хоть бы по настоящему какому уголовству попал, а то...

Аверкию и самому себя, видимо, было тоже жаль, именно с прибавлением этих комментариев. Он встряхивал головой и как-то застенчиво улыбался. С другой стороны, как мне кажется, он никак не мог поверить в свое грозное будущее. Как-то уж все очень быстро случилось...

Мы с ним познакомились в несколько дней и постоянно бегали в школу, куда с нами отправлялась разная еда. В благодарность Аверкий мастерил нам свои мужицкие игрушки. Его тяготило больше всего вынужденное безделье, оставлявшее слишком много времени для тяжелого раздумья.

— А ты не боишься? — допытывались мы с детской бестактностью.

— Чего бояться: и там люди живут. Значит, уж богу угодно...

Я помню, что по вечерам, когда зажигали огонь, я постоянно думал об Аверкии и мне делалось за него страшно. За разрешением этого вопроса мы постоянно приставали к отцу, так что надоели ему.

— Отстаньте вы от меня,— ворчал он.— Я сам ничего не понимаю...

Большие тоже волновались и по-своему выражали разные мелкие знаки внимания несчастному узнику. Мать посылала ему разную еду, а отец нарочно ходил похлопотать к заводской власти. Но дело уже переходило из инстанции в инстанцию, и остановить его никто не мог. Заводский приказчик тоже от души жалел глу-

пого кузнеца, хотя и поймал его сам. Вообще получалась неразрешимая путаница, которую могла порвать только рука заплечного мастера.

3

Днем никто не приходил навестить Аверкия. Может быть, мешали свои домашние дела, а может быть, удерживал спасительный страх. Чаще других приходила его жена, забитая и молчаливая баба. Она приводила с собой мальчика лет шести, который тоже молчал и пугливо прятался за мать. Помолчав с полчаса, она говорила:

— Ну, я пойду...

— Ступай,— сурово отвечал Аверкий.

Почему-то присутствие жены его раздражало каждый раз. Впрочем, под этой формой могло скрываться другое чувство, которое он боялся обнаружить как проявление немужской слабости.

Совсем другое настроение являлось у него, когда приходил его проведать солдат-кузнец. Это был совсем подозрительный субъект с слезившимися глазками и медной серьгой в ухе. Он всегда был под хмельком и всегда ругался.

— Ироды, вот што! Да... Другие-то похуже в тыщу разов, да живут. Прямые душегубы, которые бывают... да. А тут нá тебе... Здорово живешь... Тьфу, дьяволы...

— Ты это кого, солдат ругаешь? — спросил я однажды.

— А вот вырастешь большой, так сам узнаешь... Право, дьяволы!.. Да я, кажется, своими бы руками всех растерзал... Не тронь! Не моги трогать... Закон — да я тебе такой закон напишу, что ни взад ни вперед.

Раз солдат явился в сопровождении собственной жены, красивой женщины с зелеными глазами и зелеными серьгами. Она была одета совсем не по-заводски, то есть не в сарафан, а в ситцевое платье. Удивительное было у ней лицо — дерзкое, нахальное, с тяжелым взглядом. Я окончательно стал ее бояться, когда узнал, что солдат взял ее в жены «с эшафота», как объяснил нам кучер Яков. Этот Яков знал все и отличался большими наклонностями к философии.

— Она, значит, мужа стравила, ну, ее на эшафот...

А ты не трави!.. Ну, а тут солдат и подвернись.. Так и так, желаю жениться на этой самой отраве. Ну, по закону вместо плетей да каторги ее за солдата замуж выдали... Теперь она его уже три раза зачинала травить, да живуч солдат. Отлежится и насмерть ее изобьет, а она отлежится — опять его травить...

Аверкий прожил в школе месяца два, а потом вдруг исчез. Как его увезли и когда — мы не видали.

— В Верхотурье повезли,— сурово объяснил Яков на все наши вопросы и выругался в пространство.— Там рассудят...

Не прошло и полугода, как разнеслась весть, что Аверкий бежал из верхотурского острога. Почему он не бежал, когда сидел в школе один, что было в тысячу раз легче сделать, почему не бежал с дороги, что тоже сравнительно легче,— трудно сказать. Может быть, его ошеломила острожная обстановка, может быть, проснулась смертная тоска по воле, может быть, он убедился, что все равно, как ни пропадать и где ни пропадать. И ушел Аверкий с большой дерзостью, как не могли уйти опытные и бывалые острожные сидельцы. В нем как-то разом проснулся настоящий разбойник, а не глупый фальшивый монетчик. Думал-думал, прикидывал умом и так и этак, и наконец придумал. Ведь это наша русская историческая панацея — спасаться от всякой беды бегством. Аверкий являлся только ничтожной единицей в общей арифметике всяческого бегства.

— Молодец,— угрюмо похвалил Яков бежавшего Аверкия.— Давно было нужно так-то сделать...

— А если его поймают?

— Ну, еще это надо пообедать... Такого-то зверя не скоро взловишь, потому как человек он свежий и весь расстервенился.

Предсказания Якова скоро сбылись. Аверкия пытались где-то ловить, и он для первого раза зарезал полесовщика,— это было уже настоящее вступление на разбойничий путь, и возврата не было.

Через полгода дошли слухи, что Аверко (уже не Аверкий) показался в окрестностях нашего завода и что-то замышляет. Два раза сгоняли народ его ловить, но он уходил из-под носу. Дальше уже начались прямо дерзости: он ночевал у себя в собственной избе. Вероятно, это было его мечтой и заветной целью, именно,

хотя одну ночь чувствовать себя человеком, а не лесным зверем. Сказалась мучительная тяга к родному пепелищу... Заводская администрация поднялась на ноги, потому что Аверко, видимо, не желал уходить от родных мест и спасался по покосным избушкам, промысловым балаганам и куреням. Его встречали там и сям. Кто-то донес, что он в такой-то день опять придет ночевать к жене. Но Аверко предпочел провести эту ночь в нашей бане.

Последнее всех переполошило. Смелость Аверки начинала переходить даже границы, дозволенные «прямым разбойникам».

— Пустяки,— уверял один Яков.— С чего он нас-то будет трогать? Мы ему вреда не делали... И разбойник чужую хлеб-соль не забывает.

Яков был прав. Аверко больше не показывался и не тревожил никого.

Закончилась эта разбойничья карьера тем, что Аверко, подобрав партию из других шляющих людей, ограбил почту и убил почтальона. Шляющие были скоро переловлены, а Аверко еще раз ушел, вернее, не ушел, а только скрылся на время. Поднята была на ноги вся заводская полиция, и Аверку наконец поймали где-то в горах. Это был уже совсем другой человек, нисколько не походивший на прежнего Аверкия. Наряжен был чрезвычайный военный суд, который и порешил наказать преступников шпицрутенами по месту жительства. К счастью, экзекуция совершалась не на нашем заводе, а в соседнем. Аверко не вынес своих четырех тысяч.

— Напоили его водой — вот и помер,— объяснил Яков.— Другим-то не дали пить во время наказания, ну, они и остались живы.

Тряхнув головой, Яков прибавил:

— И чего, подумаешь, пропал человек... И двугривенные-то делал не он, а солдат с женой. Ну, а улики на него выпали... Эх, жисть!.. Он мне сам сказывал...

II

Савка

1

Заводское крепостное право отличалось особенной жестокостью, и благодаря этому, как я уже говорил выше, создался целый цикл крепостных заводских разбойников. Это был глухой протест всей массы заводского населения, а отдельные единицы явились только его выразителями, более или менее яркими. Такой свой заводский разбойник пользовался всеми симпатиями массы и превращался в героя. Он шел за общее дело, и масса глухо его отстаивала.

Последним и самым ярким выразителем этого разбойничьего типа явился знаменитый Савка.

От нас через площадь виднелось деревянное здание заводской конторы, выстроенное в стиле аракчеевского ренессанса, то есть греческий фронтон с колоннами прикрывал кордегардию. Эта контора была страшным местом для населения, и, проходя мимо, можно было слышать вопли наказуемых отеческой крепостной рукой. Во дворе конторы стояло специальное здание, известное под именем «машинной», где хранились пожарные машины и происходили все внушения и порки, а также содержались узники. Кстати, в самом названии этого застенка слышалась злая ирония,— именно машинная, потому что роль всех машин и коварных ухищрений европейской техники здесь заменял заводской кнут и розги. Просто, коротко и для всех понятно... «Машинная» никогда не стояла пустой, и здесь получали высшее образование будущие знаменитости по разбойничьей части. В числе других довершил здесь свой курс и Савка, посаженный в «машинную» за какую-то продерзость. Из «машинной» были две дороги: в верхотурский острог или в лес. Самые энергичные люди предпочитали последний путь, а в том числе и Савка.

Савка «бегал» больше десяти лет. Его несколько раз ловили, сажали в «машинную», препровождали в верхотурский острог, а из последнего он уходил уже сам. Легенда говорила, что Савка знает «такое слово», которого не выдерживают никакие тюремные стены. Так

и велась борьба между заводской «машинной» и «таким словом» Савки с переменным успехом. В качестве отпетого человека Савка пользовался известной популярностью даже у заводского начальства, и к нему относились совершенно иначе, чем к рядовым разбойникам. Впрочем, среди всяких правонарушителей есть всегда своя аристократия, блюдущая свои прерогативы гораздо лучше всякой другой аристократии. И заводский приказчик и заводский исправник были, кажется, убеждены, что провиденциальное назначение Савки выражается одним словом — бегать, и мирились с этим, как с логической необходимостью. Кстати, говоря о заводских египетских работах, должен оговориться, именно, что люди, осуществлявшие жестокие способы, меры, приемы и формы, сами по себе совсем не были ни злыми, ни жестокими людьми, а только более или менее добросовестно «творили волю пославшего». Это уж такая черта русского характера, что по приказанию самые добрые люди могут превратиться во что угодно.

Именно таким человеком был дореформенный следователь Николай Иваныч, который после обедни в воскресенье завернул к нам напиться чаю. К числу резких внешних признаков этой страшной власти принадлежал необыкновенно маленький рост, так что как-то странно было видеть на нем военный мундир. Между прочим, мой брат, отличавшийся большой наивностью, долго присматривался к этому гостю и кончил тем, что подошел к нему с какой-то игрушкой и серьезно предложил:

— Пойдем поиграем...

А этот Николай Иваныч явился к нам на завод во главе полусотни оренбургских казаков с специальной целью во что бы то ни стало поймать знаменитого Савку. Этого требовал новый главный заводский управляющий, поклявшийся подтянуть все заводы, а главное — уничтожить институт специально заводских разбойников. На первой очереди стоял Савка. Нас всех страшно занимал вопрос, как такой маленький Николай Иваныч поймает такого страшного разбойника, как Савка.

Итак, обедня кончилась, и Николай Иваныч, выпив два стакана чаю, только что направился к закуске, так аппетитно расставленной на особом столике. В откры-

тые окна глядел жаркий летний день, располагавший к самым мирным мыслям.

— Как же это ты поймаешь Савку? — спрашивал отец грозное начальство,— они учились вместе.

— А вот и поймаю,— спокойно отвечал Николай Иваныч, выпивая рюмку водки.— Да... Я, брат, шутить не люблю. У меня: раз, два — и готово...

— Ну, гусей по осени считают.

Николай Иваныч уже прицелился к какому-то соленому груздю, как к самому окну подскакал верховой казак:

— Ваше скородие, Савка...

— Где Савка?..

— Ён, ваше скородие... ён побег в гору.

— Да говори толком, дурак!

— Слушаю-с... Вон по горе, ваше скородие, бежит.

Казак указал на гору Кокурникову, которую отлично было видно от нас из окна, а по дороге забирала в гору какая-то точка.

— Где сотник?! — заорал Николай Иваныч, преисполняясь административной энергией.— Отрядить в погоню пятерых казаков.

— Слушаю-с...

— Да скажи сотнику, что он дурак... Вместо того чтобы послать погоню, он меня посылает спрашивать.

— Слушаю-с.

— Живо! Одна нога здесь, другая там...

— Точно так-с, ваше...

Через какую-нибудь минуту мимо нашего дома, припав к седельным лукам, вихрем пронеслась казачья пятерка, точно спущенная свора борзых. Наступил томительный момент ожидания... Вот они уже проскакали заводскую плотину, потом миновали узкую поперечную уличку и марш маршем понеслись в гору. К нашему удивлению, черная точка, служившая воплощением Савки, остановилась, точно делала рассчитанную паузу, чтобы подразнить казаков.

— Ах, мерзавец! — задыхался Николай Иваныч, сжимая маленькие кулачки.— Валяй его!.. Бери... бей...

Мы все наблюдали за движением казачьей пятерки затаив дыхание. Вот она уже совсем близко... вот она и совсем насела. Но тут случилось что-то необыкновенное: черная точка — Савка — оказалась ниже казаков, а потом она пошла вправо от дороги, к небольшому

леску, который зеленым гребнем венчал Кокурникову.

— Ах, мерзавец...— как-то застонал Николай Иваныч, топая в отчаянии ногами.— Держи его... валяй!..

Все облегченно вздохнули, когда черная точка благополучно исчезла в лесу. О, как это страшно, когда на глазах травят живого человека!.. Я помню, как наша кухарка Агафья благочестиво крестилась все время, пока Савка бежал в гору,— она выбежала за ворота вместе с другими и с замиравшим сердцем наблюдала происходившую сцену. Много еще таких же простых баб провожали глазами бежавшего Савку, покрывая его своей хорошей бабьей жалостью.

Трудно описать неистовство Николая Иваныча, когда пятерка вернулась и давешний казак донес о случившемся конфузе.

— Мы его достигли совсем, ваше скородие.. А ён стоит посередь дороги. Ну, а потом на нас... «Кланяйтесь, грит, вашему следователю, а мне некогда». Как стрелит между нами... Я его одинова зацепил нагайкой... А потом ён в сторону и в лес.

— Он смеялся над вами, дураками!..

Смелый маневр Савки, бросившегося на казаков, чего они уже никак не ожидали, произвел на всех ошеломляющее впечатление, как новое проявление Савкиной удали и находчивости. Он бравировал у всех на глазах, точно ответственный первый артист какой-то труппы.

Цель стратегического маневра Савки была ясна для всех. Николай Иваныч привел с собой полусотню казаков и расставил их постоем по раскольничьим домам, потому что Савка был раскольник и находил постоянную поддержку и сочувствие главным образом среди раскольничьего населения. Можно представить себе ужас строгой и чистоплотной староверческой семьи, когда в ней поселялся казак, табашник и скобленое рыло. Эта драгоннада должна была довести раскольников до повинной. Так соображал Николай Иваныч. Бегство Савки у всех на глазах было ему ответом.

— Нет, брат, шалишь!..— хвастался Николай Иваныч.— Не мытьем, так будем брать катаньем. Видишь, что придумали!.. Заморю постоем, пока не выдадут Савку головой.. Ха-ха! Будут поминать Николая Иваныча...

К неумолимому начальству являлась целая раскольничья депутация с умильным словом, но Николай Иваныч ничего и слышать не хотел.

— Я вас всех выкурю табаком, как тараканов... да!..— кричал Николай Иваныч, топая маленькими ножками.— Вы будете меня помнить. А без Савки не уеду. Так и знайте!..

2

Началось тяжелое отсиживанье от неумолимого властодержца. Николай Иваныч пил чай, гулял, купался, по вечерам играл у приказчика в преферанс и выдерживал характер.

— Еще старуха надвое сказала,— повторял он, подмигивая.— Хе-хе... Посмотрим, чья возьмет.

Раскольники крепились укрепой богатырской и не сдавались. Да и Савки не было уже в заводе,— он ушел в горы.

— Э, стара штука! — смеялся Николай Иваныч.— Я уеду, а он вернется... Не согласен! Да-с...

День проходил за днем в томительном ожидании. А тут еще близился петров день, когда работы на фабрике прекращались и все отпускались на страду до успенья. Какая же тут могла быть страда, когда в заводе останутся домовничать казаки. Одним словом, дело начинало усложняться с каждым днем. Получалась такая альтернатива: или должны были раскольники предать Савку, или сам Савка должен был явиться с повинной.

Выручило всех случайное обстоятельство. Прошел слух, что Савка болен и лежит где-то в горах, в пещере. Кто пустил этот слух — осталось неизвестным. Может быть, даже сам Савка, которому было все равно где ни помирать. Впоследствии передавали, что его выдали какие-то скитские старцы, пожалевшие измученную казачьим постоем свою раскольничью паству. Расчет был чисто арифметический: лучше уж одному Савке пострадать, чем всем мучиться за него.

— Я сам его поймаю,— решил Николай Иваныч.— А то казаки одни опять упустят...

В горы была снаряжена целая экспедиция с Николаем Иванычем во главе. К казакам были присоединены свои заводские лесообъездчики и конюхи из «машинной». Конечно, приготовления делались в страшной тайне, такой, что все знали о ней за несколько дней вперед.

Опять наступали дни томительного ожидания, и опять все волновались от мала до велика. Наша кухарка Агафья громко молилась по вечерам за татя и душегубца раба божия Савелия. Кучер Яков принял какой-то особенно таинственный вид и постоянно бегал в кабак, где сосредоточивались все политические известия и последние новости.

Прошел день, другой, третий — об экспедиции ни слуху ни духу.

— Он им глаза отведет,— уверяла Агафья.

— Тут не в глазах дело,— с достаточным презрением отвечал Яков.— Ежели который человек знает такое слово... А ты все равно ничего не поймешь. В прошлый-то раз никому глаз не отводил, а ушел. Они на него всей пятеркой, а он свое слово сказал — и только всего. Мне один казак сам рассказывал...

Ожидания решились сами собой, когда на четвертый день Савка был привезен ночью и водворен в «машинную» под строжайший караул. Его нашли действительно в пещере, далеко в горах. Савка лежал больной и не оказал ни малейшего сопротивления.

Николай Иваныч торжествовал и ходил петушком.

— Э, брат, со мной, брат, шутки плохие!.. Да я и один бы поймал такого гуся. Савка, Савка — нашли какого Александра Македонского... Теперь, брат, никуда не уйдет.

Успех вскружил голову Николая Ивановича, и он для важности стал ходить на цыпочках.

Савка лежал в «машинной» больной целую неделю. Мы, дети, потихоньку бегали его навестить. Ведь настоящий живой разбойник, которого все боялись... Правда, было очень страшно, но любопытство превозмогло все. Конечно, все устроилось только при благосклонном содействии кучера Якова, у которого в «машинной» была рука в лице конюха Паньши, молодого, но очень угрюмого мужика.

— Што его смотреть? — угрюмо заявлял Паньша.— Не зверь какой...

Стража из двух казаков была подкуплена, кажется, гривенником. Савка лежал в узенькой каморке, скупо освещенной маленьким оконцем. Он для безопасности был в ручных и ножных кандалах. Мы смотрели на знаменитого разбойника в маленькое оконце в толстой

двери. Я был даже огорчен, что Савка, кроме простой кумачной рубахи и плисовых шаровар, ничем не отличался от других мужиков. Ему было лет сорок. Лицо самое обыкновенное, с самой обыкновенной русой бородкой. Мы, кажется, его разбудили, и Савка сел на своей лавке, гремя кандалами.

— Што вам надо? — глухо спросил он, глядя исподлобья.

Нам почему-то сделалось страшно, и мы бежали самым позорным образом. Самым ужасным были, конечно, кандалы.

Следователь выждал воскресенья, когда фабрика не работала, чтобы отправить Савку с большой помпой. День был солнечный, горячий. Вся площадь перед конторой покрылась народом. Казачья полусотня выстроилась перед воротами, откуда должны были вывезти Савку. Для пущего эффекта Николай Иваныч нарочно затянул момент отправки. Все видели, как он сидел в господском доме у окна и преспокойно пил чай стакан за стаканом.

Собравшийся на площади народ вел себя очень сдержанно. Ни громкого галденья, ни движения, ни смеха.

Наконец следователь махнул в окне белым платком, что служило сигналом к выступлению. Казаки выстроились в две шеренги, ворота растворились, и в них выехала простая крестьянская телега, на которой сидел Савка. Руки у него были прикованы к грядкам телеги. Он был без шапки и низко раскланивался на обе стороны. Он был страшно бледен.

— Братцы, простите...

Толпа замерла. И только один голос крикнул точно из-под земли:

— Бог тебя простит, Савелий Тарасыч!..

На площади телега остановилась, поджидая, когда выедет из господского дома следовательский экипаж. Казаки раздвинули толпу, и, когда показался экипаж, началась джигитовка. Казаки были рады оставить это раскольничье гнездо и выделывали на своих низеньких лошаденках чудеса эквилибристики. Появление самого Николая Иваныча было встречено залпом.

Я помню, как вся процессия тронулась вперед, а над толпой точно плыла красным пятном кланявшаяся фигура Савки. Картина получилась самая импонирую-

щая... Задние ряды зрителей глухо роптали. Где-то слышалось подавленное бабье причитанье.

— Ничего, уйдет,— решительно заявлял какой-то седой старик с длинной палкой в руках.

— Вот ужо Савелий Тарасыч скажет им свое словечко.

Лет через двадцать мне пришлось заглянуть в родное гнездо. Те же зеленые горы кругом, та же фабрика, те же заводские улицы... Только заводская контора представляла уже развалину. Я зашел во двор. «Машинная» еще сохранилась, но была заколочена наглухо. В ней никто не нуждался больше.

Крепостные заводские разбойники покончили свое существование вместе с открытием «воли». Савка в числе других принес повинную, где-то отсидел назначенный срок и жил в заводе, как мирный обыватель.

III

Последние клейма

1

Яркий солнечный день. Короткое сибирское лето точно выбивалось из сил, чтобы прогреть хорошенько холодную сибирскую землю. Именно чувствовалось какое-то напряженное усилие со стороны солнца, та деланная ласковость, с которой целуют нелюбимых детей. А в ответ на эти обидные ласки так хорошо зеленела густая и сочная трава, так мило прятались в ее живом шелку скромные сибирские цветочки, так солидно шептал дремучий сибирский лес какую-то бесконечную сказку... Да, и солнце, и зелень, и застоявшийся аромат громадного бора,— недоставало только птичьего гама. Сибирский лес молчалив, точно он затаил в себе какую-то свою домашнюю скорбную думу, ту думу, которую раздумывают про себя, а не выносят в люди. Мне лично нравится эта молитвенная тишина кондового сибирского леса, хотя подчас от нее и делается жутко на душе, точно сам виноват в чем-то и виноват по-хорошему, с тем назревающим покаянным настроением, которое так понятно русскому человеку.

— Эй вы, залетные! — покрикивает сибирский ямщик, который сидит на облучке «этаким чертом».

Мне кажется, что в его голосе звучит какая-то смутная ласковость, вызванная хорошим летним днем. С своей стороны я инстинктивно стараюсь попасть в тон этому настроению и завожу один из тех бесконечных разговоров, которые ведутся только доро́гой.

— Ты из Успенского завода, ямщик?

— Так точно...

— У тебя там дом есть, то есть свой дом?

— А то как же? — удивляется ямщик несообразному вопросу.— И дом и обзаведенье...

Это говорится таким тоном, точно все люди должны иметь свои собственные дома и свое обзаведенье.

— Так есть дом и обзаведенье? Что же, хорошо...

— Какой же я буду мужик, барин, ежели, напримерно, ни кола ни двора? Которые правильные мужики, так те никак не могут, чтобы, значит, ни на дворе, ни на улице...

— Так-то оно так, да ведь у вас на заводе того... гм...

Ямщик оборачивает ко мне свое лицо, улыбается и одним словом разрешает застрявшую фразу:

— Варнаки мы, барин... Это точно. Уж такое место... да. Каторга, значит, была... Оставили ее, каторгу-то, когда, значит, волю дали. Ну, а мы-то остались, как и были, варнаками. Все под одну масть... Так все и зовут нас: успенские варнаки.

Все это говорилось таким добродушным тоном, что делалось жутко. Я только теперь рассмотрел своего ямщика. Это был еще крепкий старик с удивительно добрым лицом. На мой пристальный взгляд он снял шапку, откинул на виске волосы и проговорил:

— Из клейменых, барин...

На виске были вытравлены каким-то черным составом буквы С и П, что в переводе с каторжного языка значило: ссыльнопоселенец.

— С тавром хожу, чтобы не потерялся...

— Ты, значит, тоже на каторге был?

— Коренной варнак... Уж нас немного осталось, настоящих-то, а то все молодь пошла. Значит, варначата...

— Из какой губернии?

— Мы рязанские были...

Старик совсем повернулся ко мне и заговорил как-то скороговоркой, точно боялся забыть что-то:

— Значит, мы княжеские были... Именье-то было огромадное, а княжиха, значит, старуха была, ох! какая лютая. Сыновья у ней в Питере служили, офицеры, а она управлялась в усадьбе. Здоровущая была старуха и с палкой ходила... Ка-ак саданет палкой, так держись. Лютая была... Ну, из-за нее и я в каторгу ушел. Только и сама она недолго покрасовалась... Повар у ней был, ну, так она каждое утро его полировала первого. Терпел он, терпел, ну, раз вот этак утром-то как ударит ее ножом прямо в брюхо. Так нож и остался там... К вечеру померла... Ох, лютая была!.. Повара-то засудили тут же... Четыре тыщи палок прошел. Могутный был человек, а не стерпел — на четвертой тыще кончился.

Старик сделал паузу, тряхнул головой и опять любовно и весело прикрикнул на лошадей:

— Да эх! вы, залетные!..

Лошади дружно рванулись и полетели вперед, чуя близость жилья. Лес поредел, точно он расступался сознательно, давая дорогу. Показались покосы, росчисти, просто поляны и лужайки. Мелькнула прятавшаяся в зелени полоска воды, прогремел под колесами деревянный мостик, шарахнулась в сторону стреноженная лошадь, побиравшаяся около дороги, а там впереди уже сквозь редевшую сетку деревьев смутно обрисовался силуэт высокой колокольни. Через несколько минут раскрылась вся картина каторжного пепелища в отставке... Как-то странно было видеть это солнце всевидящим оком радостно сиявшее над местом недавнего позора, каторжных воплей и кровавого возмездия. Ведь оно и тогда так же сияло, как сейчас, оставаясь немым свидетелем каторжных ужасов.

Что-то вроде предместья, грязная улица, целые ряды горбившихся крыш, точно чешуя гигантского пресмыкающегося, вдали до краев налитый заводский пруд, у плотины новое громадное здание строившейся первой в Сибири писчебумажной фабрики, выходившей главным фасадом на заводскую площадь с какими-то развалинами.

— Вот тут была каторжная пьяная фабрика,— объяснил мой возница, указывая на эти развалины.

Да, не винокуренный завод, а именно пьяная фабрика.

2

Цель моей поездки в Успенский завод (Тобольской губернии) была довольно неопределенная — посмотреть первую писчебумажную фабрику, погостить у знакомого человека, заняться немножко археологией и т. д. Мой знакомый, инженер Аполлон Иваныч, строил фабрику и обещал показать все достопримечательности бывшей каторги. Кстати, он занимал квартиру в помещении бывшей каторжной конторы, имевшей самый мирный вид запущенной помещичьей усадьбы. Через полчаса мы пили чай в комнате, где производились когда-то дознания, следовательские допросы и всяческий иной сыск.

Прислуживавшая за столом горничная была из коренных варначек. Чистое русское лицо, без сибирской скуластости и узкоглазия. Великорусский тип сказывался во всем.

— У нас тут все каторжные,— коротко объяснил Аполлон Иваныч, отвечая на мой немой вопрос.

— И что же, есть какая-нибудь разница с другими селениями?

— Никакой... Такие же люди, как и все другие. Даже повышенной преступности никакой не замечается. Ни краж, ни разбоев, ни убийств... Вообще все тихо и мирно. А между тем сейчас еще есть человек двадцать старух из каторжанок... Совсем хорошие женщины и все до одной семейные. Клейменых стариков, кажется, человек шесть наберется. Кстати, последний каторжанин с рваными ноздрями умер лет пятнадцать тому назад,— я сам его не видел, а передаю, что слышал от других.

По этому отзыву можно было сделать совершенно неожиданный вывод, именно, что старая каторга имела самое благодетельное влияние, в корне истребляя зло и совершенствуя преступную волю. Но, как увидим ниже, тут были совсем другие причины и основания.

После чая мы отправились осматривать новую фабрику, что заняло около двух часов. Первая сибирская фабрика была выстроена по последнему слову науки, которое именно здесь, на месте бывшей каторжной «пьяной фабрики», имело особенное значение. Там, где каторжными руками гналось зелено вино для царева кабака, теперь труд вольного человека нашел приложение к совершенно другому делу,— бумага уже сама по себе

являлась величайшим культурным признаком... Кто знает, может быть, на этой фабрике выделается та бумага, на которой новые последние слова науки, знания и гуманизма рассеют историческую тьму, висящую над Сибирью тяжелою тучей. Впрочем, это, кажется, уже область исторического сентиментализма и еще далеких иллюзий.

Самой фабрики я не буду описывать,— для меня она являлась только культурным фактором, характерным именно в этом разоренном царстве кнута, шпицрутенов и плетей.

— А как здесь жили прежде! — рассказывал Аполлон Иваныч, когда мы выходили из новой фабрики.— Каторжный винокуренный завод сдавался в аренду, и откупщики наживали громадные деньги. Настоящее разливанное море было... Шампанское лилось рекой, и в Успенский завод часто гости ехали со всех сторон целыми обозами. Еще и сейчас старожилы помнят это неистовое веселье. Тут каторга, и тут же веселье. Да, какое-то нелепое время было... Сейчас даже и приблизительно трудно себе представить, что здесь творилось. Кстати, вон на плотине стоит скамейка — на ней отдыхал знаменитый откупщик П-ский. Выйдет на бережок и дышит свежим воздухом... Про него рассказывают чудеса. Однажды он приходит в каторжную контору, а там идет следствие: убили арестанта, и убийцу никак не могли открыть. Каторжные его не выдавали, и следователь ничего не мог поделать. Тогда П-ский и говорит: «Позвольте, я его сейчас узна́ю». Подходит к выстроенным в шеренгу каторжанам, пристально вглядываясь в лица, а потом как ударит одного по лицу: «Ты, такой-сякой, убил?» Тот свалился с ног и во всем признался. Удивительно все просто было...

Деревянное здание упраздненной каторги еще сохранилось. Оно стояло с заколоченными окнами, как ослепший призрак.

Вечером мы долго гуляли по заводским улицам. Стройка здесь отличалась от обычной сибирской архитектуры тем, что около домиков там и сям зеленели садики на великорусский манер. Очевидно, здесь жили невольные выходцы откуда-нибудь из коренной России. Сибиряк не выносит подобных нежностей, что и понятно — и без садика достаточно кругом леса. Попадавшиеся варнаки и варначки заметно выделялись красотой

какого-то смешанного типа, особенно женщины. В Сибири вообще так мало красивых лиц, благодаря слишком большой примеси всевозможной инородческой крови.

— Кого-кого только тут нет,— объяснил Аполлон Иваныч.— И великоруссы, и хохлы, и остзейские немцы, и черкесы — настоящая каторжная мозаика. Потом все это слилось, выработался свой смешанный тип, то есть совсем новый этнографически человек. Кстати, завтра воскресенье, так сами увидите нашу публику.

— Скажите, отбывшие каторгу и переведенные в разряд ссыльнопоселенцев делались семейными людьми?

— Обязательно... Невест доставляли со всех концов России на каторгу в достаточном количестве — выбирай любую. И из всех этих каторжанок вышли прекрасные жены, матери и хозяйки. Я не знаю ни одного случая, чтобы баба отбилась от дому и разрушила семью. Оно и понятно: каждая прошла такую ужасную школу, что свой угол являлся раем. Замечательно, что все эти каторжанки были совсем молодые и почти поголовно дворовые. Я как-то просматривал списки и нашел всего двух в бальзаковском возрасте. Кстати, у нашего батюшки есть списки, и вы сами просмотрите...

В течение целого дня все наши разговоры обязательно сводились на каторгу. Да иначе, конечно, и быть не могло. Самый воздух здесь был насыщен этими каторжными мыслями.

3

В Успенском заводе мне пришлось прожить дня три, и самое интересное, что я видел, это подробный список каторжан за несколько лет. В моих руках был исторический документ громадной важности, в своем роде синодик крепостного права и его резюме. Раньше я говорил о заводских крепостных разбойниках, являвшихся единицами, а тут получалась уже полная картина. Список был красноречиво-краток: имя, звание, состав преступления и форма наказания.

Рассматривая этот список и делая из него выписки, я осязательно убедился прежде всего в том, что главный контингент преступников создавался именно крепостным правом. Некоторые преступления носили почти сказочный характер: один крепостной крестьянин был приговорен к четырем годам каторги за кражу сахара у своей

помещицы, другой к такому же наказанию за кражу меда и тоже у помещицы. Что это такое — ирония, насмешка, глумление?.. Логика отказывалась здесь работать, да и какая могла быть логика в этом царстве произвола и всяческого насилия? Еще характернее была группа женщин-преступниц. Все это были молодые девушки и поголовно из дворовых, в возрасте от семнадцати до двадцати пяти лет. Главное преступление — поджог. Очевидно, мы тут имели дело с тем протестующим возрастом, который никак не мог согласиться с существующим порядком. Женщина служила здесь тонким реактивом всеразъедавшего яда. В числе этих преступниц только одна приговорена была за детоубийство, и та была солдатка, а затем другая, за сорок лет, польского звания, «по особым причинам». Читая этот мартиролог, приходилось переживать гнетущее чувство... Ведь под этими именами, датами, номенклатурой несложных преступлений и лаконическими отметками наказаний похоронено целое море никому не высказанных страданий, зол, бед и стихийного бессмысленного зла. А главное, читателю было ясно, что все эти преступления и наказания сделались немыслимыми после 19 февраля. Только читая этот мартиролог, понимаешь во всем объеме всю величину того зла, которое уже отошло в область преданий.

В мужской группе каторжан после преступлений против помещичьей власти выступали нарушения воинского устава. Палочная солдатчина поставляла громадный запас каторжного мяса. И какие наказания... Строевой солдат шестидесяти лет — заметьте: строевой,— приговорен был к четырем тысячам шпицрутенов. Вообще что-то совершенно невероятное, подавляющее, колоссальное. И что всего замечательнее, что все эти правонарушители, «отбыв каторгу», то есть шпицрутены, плети, кнут и пьяную фабрику, сейчас же превращались в самых мирных обывателей, делались семейными людьми и не обнаруживали какого-нибудь особенного тяготения к преступлениям. Каторга не исправляла их, а только снимала с них крепостное ярмо, невыносимую солдатчину и прочее зло доброго старого времени. Пример в высшей степени поучительный...

Из Успенского завода мне пришлось возвращаться с тем же клейменым ямщиком.

— Что, дедушка, тяжело было на каторге?

— Несладко, барин... А только, ежели сказать правду, так ведь мы здесь в Сибири свет увидели. Поселенец, и все тут. Теперь-то все стали вольные, так и не поймут этих самых делов. Дома-то у себя в Расее похуже каторги случалось... Особливо бабам эта самая каторга была на руку: отбыла года и вся своя.

— Бабам легче было?

— Ну, у них своя причина... Конешно, на пьяной фабрике они не работали и по зеленой улице их не гоняли, опять же не клеймили, ну, а только очень уж обижали смотрителя, особливо которая из лица получше. Навязался тут один старичонка смотритель ласковый такой да богомольный, так он, кажется, ни одной не пропустил... Как новую партию пригонят, так он только ручки себе потирает. Одним словом, озорник...

— А наказывали страшно?

— Случалось... Палач был Филька, ну, так его привозили к нам из Тобольска. Здоровущий черт был... Ну, как его привезут, сейчас у нас сборка денег ему, чтобы, значит, не лютовал. Ведь ежели бы он все по закону достигал, так и в живых никто не остался бы.

— А шпицрутены?

— Ну, это почище плетей в тыщу разов... И рассказывать-то, барин, страшно. Одного тут у нас наказывали... Ермилой Кожиным звали. Он целую семью загубил. Ну, так его и повели по зеленой улице... Нас всех для острастки в две роты выстроили. Ну, раздели его — могутный мужик, тело белое. Этакому-то труднее... На первой тысяче свалился... Положили его на тележку и везут. Все-таки второй тысячи не дотерпел... Дохтур уж его пожалел. «Дайте, говорит, водицы испить». А уж это известно: как на наказании напился воды — тут тебе и конец. Ну, с двух тысяч Кожин-то и кончился... Все одно, от начальства был приказ забить его насмерть, и солдат расставили поширше, штобы замах делали больше. Ох, и вспоминать-то это самое дело нехорошо...

Опять был солнечный день. Опять по сторонам дороги сплошным войском тянулся лес. Опять стояла тишина знойного дня, и невольно казалось, что это та зловещая тишина, которая наступает в доме, где покойник: за нами оставался громадный покойник — каторга. Кстати, есть характерная русская поговорка: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет.

IV

Разбойник и преступник

1

Наступивший школьный возраст надолго разлучил меня с родным гнездом, а вместе с тем прервались непосредственные отношения к разбойничьему репертуару. Раньше разбойник являлся живым человеком, вполне реальной величиной, органически связанной со всем укладом создававшей его жизни, а теперь он расплылся в общее отвлеченное представление преступника. Живя в городе, трудно понять эту разбойничью психологию в ее захватывающей полноте. Дышавший жизнью образ потускнел и разбился в ничем не связанные между собой подробности. Зачем вот этот городской «преступник» убивает, грабит и производит всяческие насилия? Когда его ловят и начинают судить, он нервничает и плачет на скамье подсудимых, как все эти темные дельцы, которые попадаются с подлогами, хищениями и разными некрасивыми плутнями. Прежде всего здесь недостает эпического спокойствия.

Такой преступник, попавший в руки правосудия, не испытывает жгучего порыва покаяться и выкупить свои разбойничьи вины тяжким наказанием, которое принималось за какую-то стихийную форму возмездия. Настоящий разбойник выходил на высокое место лобное, кланялся на все на четыре стороны и повторял стереотипную формулу всенародного покаяния: «Прости, народ православный...» Так делали и Стенька Разин и Емелька Пугачев. «Преступник» поступает совсем наоборот — нервничает, плачет, старается всячески увильнуть, свалить свою вину на другого и, осужденный по всем пунктам, уносит из суда озлобленное убеждение в собственной невинности. Ну, чем же он виноват, что считал убитого богатым человеком, а у него, подлеца, оказалось всего полтора рубля? Разбойник нес в себе какое-то обаяние как трагическая сила, и, как всякая крупная сила, он вне своей профессиональной деятельности являлся и добрым и любящим, а преступник — весь дрянной и дрянной по-маленькому, как бывают дрянные насекомые. Исторический «вор» удал-добрый молодец окружен известным поэтическим ореолом в сознании народной мас-

сы именно потому, что являлся настоящей крупной силой, а преступник является чем-то вроде фабричных отбросов и в большинстве случаев относится уже к области ассенизации. Преступника создала обезличивающая городская жизнь, тот индивидуализм, который не имеет оправдания даже в остроге, и такой преступник не вызывает спасительного чувства страха, а только презрение. Народная масса может все понять и простить, кроме ничтожества.

Настоящий разбойник еще продолжал жить только по глухим углам, где и проявлял себя время от времени в той или другой форме. В город он попадал только поневоле, как подсудимый, чтобы получить заслуженное воздаяние.

Помню зимний день с легким снежком. Это было воскресенье. Когда мы, школяры, выходили из церкви от обедни, пронесся общий крик:

— Грешника будут наказывать... грешника!..

Народ бежал по улице к хлебному рынку, где по воскресеньям бывал торжок. Мы, конечно, понеслись туда же, увлекаемые живой волной. Все бежали к роковому пункту по молчаливому соглашению, как бежали и другие — деревенские мужики, городские мещане, мастеровые, какие-то безыменные бабы, а главным образом детвора, задыхавшаяся от волнения. Вероятно, так же сбегался на казнь народ и в Москве, и в древнем Новгороде, и в новом Петербурге. Жажда видеть своими глазами эту публичную «торговую» казнь превозмогала все остальные добрые инстинкты, известную совестливость и прямое физическое отвращение при виде чужих страданий. Может быть, психологической подкладкой здесь являлся необъяснимейший факт массовой жестокости, когда люди превращаются в диких зверей. Особенно характерно это проявляется на женщинах, достигающих последней степени неистовства.

Мне особенно запомнилась одна благочестивая старушка, которая бежала прямо из церкви к площади и на ходу крестилась. В левой руке она держала заздравную просфору, завернутую в платок.

— Помяни, господи, царя Давида и кротость его...— бормотала старушка, изнемогая от старческого бессилия.

Площадь уже была залита народом, так что нам стоило большого труда пробиться поближе к черному,

квадрату эшафота. Пощады не было — мы толкали всех и нас все толкали. Затрещины и подзатыльники в счет не шли. У меня перед глазами стояла красным пятном рослая фигура палача Афоньки. Издали казалось, что этот заплечный мастер ходит по головам сбившейся в одну стену публики. Афонька являлся героем дня, и на нем сосредоточилось жадное внимание трехтысячной толпы.

— Вот он, Афоня, каким орлом похаживает! — с восторгом говорит молоденький купеческий приказчик в бараньей шубе.

— Ох, господи, батюшка...— вздыхает благочестивая старушка с просфорой, каким-то чудом пробившаяся прямо к эшафоту.— И что только будет?.. Никола милосливый...

— Не дребезжи! — сурово оговаривает ее мещанин с красным носом.— Нашла о чем вздыхать... В четырех душах грешник-то, а она — Никола милосливый. Отпетый человек.

Заплечный мастер — исторический герой. О нем складываются целые легенды. Он — живое олицетворение наказующей руки. Да, он тут, высокий, широкоплечий, с окладистою рыжей бородой, с подстриженными в казацкую скобку волосами и с голыми по локоть руками. В одной руке у него плеть, а в другой — стакан с водкой. В качестве премьера готовящегося представления он рисуется, принимает театральные позы и с изысканною небрежностью оглядывает толпу налитыми кровью глазами.

— Палач... палач!..—слышится сдержанный шепот толпы и сейчас же смолкает, когда заплечный мастер оглядывается.

2

Я видел наказание грешника уже во второй раз, видел того же Афоньку и все-таки сильно волновался.

— Везут! везут!..— пронесся ропот по толпе.

Да, эта толпа ахнула и замерла, как один человек. Страшным контрастом явился звон медных пятаков, редким дождем посыпавшихся на эшафот. Это была традиционная умилостивительная жертва заплечному мастеру.

Издали уже показались высокие сиденья позорных колесниц, а на них, спиной к публике, мотались жертвы карающего правосудия. Эти страшные преступники казались такими маленькими и жалкими, что зависело и от позорной высоты, на которой они сидели, и от арестантских серых халатов, облегавших грешные тела такими тощими складками.

— Вон на второй колеснице Голоухова везут,— объяснял купеческому молодцу стоявший рядом мещанин, от которого пахло сыромятной кожей.— Значит, в четырех душах повинился... С каторги бежал два раза. А сколько еще несчитанных у него душ, в которых виниться некому... Его, Голоухова, три года ловили.

Страшные колесницы уже совсем близко. На эшафоте появляется толстенький священник, который волнуется и растерянно разглаживает окладистую бороду. Афонька торопливо собирает валяющиеся на эшафоте пятаки. Точно из земли вырастает полиция и занимает свои места. В толпе народа уже пробита целая улица, но колесницы двигаются с расчетливою медленностью, и за ними улица смыкается живой стеной.

— А за Голоуховым бабенку везут,— сообщает мещанин.— Она трех мужей стравила... Афонька-то, гли, как насторожился... Я его как-то в кабаке видел — водку так агроматным стаканом и хлещет.

— О господи милосливый...— молится вслух старушка с просфоркой, вынимает копеечку и неловко бросает ее прямо в священника.

— Молчи ты, старая кожа!..— ворчит неизвестный голос.— И к чему только подобных старушонок пущают... Сидела бы на печи да грехи свои замаливала. Туда же лезет...

— А ты бы помолчал, так в ту же пору,— огрызается озлившаяся старушка.— Ох, угодники-бессребреники... Парасковея-пятница...

Меня толпа притиснула почти к самому эшафоту. Когда колесницы остановились, Афонька встряхивает жирно смазанными волосами и каким-то театральным шагом спускается с эшафота. Так ходят только знаменитые тенора, которые уверены в своей благосклонной публике. Он привычной рукой отвязывает с первой колесницы какого-то тщедушного и малорослого старика и ведет его под руку на эшафот. Преступник заплетает ногами в халате и неловко кланяется на обе стороны.

— Простите, православные...— шепчут белые губы.— Простите...

Он с трудом поднимается на эшафот, каким-то испуганным взглядом окидывает толпу и опять начинает кланяться. Афонька сдергивает арестантскую серую шапку, и все смотрят на эту обритую наполовину арестантскую голову.

— Этот в двух душах...— слышится шепот.— Тоже из каторги бегал... Жену родную зарезал. Настоящий, природный разбойник, хоть и глядеть не на кого.

На эшафоте столпилось какое-то начальство, заслоняющее от нас преступника. Все обнажили головы,— значит, священник совершает напутствие. Потом начальство раздается, и Афонька с каким-то азартом схватывает свою жертву, ведет по ступенькам и привязывает позорному столбу. На груди у преступника висит ная дощечка с белой надписью: «убийца». Он теперь иду у всех. Бритая голова как-то бессильно склони-сь к левому плечу, побелевшие губы судорожно шевелятся, а серые большие остановившиеся глаза смотрят и ничего не видят. Он бесконечно жалок сейчас, этот душегуб, и толпа впивается в него тысячью жадных глаз, та обезумевшая от этого зрелища толпа, которая всегда и везде одинакова.

Выступает вперед какое-то начальство и неверным голосом читает приговор дореформенного суда. Слышатся обрывки каких-то деревянных казенных фраз, жестких и безжалостных, как те веревки, которыми привязан сейчас преступник к столбу. Снег продолжает падать мягкими хлопьями и своей невинной белизной покрывает черное пятно эшафота. Это придает всей картине какую-то трагическую пустоту. Голова преступника склоняется совсем на грудь к концу чтения приговора, и только потом, когда Афонька подходит к столбу, она поднимается и смотрит своими остановившимися глазами. Афонька театральным жестом отвязывает его, на ходу срывает арестантский халат и как-то бросает на черную деревянную доску, приподнятую одним концом,— это знаменитая «кобыла». Афонька с артистической ловкостью захлестывает какие-то ремни, и над «кобылой» виднеется только одна бритая голова.

— Берегись, соловья спущу,— вскрикивает Афонька, замахиваясь плетью.

Я не буду описывать ужасной экзекуции, продолжав-

шейся всего с четверть часа, но эти четверть часа были целым годом. В воздухе висела только одна дребезжавшая нота: а-а-а-а-а!.. Это был не человеческий голос, а вопль — кричало все тело... Впрочем, Афонька, как объяснил потом всеведущий мещанин с запахом сыромятной кожи, не наказывал, а только «мазал», сберегая силы для следующего номера, составлявшего гвоздь всего представления.

Выведенный на эшафот Голоухов держал себя с отчаянной смелостью и, привязанный к столбу, смотрел на толпу смелыми темными глазами, чем сразу подкупил всех. Он красиво раскланялся на все четыре стороны, прежде чем лечь на «кобылу», и вообще «форсил» до последней минуты. Это был здоровенный и рослый детина средних лет.

Опять предупреждающий окрик палача, страшный свист плети и ни звука в ответ...

— Молодец! — крикнул какой-то голос из толпы.

Но довольно...

3

«Наказание грешников» послужило темой для разговоров на целую неделю. Особенно волновался хозяин того дома, в котором мы квартировали школьниками. Это был типичный мещанин, по фамилии Затыкин. Чем он существовал — трудно сказать, и всего меньше, вероятно, мог бы объяснить он сам. По временам он пропадал, потом таинственно возвращался с подбитым глазом или подвязанной щекой. Иногда являлась полиция и уводила его, но через некоторое время Затыкин неизменно возвращался на свое пепелище и почему-то считал необходимым, в виде очистительной жертвы, исколотить жену. Он чем-то приторговывал, комиссионерствовал, пел по воскресеньям на клиросе, принимался за все в качестве специалиста и, между прочим, принимал ближе всего к своему сердцу кровавую работу палача Афоньки. Для Затыкина этот заплечный мастер был идеалом всяческого геройства и неистощимой темой для разговоров. Конечно, Затыкин бегал на каждое наказание «грешника» и глазом спортсмена следил за каждым движением своего идола. Он по первому взгляду определял приблизительный исход экзекуции, что

зависело прежде всего от настроения Афанасия Иваныча.

— Как левую руку заложил за спину — шабаш. Пиши вперед поминанье... А ежели, напримерно, потряхивает Афанасий Иваныч головкой — ну, тогда счастье грешнику. Ведь он што угодно может сделать плетью: положи лист почтовой бумаги на спину грешника, размахнется со всего плеча, ударит — и лист целешенек останется, а в другой раз пополам может расшибить, ежели растравится. Он плетью-то как на скрипке играет. Сам Афанасий-то Иваныч из настоящих природных разбойников. Любовницу зарезал.

Случай с Голоуховым, который не издал ни звука под плетью Афанасия Иваныча, произвел в душе Затыкина самое горестное раздвоение. Звезда Афанасия Иваныча как будто померкла... Это был еще первый случай, что грешник всенародно осрамил чистую работу знаменитого заплечного мастера. И в самом деле обидно: Афанасий Иваныч полысает плетью со всего плеча, а грешник молчит. С другой стороны, геройство грешника сильно подкупало Затыкина и подкупало против его воли, так что он целый день скреб у себя в затылке и ругался в пространство.

— Да, вышла ошибочка...— бормотал Затыкин.

Затыкин принимался для успокоения за целый ряд дел — что-то строгал, таскал какие-то веревки, приволок откуда-то жердь и кончил тем, что совсем рассердился, плюнул на все, вышел за ворота, сел на скамеечку и стал выжидать, на ком бы сорвать сердце.

По нашей улице делал ежедневную прогулку седой старичок доктор из ссыльных поляков. Он ходил зиму и лето, держа шляпу в руке, повторял каждую фразу и слыл за человека тронутого. Уличные мальчишки дразнили его одним словом: «Палочки! палочки!..» Молва говорила, что несчастный помешался, присутствуя по обязанности в качестве врача при наказании шпицрутенами. Он частенько останавливался у наших ворот и разговаривал с Затыкиным. Старик впадал в старческую болтливость. Завидев доктора, Затыкин встрепенулся.

— Вашему высокоблагородию сорок одно.

— А, здравствуй...— добродушно здоровался доктор.— Да, здравствуй.

Потом он достал из кармана старинную черепаховую

табакерку с портретом какой-то дамы и любезно предложил Затыкину, который с ожесточением курил, нюхал и даже жевал табак. Сделав самую отчаянную понюшку, точно у него в носу была спрятана пожарная машина, Затыкин сейчас же начал коварный разговор.

— Афанасий-то Иваныч, ваше благородие как сегодня осрамился... дда-а!..

— Какой Афанасий Иваныч? Какой Афанасий Иваныч?

— А палач наш.

Доктор только хотел присесть на лавочку рядом с Затыкиным, как одно слово «палач» заставило его вскочить, и добродушное лицо доктора приняло такое жалкое и испуганное выражение.

— Палач? Да, палач...— растерянно бормотал он.— Нет, не нужно... Пожалуйста, не нужно.

Но Затыкин был неумолим. Он взял старика за борт его ветхого осеннего пальто и заставил выслушать всю историю сегодняшнего наказания грешников, уснащенную спортсменскими комментариями. Доктор весь съежился и даже закрыл глаза.

— Не нужно, не нужно.

— Нет, вы мне объясните, ваше благородие, как это самое дело могло случиться? Ведь у Афанасия Иваныча ручка-то... дда! А Голоухов даже не пикнул. Я так полагаю, что не иначе это дело, что Голоухов слово такое знает: Афанасий Иваныч его полосует, а Голоухов свое слово говорит. Опять же и то, что настоящий природный разбойник, а не дрянь какая-нибудь, слякоть.

— Оставьте меня, оставьте меня...— умолял доктор.

Доктор кое-как вырвался от Затыкина и торопливо зашагал по деревянному тротуару, на ходу отмахиваясь рукой, точно старался кого-то отогнать от себя.

— Ваше благородие, ведь вы еще при зеленой улице состояли дохтуром и можете вполне соответствовать! — крикнул вдогонку Затыкин.

Старик остановился, весь затрясся и начал браниться. В этот момент мы окружили его целой гурьбой и с мальчишеской жестокостью затянули хором:

— Палочки!.. палочки!.. палочки!..

Мы были свидетелями предшествовавшей сцены, и все наши симпатии вперед были на стороне Затыкина. Мы уже давно прониклись философией настоящего разбойника и настоящего заплечного мастера.

— Палочки!.. палочки!..

Нужно было видеть, что делалось с сморщенным и желтым лицом старика. Недавний гнев сменился опять страхом, потом страх перешел в сожаление, потом... потом случилось то, чего мы никак не ожидали.

— Подойдите ко мне, детки...— с глухими слезами в голосе заговорил он.— Сюда, ближе... Были вы *там*... да?.. Видели палача, и разбойника, и плети?..

У него перехватило дух, но он собрал последние силы и задыхавшимся голосом проговорил:

— Дети, вы видели величайшее зло и позор... да... Но ваши дети уже этого не увидят... Может быть, будет хуже... очень может быть... Но свою жестокость люди не будут выносить на площадь, а будут ее творить тайно... И это великое дело, когда люди уже стыдятся явной жестокости... Да, великое... Вот вы уже не увидите того, что я видел, а ваши детки не увидят того, что вы видели, а дети ваших детей, быть может...

Доктор махнул своей шапкой и зашагал от нас, не досказав, что могут увидеть дети наших детей.

1895

Макарка

Рассказ

1

Петров день для всего Шайтанского завода являлся тройным праздником. Во-первых, в этот день «престол» в местной заводской церкви, потом фабрика закрывалась вплоть до успенья, и, в-третьих, что самое главное,— конский праздник. С ранней весны, как покажется молодая травка и кончится тяжелая зимняя конная работа по перевозке руды, дров, угля и «металла», сотни лошадей угоняются в горы, где и отгуливаются на вольных горных пастбищах, главным образом на местах больших куреней, где на свежей поруби бросается чудная горная трава. В петров день табуны отгулявшихся в горах лошадей пригоняются в завод на показ хозяевам.

Как-то всегда случалось так, что петров день выдавался солнечный, теплый и радостный. Так было и нынче. И праздничный колокол на деревянной колокольне гудел как-то торжественно. Рядом с церковью был заводской базар, а за ним большой «пригон», куда загонялись лошади. С утра на базаре и церковной площади начали собираться кучки разодетых по-праздничному мастеровых. На уральских горных заводах щегольство, благодаря заработкам, очень развито. Везде мелькали красные кумачные рубахи, праздничные халаты из черного и синего сукна, новенькие фуражки. Конечно, щеголяла главным образом заводская молодежь, а старики довольствовались старинными кафтанами из домашнего сукна и войлочными шляпами. Женщин не было видно,— они заняты дома праздничной стряпней. К петрову дню съезжалось из соседних сел и заводов много гостей, и всех надо было угостить. Только самые древние старушки плелись в церковь, подпираясь длинными палками. Им дома нечего было делать.

До окончания церковной службы на базаре все лавки были заперты и около них собирались кучки ожидавших выгона лошадей. У большинства в руках мотались узды

и недоуздки. Говорили о лошадях, о дружной весне, выгнавшей раннюю травку, о далеком Матюгином курене, где было устроено на нынешний год «пасево».

— На Талом было лучше,— толковали старики.

— Лучше-то лучше, да начал Талый обрастать осинниками и березниками. И медведи теперь там развелись, сказывают. Для них осинник-то по весне первое дело... Нутро у него не действует, когда вылезет из берлоги, ну а как хватил осинной коры — его и проймет сразу. Смышлястый зверь...

— Уж это что говорить. На то поискать. Сказывают, нонешную весну четырех лошадей задрал да ободрал штук с десять.

— Может, пастухи и оправдаются, ежели конские копыта предоставят, а то плати штрах...

— А что ты с него возьмешь, с пастуха? С голого, что со святого, не пуговицу сорвешь... Прошлогодним снегом заплатят... Разговор известный.

Тема о медведях была бесконечна. Между лошадью и медведем существовала неразрывная связь. Где кони в лесу — там и медведь, как их прямое дополнение. В Среднем Урале во множественном числе не говорят «лошади», а всегда — кони. Отсюда — конная работа, конный пастух, конный двор, конская сбруя и т. д. На конном празднике, конечно, не могло обойтись без рассказов о медведе. Сидевшие на церковной завалинке старики могли много порассказать. Многие встречались с ним в лесу глаз на глаз или видали издали. Всего бывало... На завалинке в числе других сидел бывший конный пастух Парфен, седой сгорбленный старик с вытекшим левым глазом и поврежденной левой рукой. Его два раза в конном пасеве подминал под себя медведь и чуть в последний раз не отгрыз напрочь правую руку. Одним словом, бывалый человек.

— Что же медведь? — рассуждал он авторитетно.— Это только со стороны страшно... Вон спросите Ефима, скольких он залобовал[1] мишек.

— Что же Ефим? — послышалось сразу несколько голосов.— Ефим слово такое знает, ну, ему медведь нипочем... Этак-то всякий бы на медведя ходил, ежели бы слово такое знал.

Старик Ефим сидел тут же и молчал, точно разговор

[1] Залобовать — убить. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

шел о ком-то другом. Это был подслеповатый худенький старичок с бородкой клинышком. Глядя на него никому и в голову бы не пришло, что это — знаменитый медвежатник. Он был не шайтанский, а из глухой лесной деревни Бугай, затерявшейся в горах. Туда не было даже колесной дороги. Бугаевцы промышляли главным образом лесом, доставляя на фабрику зимой дрова и уголь, «сидели» деготь и смолу, «лесовали», то есть вели промысловую охоту на зверя.

— Ну, так как, Ефим? — спрашивал кто-то.— На котором медведе остановился?

— А на последнем...— глухо ответил старик, не любивший болтать зря.— Только никакого я слова не знаю... Это вы даже совсем напрасно. А что касаемо медведя, так просто — глупый зверь и больше ничего... Ухватку надо его знать — вот и все.

— Ну, уж это ты напрасно, Ефим,— спорил старик с окладистой бородой.— Я своими глазами видел, как он скрадывал лошадиный табун... Ползет в чапыжнике [1], как кошка. А в другой раз еду верхом, вдруг моя лошадь как храпнет — едва усидел в седле, гляжу, а он по стороне лесом мчится. Вот как стень (тень) мелькает и ни одного сучка не заденет.

— А я видел, как он лошадь драл,— рассказывал Парфен.— Он высторожил ее сбоку, когда она траву щипала... Известно, трава в зубах-то хрустит, ну, лошадь-то и не слышит, как он к ней крадется. Ну, а потом как кинется на нее, прямо на шею, и сейчас горло грызть... Она милая, без ума несется по лесу, а он одной лапой за деревья хватается. Березки, которые в руку толщиной, вместе с корнем выворачивал, пока не уронил ее наземь... Ну, я нагнал их и ничего не разберу: так одним комом по земле и валяются. Он ревет, лошадь тоже ревет... Я ухватил орясину [2] и давай ей обхаживать по медведю. И все норовлю ему по носу изгадать... Однова шибанул-таки, ну, он тогда на меня кинулся. Рассерверенился вот как, а я ему в пасть всю руку сую... Едва успел нож добыть... Ну, как всадил ему нож-то прямо в пузу — он и отшатился маненько, а потом как

---

[1] Чапыжник — молодая, густая, лесная заросль. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

[2] Орясина — жердь, толстая палка. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

будто закряхтел... Идет, а у самого голова мотается, как у пьяного. Ну, я его тут орясиной и прикончил.

Благовест в церкви кончился, и старички направились к службе. На завалинке остался один Парфен. Богомольный был человек, а сейчас не мог. Старик все присматривал из-под руки на горку, зеленевшую своими покосами сейчас за прудом. По ней вилась та дорога, по которой погонят конский табун. Церковь стояла на этом берегу заводского пруда, и все будет видно, как на ладони. Никто не знал, как у старого пастуха замирало сердце от ожидания...

— Что-то позамешкались наши пастухи,— думал вслух Парфен.— Пора бы уже выгонять... Всегда выгоняли табун к благовесту. Покойный поп Яков вот как сердился, что мы мешаем православным молиться. А разве мы виноваты? Зачем коней морить...

К Парфену с базара подошла артелька молодых мужиков.

— Здравствуй, старик.

— Здравствуйте, молодые.

— Что это, сказывают, шестерых коней задрали в пасеве?

— Сказывают...

— Прежде этого не было. Ну, задерет одну лошадь, много двух...

— Прежде?

Парфен неожиданно рассердился и обругал молодежь молокососами.

— А какие ноне пастухи у вас? —угрожающе спрашивал он, размахивая палкой.— Разве это пастухи?! Эх вы... Прежде-то, когда табуны гнал Макар Иваныч...

— Макарка?!

— Для вас он зимой был Макарка, когда последним человеком в кабаке сидел, а когда садился на лошадь — Макар Иваныч был. Супротив него и пастухов не осталось... Сам в пастухах двадцать лет пробыл. Ничего вы не понимаете... У Макара Иваныча ни одного копыта не пропало, пока он пастушничал.

2

Знаменитый конный пастух Макарка лежал недвижим в своей избушке, которая, как гнилой зуб, засела на главной заводской улице между новыми домами

заводских богачей. Макарка давно уже проживал бобылем, потому что «родная жена» давно оставила его за озорство и разные другие «качества». От бывшего двора и надворных построек оставались одни ворота. В избе тоже было пусто, и она уныло глядела на улицу своими двумя покосившимися оконцами. Макарка лежал на лавке, недалеко от двери. Сейчас это был один скелет, обтянутый кожей. Широк был в плечах Макарка, высок ростом, с богатырской грудью,— и куда все девалось? Макарка умирал уже лет пять и никак не мог умереть. Изредка заходили проведать его знакомые, качали головами и участливо говорили:

— Давно бы тебе пора помереть, Макар Иваныч... Только напрасно маешься.

— И то напрасно...— спокойно соглашался Макарка.— Господь смерти не посылает,— вот и маюсь.

Тревожная была жизнь Макарки. Много раз его пьяного бивали насмерть, падал он с лошади и вместе с лошадью, драл его медведь — все сходило с рук. А разболелся он от самых пустяков — бросился останавливать перепуганный медвежьим ревом лошадиный табун, и обезумевшие от страха лошади вышибли его из седла и пронеслись ураганом по нему. Его подняли пастухи замертво и замертво привезли домой, где он пришел в себя недели через две. На нем, как говорится, не было живого места, но богатырская натура взяла свое — Макарка остался жив, хотя и калекой. Неблагодарность современников выразилась по отношению к нему в самой яркой форме, несмотря на то, что он искалечился на общественной службе. Его забыли при жизни... Это было хуже смерти. Вспоминали изредка благочестивые старики да старушки да немногие остававшиеся еще в живых конные пастухи, как Парфен. Жизнь конного пастуха самая отчаянная и ответственная, и шли на эту работу только такие отпетые люди, каким в свое время был Макарка. Замечательно, что Макарка полгода пил мертвую и занимался разными «качествами», а когда садился весной на лошадь — делался совсем другим. В течение всего лета он напивался только один раз, именно в петров день, когда выгонял табун «в гости домой». Макарка знал «в лицо» каждую лошадь не только на своем заводе, но и с соседних сел и деревень. Он был и коновалом и объезжал диких степных лошадей, которых приводили на завод с далеких конных ярмарок. Лошадь для Ма-

карки была все, и он «жалел» ее, потому что она была, по глубокому убеждению Макарки, гораздо лучше человека.

— Разве лошадь украдет? — рассуждал Макарка.— Разве она может обидеть? И людей бы на свете не было, кабы не лошадь...

И самые дикие лошади точно чувствовали любящую Макаркину руку и покорялись с первого раза, стоило ему только подойти. Вероятно, это был своего рода гипноз, а с другой стороны — Макарка не знал страха даже перед самыми отчаянными степняками, от которых отказывались самые опытные наездники.

— Он, Макарка, хотя и дурак бывает по зимам, а слово такое знает,— говорили про него, как говорили и про старого медвежатника Ефима.

Да, лежит в своей избушке всеми забытый Макарка и мучится. Какой день-то сегодня: все радуются, всем праздник, а он как привязан к своей лавке. И хоть бы одна живая душа вспомнила... С трепетом слушал он церковный благовест,— вот-вот погонят коней... По улице проходили толпы народа, кто-то говорил, кто-то смеялся. Макаркино чуткое ухо ловило малейший звук, доносившийся с улицы. Он даже вздрогнул, когда в притворенную дверь окликнул его тонкий детский голосок:

— Макарка, ты еще жив?

— Это ты, Матрена Спиридоновна?

— Я-а... Маменька прислала туесок[1] с квасом... да шаньгу[2]...

Матрена Спиридоновна, девочка лет семи, не сразу вошла в избу, а сначала огляделась кругом. Она жила в соседях, и мать посылала ее к Макарке с разными домашними постряпеньками, квасом и молоком. Она приходилась какой-то дальней родней Макарке и по-бабьему жалела его. Девочка забегала охотно в Макаркину избушку и сообщала больному последние заводские новости. Он любил слушать эту ребячью болтовню и называл девочку Матреной Спиридоновной. Переступив порог, девочка перекрестилась в передний угол и поставила свой туесок и горячую шаньгу на стол около больного.

---

[1] Туесок, или бурак, делается из бересты, имеет форму цилиндра, с дном и крышкой. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Шаньга — хлебная лепешка, покрытая припекой из сметаны. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Скажи матери спасибо, что не забыла... Коней-то еще не гонят?

— Нет, ничего еще не видать... Народу около церкви и на базаре страсть сколько набралось... Все до смерти ждут коней... У нас, сказывают, буланая-то кобыла захромала... А у Вахрамеевых вороного жеребца медведь хватал... у Петуниных гнедой мерин потерялся, и копыт, слышь, не нашли.

По условию найма пастухи при потере лошади от несчастного случая — медведь задрал или сама пала от болезни — обязаны доставлять хозяину ее копыта, а иначе платят полную стоимость потерянной лошади. Девочка говорила, как большая, и личико у нее было серьезное, как у большой. Она была черноволосая и смуглая, с большими круглыми глазами и тоненькой косичкой. Мать по-старинному одевала ее в сарафан. Бегала она, конечно, босая от снега до снега.

— Матрена Спиридоновна, а ты бы сбегала на базар,— просил Макарка.— Погляди, как выгонят коней на гору, и прибеги мне сказать...

— Поди, уже выгнали,— тоном большой ответила девочка.— Скоро на церкви трезвонить будут...

— Ну, так ступай, милая... Как пыль покажется на дороге,— значит, коней гонят, ну, ты и беги стрелой.

— Уж я-то живой рукой обернусь, Макарка. Как ящерка прибегу к тебе...

— Вот-вот... Ступай с богом.

— И то пойду. Тятька с уздой ушел за кобылой-то...

— Может, встренешь Парфена... знаешь, кривой Парфен? Ну, так скажи ему от Макара Иваныча поклончик да спроси, будет ли сегодня гоняться соловая кобылка кузнеца Сиволобова. Сам-то он помер, а остался зять... Потом узнай от Парфена, какие другие кони будут гоняться.

Когда девочка убежала, Макарка вспомнил, что забыл ей сказать о двух лошадях, которых некому было взять из табуна в гости. У одной по весне умерли от горячки и хозяин и хозяйка, а другой хозяин попал в острога, и дома остались одни ребята.

— Эх, сиротами придут кони к празднику-то,— думал вслух Макарка.— Некому и кормить будет... Других-то всех разберут, а эти в загоне сиротами останутся.

Макарка лежал на своей лавке и волновался. В его

воображении рисовался целый ряд самых обидных картин. Да, кажется, давно ли он все лето проводил в горах с табуном... Что могло быть лучше такого кочевья? Целый день верхом на лошади, а вечерком с другими пастухами у своего балагана. Курится огонек, идут разговоры, пастушьи собаки из киргизских волкодавов стерегут собранный в загоны табун... Хорошо летом в горах... пахнет свежей травой... наносит дымком от лошадиного курева, которое раскладывалось для отгона одолевавших коней комаров и мошкары. Короткий, но бодрый сон. Утром еще стелется густой туман по траве, а Макарка уже в седле... Он слышит, как фыркают лошади, как играют молодые жеребята, как зовут ржаньем кобылки оставшихся в табуне жеребят... Хорошо. Весело на душе... А солнце всходит над горами, такое большое, без лучей, и быстро подбирает ночную росу...

— Хошь бы одним глазом господь привел взглянуть,— продолжает думать Макарка.— Поглядел бы и умер... Ей-богу, сейчас бы помер, а не маячил бы напрасно. Прибирает же господь других, а меня, видно, забыл.

Отзвонили в церкви, а Матрена Спиридоновна не возвращалась. Макарка «услышал тишину» — это табун спускался с горы к заводской плотине, и вся толпа замерла. Он помнил этот момент, когда еще был мальчишкой, и потом, когда мчался впереди всех с длинным пастушьим хлыстом. Вот слышится надвигающийся гул от тысячи конских копыт... перезвон ботал [1], окрики пастухов... хлопанье пастушьих хлыстов... Табун прогонялся по улице, где стояла избушка Макарки. Звуки нарастали, ширились... А он, беспомощный, жалкий, забытый всеми, дышал ими, если так можно выразиться... Вот уже совсем близко... Макарка знал, что табун ведет главный пастух Спирька Косой, и слышал, как он ловко орудовал своим хлыстом. Прежде, бывало, впереди табуна скакал Макарка, а теперь его сменил Спирька Косой...

Табун пронесся под окнами Макаркиной избушки. Лошади жались одна к другой, сбивались с ноги, бросались по сторонам. И опять хлопанье пастушьих хлыстов, веселый топот, неясный гул уходившей вперед головки табуна.

---

[1] Ботало — большое колокольце, которое надевается на лошадей, отбивающихся из табуна. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Господи, хоть бы поглядеть одним глазом! — стонал Макарка, напрасно стараясь подняться на локти.

3

Матрена Спиридоновна вихрем донеслась до церковной ограды и сейчас же забыла о своем поручении, потому что именно в этот момент на горе показалось облако пыли.

— Гонят!.. Гонят!..— послышались голоса.

Девочка вместе с другими бросилась на берег пруда и замерла в ожидании. Табун спускался с горы широкой лентой, оставляя за собой столбы пыли. Вот уже голова табуна скрылась за первыми избушками улицы Пеньковки... Слышен далекий топот и звон ботал... Вот показался впереди табуна главный пастух Спирька Косой и начал сдерживать напиравших молодых лошадей,— нужно было провести табун по узкой заводской плотине, где они могли столкнуть друг друга в воду.

— Вон наш — Воронко! — кричал кто-то, хотя на таком расстоянии и трудно было узнать свою лошадь.— Ей-богу, он... А Спирька ловко зажаривает, косой черт!..

Плотина несколько задержала движение табуна, и он двинулся полным ходом только на улице, которая вела мимо избушки Макарки прямо к церкви. Толпа замерла... Вот вылетел из-за угла на своем гнедом иноходце Спирька Косой и оглушительным хлопаньем своим длинным пастушьим хлыстом принялся загонять молодых лошадей к изгороди за базаром. В голове табуна всегда бежали самые молодые лошади, в середине держались матки со своими жеребятами, а в хвосте скромно бежали старые, опытные лошади, которых выгоняли с горных пастбищ уже не первый раз.

Конные пастухи были сегодня героями дня и проявляли много совершенно ненужной энергии. Отгулявшиеся за два месяца лошади тоже выказывали излишнюю бодрость и не узнавали своих хозяев, особенно молодые, которые совсем одичали.

— С праздником, народ православный! — здоровался Спирька Косой, слезая со своего взмыленного иноходца.— Получайте дорогих гостей...

Это был торжественный момент. Все наперебой бросились разбирать своих воронков, чалок, рыжих и гнедых, чтобы вести домой в гости. Отдельно стояли хозяе-

ва задранных медведем лошадей. Для них не было праздника... Вынуть из живого хозяйства лошадь много значит, особенно, когда в большинстве случаев не на что купить другую. Матрена Спиридоновна разыскала свою буланую кобылу, а когда отец надел на нее узду, торжественно повела ее домой, где уже было приготовлено и сено, и овес, и ржаные сухари, круто посыпанные солью. Кобыла отгулялась на диво и даже излишне раздула живот. Дома уже ждали гостью. Все ласкали ее, совали куски хлеба, гладили и не знали, чем и как проявить свою радость.

— Очень уж живот у нее велик,— говорила мать.— Тяжело ей потом будет возы-то возить.

— Ничего, живот-то на работе в одну неделю подберет,— успокаивал ее отец.— За зиму-то в ниточку вытянется...

С далекого перегона лошадь нельзя было поить, и ее поставили к сухому сену выстояться и подобрать пот. Матрена Спиридоновна не отходила от нее и раза три даже пролезала под брюхом без всякой надобности, а так, для озорства. Кобыла была умная и смотрела на нее такими добрыми глазами.

Когда уже сели обедать, Матрена Спиридоновна вспомнила о Макарке. Она всплеснула руками и проговорила в ужасе:

— Маменька, ведь Макарка-то зачем-то послал... шибко наказывал, а я забыла...

— Дорогой, видно, потеряла? — шутил отец.

— Ничего, вот понесешь чашку горячих штец, так он тебе в другой раз скажет,— успокаивала мать.— Охота и ему горяченько-то похлебать... Тоже всем праздник.

Макарка лежал один, изнывая от тоски. Когда появилась Матрена Спиридоновна с чашкой дымившихся щей, он ничего не сказал ей, а только поморщился.

— Макарка, голубчик, прости ты меня ради истинного Христа,— слезливо говорила Матрена Спиридоновна, переступая с ноги на ногу.— Как есть все перезабыла, что ты мне наказывал... До базара бежала — все помнила, а тут забыла, как к церкви подбежала.

— Ладно, ладно, бог тебя простит... А ты сбегай еще раз...

— Как ящерка побегу...

— Ну, так ты беги к пригону... да... там две лошади должны оставаться... их некому взять... Одна-то Савоськи

Конюхова, который по весне помер от горячки вместе с хозяйкой, а другая Ефрема Коврыгина, который в остроге сидит... Поняла?

— Все до ниточки поняла, Макарка...

— Ну, так ты погляди и прибеги сказать... Да не забудь, смотри.

Девочка побежала к пригону во весь дух, чтобы быстрей загладить вину. Она вернулась раньше, чем Макарка ожидал.

— Ишь какая востроногая! — похвалил Макарка.

— Стоят... обе... в пригоне...— рассказывала Матрена Спиридоновна, едва переводя дух.— Савоськина-то сивая... а коврыгинская гнедая... белоглазая... левое ухо порото... Ребятишки-то прибегали... и по кусочку принесли... коврыгинские-то вот как ревут...

— Так, так... Ах, как это нехорошо! — жалел Макарка.— Ведь скотина тоже понимает, сердечная... Все кони по домам разобраны, а эти сиротами остались... нехорошо и даже грешно...

Подумав немного, Макарка прибавил:

— Вот что, Матрена Спиридоновна, беги-ка ты живым духом к церковному старосте Маркелу... Знаешь, где живет?

— Ну вот...

— Ну, так придешь к нему и скажи, что, мол, меня прислал к тебе Макарка и слезно просил принять в гости коней-то осиротелых... Так и скажи. Лучше, мол, нищему не подать, а богову скотину накормить... Богатый Маркел-то, и душа в ем добрая, ежели не пьян... Ну, так поскорее, Матрена Спиридоновна.

Церковный староста Маркел выслушал внимательно «посла», тряхнул головой и сказал:

— Правильно говоришь, птица... Макарка-то поумнее нас себя обозначил, что про чужую скотину не забыл. Настоящий, значит, пастух, а вот других-то таких не осталось. Я-то торопился из церкви домой и недоглядел, какие кони остались в пригоне. Скажи Макарке-то поклончик да еще скажи, что староста Маркел позаботится обо всем...

Когда Матрена Спиридоновна вернулась, Макарка лежал на полу мертвый. Он, очевидно, хотел переползти со своей лавки к окну, но по дороге умер от натуги.

1904

Горой

Из летних скитаний по Уралу

1

Путешественники, которые теперь переезжают через Уральские горы по железной дороге, даже приблизительно не могут себе представить всех тех неудобств и затруднений, с какими прежде неизбежно был соединен этот перевал из Европы в Азию или, наоборот,— из Азии в Европу.

В начале семидесятых годов мне случилось ехать из Петербурга в Зауралье. Студенческие сборы невелики: тощенький чемоданчик, подушка, плед — и больше ничего. До Перми путешествие в летнее время — я ехал в начале июня — обставлено всеми удобствами цивилизации: до Нижнего по железной дороге, а от Нижнего — на пароходе. Все шло отлично, и через пять дней я был в Перми.

Итак, я в Перми с восемью рублями в кармане, а нужно еще сделать на лошадях больше трехсот верст, притом приходилось ехать или убийственным сибирским трактом на Екатеринбург, или еще более убийственным гороблагодатским на Тагил. Первый путь был для меня длиннее, но можно было скорее найти компаньона; второй — короче, но приходилось ждать компаньона. Получалось что-то вроде сказочной «росстани», где расходились три пути-дороги: по первой поедешь — сам будешь сыт, конь голоден, по второй поедешь — конь сыт, сам голоден и т. д. С восемью рублями в кармане далеко не ускачешь, и мне пришлось прождать в Перми целых восемь дней, вероятно, по числу рублей, пока выискался попутчик.

Погода стояла отличная. От Перми до Кыновского завода считается около двухсот верст, и мы проехали этот конец ровно в сутки. В Кыну нам приходилось расстаться,— мой попутчик должен был ехать гороблагодатским трактом дальше, к Тагилу, а я предпочел отправиться «горóй», то есть вверх по реке Чусовой. Мне

случалось тут ездить не раз, и я всегда с особенным удовольствием делал этот перевал верхом по бурлацким тропам, так как тут на расстоянии семидесяти верст пути до самой Межевой Утки, где была тогда демидовская пристань, не встретишь ни одного колеса. Это замечательно дикий и глухой уголок, оставшийся как-то в стороне от всякой цивилизации,— и теперь там нет колесных дорог. Железная Уральская дорога окончательно убила эту позабытую богом и людьми сторону, потому что прежде она оживала хоть на время навигации, когда по реке Чусовой с ранней весны до поздней осени сплавлялись заводские и купеческие караваны, а нынче грузы идут железным путем.

Поверье, что если раз не повезет, так не будет счастья до самого конца, оправдалось на мне самым блестящим образом. Оставшись в Кыну, я никак не мог найти верховой лошади и проводника на проход до Межевой Утки. Прежде всегда были лошади, и своя цена установилась — три рубля за пару лошадей. Я обходил весь завод, но никто не соглашался везти дальше ближайшей чусовской деревушки Деменевой. Чтобы не сидеть в Кыну, пришлось согласиться и на это, хотя в Деменевой было всего пять дворов и трудно было рассчитывать на подводу.

— Да уж верно тебе говорю: в Деменевой завсегда лошади есть,— уверял меня старик проводник.

— А если нет?

— Ну, тогда на лодке подымут...

— Да ведь до Утки на лодке ходу двое суток?.. Верхом-то я утром из Кына, а к вечеру на Утке... Да и дорого на лодке.

— Уж это обнакновенно, на конях куда способнее. Уж это што говорить... Тропами пятьдесят верст будет не будет, а водой все семьдесят. Не близкое место лодку-то подымать... Только лошади в Деменевой завсегда есть...

Выбирать было не из чего, и пришлось согласиться с гипотезой, что в Деменевой непременно должны быть лошади.

Мы выехали ранним летним утром чуть свет. И река Чусовая и весь Кыновский завод еще были подернуты туманной мглой. Этот Чусовской завод считается одним из очень красивых на Урале, но мне положительно не нравится,— ужасно дикое место, и весь завод точно

спрятался в глубокой горной расселине. Прямо из завода наша дорога пошла в гору, открывая горную панораму с каждым шагом вперед все шире и шире. Река Чусовая с вершины горы казалась такой обыкновенной речонкой, которую только вот курицы не перебродят. Кругом обступили ее неприветливые и высокие горы, заставляя выделывать такие колена и кривулины, точно ползла змея. Мне больше всего не нравится здешний лес — угрюмый, неприветливый, и эти болота, которые не только в низких местах, где им сам бог велел быть, но и на горах. Последнее просто возмутительно. Подымаешься-подымаешься по каменистой дороге в гору, и вдруг верст на пять разляжется самая непролазная болотина, где приходится ехать то по колено в грязи, то по таким сланям, где несчастная лошадь прыгает с мостовины на мостовину, точно по клавишам фортепьяно. Тут можно и ногу сломать и голову, а главное — так навихает в седле, что не скоро разогнешься. Впрочем, это только первая, самая скверная станция, а дальше дорога идет берегом Чусовой и едешь даже с удовольствием.

Несмотря на хорошую погоду и сравнительно хорошую дорогу, мы в Деменеву приехали часов через пять. Деменева раскидала свои пять избушек на левом высоком берегу Чусовой, и можно только удивляться, что заставляет крещеных людей жить в этой трущобе.

— Эй, кто жив человек есть!..— кричал старик, поочередно подъезжая к избушкам и постукивая кнутовищем нагайки в оконца.— Барина я привез, коней надобно... Эй, живая душа, выходи!..

Все пять изб точно вымерли, и только в одной мелькнули белые детские головки и сейчас же спрятались. В самой последней избушке откликнулась какая-то больная старуха.

— Никого нету, родимые... и званья никого нет! — слышался разбитый старческий голос.

— Да вымерли, што ли?..

— Зачем вымирать... Мужики-то разбрелись по убившим баркам, ну и бабешки за ними и девки. По цалковому поденщины платят девчонкам... вот какое дело. В Тесовом броду убившая барка, под Высоким Камнем.

— Ну что я теперь буду делать? — накинулся я на

проводника.— Ведь я тебе говорил, что лошадей нет... а?.. ну?..

— Вот поди ж ты, как оно тово...

Мой старик, видимо, был сконфужен и долго чесал кнутовищем у себя за ухом. Потом движением головы передвинул свою шляпу с уха на ухо и убежденным голосом проговорил:

— Чего-нибудь врет старуха, барин... Какая-нибудь да есть живая душа!..

Мы спешились. Старик пошел в избу, а потом я видел, как он перелезал через прясло в соседний огород. Через четверть часа послышался разговор и даже смех. Мой проводник перелезал опять через прясло, но теперь в сопровождении какой-то бабы, которая не без кокетства толкала старика в шею.

— Вон какую я тебе зверину привел,— весело заговорил старик, появляясь в воротах,— почище другой лошади-то будет. Параха, вот тебе и барин...

— Лошади есть? — спросил я ухмылявшуюся Параху.

— Какие у нас кони, барин...

— Так как же?..

— А уж не знаю...

— Ты зачем же ее привел в таком случае? — накинулся я опять на старика.

— Может, у соседей у кого кони есть? — заговорил старик.

— И у суседей нет... Семишкина кобыла охромела, у других кони в пасеве. Да и какие у нас кони... Мерин один, да и тот кривой.

— Этакое пропащее место! — выругался старик и даже бросил свою шляпу оземь.— Параха, так как же мне с барином быть?..

— Увезешь назад в Кын,— хладнокровно ответила Параха, почесывая одной голой ногой другую.

Среднего роста, с бойким лицом и высокой грудью, эта Параха была по-деревенски завидная баба. Ветхий, истрепанный сарафанишко из линючего и гнилого ситца сидел на ней с тем особенным щегольством, как ходят только заводские бабы. Здоровая, загорелая Параха глядела вообще козырем, как все чусовские бабы, побывавшие на сплавах.

— Придется, видно, тебе, барин, на душегубке рекой подыматься,— решил наконец старик,— вот Параха в

лучшем виде предоставит... Предоставишь, Параха?.. Вон и лодки валяются: любую да лучшую выбирай.

Параха помялась для церемонии, а потом согласилась.

2

Наши сборы были недолгие. Параха сбегала в избу захватить пониток и краюшку хлеба, наказала что-то семилетней босоногой девчонке, потом перемолвилась через окошко с больной старухой — и все тут. Было часов около десяти утра, и в воздухе чувствовался наливавшийся летний зной. Наши лошади стояли, понурив головы, и тяжело отмахивались грязными хвостами от жужжавших слепней. Мы спустились под гору, к реке, где на берегу валялось до десятка лодок-однодеревок, известных под названием душегубок. Название самое подходящее, потому что, когда я поместился в одну из этих скорлуп, а за мной встала Параха с легким шестиком в руках, борта лодки отделялись от воды всего каким-нибудь вершком запаса.

— Надо бы с барина на шкалик...— говорил старик, отталкивая лодку.

— За что это шкалик-то?..

— Как же... Вот какая баба-то: дерево смолевое, да и солдатка к тому будет.

— Будет тебе, мелево!..— огрызнулась Параха и так двинула шестом, что наша лодка полетела вверх стрелой.

Нужно сказать, что чусовляне, как мужики, так и бабы, никогда не ездят в своих душегубках сидя, а непременно стоя. Маленькое и короткое веселко лежит в носу лодки только на случай, когда выдастся особенно глубокое место, где шестик не достает, или когда приходится переплывать реку. Около берега лодка всегда идет на шестике, то есть пловец стоит в носу лодки и упирается шестом в дно. Когда плывут двое, то можно полюбоваться,— душегубка летит вперед, как щука. С непривычки так и кажется, что в такой верткой и неустойчивой лодке вывернешься на десяти саженях, особенно в бойких местах, как чусовские переборы, где струя бьется в край лодки с шумом и точно нарочно старается опрокинуть ее. Но стоило присмотреться к той же Парахе, как она твердо стояла своими голыми ногами и как

ловко работала шестиком, чтобы всякий страх прошел навсегда.

— Ведь ты устанешь скоро? — спрашивал я, с удовольствием растягиваясь по дну лодки.

— Зачем устану... сызмальства на воде бьемся... привышны. А пристану, так бечевой пойду... не впервой.

Параха молодцевато взмахнула шестом, который едва доставал до дна. Несмотря на малую летнюю воду, Чусовая все-таки представляла и теперь громадную силу сопротивления,— чувствовалось, как струя била в дно лодки и точно не пускала ее вперед. Падение в некоторых местах было настолько велико, что положительно приходилось плыть в гору. Из сплавных рек Чусовая в этом отношении занимает первое место.

День был великолепный. Скоро сделалось до того жарко, что можно было изжариться в собственном соку. А Параха все помахивала своим шестиком, и можно было только удивляться железной выносливости этого на диво сколоченного тела. Ведь эта работа пойдет и час, и два, и три. Каждый шаг вперед покупался громадным напряжением, а лодка шла ровным, мерным ходом, точно работал не человек, а машина. Изредка Параха отмахивалась от одолевавших ее мух, отирала пот с лица и с улыбкой начинала опять мерять дно своим шестом.

Замечательная эта река Чусовая... Как все настоящие красавицы, она хороша неувядающей красотой, которая в каждое время года имеет своеобразную прелесть. Весной — это дикий, неукротимый зверь, который играет с ревом и стоном, бросаясь на теснящие каменные громады; осенью — это суровая, угрюмая река, которая льется точно по высеченному в горах коридору; зимой — настоящая спящая красавица, скованная льдом и запушенная глубоким снегом. Теперь, летом, Чусовая катится в зеленых берегах, мимо бойцов, горных теснин и крутых мысов ленивой струей, которая бурлит и бунтует только на переборах. Что-то такое ленивое и сонное, ласковое и сильное чувствуется кругом... Вон и кустики распушились по берегу и свесили над водой свои зеленые ветки, вон густая сочная осока зеленым бархатным ковром ушла в самую реку; вон красуются на берегу заливные луга, дремучий хвойный лес, свежие березняки и остальная лесная поросль. Откуда-нибудь из осоки бросается в воду утиный выводок, там насвистывают

кулички и разная другая болотная мелочь. Всем и честь, и место, и покой, и только на голых скалах остаются грязно-бурые полосы, обозначающие вешний уровень воды. Глядя на развертывающиеся пред вами картины мирного горного пейзажа, как-то отказываешься верить, что эта же самая река поднимается весной иногда на три сажени и сметает, как пыль, не только траву и кусты, но многолетние деревья. Хороша именно эта дремлющая сила, которая отдыхает теперь, как заснувший богатырь.

Да, мирно и тихо кругом. Горячо печет уральское солнце. Кое-где высыпет на берег мертвая деревушка, попадет гульная лошадь, которая мирно пасется в густой траве, обгонит лодка,— и опять зеленая пустыня охватывает вас своим чарующим покоем, точно плывешь в каком-то сказочном царстве. Вон и каменные дворцы, крепости, башни, валы... Там, высоко-высоко над головой, по уступам и трещинам лепятся горные ели и сибирские кедры, и кажется, что это не деревья, а живые люди. Вон спрятался за выступом скалы целый военный отряд, выше на скале неподвижно торчит часовой, а там из-за зубчатых стен выглядывают одни головы сказочных богатырей. Не хочется верить, что все здесь мертво и пусто. Воображение ищет движения и жизни, глаз придает человеческие формы дереву, ухо слышит и далекий звон, и окрик часовых, и неясный гул тяжелых шагов... Нет, это одна река, сжатая в каменных берегах, разговаривает сама с собой и рассказывает бесконечную сказку.

Мечтаешь с открытыми глазами и чувствуешь, как делаешься сильнее и точно лучше. Даже Параха на время превращается в сказочную улыбающуюся красавицу, которая ведет лодку куда-нибудь в замок...

— Ноне вода у нас страшенная была по весне,— говорит Параха,— коломенок страсть сколько убилось... Больше внизу, у Кумыша под бойцами.

— У Молокова?

— И у Молокова и у Горчака... Слышь, семнадцать барок один Горчак съел. Страсть была одна... Ну, и верховые бойцы тоже здорово играли. Сила не взяла на барках-то... Человек сотню бурлачков перетонуло, сердешных. Снега больно глубоки были, а весна выпала поздняя, дружная,— ну, река и взыграла. Теперь чусовлянам на все лето хватит работы: металл добывают из

воды, а потом грузить будут на полубарки да сплавлять по межени[1].

— А под верхними бойцами тоже много убилось коломенок?

— По всей реке... Наши деменевские страсть сколь денег зарабливают с убивших коломенок.

— А ты?

— И я робила... только вышла домой-то робятишек проведать. Тоже гребтится... В деревне-то одна старуха осталась. Кому горе да разоренье, а нам хлеб... это с убивших-то барок. Вон под Зайчиком их шесть штук расшиблось... с пшеницей шли. Ну, теперь который месяц кули из реки на берег тащат да сушат, а пшеница так и преет. Да вот сам увидишь...

Мы разговорились. Меня интересовала жизнь такой глухой деревушки, как Деменева. Но Параха не умела рассказать, что было мне нужно, то есть о других. О себе она говорила просто и толково. Неприглядная эта бабья жизнь. Она вышла за молодого парня, а потом мужа взяли в солдаты. Куда-то под хивинца ушел. После мужа осталось двое ребят.

Куда же идет эта лошадиная бабья работа, заботы, непокрытая нужда? Мне становится жаль Парахи, собственно, даже не Парахи, а той солдатки, которая сидит в ней... Что-то такое темное и стихийно-злое есть в человеческой жизни, которое роковым образом становится поперек дороги, как вот эти чусовские бойцы.

— Скоро, видно, и Зайчик будет,— говорит Параха, налегая на свой шестик с видимым усилием. В течение трех часов она отдохнула всего раза два, чтобы напиться.— Краюхина, Прова Михайлыча, слыхивали, может?

Я назвал пристань, где царил Пров Михайлыч.

— Он самый... Шесть барок убил ноне. Разорится, говорят... Только нечисто дело вышло у него...

— А что?..

— Да так... нечисто. Грех случился...

— Какой грех?

— Разное болтают: он на зайчиковских мужиков жалится, мужики — на ево... Всяк свое говорит. Конешно, не баская слава про Зайчики ходит, ну, да мало ли што болтают.

---

[1] Межень — летняя вода. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

3

Через четверть часа показался длинный мыс, на котором высыпала бойкая деревнюшка дворов в двадцать — она известна под именем Зайчиков [1] и получила свое название от страшного бойца, который стоит немного повыше деревни. Еще подъезжая к деревне, издали можно видеть верхушку большой известковой скалы; она стоит в крутой излучине, в самом прибое, и весной здесь ежегодно бьются барки. Этот боец пользуется громадной известностью у бурлаков; «игристый камешек этот Зайчик... веселенький».

Странно то, что этот боец создал деревню. Нужно кому-нибудь вытаскивать убитые барки, перегружать металлы и разный другой груз,— вот и выросла целая деревушка. Страшный боец каждый год давал работу на целое лето.

Вид деревни, как вообще всех чусовских поселков, не особенно привлекателен, и первое, что бросается в глаза, это — необыкновенная близость леса. Некоторые избы стоят почти совсем в лесу. По линии берега попадается несколько покосов, есть даже пашня — и только. Скотина пасется в лесу. Избы расставлены без всякого порядка; постройка хорошая, благо лесу не занимать стать. Правый берег гористый, левый, где выдался мыс, отлогий, и только вдали синеется горный скалистый гребень. Вообще место неприветливое и дикое. Жители — раскольники беспоповщинского толка, или, как говорят на Урале, кержаки.

— Пустая деревня-то, все на работе,— объясняла Параха, когда наша лодка ткнулась носом в песчаный берег.

— Под бойцом?

— Под ним под самым. Вон, видишь, черные кучи на берегу,— это все мокрая пшеница навалена. Около нее страсть сколько народу бьется...

— Ну что, устала?

— Не то штобы больно пристала, а только плечо ломит да поясница отниматься начала.

Параха улыбнулась, показав свои белые зубы. По

---

[1] З а й ч и к — вымышленное название: между Кыном и Межевой Уткой такого бойца нет, как нет и деревни. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

уговору она обязалась доставить меня в Зайчики и теперь поздравляла с привалом, как это делают все бурлаки. Взвалив мои пожитки на плечо, она зашагала к большой пятистенной избе, из ворот которой бросилось на нас штук пять собак.

— Пропасти на вас нет...— ругалась Параха, отмахиваясь от собак моим чемоданом.— Эй, кто дома жив человек есть!.. Сосипатр-то дома?..

Из глубины темного двора, крытого на раскольничий манер глухой крышей, послышался сначала старческий кашель, а потом несвязное бормотанье. Это и был Сосипатр, лысый, сгорбленный старик, едва тащивший свои кривые ноги. Он посмотрел на нас из-под руки, как смотрят против солнца, и заговорил:

— Это никак ты, Параха... и с барином, надо полагать.

— В лесу нашла да вот привезла тебе показать: может, поглянется, а не поглянется — вези дальше.

— Куда везти-то?..

— На пристань, на Межевую Утку.

— Коней-то нет дома... в пасеве гуляют.

— Пошлешь за коням,— решила Параха.

— А кто повезет? — спрашивал старик, продолжая разглядывать нас из-под руки.

— Сам повезешь... недалеко.

— Это на вершной-то?.. Востра больно! Из Деменевой везла барина-то?..

— Из Деменевой... Да ты што нас в избу-то не зовешь, дедко?.. Барин поись хочет и чайку испить... Пров-то Михайлыч, видно, у тебя проживает?

— Видно, у меня... Ну, заходите ин в избу. Спит Пров-то Михайлыч.

Мы вошли в темный двор, поднялись по крылечку и очутились наконец в избе, где на лавке спал Пров Михайлыч, а напротив сидела какая-то молоденькая девушка в ярком кумачном сарафане.

— Это ты, Лукерья? — удивилась Параха, складывая мое имущество на лавку.

Лукерья ничего не ответила, а только указала глазами на громадную фигуру Прова Михайлыча, лежавшего на лавке под окном.

— Да ведь он, сказывали, прогнал тебя? — шепотом говорила Параха, здороваясь.

— Сперва прогнал, а потом опять вытребовал,—

шепотом ответила Лукерья, искоса взглядывая на меня.— Замаялась я с ним, Паранюшка.

— Легкое место сказать: вот какое дерево... Вот што, Лукерьюшка, спроворь барину моему самоварчик. Я говорила Сосипатру, да ведь он забудет. Есть самовар-то у вас?..

— Как же, есть... У Прова Михайлыча свой есть. Я сама поставлю, скорее дело-то будет.

Когда Лукерья вышла из избы, Параха сообщила шепотом, что эта Лукерья и есть «главная причина» всему делу.

— Какому делу?

— Ну, убившие барки, значит... от нее все горе Прову-то Михайлычу. Вот ужо поедете, так Сосипатр дорогой-то все обскажет...

Пока старик ходил в лес за лошадьми и пока Лукерья ставила самовар, я пошел размять ноги. Деревня вся точно вымерла, и только оставались одни собаки. Все были около убитых барок. Я пошел по берегу к бойцу. Большие темные кучи, на которые указывала давеча Параха, оказались целыми валами из кулей с пшеницей. Несколько куч были из чистого зерна, которое «горело» на солнце. Ближе можно было уже слышать прогорклый запах зерна.

Несколько женщин были заняты разборкой мокрых кулей, другие рассыпали пшеницу, третьи переносили ее на носилках из одной кучи в другую. На самом берегу и в воде бродили десятки мужиков, разбиравших убитые барки и вытаскивавших кули из воды на берег. В воде и на берегу торчали обломки барочного леса; разобрано было только две барки, а четыре оставались еще в воде. Они сидели неглубоко, и можно было видеть разбитые части,— у одной выворочено было плечо, другая стояла с выхваченным боком, у третьей расщепало корму и т. д.

— Бог помочь! — поздоровался я с работавшими.

— Спасибо...

Громадные насыпи почерневшего зерна ужасно походили на муравьиные кучки, а ходившие по ним люди — на муравьев. Я сунул руку в одну из насыпей,— внутри было горячо. Вытащенную из воды пшеницу негде было просушить, и она теперь горела в этих насыпях.

— Был хлебушка, а стал навоз,— заметил старик, очевидно, наблюдавший за работой.

— Отчего мало рабочих у вас? — спросил я.

— Да где их взять-то?.. Негде взять,— вот и пачкаемся. По всей Чусовой ноне наколотило барок-то, ну народ и разбежался. Наш-то кормилец Зайчик вон какую работу наработал... страсть глядеть. В шести-то барках девяносто тысяч зерна было... Ох-хо! согрешили мы, грешные! Вон девкам по цалковому в день платим, а они, курвы, и знать не хотят... испотачались работой.

— Сколько барок разобрали?

— Да, видно, вторую кончают, а там еще четыре стоит в воде. Не знаю уж, когда это мы и подымем их. Главное, сила не берет насчет народу. А Пров-то Михайлыч свое... закутил не на живот, а на смерть. Тоже обидно, хоть до кого доведись.

Я присел на груду барочных досок и смотрел на работу. Разговаривавший со мной старик отправился к работавшим бабам и, вероятно, из желания показать свою энергию, начал их ругать на чем свет стоит. Бойкие чусовлянки, бродившие по пшенице голыми ногами, огрызались, а потом подняли старика на смех. Эта сцена с берега перешла в воду, где хохотали над расходившимся стариком мужики.

— Палкой-то, дедка, палкой валяй бабенок! — поощряли голоса.— Дуньку первую лупани...

Не дождавшись конца этой горячей сцены, я пошел к самому бойцу, до которого было с полверсты. Это была известковая скала, выдвинувшаяся в реку одним ребром. Наверху лепились мелкие елочки, точно сбежавшиеся в игре дети. Кругом разросся угрюмый ельник. Река текла под самой скалой, с тихим ропотом облизывая подножие бойца. При ярком солнечном свете получалась оригинальная картина, пожалуй, немножко дикая, но во всяком случае полная своеобразной прелести. Глаз искал чего-то страшного в этом бойце, но страшного ничего не было,— таких «камней» по Уралу разбросаны миллионы. Но весной — другое дело... Вы не узнали бы картины, когда Зайчик начинал «играть». Река под бойцом клокочет и превращается в пену; глухой рев несется далеко, точно борются насмерть два разъяренных чудовища.

4

— А ведь коней-то я не нашел, барин,— объявил мне Сосипатр, когда я вернулся в деревню.

— Вот тебе раз... Так как же я-то буду?

— Уж не знаю, родимый мой. Бегал-бегал по лесу-то, точно скрозь землю провалились мои кони. С боталами ходят, далеко слышно... А ты попей чайку покедова, может, они сами подойдут к тому времю. Овод гонит из лесу скотину-то...

— А на лодке нельзя подняться?

— Да кто повезет-то?.. Некому, родимый... Работы у нас не изработать. Кормилец-то наш дал вон какую задачу...

— Какой кормилец?

— А Зайчик... Им кормимся: чего пошлет, то и жуем. Ласковый он до нас... В прошлую весну барку с медью ушиб, в позапрошлую весну сортовое железко,— кажинный год хлеб дает. В сам деле, ступай в избу, там Лукерья все спроворила, а тем временем, может, и кони подойдут.

Ничего не оставалось, как идти в избу и «заняться чайком». Положение было самое безвыходное, и я обругал проклятую дорогу: не повезло с самого начала,— значит, так пойдет и до конца.

В избе кипел самовар, а за самоваром сидел сам Пров Михайлыч и пил чай. Тут же стояла на столе бутылка водки и лежала в газетной бумаге какая-то мудреная закуска. Пров Михайлыч принадлежал к разряду настоящих великанов, и его лохматая голова точно была привинчена к широким плечам. Грязная ситцевая рубашка была расстегнута, и из-под нее выставлялась богатырская волосатая грудь. Около стола сидели и Лукерья с Парахой и тоже пили чай. Лукерья была девушка лет семнадцати, белокурая, свеженькая, с розовыми губами и такими красивыми серыми глазами. В простом народе редко попадаются вообще красивые женщины, а белокурые в особенности. В этой Лукерье еще сохранилось что-то детское, что пропадает в зрелой женской красоте.

— Пожалуйте...— хрипло проговорил Пров Михайлыч, тяжело поднимая голову.— А водки прикажете?

— Нет, благодарю.

— Ваше дело... Значит, мы с Парахой выпьем.

— Я и то выпила, Пров Михайлыч... напьюсь пьяная,— нехорошо будет.

— Ну, ну... с солдатки нечего взять: вся своя.

Параха, видимо, конфузилась, но с устатку ей хоте-

лось выпить. После некоторого ломанья она взяла рюмку и выпила ее как-то по-куричьи, маленькими глотками и закинув голову назад.

— Отлично...— похвалил Пров Михайлыч и сразу выпил две рюмки, не моргнув глазом, точно два гвоздя заколотил.

— Ох, захмелела я...— плаксиво жаловалась Параха, вытирая губы рукавом рубашки.— На тебе будет грех, Пров Михайлыч.

— Ладно, ладно... Мне уж заодно маяться-то.

Мы долго пили чай молча. Параха улыбалась и все толкала локтем молчавшую Лукерью. Пров Михайлыч долго смотрел в налитый чаем стакан и задумчиво повторял: «Да... дда-а!» В избе было страшно жарко. Где-то жужжала муха. Вошел старик Сосипатр и по мужицкой вежливости раскланялся со всеми.

— А... старый колдун! — протянул Пров Михайлыч.— Хочешь чаю?

— Спасибо, родимый мой... Смолоду-то што-то не привык я к вашим чаям, а на старости лет грешить не приводится.

Старик присел на лавочку и улыбавшимися глазами посмотрел на раскрасневшуюся Параху.

— Ох, ешь тебя мухи с комарами...— бормотал Сосипатр.— Размалела!

— И то размалела...— соглашалась Параха и кокетливо закрыла лицо рукавом.— Все Пров Михайлыч... его грех.

— Прову-то Михайлычу не привыкать с бабами возиться... Одна Лукерья чего стоит.

— Ты опять, старый черт?! — закричал Пров Михайлыч и ударил по столу кулаком.

— Дело говорю... Али не поглянулось?..

— Ты еще поговори у меня!.. Возьму старого черта за ногу да прямо в воду.

Женщины переглянулись и хихикнули.

— В воду? — не унимался Сосипатр.— Этакое ты слово сказал, Пров Михайлыч... А уж тебе-то надо бы ровно знать, какая она такая эта самая вода бывает.

— Не тронь, Сосипатр,— вступилась неожиданно Лукерья,— твое разе это дело?..

— А ты чего заступаешься... а?

— А вот заступаюсь.

— Утопить бы тебя, курву... Слыхала?.. За хвост да

и бросить, как кошку... Ишь выискалась тоже... Убежала небойсь, как тогда бурлаки наступили... не поглянулось!..

Пров Михайлыч слушал эту ругань, а потом неожиданно засмеялся. Старик посмотрел на него, плюнул и выбежал из избы.

— Ишь, как его разбирает, колдуна...— смеялся Пров Михайлыч.

Лукерья сердито посмотрела на пьяного купца и опустила глаза.

— Ну, ты чего на меня-то сердишься, Луша? — ласково заговорил Пров Михайлович и потянулся своей волосатой рукой к девушке, но Лукерья еще дальше отодвинулась от него.

К моему удивлению, лошади действительно пришли сами, и через час после чая мы уже выехали из деревни. Сосипатр ехал на рыжей кобыле без седла рядом со мной и смешно болтал голыми ногами, когда лошадь пускалась трусцой. Мы проехали мимо разбитых барок, где теперь все было тихо. Народ только что пообедал и отдыхал, кому где показалось лучше. Большинство искало спасенья от летнего зноя в тени кустов, некоторые заползли под барочный лом, из-под которого выставлялись только одни ноги, а двое спали прямо на солнце, раскинувшись в самых отчаянных позах.

— Так это ваш кормилец? — спросил я Сосипатра, когда мы проезжали мимо бойца.

— Прямой кормилец... А то как же, по-твоему?.. Целая деревня около него кормится... По-твоему, камень, мол, и вся тут. Тоже камень камню розь, родимый мой. Тоже вот вода... Поглядеть, так оно самое простое дело, а ежели головой своей подумать хорошенько, так она, вода-то, точно что вода, да не просто.

— А какая же вода?..

— Такая... Она вон как подыграла Прова-то Михайлыча. Вот тебе и вода. Тыщ пятьдесят рублей выдула из кармана-то единым духом. Вот она какая...

Меня заинтересовал этот разговор. Старик был разговорчивый, и мы болтали всю дорогу. Лошади знали дорогу и не нуждались в поводьях.

— Теперь взять Прова Михайлыча,— рассуждал Сосипатр,— богатенный купец по Чусовой, денег у ево —

страсть. А от кого жить пошел? От матушки Чусовой... Сначала по малости сплавлял разную кладь, больше по межени на полубарках, а потом, как в силу вошел, и развернулся. Вон сколько хлеба ноне скупил, да не привел господь до конца, значит, довести: Зайчик не пустил... Стой!.. Будет баловаться. Ты играть, и я с тобой поиграю. Вот и вышла игрушка...

— Какая игрушка?

— Ну, а которая в избе с ним сидит... Лукерья эта самая. Из-за нее ведь все дело вышло. Раньше-то Пров Михайлыч степенный человек был, а как разбух от своих денег,— дурь эта самая в нем и заходила. Жена своя есть, дочь на возрасте, а он себе вон Лукерью припрег... И курва только девчонка!.. Обошла мужика, окружила совсем... Плачет ведь он без ней, как ребенок без матери. Нечистое дело, одним словом.

— Откуда она, Лукерья-то?

— Да наша же, чусовская, с верхних прист откедова-то. Ну, путался с ней Пров-то Михайлыч, а весна, надо караван сплавлять. Ну, все наладил, ка ку[1] выстроил, а в казенку-то вот эту самую Лукерью посадил. Как это, по-твоему: ладно или неладно?.. Матушка-земля всякий грех в себе терпит, а вот вода-то не любит этого, пакости-то нашей не любит. Набрал Пров Михайлыч что ни есть лучших сплавщиков, поставил на свои барки бурлаков в полной мере, только плыви... А оно вышло не так. Тридцать лет по Чусовой-то плавал Пров Михайлыч, понадеялся, ну, а тут и казенку и другие барки под Зайчиком и убило.

— Да ведь не у него одного барки нынче разбило?

— У других другое, родимый мой... У других-то из шести барок одну убьет, много две, а тут все шесть Зайчик съел. Это уж неспроста. Вода не хотела поднимать его-то озорство. Разве так добрые-то люди плавают?.. Тут надо с молитвой да со страхом, а он придумал в казенке с Лукерьей обниматься. Ты как полагаешь насчет этой воды?.. Ведь она вся живая, она чувствует... да. Посмотри-ка, как наша Чусовая примется по весне свои разговоры разговаривать: только стон стоит. Это она веселится, кормилица. Тогда, как убило под Зайчиком казенку-то, так Лукерью едва вытащили из воды, совсем было захлебнулась. Сам-то Пров Михайлыч как

---

[1] Казенка — барка с каютой. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

осетер плавает, ну, он ее и выволок на берег... Тут опять бурлаки накинулись на нее, на Лукерью.

— А они за что накинулись?..

— За это за самое, што из-за нее все досыта воды нахлебались. Тоже понимают... Так расстервенились — страсть. В воду хотели бросить. Едва она тогда убежала. Ну, а потом Пров-то Михайлыч нарошно за ней, курвой, посылал. Я же и ездил...

1886

5 Заказ 363

Волчья песня

Очерк

I

Короткий зимний день уже начинал смеркаться. На улице вьюга так и завывала, как голодный зверь. Когда Сила Мокин вышел из своей избенки, он едва устоял на ногах,— ветер так и рвал. Правда, что Мокин плохо держался на ногах, которые были застужены на тяжелой промысловой работе, когда приходилось по целым дням стоять в ледяной воде. Все это и сказалось. Теперь Мокин уже не мог работать, а промышлял разными делами. В Кушву (в Среднем Урале) наезжали постоянно золотопромышленники, искавшие счастья, и Мокин являлся одним из первых, долго топтался на одном месте и потом сообщал таинственным образом:

— А у меня есть на примете одно местечко...

Затем он таинственно добывал из-за пазухи или из-за голенища тряпочку, в которой были завернуты «знаки»: в одной тряпочке несколько долей россыпного золота, в другой — кварц с вкрапленным в него золотом, в третьей — с ползолотника платины. И разговор шел короткий:

— Верное дельце, ваше степенство! Вот как будете благодарить Силу Мокина...

В Гороблагодатском казенном округе все земли были открыты для частной золотопромышленности, и развилась настоящая золотая лихорадка. Некоторым повезло, и эти счастливцы являлись живым примером для всех остальных. В Кушве, как в центре всего Гороблагодатского округа, складывались целые легенды, как отыскивали золото, причем история повторялась с небольшими вариантами одна и та же: пришел мужичок, вытащил из-за пазухи грязную тряпочку и т. д. О тех, кто прогорал на промыслах, быстро забывали, как забывают дурной сон. Сначала мужички действительно говорили правду, и если случалось обмануть, то не по своей вине. Такое уж азартное дело, что они сами начинали верить

в свои «знаки» и разные заветные места. Потом явились мужички похитрее, которые уже заведомо шли на обман, только бы соврать получше да сорвать задаток. Лучше всех в этом отношении проявил себя Сила Мокин, обманывавший направо и налево. У него прежде всего была подкупающая наружность — широкое бородатое лицо, смотревшие так прямо глаза; а потом Сила Мокин не лазил за словом в карман и умел заговорить зубы кому угодно, только слушай.

В «казенное время», когда делали разведки золота казенные инженеры, Мокин участвовал в поисковых партиях и хлебнул горя досыта вместе с другими, приписанными к казенным заводам, крестьянами и мастеровыми. Время было строгое, и казенное дело велось на военную ногу. Чуть что — сейчас казаки пропишут такую баню, что не скоро забудешь. Именно в это время Мокин набрался всяких сведений по золотому делу и знал все места кругом не на одну сотню верст, чем и воспользовался впоследствии, когда явились частные золотопромышленники, а он обезножел, как опоенная лошадь. Нужно и то сказать, что у Мокина была необыкновенная память: раз он увидел или услышал — точно топором зарубил.

Удивительнее всего было то, что несколько из указанных им мест «оправдали себя», то есть в них нашли обещанное золото. Другие мужики, промышлявшие обманом золотопромышленников, часто корили за это Мокина.

— Прохарчил опять местечко, безногий черт!.. Этак скоро и житья не будет нашему брату. Все на тебя пальцами указывают...

— А кто его знал, что там золото оправдается! — говорил Мокин, разводя руками.— Зря сболтнул, за красный билет, а оно вон что вышло... Не моя причина, ежели у меня на золото рука легкая...

Вообще Сила Мокин пользовался известной репутацией, и чем он больше врал, тем больше ему верили. Последнее удивляло даже самого Мокина, когда он повторял, как урок, всем одно и то же. Люди, ослепленные жаждой быстрой наживы, точно теряли ум от одного слова «золото».

Так промышлял Мокин больше десяти лет и жил себе помаленьку, хотя и случалось иногда голодать, когда не было работы. Надо же в самом деле как-нибудь

жить, а у купцов все равно деньги дикие. Но года два как дела у Мокина пошли совсем плохо, и счастье точно откачнулось от него. Придет, начинает врать — и ничего не выходит.

— Сбесились проклятые купцы...— ругался Мокин.— Все равно кому-нибудь другому поверят.

Так и выходило, что верили другим, и эти другие получали задатки.

— Знаем мы тебя, сахара! — говорили Мокину купцы и прибавляли: — Тебе, первое дело, шею нужно накостылять, старому черту, чтобы не обманывал публику.

— Ах, бож-же мой!.. да я... да провалиться сейчас на этом самом месте, ежели я...

— Ладно, разговаривай!..

Очевидно, всю практику у Мокина отбили более счастливые конкуренты, которые умели говорить другие, более убедительные, слова. Старику приходилось все более и более голодать, одежонка обносилась, изба тоже сделалась холодной — одно шло к одному.

2

— Эх какая непогодь! — ворчал Мокин, чувствуя, как холодный ветер точно ощупывал его дырявую шубенку, чтобы проморозить до самой души.— Ну, брат, шалишь!.. Вот ужо такую шубу себе укупим... да.

В последние годы заветной мечтой Мокина была шуба. Да, настоящая шуба из лохматой и жесткой степной овчины. Он, размечтавшись о будущем, даже чувствовал крепкий дубленый запах от этой шубы и скрытую в ней благодатную теплоту. Ведь Сила Мокин мерз и колел от холода целую жизнь, но тогда был молод, а сейчас стало не под силу. Другой мечтой Силы Мокина было «горяченькое». Раньше он мог питаться одним хлебом, а сейчас его мучил голод. Хорошо бы пшенную кашу сварить, горошницу, картошки поджарить, щи из крупы...

Сила Мокин шел и мечтал. Да, плохо его дело. Главное, старость начала одолевать. Того гляди, и помирать пора... Долго крепился старик, но дальше стало невмоготу, и он решил пустить последнее средство, которое берег про запас. У него действительно было одно заветное местечко с самым верным золотом, но он его берег про черный день, чтобы продать наверняка. Ког-

да-то думал, что сделает заявку сам, но заявка стоила не меньше сотенного билета, да жди год или два отвода — хлопотам бедному человеку и конца-краю не будет. Нужда и нездоровье заставили прибегнуть к последнему средству.

«Прямо приду к Ивану Митричу и скажу: на, получай, твое, значит, счастье! — думал Мокин, с трудом вытаскивая ноги из снега.— Невмочь стало...»

Иван Митрич был великой силой. Он покупал и продавал прииски десятками, и желающие попытать золотого счастья обращались теперь уже прямо к нему, избегая измотавшихся мужиков, обманывавших направо и налево. В несколько лет Иван Митрич разбогател и забрал великую силу. У него явился новый полукаменный двухэтажный дом, свои лошади и все остальные атрибуты туго сколоченного счастья.

На счастье Мокина, Иван Митрич оказался дома. Это был плотный, румяный мужчина, ходивший в «трухмальных» рубахах. Он узнал Мокина и весело проговорил:

— Ну, каково прыгаешь, старичок?

— Не до прыганья, Иван Митрич... Болесть одолела, работать не могу, есть нечего... Изнищал вконец. Вот пришел к тебе поговорить...

— Местечком обмануть хочешь?

— Зачем обманывать, Иван Митрич?.. Грешно обманывать. Прежде по малодушеству случалось, а нынче мы этим делом не занимаемся...

— Так, так... Заговаривай зубы, старичок! Ну, как дальше?

— А все то же, Иван Митрич... Про запас оставлял местечко, ну, а уж теперь вконец устигла нужда... Хоть по миру идти, так в самую пору. Обносился, есть нечего...

Иван Митрич громко расхохотался.

— Ха-ха... Была у волка одна песня, да и ту ты перенял? — говорил он.

— В самый раз, Иван Митрич: истинно волком вою...

— Так уж ты того, Сила, кого-нибудь другого обманывать иди, а меня не разжалобишь. Стара штука...

— Иван Митрич... ах, боже мой... Да я... вот с места не сойти, ежели обману...

— Ладно, ладно... У вас у всех и слова-то одинаковые...

— Да ведь мы чужестранных купцов обманывали, Иван Митрич, а тебя-то где обмануть!

Иван Митрич хохотал до слез. Очень уж просто хотел обмануть его вороватый мужичонко.

— Вот что я тебе скажу, Сила,— заговорил он, вытирая глаза шелковым платком.— Покажи мне, к примеру, как будто ты говоришь сущую правду...

— Иван Митрич, голубчик, да я...

— Нет, не выходит. Ну-ка, еще попробуй... Припомни, как прежде обманывал других, и говори. Двугривенный за труды получишь...

— Да, Иван Митрич, будь отцом родным... Правильное место, сам хотел заявку делать...

— Так, так... Дальше валяй.

— Не хватило, значит, силы-мочи... И место-то совсем близко, вскрыша верховика до песков всего два аршина, речка поблизости... Знаки правильные: со ста пудов песку будет падать верных долей шестьдесят. Богатство... А главная причина в том, что совсем близкое место, прямо рукой подать. Другие-прочие народы все дальше идут, точно золото схоронилось в какой трущобе, а оно совсем близко, под носом. Потому и осталось, что близко.

— Валяй, валяй... Совсем похоже на правду. Ну, так ты, значит, продаешь место?

— И даже очень, Иван Митрич... Задатку дашь, если милость будет, ну, пять красных бумажек, а там, глядя по делу, не обидишь старика...

— Значит, пай хочешь получить?

— Какой там пай!.. Как твоя милость пожалеет старика — вот и весь пай.

— Ну, а где место-то?

Сила Мокин замялся.

— Сказать, оно, конечно, отчего не сказать, Иван Митрич, только ты мне сперва задаток выдай... пять красненьких... Ну, тогда и сурьезный разговор будет...

Иван Митрич так и прыснул со смеха. Все старик говорил, как правду, а тут и сорвался.

— Нет, не вышло у тебя под конец, Сила!

— Иван Митрич, да сейчас провалиться, ежели вру. Ах, боже мой!..

Иван Митрич сунул ему обещанный двугривенный и велел убираться.

— Нет, прежде ты лучше умел под правду говорить, а сейчас ничего не выходит.

3

Старик Мокин вышел от Ивана Митрича в каком-то тумане. У него даже перед глазами рябило. А вьюга так и выла, точно хотела смести с лица земли старого промыслового волка.

«За что, господи?» — думал он, напрасно перебирая в уме, к кому бы еще ему зайти.

Время стояло зимнее, глухое, а золотопромышленники наезжали в Кушву только под весну, о великом посте. Идти домой, чтобы голодать и зябнуть,— не стоило. Лучше уж околеть на улице, как бездомной собаке.

— Разве толкнуться к Пашке Горбунову? Еще, пожалуй, в шею попадет, ежели под пьяную руку...

Но выбирать было не из чего, и Сила Мокин потащился на другой конец завода, через плотину. Прежде у Мокина с Пашкой бывали дела, то есть Мокин обманывал Пашку. Впрочем, и другие тоже его обманывали. Пашка уже лет пять как прогорел окончательно и периодически пил запоем. Когда-то богатый купеческий дом, устроенный так же, как и у Ивана Митрича, быстро ветшал, и половина окон была закрыта наглухо ставнями. Калитка стояла открытой,— на дворе нечего было взять не то что ворам, а и самому хозяину. В кабинете виднелся, впрочем, огонь, и Мокин отправился на кухню, чтобы вызнать предварительно, в каком виде хозяин.

— В самом лучшем виде...— сурово объяснила старуха кухарка.

Когда-то горбуновский дом был полная чаша, а сейчас из каждого угла веяло мерзостью запустения. Жену и детей Пашка выгнал и жил совершенно один, пропивая последнее. Мокин помнил расположение комнат и ощупью добрался до хозяйского кабинета. Пашка лежал на диване с папироской. Он повернул свое опухшее от пьянства лицо и спросил:

— Тебе чего нужно, идол?

— Павел Мартыныч, до вашей милости...

— Ах, ты... Подходи ближе, я тебя тресну, а то лень подниматься.

— Виноват, Павел Мартыныч... Действительно, был такой грех: всего два раза обманул тебя. Хотел еще в третий раз обмануть, да ты тогда чуть меня не убил...

— И следовало убить... Так ты сейчас опять меня пришел обманывать? Убирайся... растерзаю...

— Какой же это разговор, Павел Мартыныч... Разе бы я посмел, ежели што... А местечко действительно есть... Я сейчас от Ивана Митрича... Прогнал он меня. «Не умеешь, грит, правду говорить, а ступай, грит, поволчьи повой». Ох, трудно, Павел Мартыныч... А местечко-то совсем правильное, для себя берег. Ну, а теперь не к чему стало и беречь... Помирать приходится...

Пашка засмеялся, как давеча Иван Митрич.

— Ну, ну, ври дальше, старый черт!..

— Нечего мне врать: весь тут, дома ничего не оставил...

Покоры враньем наконец озлобили старика, и он начал ругаться.

— Ничего вы все-то не понимаете! — кричал он.— Когда врал, так все верили; а когда говорю правду, так не верите... да. А сами как слепые котята у чашки с молоком; надо каждого рылом тыкать в молоко...

Этот взрыв негодования развеселил Пашку. Он удушливо хохотал, запрокинув голову. Вот так старичок, истинно сказать — уважил.

— Ай, дедко! Ну, позолоти еще... Ах, прокурат!.. Совсем позабыл, как и обманывают добрых людей... Прежде-то куда лучше обманывал. Похоже было на правду... С меня два раза тогда содрал задатки. Ну, ну, давай!..

Мокин впал в бешенство. Он бросил свою рваную шапчонку оземь и как-то захрипел:

— Я?! вру?! Да вы, идолы, разе можете понимать что-нибудь?! На нашем мужицком горбе выезжали всю жисть... Кровопивцы вы, вот что... Вам вот смешно, когда правду говорят...

— А ну, скажи, где золото?

— И скажу...

— Да я и сам знаю твое место... Так и называется: не положил — не ищи.

— А вот и врешь, Павел Мартыныч... Теперь уж, видно, я над тобой посмеюсь.

— А ну, посмейся...

Мокин имел ужасный вид. Бледный, с округлившимися глазами, он весь трясся, как в жестокой лихорадке.

— Я?! я вру?! — бормотал он в исступлении.

— Да ты место-то укажи... Соври еще разок,— ведь не дорого дано.

Старик подошел к нему совсем близко и с пеной у рта проговорил:

— Про Кривые Лужки слыхивал? Всего-то верстов с десять... Ну, там еще старые казенные ширпы остались... у ключика, где лоток надвое расходится...

— Будет, будет, уморил!.. Да кто Кривых Лужков не знает? Ах ты, прокурат, чем надуть хотел...

Старик хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой. Он поднял свою шапку с полу, нахлобучил ее и, не оглядываясь, вышел, как пьяный.

Утром его нашли замерзшим на заводском пруду. Старик, вероятно, выбрал дорогу поближе, обессилел и замерз.

Пашка Горбунов сделал заявку в Кривых Лужках и снова разбогател.

1899

У святых могилок

Эскиз

1

Платон Шмаров, бывший сибирский исправник, шел по узкому степному проселку и отчаянно ругался.

— Подлецы... негодяи... канальи!.. Драть их всех надо... И еще как драть... Попали бы ко мне в лапы, так я бы им показа-ал!.. Всю станицу бы перепорол... Разговор короткий: раз, два, три — и готово. У меня вся станица запела бы петухом...

Ругался Шмаров как-то особенно, точно стрелял словами, которые вылетали из-под щетинистых, желтых от табаку усов с сухим треском. Иногда он останавливался, чтобы перевести дух, и, оглядываясь кругом, грозно спрашивал:

— Что-о?!

Его строгое лицо, изборожденное сетью морщин, было покрыто бронзовым загаром. Щетинистая, давно не бритая борода придавала ему какой-то волчий вид, а серые детские глаза точно из противоречия смотрели добродушно и доверчиво — все остальное лицо сердилось, а глаза оставались добрыми. Для своих лет старик сохранился очень хорошо, и во всей фигуре и движениях чувствовалась николаевская выправка. Ни сборный костюм, приспособленный для дороги пешком, ни годы, ни старческая седина — ничто не могло вытравить военного закала. Помахивая длинной черемуховой палкой, Шмаров время от времени выкидывал разные военные артикулы, припоминая доброе старое время. Котомка за плечами казалась ему ранцем, и только смущали панталоны, заправленные в сапоги, чего «тогда» не полагалось. А Платон Шмаров «замирял» еще Шамиля, маршируя перед ротой, как на парад. Эх, все прошло, все миновало...

— Мошенники... жулики... архаровцы! — ругался старик, вышагивая солдатским шагом.— Где же ближе-то? От Коноплянской станицы по тракту до Плетешков двадцать три версты... так? А ближней дорогой на во-

семь верст меньше... Вот тебе и меньше!.. Три часа иду, а Плетешков и не видать. Хороших пятнадцать верст отмахал... Старый дурак, кому нашел поверить: казачишкам. «Тут ближе...» А я и поверил. Что-о?! Дурака свалял, а казачишки теперь надо мной же хохочут. Нет, погодите, я вам покажу-у... Антихристы, душегубы, обормоты... Когда обратно поеду, непременно остановлюсь в Коноплянской и проберу всех. Раз, два, три — и кончено!.. Остолопы, мерзавцы, христопродавцы... рракалии!..

Настроение путешественника как-то не соответствовало ни времени года, ни окружающей обстановке, ни яркому солнечному дню. Кругом расстилалась безбрежная Барабинская степь, походившая на яркий восточный ковер — так было много всевозможных цветов. В густой степной траве горячо били перепела, звонко стрекотали кузнечики, а в воздухе точно висела замирающая трель невидимых глазом жаворонков. От травы поднимался тяжелый аромат. Над цветами кружились пестрые бабочки. Самый воздух, казалось, жужжал и гудел от избытка наполнявшей его жизни. В вышине мертвыми точками стояли степные ястреба, зорко выглядывавшие свою добычу. Пыльная степная дорожка, точно посыпанная угольным порошком, колесила из стороны в сторону, так что Шмаров никак не мог угадать направления, по которому должны были показаться точно спрятавшиеся от него Плетешки. Где-то в стороне столбом поднимался густой дым — может быть, горела какая-нибудь казачья станица, может быть, занялась огнем сама степь.

«Еще изжаришься, как заяц,— мелькнула в голове Шмарова тревожная мысль.— Прошлогодней сухой травы сколько угодно...»

Он начинал испытывать усталость. Потом хотелось пить. Табак оставался на самом донышке кисета. Одним словом, все одно к одному, как это случается только с доверчивыми путешественниками. Под конец Шмаров даже ругаться перестал, истощив весь запас ругательных слов, и шагал вперед по инерции заведенной машины. Как опытный пешеход, он знал, что теперь садиться нельзя, а то разомлеешь и не поднимешься. На его счастье, когда силы уже начинали его оставлять окончательно, впереди обрисовалась, повитая синеватой дымкой степного марева, какая-то темная масса.

«Плетешки...— подумал он.— Вот бы хорошо молока напиться, а то холодного кваску... А ежели это лес? Ну, какой в степи лес...»

Старик даже протер себе глаза, чтобы убедиться, уже не блазнит ли ему. Нет, темная масса продолжала оставаться на месте. Он прибавил шагу. На глаз оставалось сделать версты полторы-две, хотя расстояние в степи, как на воде, трудно определить. Через полчаса Шмаров убедился, что темная масса — просто редкий березовый лесок, из которого поднималось до десятка столетних сосен. Очевидно, тут была вода, и Шмаров еще прибавил шагу. Скоро он начал уже различать отдельные деревья, и ему казалось, что в воздухе уже чувствуется свежесть, какую дает только одна вода.

— Эге, вот так штука!..— вслух изумился Шмаров. Всего удивительнее было то, что около леса не было видно ни одной крыши или какого-нибудь другого признака жилья. Та же степь кругом, зеленая, цветущая, безграничная, как море.

— Чье-нибудь именье,— думал он вслух.— На помещичью усадьбу похоже. Ни дать ни взять, как у нас в Тамбовской губернии.

Когда он подошел совсем близко к таинственному леску, оказалось, что он стоял совершенно одиноко в степи, на краю обрыва, мимо которого сочилась в зеленых зарослях безымянная степная речка. Сквозь редкую сетку деревьев можно было рассмотреть и Плетешки, до которых, как оказалось, отсюда было рукой подать.

— Вот так местечко...— думал вслух Шмаров.

Его опытный полицейский взгляд сразу открыл присутствие человека. Этот человек сидел на корточках в тени березы и что-то такое делал, нагибаясь к самой земле. Можно было подумать, что он молится, но неизвестный человек просто пил воду, черпая ее пригоршней из не видного в траве ключика. По полицейской привычке Шмаров осторожно подкрался к нему, схватил за плечо и строго проговорил:

— Что за человек?!

— А мы, значит, рязанские будем...— певуче ответил небольшой сгорбленный старичок, снимая «расейскую» шляпу-гречневик.— Значит, Рязанской губернии...

— А паспорт есть? — еще грознее спросил Шмаров.— Знаем мы вас, Рязанскую губернию...

Старичок приветливо улыбнулся и полез за пазуху,

откуда вытащил сверток тряпиц. Он медленно развернул их и достал несколько свернутых в трубочку бумаг. Шмаров, присев на траву, медленно принялся их читать. Тут был и паспорт на имя крестьянина Ильи Моисеева Гладкова, и увольнительное свидетельство от общества, и какая-то копия с прошения земскому начальнику, и даже афиша о престидижитаторе Маретти, который извещал почтеннейшую публику о своих представлениях. Старичок следил, как Шмаров читал его бумаги, и продолжал улыбаться. Господи, сколько народу перечитало эти бумаги, сколько всякого начальства, а взять нечего — все правильно, комар носу не подточит. Читая паспорт, Шмаров проверил приметы: шестьдесят четыре года — есть, лыс — есть, борода окладистая, седая — есть, глаза серые — есть, на левой руке половина мизинца рублена — есть, особых примет не имеет.

— Вот только рост у меня не подходит,— объяснял старичок.— Значит, меряли-то молодого, а сейчас я уже в землю расту. Предел, значит...

— Так, так...— соглашался Шмаров, свертывая бумаги в трубочку.

— Уж будьте без сумления...

— Куда? Откуда? Зачем?

— А, значит, Силантий...

— Какой Силантий?! Паспорт имеет?

— Вполне обвязан... Он, Силантий, значит, на Алтае и, значит, письмо...

— Грамотен?

— Куда грамотен — ни в зуб толкнуть.

— Как же он писал письмо?

— А такого человека подыскал... Ну, значит, и пишет.

— Что он пишет?

— Разное... Все, значит, как есть, потому человек обстоятельный и вполне может соответствовать.

— И ты тоже можешь соответствовать?

— Тоже вполне, потому как опчество меня, значит, обдоверило... «Надеемся, говорит, на тебя, Мосеич». Вот оно как...

2

Шмаров прежде всего снял котомку и сапоги, а потом уже зачерпнул из ключика воды походным стакан-

чиком и с жадностью выпил благодетельную влагу.

— Хорошо...— проговорил он, обращаясь к Мосеичу.

— Уж на что лучше... Первый скус. Ключик-то студеный...

Шмаров снял с себя поношенный пиджак и, расстегнув ворот рубашки, долго и тщательно мылся. Мосеич обратил внимание, что он очень уж фыркает, и решил, что «надо полагать: из господ». В тени берез после степного зноя казалось так прохладно. Рассеянный свет падал сверху золотой пылью. В траве тихо колебались жирные золотые пятна, точно они просачивались в землю. Место, вообще, было самое уютное, манившее на отдых.

Повыше ключика, опушенные кустами, виднелись кучи каких-то камней. Шмаров обратил на них внимание и сделал опять сердитое лицо.

— Что это такое? — строго спросил он Мосеича.

— А камни...

— Для чего они здесь?

— Кто их знает... Даве в Плетешках сказывали, будто это святые могилки. Значит, башкирцы раньше здесь в степи жили, еще до киргизов, ну, у них свои святые старички были... Вот они и похоронены...

— А откуда камней набрали?

— А это у них такой обычай: кто идет поклоняться могилкам, тот и несет с собой камень. В том роде, как у нас свечи ставят...

— Вот дураки! — обругался Шмаров по адресу неизвестных богомольцев.— Да тут камня за двести верст не найдешь... Изволь-ка его тащить.

— А может, у кого грехи, ну, значит, и тащит,— просто объяснил Мосеич.— Значит, как у нас, по обещанию... Тоже вот у кого лихая болесть... значит, разное...

Шмаров, не торопясь, распаковал свою котомку. Сначала он разостлал на траве пестрый ситцевый платок, заменявший салфетку, потом добыл завернутые в бумагу «консервы», то есть вяленую на солнце и твердую, как камень, баранину, какую-то вяленую сибирскую рыбу и несколько ломтей пшеничного хлеба.

— Эх, кабы котелок...— проговорил он, качая головой.— Сварить бы эту музыку и горяченького хлебнуть... А нехорошо с котелком идти: как раз за не помнящего родства бродягу примут.

Обернувшись к Мосеичу, он строго спросил:
— А ты за кого меня принимаешь?..
— Известно, из господ... Вся повадка, значит, господская.
— То-то!.. И господа господам разница...
— Значит, оно, конечно, бывают настоящие господа и, значит, господа так... одно званье...
— Дурак!.. Не нашли, видно, твои деревенские кого поглупее послать... Да и твой Силантий тоже дурак!
«Этакий мудреный барин...— думал про себя Мосеич, улыбаясь.— Этаких-то шляющих господ у нас в Рязани в обжорном ряду сколько угодно».
С трудом прожевывая тоненькие ломтики баранины, Шмаров опять вспомнил нанесенную ему обиду казаками Коноплянской станицы и начал ругаться с особенным ожесточением. Он перебрал весь свой лексикон и наткнулся на Мосеича:
— И тебя из Плетешков послали ближней дорогой? Ха-ха... Ах, старый дурак!..
— Ближе, сказывают, ну, я и пошел...
— Вот-вот!.. И я также поверил... Ты как придешь в Коноплянскую, так и скажи казачишкам, что, мол, вас, подлецов, исправник Платон Шмаров не забудет. Кланяется, мол, и помнит...
При слове «исправник» на Мосеича напала оторопь. Он хотел даже встать из вежливости; но Шмаров его остановил:
— Сиди, старый черт... Прежде я был исправником, а теперь отставной козы барабанщик... Да. Когда вернусь из Петербурга в Сибирь, ну, тогда другое, и постоишь досыта, а теперь сиди. Да, так Силантий-то пишет?
— Все описывает, ваше высокое благородие... Значит, уж он все там вызнал. Земля, пишет, овчина овчиной, что касаемо травы — человека не видать, земли неочерпаемо, скотина нипочем... Все, значит, в аккурате.
— Так, так...
— А мы, значит, захудали в Расее... Чересполосица одолела, земля выпахана, ренда — приступу нет, кругом начальство... Курицу некуда выпустить. А там приволье... Мы лесу-то и не видели, а там лес-то — в небо дыра, пишет Силантий. Он все, значит, вызнал и обозначил

в письме... И пчела ведется, и рыбы по речкам уйма, и рябчики в лесу — оно при хозяйстве-то все пригодится. Силантий-то и присмотрел в аккурат.

— Так, так...

— По лесу, пишет, гриба всякого, ягоды...

Мосеич присел на коленки и откладывал открытое Силантием добро по пальцам. Его старческое лицо приняло блаженное выражение, а глаза блестели.

— Так-так...— повторял Шмаров, задумчиво расправляя свои щетинистые усы.— Бывает... И на Алтае есть хорошие места. Как же, слыхал...

— Только бы господь привел, ваше высокое благородие,— умиленно продолжал Мосеич,— значит, дойти дотеда... Мы, значит, господские были, ну, земли умаление, лесу ни-ни, скотинке негде пастись. Из последних силов, значит, вышли... Не у чего стало жить окончательно. Ну, и порешили переселиться в Сибирь... Послали Силантия, значит, умственный он мужик, смышлястый. Только оно тово...

Мосеич при последних словах заморгал глазами и почесал в затылке.

— Ну, что Силантий? — спрашивал Шмаров.

— Водкой ошибается он... Не постоянно, а так, времем, когда на него такой стих найдет.

— Ну?

— Ну, и тово... У пьяного-то море по колено.

— А стоило бы его отодрать! — задумчиво проговорил Шмаров.— Вспрыснуть хорошенько... Да в морду, в морду! А?

Мосеич почесал за ухом и рассмеялся.

— Вспрыснуть-то оно можно, ваше высокое благородие, а морда отменена...

— Что-о?!

Шмаров даже соскочил и размахнулся жилистым костлявым кулаком, но вовремя вспомнил, что вместе с мордой и он тоже отменен. Эх, если бы этот Силантий попался ему в свое время... Растянувшись на траве, Шмаров проговорил уже другим тоном:

— Значит, текут медовые реки, а на кисельных берегах сидит ваш Силантий...

— Около того...

— Ловко!.. Ах вы, идолы... Надувает вас Силантий, а вы ему верите. Галманы!.. Разве можно верить пьяному человеку?

— Нет, уж Силантий вызволит... Уж он все обозначил: трава — во, земля — шуба шубой, вода...

— Ну ладно, пусть будет по-вашему. Приедете вы на Алтай, а вас оттуда по шеям. И даже весьма просто... Ведь и на Алтае люди живут и своей землей не попустятся. Еще Силантию вашему и башку отвернут...

— Невозможно, ваше высокое благородие! — горячо вступился Мосеич, растопыривая пальцы, чтобы еще раз пересчитать по ним алтайские богатства.— Есть у Силантия промашка, это точно, а только он уж все обмозговал в лучшем виде... Вы уж это напрасно. Как же он целую-то деревню будет омманывать? Тоже и совесть у каждого человека полагается...

— Совесть?!

Шмаров расхохотался и удушливо закашлялся.

— Совесть?! — повторял он.— Ох, уморил... Совесть? Ха-ха... И у Силантия совесть?!

Мосеич обиженно замолчал. Он сидел на траве, обняв колени руками. Постоянная ругань и хохот сибирского барина обозлили его. Разве господа могут что-нибудь понимать, когда им говорят настоящее? Что в Расее, что в Сибири — одна вера. Старику начало казаться, что и трава будто не такая зеленая, как была давеча, и ключик не такой студеный, и солнце не такое светлое и ласковое...

— Ну что, голова малиновая? — спрашивал Шмаров, когда пароксизм смеха прошел.— Бери ложку и хлебай медовую сыту да киселем закусывай... Разлюбезное ваше дело выходит. Ах вы, мохнорылые...

Вместо ответа Мосеич начал собирать свою котомку. Он встряхивал головой и что-то бормотал про себя.

— Помещиками хотите быть? — приставал Шмаров, продолжая лежать на траве.— Туда же: «морда отменена»... Ах вы, корежина несчастная!.. Да вас желторотые сибиряки вот как понужнут с своей-то земли, небо с овчинку покажется. Там какой народ, в Сибири, живет: варнак на варнаке... С одной стороны — варнаки, а с другой — челдоны. Это, значит, всех сибирских мужиков челдонами называют, да прибавь еще казачишек — их кошмой зовут. По-вашему — войлок, а по-нашему, по сибирски,— кошма...

3

Когда Мосеич начал прощаться, Шмаров его удержал и заставил опять сесть на траву:

— А ты не обижайся, ежовая голова,— говорил Шмаров, хлопая старика по плечу и подмигивая.— Понимаешь? В некоторое время, как в сказках говорится, и я пригожусь... хе-хе!.. И очень просто... Ты заметил, что я добрый человек?

— Около этого...

— Вот-вот! Только не тронь меня... да... Кто за всех ответит? Исправник Платон Шмаров... Ты думаешь, что я шутки шучу? Хе-хе... Нет, брат, было, да сплыло... Шалишь!.. И никому: ни гугу!.. Понимаешь: соорудил себе котомку, взял палку — и был таков. Думают, что вот сбесился Шмаров, и ты тоже, может быть, думаешь... Ну да бог с вами, я не злопамятен и никому зла не желаю.

Покачав головой, Шмаров огляделся и прибавил вполголоса:

— Ведь девять лет в отставке... да. Ей-богу... Что-о?! Целых девять лет... Для другого это, может быть, наплевать, а я вот до чего дошел: весь вот тут, дома ничего не оставил. А ведь был и свой дом, тройка лошадей... Имею открытый характер, и всякий у меня пил и ел. Много было проедено и пропито, не сосчитать... Любил угостить, чтобы ничего не жаль. На, жри и чувствуй, каков есть человек Платон Шмаров. Главное, я всегда любил, чтобы свой характер уважить и чтобы все меня любили... По службе — гроза, а у себя дома — отец. Понимаешь?

— Оно, конечно, тово... случается...

— При моем-то характере, и вдруг — пожалуйте в отставку. Хе-хе... Конечно, глуп был, понадеялся на себя. Да... Приятели были, друзья, ну, и прочее в этаком роде. Деньжонки тоже были скоплены про черный день... Понимаешь?.. Что-о?! Да, все как следует, одним словом.

— Уж это обнакновенно, ежели человек свихнулся... И у нас то же самое бывает, в самую точку, ежели который человек замотался и, напримерно, себя потерял.

— Молчи, молчи... Понимаешь, какой я дурак-то был? Девять лет сижу, проедаюсь и жду... Везде прошения посылаю, хлопочу, обиваю пороги у начальства, надеюсь вообще... Одним словом, целых девять лет ду-

рак, и больше ничего. Что было — все и проел... Все-таки не хочется быть хуже других... Понимаешь?

— Уж это известно...

— Вот-вот... Дошло дело до того, что друзья-то приятели меня же и начали обходить.

— В самый раз, как у нас в деревне, ежели который человек потеряет себя.

— Молчи, деревянный черт! Хуже было: друзья-то приятели первые и начали из меня жилы выматывать. На смех стали подымать, как шута горохового... Обидно мне это или нет? Что-о?! На именины не пригласят, в карты сядут играть — показывай им деньги, а то в партию не примут. Даже, случалось, и кушаньем обнесут: другим подают, а меня мимо да мимо. Ну, я им всем покажу-у...

Мосеич опять сделал попытку встать, но Шмаров его опять удержал и грозно спросил:

— Что-о?! Куда? Паспорт имеешь?

— Помилуйте, ваше высокое благородие...

— Ах, да! Ну, не в этом дело... Сиди смирно и смотри на меня.

— И то смотрю...

— Молчать, негодяй!.. Не умеешь смотреть в глаза начальству. Ну, еще посмотри... То-то!.. Что-о?! Я утихомирю...

Мосеич даже затаил дыхание и только как-то по-овечьи заморгал глазами. Шмаров огляделся кругом, взял его за плечо и проговорил, стараясь сдержать голос:

— Я уж тебе сказал, что девять лет был дураком... Так?

— Точно так...

— Молчи, говорят!.. Ну, а потом меня и осенило... Понимаешь? Лежу это как-то ночью, раздумываю про свои дела... да... Сколько одной бумаги напрасно извел, гербовых марок, сколько сапог износил — не стоит, одним словом, говорить. А тут у меня в башке искра мелькнула...

— Но-о?

— Верно... Думаю, что я дурака-то валяю, когда у меня, например, в Санкт-Петербурге родная тетка, и притом эта самая тетка полная генеральша?

— Это уж обнакновенно...

— Да, полная генеральша... Выпала она у меня как-

то из головы, а тут сразу все и припомнил. Сейчас же соскочил и накатал ей письмо. «Так и так, претерпел по службе и впал, можно сказать, в окончательное ничтожество». Ну, пишу все-таки с достоинством... Понимаешь?

— Весьма понимаю... У нас Силантий вот тоже пишет...

— Молчи, ради бога, молчи!

Шмаров стал на колени и начал рассказывать с такой торопливостью, точно кто-то мог прийти и остановить его.

— Да, отправил письмо... потом заказал молебен Ивану Воину и начал ждать. Да, жду месяц, жду другой... Что-о?! Хорошо. Еще отслужил молебен...

— У нас так-то в деревне служили молебены, только не Ивану Воину, а соловецким угодникам, Зосиме и Савватию...

— Хорошо. Жду третий месяц ответа... Понимаешь? Ну, наконец трах! письмо... Распечатываю, а у самого руки трясутся. Пишет сама... Говорит: «Действительно, был у меня племянник, а только я его в глаза не знаю... Может, говорит, вы, милостивый государь, притворяетесь и совсем не мой племянник». Ну, понятно, женщина, притом полная генеральша — что же она другое могла понять? В конце письма, однако, приписка: «Ежели, говорит, вы будете, милостивый государь, в Санкт-Петербурге, то очень рада буду с вами познакомиться, чтобы сличить фамильные черты». О-го-го... Вот оно куда пошло!..

Шмаров поднял палец вверх, вытаращил глаза и замер в этой позе.

— В самый раз, как у нас с Силантием,— заметил умиленно Мосеич.

— Ну, тут, брат, не вашим Силантием пахнет... Понимаешь: фамильные черты... Сделайте милость, сколько угодно, милая тетушка. Что-о?! А я-то, дурак, сижу там девять лет, хлопочу, проедаюсь, унижаюсь... Как приеду в Санкт-Петербург, сейчас к тетке: «Так и так, ваше превосходительство, имею честь представиться по всей форме». Хе-хе... Вот какая штука-то выходит!.. А у тетки знакомые — тоже полные генералы... Стоит ей сказать одно словечко — хе!.. Понимаешь?

— У нас Силантий тоже пишет...

— Да отстань ты от меня с твоим Силантием!.. Ду-

рак он и пьяница, а тут: полная генеральша. Хорошо. Сейчас она словечко полному генералу, а полный генерал, конечно, сейчас все поймет и скажет: «Почему вы, господин Шмаров, не обратились ко мне раньше?» — «Виноват, ваше высокопревосходительство, как я смел утруждать и беспокоить при своем таком ничтожестве...» — «Эх, братец, напрасно... Старайся». И сейчас этакую записочку в департамент, где мое дело разбирается, а там уж у всех ушки на макушке.— «Пожалуйте, господин Шмаров... Извините, что немного заставили подождать». Это девять-то лет «немного»... Ну да все равно, только бы устроили все. Получу бумагу и сейчас опять в Сибирь, а там уж все, конечно, известно. Друзья-то приятели вот как забегают... «Ах, Платошка, да ведь мы, да ведь ты...» А я как будто все забыл, когда меня блюдом обносили, и делаю вид, что тоже рад... Что-о?! А по дороге в Коноплянскую станицу непременно заеду и всех разделаю под орех.

Мосеич поддался охватившему Шмарова воодушевлению, снял котомку и принял позу внимательно слушающего человека. Он начинал сочувствовать бывшему сибирскому исправнику, видевшему сон наяву.

— А ведь это точно, ваше высокое благородие, ежели эту самую тетку ухватить за бока... Уж эти бабы, действительно, значит, воопче...

— Вот что, Рязанская губерния; как только господь меня устроит и я вернусь в Сибирь, ну, того, может, и вам помогу чем-нибудь. Только уговор: в первую голову вашего Силантия выдеру... Уж это как хотите!

— Что вы, ваше высокое благородие... Как же это возможно? Ведь он какой человек, значит: вполне может соответствовать.

— А ежели я его терпеть ненавижу, вашего Силантия? Что-о?! Он сам-то потом будет меня вот как благодарить. У меня все просто: рраз, два, три — и готово! А главное: тетка... У нее два каменных пятиэтажных дома в Санкт-Петербурге, восемь имений в разных губерниях, половина реки Невы ей же принадлежит, а наследник-то, выходит, я один... Х-ха!..

Бывший исправник окончательно заврался, заврался до того, что сам начинал верить себе. Тетка у него, действительно, была в Петербурге, но скромно жила на Петербургской стороне, занимая меблированную комнату.

4

Возбуждение, охватившее Шмарова, быстро сменилось усталостью. Он растянулся на траве и проговорил:

— Я сосну, братец, а ты посиди тут...

Мосеич повиновался. Его растревожило мнение сибирского строгого исправника о Силантии. А в самом деле, ежели, храни бог, Силантий того... Одним словом, надо вызнать все обстоятельно.

Шмаров как растянулся, так сейчас же и захрапел. Зной быстро спал, потому что набежала шальная грозовая тучка. Когда над самой рощей грянул удар грома, Шмаров сел и проговорил спросонья:

— Что-о? Паспорт имеешь?... Куда, откуда, зачем?

— Да ведь это, ваше высокое благородие, Илья пророк,— объяснял Мосеич, откладывая крупные кресты при каждом всполохе молнии.— Ох, господи, прости нас, грешных...

Ударил веселый ливень. Сквозь зеленую листву берез точно сеялись светлые дождевые капли. Шмаров и Мосеич перебрались под защиту самой большой сосны, где было совершенно сухо.

— Слава тебе господи! — повторял Мосеич.— Напоил господь землю-матушку...

— Грязно будет идти...— соображал Шмаров, поглядывая на свои изношенные сапоги.

— Что сапоги? Сапоги — пустое... Вон как травка-то обрадовалась дождичку. Грязь высохнет, а по прохладе легче будет идти вашему высокому благородию...

Они переждали дождь и начали собираться в путь. Мосеич, надев котомку, нерешительно проговорил:

— Так как же, ваше высокое благородие, насчет Силантия то есть?

— Насчет Силантия?

Шмаров сдвинул строго брови, раскурил трубочку и проговорил властным исправническим тоном:

— Когда поеду из Санкт-Петербурга обратно, так я все разберу...

1900

Боговая искра

Эскиз

1

В жарком летнем воздухе мерно и гулко носятся удары церковного колокола. Что-то такое торжественно-зовущее проносится в колеблющейся волне этих звуков, замирающих у подножия лесистых гор, обступивших Н-ский завод. Кругом всего селения обошли эти горы, и церковь стоит на горе. На каждый удар воскресного колокола в горах откликается чуткое эхо. Оно подхватывает замирающий звук и уносит по блестящей глади узкого и глубокого заводского пруда в ущелье, где торжествующий праздничный гул и замирает окончательно изнемогающе-примиренной нотой, какую дает порвавшаяся струна. На призывные звуки медленно бредет рабочий люд со всех сторон, преимущественно старики и женщины,— мужики в поле, на базаре или около волости. Около церковной ограды сделаны деревянные лавочки, на которых богомольцы отдыхают. Целый ряд типичных старческих лиц с окладистыми бородами и общей печатью благообразной великорусской старости. В Н-ском заводе население «пригонное», «расейское», что заметно еще и сейчас, как по певучему говору, так особенно по спокойному выражению этих широких великорусских лиц. В них нет вороватой юркости кровного сибиряка и, главное, нет этого хватающего, хищнического выражения глаз. Молодежь измельчала, выродилась, как вырождается на полях хорошее зерно, а старики сохранились. Заводские парни давно щеголяют в «спинджаках» и картузах, а здесь широкие халаты, армяки и «расейские» шляпы-гречневики. На лавочках разместилось таких славных стариков человек тридцать, и все как на подбор. Конечно, по этим экземплярам ошибочно было бы сделать заключение, что все «расейские» были такими же богатырями или что в доброе старое время народ был много крупнее нынешнего,— вернее сказать, что на

лавочках сидели те богатыри, которых не смогла сломить каторжная заводская работа. Все слабое и бессильное давно перемерло, а остались только вот эти инвалиды огненной, рудниковой, куренной и разной другой заводской страды. Я с особенным почтением смотрю на уцелевших счастливцев рабочей армии и подсаживаюсь к ним на лавочку. Несколько гречневиков раскланиваются — это рабья заводская привычка,— при виде городского костюма. Кровный сибиряк не ломает шапки, потому что не переживал крепостного права, когда каждый картуз являлся грозным начальством.

Мое появление не вызывает обычных вопросов: кто? откуда? по какому делу? и т. д., как спросят вас где-нибудь на пароходе или железной дороге. Ответ здесь готов вперед; барин, то есть человек, который швыряет несчитанными деньгами, ездит в троечном экипаже и вообще живет в полную свою волю. Колокол гудит, подходят новые старички, и наши лавочки заняты сплошь. Изредка обменяются короткой фразой, и опять праздничная тишина. Общее внимание сосредоточивается на базаре, где отдельными кучками галдит прибывающий народ. Торговля идет в нескольких деревянных лавчонках, да около весов стоят два воза с огурцами — вот и все. А поговорить есть о чем: овсы нынче плохие — выгорели от засухи, мука ржаная к рублю подходит. Плохое лето у всех на уме, и мои старички угнетенно вздыхают, подавленные целым строем хозяйственных забот. У зимы брюхо велико... Как-то перебьются лошадные мужики, как управятся бабы с разной домашней скотиной, которая к голодному году ест вдвое. Старики грустно качают головами, вздыхают и внимательно прислушиваются, как галдит народ на базаре. Какая-то грустная нотка слышится во всем, как тяжелое предчувствие неминучей беды, висящей в воздухе.

— Как-то добрые люди по другим протчим местам?

— А везде народ прижался: засуха обошла кругом.

Эти отрывочные разговоры приходилось дополнять собственным воображением и уже таким образом восстановлять органическую связь между отдельными фразами, тем более что основная мысль в мужицком разговоре редко выставляется прямо, а только подразумевается. Я люблю вслушиваться в такие разговоры, где говорят, кажется, решительно обо всем, кроме того, что

нужно, а на поверку выходит как-то так, что люди успели столковаться между собой и отлично поняли друг друга. Между прочим, наблюдая галдевшую на базаре толпу, я заметил одного мужика, который стоял на пригорке совершенно неподвижно и глядел в одну сторону. Никто не обращал на него внимания, и он в свою очередь точно не замечал никого. И одет он был особенно, в какой-то белый больничный халат, на голове войлочная белая башкирская шляпа, и даже на руках белые рукавицы.

— А это кто такой стоит? — спросил я у старика соседа, указывая на неподвижного белого мужика.

— Где? Этот-то... а Ефим наш будет.

— Зачем же он тут стоит?

— Да уж так, видно... Несообразный человек, одним словом, неплательщик. Согласие такое у нас есть... Ну, вот Ефим и стоит.

Я кое-что слыхал об этой секте и даже читал, но видеть неплательщиков не случалось. Сосед оказался человеком словоохотливым, хотя тоже знал о неплательщиках очень немного: и раньше жили в Н-ском заводе, и сейчас живут. Особенного ничего не делают, а вот только податей не платят и по праздникам выходят на базар— постоять, пока идет служба, а потом по домам разбредутся. Несообразный народ, одним словом... Вот другие, кто в храм божий идет, кто на базар, кто в волость, а они, как идолы, стоят на пригорке — и все тут.

— Много их, неплательщиков-то?

— Да дворов с двадцать наберется...

— А в других местах есть?

— Мало... Прежде-то их побольше было, а теперь умалились.

Пауза. Мой собеседник внимательно следит за базарной суетой и потом оживленно говорит:

— Вон и старуха Ефимова ползет... В синем понитке и платочек беленький на голове. Тоже стоять будет... Пока обедня идет, они все время стоять будут, в том роде, как идолы. Стоят и на восток глядят. Это у них в том роде выходит, как у нас молитва.

Низенькая коренастая старушка степенно подошла к мужу и стала рядом. Пока на них никто не обратил внимания.

— Что же, они смирные, эти неплательщики? — спросил я.

— Ничего... Никого не трогают, окроме того, когда, напримерно, крестный ход. Не любят и камнями бросают... Ну, их в карц уводят для такого случая. И хлопот нам было с этим вот Ефимом,— прибавил мой собеседник совсем другим тоном.— Страсть... Уж мы его били, били!..

— За что же вы его били?

— Я в сотских ходил, так напримался с ним муки. Ну и волокешь его, как барана... Его бьют, напримерно, он молчит. Его дерут,— опять же молчит. Все равно зверь... Уж столько с ним хлопот было... Как-то мы возили его к начальству, значит, в другой завод, так такая битва была, не приведи бог.

— А он молчал?

— Все одно что березовый пень... Ведь мы-то не деревянные, тоже и обидно в другой раз. Говорю: измаялись с ним, с идолом, дравши-то его. Да и нахальство тоже... С ним и говорить невозможно: ты ему свое, а он свое, хоть кол на голове теши.

Занятый этим объяснением, я не заметил, как подошли другие неплательщики: теперь стояло уже целых три мужика и четыре бабы. Мужики выстроились в ряд, а за ними стояли бабы. Старуха, жена Ефима, стояла в первом ряду, рядом с мужем, а около нее маленькая девочка лет шести. Мужики были одеты в серые кафтаны и обыкновенные валяные шляпы, и бабы тоже. Выделялись из этой толпы своим костюмом только сам Ефим да его жена-старуха.

— Теперь вся фамилия в полном сборе,— объяснил мой собеседник.— Рядом-то с Ефимом, по левую руку стоит,— значит, зять Ефима, Иван, а за ним евоная жена, молоденькая бабочка. Девчурка-то ихняя... Третий мужик, значит, староста, а за ним евоная сестра,— они в таком роде, как муж и жена. И говорить-то так неподобно... Вот они какие, неплательщики-то... Ни поста, ни иконы, ни жены, ни подати — ничего не желает знать. Станешь им говорить, молодым-то, так они тебе одно толмят: «Нечистый дух, отвались!» Молодые-то не так еще осатанели, как Ефим-то, и разговаривают... У Ефима-то сын был, ну, его в солдаты забрили. Не отдавали они, его силом взяли, а потом на службе солдат и выправился, а приходит домой — его опять Ефим-то по-своему захотел повернуть и первым делом всю солдатскую муницию спрятал. А сын-то не будь плох,

ухватил корову да прямо на базар продавать. Сколь у них тогда греха было, и не обскажешь. Достиг солдат Ефима-то и муницию свою сполна получил.

2

Мне хотелось поближе посмотреть на неплательщиков, но подойти к ним так, зря, как-то неудобно. Всякое праздное и назойливое любопытство неуместно, а тут еще можно было получить лаконический ответ: «Нечистый дух, отвались!» Из затруднительного положения меня вывел какой-то господин в серой летней паре, шелковой белой фуражке и дымчатых больших окулярах. Он без всяких церемоний подошел к Ефиму и вступил в разговор. Это послужило сигналом: около неплательщиков сейчас же образовалась кучка любопытных. Как оказалось, господин в серой паре был свой земский человек, один из тех земских Микул Селяниновичей, каких воспел Д. Мордовцев в своем «Десятилетии русского земства». Воспользовавшись случаем, и я подошел к толпе.

Сначала опишу предстоявших оригинальных сектантов. Глава секты, Ефим, был мужик лет пятидесяти, изможденный и сгорбленный, с сморщенным и желтым худым лицом, едва прикрытым жиденькой бородкой песочного цвета. В этом лице заслуживали внимания быстрые карие глаза, слегка щурившиеся, и сложенный в улыбку широкий рот,— чувствовалось что-то нервное и беспокойное в этом лице, то неуловимо-особенное, чем отличаются все обреченные люди. Старуха, жена Ефима, была типичнее. Низенькая, коренастая, она выглядела настоящим кочнем. Крупное, не по росту, старушечье лицо смотрело большими серыми глазами в упор, сморщенные губы были сложены решительно и даже несколько вызывающе. Ефим стоял с видом блаженненького, не обращал ни на кого внимания, а его старуха походила на птицу, приготовившуюся защищаться. Видимо, что она болела и душой и сердцем за все невзгоды своей маленькой общины и по капле отдает за нее свою старую кровь.

— Ну, что же вы тут стоите, милые,— с ядовитой ласковостью говорил земский человек, франтовато останавливаясь перед развернутым строем сектантов.— Вон

к обедне звонят, шли бы и молились, чем даром здесь торчать.

Речь была обращена собственно к Ефиму, но старик упорно молчал, глядя куда-то через головы, и только его глаза сильнее прищурились.

— И в самом деле, шли бы,— поддержал земского человека голос из толпы.

— Кто вы такие будете? — спрашивал земский человек.

— Божии странники,— ответила старуха.

— Так-с... А девочка чья?

— Божья!

— Все мы божьи, старушка, только у всякого отец и мать полагаются.

— Божья,— упрямо повторяла старуха и как-то залпом прибавила, точно выстрелила: — От бога, сына и святого духа мы не отступимся... И от истинного божьего закона, и от святого града Ерусалима, и от всевышнего престола, и от морской глубины, и земной широты, и небесной высоты. А ты иди, куда шел, божий человек.

— Не отступимся от духа святого,— откликнулась долгоносая изможденная бабенка с другого края, «сестра своего мужа».— Всем дано, а мы не отступимся... и от всех потомков вперед и назад.

— Значит, и в Троицу верите? — допрашивал земский человек.

Последовал резкий ответ в раскольничьем духе,— заговорил зять Иван, молодой, но болезненный мужик, у которого дергало все лицо. Он был весь какой-то серый, как и все остальные, и только выделялось необыкновенно подвижное лицо и его женски-крикливый голос. Земский человек прицепился сейчас же к нему.

— Вот вы говорите, что веруете и в бога, и в сына, и в святого духа, а икон почему не признаете?

— Мы от духа божьего не отказываемся,— быстро отвечал Иван готовой фразой.— Ты вот зажмурился и ничего не видишь, а во мне боговая искра... да.

— У них все святой дух,— заговорил из толпы степенный мужик в суконном праздничном халате.— И икон не надобно. Святой-то дух по избам, что ли, ходит у вас, Иван?..

— А ты погляди хорошенько около себя-то, так и увидишь святого духа,— ответил Иван без запинки.— Все вы зажмурились, а всем одно дато.

— Они и молочное в пост потребляют,— заметил кто-то из толпы.— Другим пост, а им все разговенье. Пятниц и тех не знают.

— Это ты верно: едим всегда одинаково,— согласился Иван,— потому что опять-таки все дато на потребу человеку: и земля, и вода, и лес. А ты вот посты-то разбираешь, а того не думашь, что все на потребу человеку создано, только человека не ешь...

— Кто тебя-то съел?

— И сейчас едят... Посты разбирают, зажмурились, а живого человека не жаль. Рыбку-то ешь, да рыбака не ешь...

— Коровенку у нас последнюю свели на подати,— вступилась старуха.— Тоже ребятишкам и молочка надо. Все взяли. А когда сына мово в солдаты брали, так руки и ноги ему связали. Их десять человек пришло, а он один... В службе-то все кости переломали ему. Ребятишки теперь сидят без молочка...

Ефим взглянул на жену, и она сейчас же смолкла, только губы у ней дергало да на глазах выступили слезы. Возмущенный расправами, Иван говорил торопливо и все старался обличить. Стоявший с ним рядом долгоносый мужик с маленькими серыми глазами время от времени дергал его за рукав и бормотал:

— Иван, не цепляйся... Ишь, разыгрался.

— А я скажу, завсегда скажу! — кричал Иван надтреснутым, плачущим голосом.— Теперь подати требовают... За что? Землю отымают... за что? Все божье, всем одно дато... Святого духа забыли, от божьего закону отказались, табак все нюхают...

— Иван, а Иван...— тихонько шепнула молодая женщина, стоявшая за ним, и тихонько дергала его за полу.— Не цепляйся, Иван.

Ей было лет двадцать пять. Молодое, довольно симпатичное лицо являлось живым портретом старухи матери, только оно было смягчено и молодостью, и охватившим ее волнением. Особенно хороши были эти большие ласковые и молящие глаза, полные женской заботы о муже, как бы он не сказал чего лишнего.

Этот импровизированный диспут под открытым небом принял особенно ожесточенный характер, когда речь зашла о православной церкви и о предстоящей власти. Иван кричал с пеной у рта, подкрепляя свою речь набором готовых стереотипных фраз о духе святом, о граде

Ерусалиме и всевышнем престоле. Сдерживавший его третий мужик тоже не вытерпел и горячо вступился в спор, так как речь зашла о самом главном — о земле.

— Ничья земля,— повторял он с особенной настойчивостью.— А кто над ей трудится, тому она и даст свой плод... Мало ли бы я захватил ее сколько и сказал: моя земля, а кто мне поверит? Я, што ли, ее сотворил? Божья земля...

— А начальство не признаешь?

— Никакого начальства нет: в сердце у меня начальство... от святого духа.

— А ежели, например, кто начнет обижать кого, тогда как без начальства-то?

— Говорят тебе, дерево стоеросовое: святой дух... Все мы божьи люди, и никакого начальства не сотворено особенно. Сами вы придумали себе начальство и землю расхватали... И скотина всякая тоже от земли питается. Сколько поробишь, столько и съешь. Это уж от святого духа.

— Ты зажмурился и ничего не видишь! — кричал Иван.

«Сестра своего мужа» вслушивалась в эти прения и время от времени повторяла с заученным азартом:

— А мы от святого духа не отступимся... и от града Ерусалима и от всевышнего престола!..

Она являлась эхом старухи, которая первая высказала эту формулу.

Вслушиваясь в эти споры, трудно было разобраться, в чем дело, да едва ли оно отчетливо сознавалось и самими сектантами, хотя они и стояли твердо на известных положениях, как понятие о ничьей земле, о неплатеже податей, о жизни по святому духу. Для меня ясно было только одно, что это была специально-заводская секта, возникшая в темную и кровавую эпоху приписных к заводам крестьян, когда на заводы сгоняли купленных мужиков со всей России. Они принесли сюда, в это царство огня и железа, свою расейскую мысль о своей земле и затаили ее на все время крепостничества, а затем она приняла уже протестующую форму болезненного характера. Впрочем, сущность учения неплательщиков до сих пор остается совершенно неизвестной, за исключением нескольких консисторских духовных следствий и полицейских протоколов. Я только констатирую факт — то, что видел и слышал,— не пускаясь в

дальнейшие комментарии. Замечу кстати, что неплательщиками кое-что заимствовано от раскольников, как органическая ненависть к табаку и «щепоти», то есть к трехперстному сложению православного креста, хотя им бы, по смыслу приведенных выше разговоров, то и другое должно быть безразличным.

3

В общем картина этого диспута настолько была характерна, что я от души пожалел о невозможности снять с нее фотографию,— и сектанты и публика так и просились на полотно. Такие живые проявления народного творческого духа приходится встречать не часто, а тут говорило все, начиная с костюмов и кончая позами, выражением лиц и жестами. Эти невидимые серые люди составляли центр картины, ее живое пятно, а остальная публика шла только на придачу, как приправа. Но и здесь выдвигались характерные лица, о которых стоит сказать.

О земском человеке мы уже говорили. Он относился к сектантам свысока и покровительственно, как человек, привыкший иметь дело с «темнотой». Поспорив и дав несколько хороших советов, он исчез. Его место сейчас же заступил какой-то солдат, находившийся в подпитии.

— Эй вы, божьи страннички, а как вы насчет денег полагаете? — приставал солдат к Ивану.— Ну, например, я дам тебе целковый... Твой закон дозволяет его принимать?

Иван пристально смотрит прямо в лицо вороватому солдату, стараясь разгадать устраиваемый последним подвох, но ничего не отвечает.

— Известно, принимают,— поддакивает голос из толпы.— Ежели, например, за работу...

— А от кого деньги-то? — торжествует солдат.— Разве он от святого духу? То-то вот вы, угланы, толковать беретесь, а смыслу в вас нет...

Иван и третий мужик с азартом накидываются на солдата, и дело доходит до крупной перебранки.

— Я вам покажу! — орет солдат.— Умнее других протчих захотели быть... А деньги тоже берете?..

Жена Ивана напрасно старается сдержать мужа, а потом ласково начинает уговаривать солдата:

— Миленький, отстань... Ведь мы тебе не мешаем, а ты пристаешь. Ну и шел бы своей дорогой... Какие такие деньги ты увидел у нас: вот все мы тут, дома ничего не осталось. Хороши мы — для себя, худы мы — тоже для себя, а тебя ведь не трогаем, миленький.

— А ты чего выставляешься-то: не с тобой говорят! — огрызается солдат.— Разве с бабами об таких предметах возможно рассуждение допускать? Где твое-то место бабье? Вместе с кошкой ты должна в избе сидеть, а не то чтобы при всем народе пасть растворять... С молочного-то в тебе много храбрости прибавилось!..

Солдат ядовито обругал баб и опять сцепился с мужиками. Он старался их поднять на смех, и одно время окружавшая толпа сдержанно хихикнула на какое-то ловкое солдатское колено.

— Хорошо вам разговоры-то ваши разговаривать, когда податей с вас не спрашивается, значит, с заводских,— высчитывал он по пальцам.— Потому как общество вносит сумму с общественного кабака за всех; а то поглядел бы я, как бы вы не отдали податей... Теперь начальство взять — тоже ваша полная неустойка выходит.

В толпе пробивался ближе к сектантам какой-то старик с седенькой бородкой клинышком, но его не пускали вперед какие-то услужливые руки.

— Ах, одно словечко сказал бы я солдату...— повторял старик, качая головой.— Братцы, пустите!..

Но бахвалившийся солдат уже встретил соперника в лице молодого мастерового с «шадривым» лицом. Это был еще совсем молодой парень, одетый в «спинджак» и красную кумачную рубаху.

— Солдат, отстань,— резко окрикнул он бахвала.— Чего пристал как банный лист...

— А тебе какое такое дело до меня? — огрызнулся солдат.

— А вот такое...

— Какое?

— Пустой ты человек, вот что! Люди стоят, никому не мешают, ну и не лезь...

— А ежели я, напримерно, в полном своем праве могу вполне соответствовать?..

— Да ведь ты, дурак, лезешь-то к ним! Облаял, как пес, и думаешь — ладно... Ежели ты хочешь узнать, за-

чем вот они стоят здесь, так ты и приди к ним на дом да и спроси честью, а не сгалом. Лаем-то немного возьмешь... Ты ежели обстоятельный человек, так спроси не на народе, а дома его. Может, он получше нас с тобой...

— Ваня, это ты правильно...— подтвердил старик с седой бородкой клинышком, выставляя через плечи свою голову.— Здря солдат бахвалится.

Из всей толпы невозмутимым оставался по-прежнему один старик Ефим. Он только посмотрел своими прищуренными глазами на шадривого парня и пожевал сухими губами. Слова парня заметно подействовали на толпу, и послышался одобрительный шепот. Кто-то широко вздохнул, прислушиваясь к доносившемуся из растворенного окна церкви церковному пению. Солдат быстро исчез, как и земский человек. Из толпы перекрестным огнем сыпались на сектантов отдельные вопросы, уже в примирительном духе: главные оппоненты ушли греха в церковь. Иван заметно успокоился и, скрестив руки, смотрел сосредоточенно на восток, предоставив отвечать на вопросы третьему мужику. Время от времени крайняя бабенка с утиным носом с беспричинным азартом повторяла стереотипную фразу:

— А мы от святого духа не отступимся, и от закона божьего, и от святого града Ерусалима и престола всевышнего!..

Эти выкрикивания часто выходили совсем не к месту, жена Ивана тянула товарку за полу.

— А как вы полагаете насчет горного устава? — спросил в толпе какой-то прилично одетый господин с добродушным лицом.

— Почитай сам, так и увидишь,— отвечал за всех Иван уверенным тоном.— Там все обсказано... А мы теперь про боговую искру.

К числу странностей секты неплательщиков относится между прочим то, что они в своей этике ссылаются на какую-то статью горного устава, которая будто бы разрешает их от установленного брака. Известно это все из тех же консисторских духовных следствий, но насколько это справедливо — я не могу ничего сказать. Вообще, неплательщики темное явление неизвестной нам народной жизни, о котором трудно судить по имеющимся данным, даже сектой, в собственном смысле, едва ли будет справедливо назвать эту маленькую общину.

Мне нужно было съездить по делам в несколько мест. Когда я возвращался из телеграфной конторы, обедня уже кончилась, и народ пестрой толпой валил из церкви. На базарной площади неплательщиков уже не было. Я догнал их на следующей улице. Они торопливо и озабоченно шагали посредине дороги, выделяясь своим серым тоном. Все кругом были погружены в обыденные хлопоты, мелочи и работы, в коих проходит незаметно жизнь, и только вот эта кучка серых людей уносила с собой что-то особенное, что стало выше общепринятых будней. Провожая их глазами, я думал о тех таинственных горных ключах, которые пробиваются на поверхность земли из неведомой глубины, неведомыми путями...

1891

Лесоворы

Рассказ

1

Когда она проснулась, в избушке было очень светло, так светло, что смотреть было больно. За ночь выпал первый снег, и отраженная белизна врывалась теперь в небольшие окна избушки. Дашка это поняла сразу, и в ее голове первым делом мелькнула мысль о нем.

— Мамынька, ведь мой-то, того гляди, выворотится с промыслов,— высказала Дашка вслух занимавшую ее мысль.— Вода теперь студеная, и промысла везде шабашат... По первопутку вся «мельковская нужа» выворотится.

Старуха сердито возилась около своей печи, в которой сидели плетеные калачи, и ничего не ответила. Нечего сказать, велика радость, что придет... Лучше бы и не приходил. А Дашка еще радуется — давно не бита,— на свою голову радуется. То-то дуры эти бабы... И все-то на одну колодку, и у всех одна бабья глупость. Старуха Митревна забыла, как в свое время сама делала то же: ждала, была бита и опять ждала. Теперь ей некого было ждать, кроме посаженных в печь калачей.

— Мамынька, теперь уж, значит, тово...— сонно прибавила Дашка, потягиваясь на лавке.— Значит, шабаш с Обжорным... Одна, видно, будешь управляться-то.

— Не заплачу,— ворчала старуха.— Не впервой! Тоже, зятька бог дал... Другим-то зятья — кормильцы, а мне — камень на шею. Лошадь-то продали, што он теперь будет делать, твой-то?..

Воспоминание о проданной лошади вызвало тяжелое молчание. Дашка закрыла даже глаза, перебирая в уме подробности этого ужасного происшествия. Пришел судебный пристав с понятыми и полицейским стражником, обшарил всю избу, ничего не нашел и «описал» единственную лошадь. Это было до того ужасно, что вся семья растерялась. Муж Дашки, Семен, впрочем, пробовал не давать последнего «живота», но это ни к чему не повело.

— Ваше высокоблагородие, чем-то я, напримерно, кормиться буду? — бормотал домовладыка.

— А ты это у мирового судьи спроси, который тебя оштрафовал,— объяснил пристав совершенно равнодушно.— Вперед не воруй лес...

Муж Дашки виновато умолк. Легко сказать не воруй, а чем жить-то?.. Тоже вон двое ребятишек... да. Впрочем, он понимал, что пристав тут ни при чем и что ничего не поделаешь. Митревна и Дашка этого не понимали и возненавидели пристава в одно сердце как главного виновника их окончательного разорения. Когда пристав вышел за ворота, Митревна выскочила на улицу, догнала его и плюнула.

— Кровопивец! — обругала его обозленная старуха.— Штобы тебе ни дна ни покрышки...

Потом Митревна и Дашка ревели целый день, оплакивая описанный «живот». Дашка обнимала ничего не понимавшую гнедую лошадь, называла ее ласковыми именами и разливалась рекой. Это наконец надоело Семену, и он вздул жену, чтобы на ком-нибудь сорвать горе. Ничего не понимают бабы, а голосят. Вот он так знал, какое сокровище описал пристав: другой такой лошади и не придумаешь. Ну-ка, попробуй вывезти двенадцативершковый кряж из лесу — на паре не вывезешь, а Гнедко вывозил один. «Прахтикованная» лесоворная лошадь...

По-настоящему цены ей нет. Сколько раз с бревном уходила от лесообъездчиков, только гужи трещат, как она поворачивается.

Знаменитый Гнедко ушел с аукциона за двадцать рублей и попал кержацкому попу в руки. Семен несколько раз захаживал к попу проведать верного друга и даже делал попытки уговорить нового хозяина отдать назад другую лошадь.

— Ни к чему она тебе, поп,— доказывал Семен очень убедительно,— ведь лес воровать ты не будешь, а по нашей лесоворовной части Гнедку цены нет. Зажиреет она у тебя, обезножит... Вон и теперь левое плечо уже зажирело.

Поп не убедился этими доводами и не уступал лошадь ни на каких условиях. Семен предлагал купить лошадь в долг и только насмешил упрямого кержацкого попа.

Тень Гнедка оставалась больным местом и появля-

лась каждый раз, когда на избушку налетала какая-нибудь напасть. Митревна даже вела свою хронологию сообразно этому обстоятельству: жизнь распадалась на две половины — до Гнедка и после Гнедка. И теперь, ввиду скорого появления домовладыки, выплыла эта роковая тень...

— Чего дрыхнешь-то,— окликнула Митревна умолкшую Дашку.— Пора в Обжорной собираться... Крестьянишки уж наехали.

Обыкновенно Дашка поднималась утром как встрепанная. Старуха, правда, ее баловала и не будила раньше времени: пусть поспит, дело молодое. Журить-бранить есть кому, а пожалеть некому... О себе Митревна думала с каким-то ожесточением: кому надо старую каргу? Да и какой у старухи сон: один глаз спит, другой не спит. Тоже ребятишки у Дашки, их надо прибрать. Материнская забота — ребята. Старшенькая девчонка Грунька подросла, семилеток, а меньшому, Кольке, о вешнем Николе, всего третий год пошел. Дашка жальливая была на ребятишек. Сама не съест, а ребятам отдаст. У них уж такая семья.

Дашка поднялась сердитая и первым делом посмотрела в окно. Все было покрыто белым саваном.

«Ишь, возрилась...— сердито подумала Митревна, косясь на дочь.— Тоже ждет своего-то сахара».

Митревна понимала, что теперь Дашка ей больше не помощница. И в Обжорном ряду будет сидеть как оглашенная. Всякая работа из рук повалится. А зимнее время горячее в Обжорном, особенно по первопутку, когда в город наезжают из окрестных сел крестьяне с сеном, с дровами, с овсом и разным крестьянским припасом. Торговать бы вот как надо, а тут Семена принесет, как на грех...

В Обжорном ряду Митревна была известна за свою горластость под именем Форточки. От нее это прозвище перешло к Дашке, а затем его же по наследству получила и маленькая Грунька.

2

Опасения Митревны оправдались вполне. Дашка совсем ее осрамила на весь Обжорный ряд. Раньше она голосила и ругалась за четверых, а теперь из-под носу

отпускала покупателей. Более задорные товарки подняли ее даже на смех:

— Девоньки, Дашка Форточка ума решилась... Надо полагать, другого кузнеца подманила. Одного-то мало показалось.. Ей теперь не до калачей.

И раньше торговки дразнили Дашку кузнецом, жившим в соседях, но она отгрызалась с большой находчивостью, а тут молчала самым глупым образом. Это окончательно взорвало старую Митревну, и она больно ударила дочь подвернувшимся под руку поленом.

— Да ты никах очумела? — ругалась старуха.— Этак с тобой в Обжорном проходу не дадут... Из-под носу покупателей рвут, а ты стоишь пень пнем.

Дашка окончательно сконфузилась и даже разревелась. Очень уж ей обидно показалось, что родная мать ее ударила: муж бьет, кузнец бьет, а тут еще родная мать поленом съездила. Весь Обжорный ряд заливался хохотом, как старая Форточка утюжила молодую Форточку. Даже и тут Дашка не могла обругать по-настоящему проклятых обжорных баб. Эта травля наконец показалась скучной, и Дашку оставили в покое.

Первопуток установился в несколько дней. Легкий морозец укрепил молодой снег. В город со всех сторон потянулись крестьянские воза, и Обжорный ряд, пустовавший в распутицу, расторговался на славу. У Митревны не хватало товару, а тут еще вернулся с промыслов Семен. Это было около обеда, когда обе Форточки торговали в Обжорном. Прибежала перепуганная Грунька и объявила:

— Тятька выворотился...

Старая Форточка сердито плюнула, а Дашка покорно поплелась за торопливо улепетывающей Грунькой. Даже травившие ее обжорные торговки теперь с сожалением покачивали головами. Ну и достанется бабенке от мужа, вот как достанется.

— Тоже и мужья у нас, мещанок,— галдели бабы.— Взыскивать любят, а сами шляются незнамо где. Кабы дома сидели, так и бабы другие были. Вон по крестьянам правильные мужики, так и баба правильная. Там один мужик бьет, а тут еще и полюбовник накладывает.

Митревна сурово молчала, не подавая виду, что у нее на душе кошки скребут. Тяжело ей было возвращаться на родное пепелище. Когда она вошла в свою

улицу, то все уже было ясно. Пьяный Семен ходил под окнами у избы кузнеца и ругательски ругался.

— Ну-ко, выходи, хахаль! — орал Семен, показывая кулаки спрятавшемуся в избе кузнецу.— У тебя кишки красныя, так я тебе их сделаю зеленыя... Ну, выходи! По чужим женам любишь ходить... а, любишь? Сердце болит, где плохо лежит... Ах, ты...

Кузнец Пармен долго крепился, отсиживаясь в своей избенке. Но вот прилетел в окно ком мерзлой грязи, и стекла посыпались с жалобным звоном. Это уж была «мораль» на всю улицу. Пармен выскочил в одной рубахе и вступил врукопашную. Заголосила жена Пармена, сбежались соседи и едва розняли драчунов. У обоих рубахи были разорваны в клочья, лица окровавлены.

— Я тебе покажу!! — хрипел Семен, вырываясь из рук.— У меня узнаешь... Я... я тебя произведу!

Кузнец тоже ругался, показывал кулаки и вообще неистовствовал. Сбежалась на шум целая улица, и все были счастливы даровым представлением.

Дашка Форточка лежала дома, избитая в лоск. На ней лица не было. Отвернувшись к стене, она только слабо стонала. Митревна прошла к своей кормилице-печке, присела на лавку и заплакала бессильными старыми слезами.

— Житья нет...— шептала старуха, вытирая лицо рукавом.— Тоже не указ живого человека увечить...

Когда началась расправа, маленькая Грунька схватила двухлетнего Кольку на руки и уволокла его в соседи. Девочка знала вперед, чем кончится возвращение тятьки и что мамка будет жестоко избита. Она уже привыкла к подобным сценам и спасалась, как маленький зверек. Для своих лет Грунька понимала слишком много и до известной степени была на стороне отца, действовавшего «в своем полном праве». Домой девочка вернулась только в сумерки, притащив сонного Кольку.

Семен с побоища прошел прямо в кабак, стоявший на углу улицы, в двух шагах. Здесь он привел несколько в порядок свой растрепанный костюм и вытер рожу.

— Хорош...— полюбовался кабатчик Спирька.— Весь патрет испортил тебе кузнец-то.

— А ежели я имею свое полное право?! Полштоф давай...

Кабатчик Спирька тоже был не безгрешен относительно семейного счастья Семена. Хотя и вел свои дела с Дашкой «из-под тонкой политики». Он презрительно смотрел на избитого Семена и был рад, что кузнец разделал его в лучшем виде. С своей стороны, Спирька прибавил бы смутьяну, да не хотелось связываться. Семен, среднего роста молодой мужик, когда-то отличался воловьим здоровьем, но его уходила бесшабашная промысловая работа и матушка-водочка. Выпив залпом два стакана водки, он быстро захмелел. В кабаке набрались свои завсегдатаи.

— Ну што, Семен, пропитал большой с промыслов вынес?

— А весь тут, братцы... В чем мать родила — вот и пропитал.

— Пировал бы меньше на промыслах-то...

— Случалось и выпить... Земляная работа чажолая, тоже и вода в шахтах студеная, ну и выпьешь в другой раз.

— У вас, у промысловых, один разговор... А теперь-то што будешь делать, Семен?

— Набежит какая-нибудь работишка, а то около дома шишлиться буду. Эх, Гнедка не стало...

Немного погодя в кабак пришел и кузнец Пармен. Надо было успокоить расходившиеся нервы. Соперники встретились у кабацкой стойки и сердито отвернулись. Все равно Спирька не дал бы драться у себя в заведении. Завсегдатаи караулили врагов, угощаясь на их счет. Семен пропивал последний целковый.

Когда Спирька запер дверь своего заведения, Семен и Пармен шли по улице обнявшись и горланили песни.

— Дурак ты, Сенька...— бормотал кузнец.— Все по скуле норовил...

— И ты хорош, идол...

Друзья остановились у ворот Семеновой избы. Дашка Форточка была вызвана на улицу и еще раз избита, причем кузнец Пармен помогал оскорбленному мужу со всеусердием. Вся улица слышала, как надрывалась Дашка истошным голосом, но никто не шевельнулся защитить несчастную бабу — муж учил жену. Реализировалось в яркой форме «свое полное право»...

3

Прокутив последние гроши и проспавшись, Семен принялся за поиски работы. Летом в Екатеринбурге и в окрестностях по промыслам работы сколько угодно, а зимой, с закрытием промысловых работ, для городского мещанства наступает голодная пора. Именно такой момент переживал пригород Мельковка, в котором гнездились каменные мастера, кузнецы, железнодорожные рабочие, мастеровые и просто мещане не у дел. Положение не имевших определенного ремесла было отчаянное, как вообще положение городского мещанства. Раньше, когда была лошадь, Семен промышлял по «лесоворной части» и не уходил по летам на промыслы, но по новому закону он подвергся штрафу и остался без лошади. По старой памяти он толкнулся к кержацкому попу.

— Куды я без лошади-то,— объяснял Семен совершенно основательно.— Какой я человек теперь?.. Возьми меня хоть в кучера...

Поп даже засмеялся наивности Семена. Кто же берет промыслового волка, да и поповские кучера известны: возьмет поп из деревни подростка — и вся тут музыка.

Посмотрел Семен своего Гнедка и только головой покачал. Зажирел Гнедко, затерял силу — была лошадь, а остался жирный одер. На пяти верстах задохнется. Так и ушел Семен от попа ни с чем.

Оставалось ходить по дворам и искать поденщины. Но и тут объявилась жестокая конкуренция со стороны деревенских мужиков, сбивавших цену: в деревне работа кончилась, и они из-за готового хлеба шли чуть не даром. Пришлось идти в Обжорный ряд, где собиралась по утрам «золотая рота». Стыдно было Семену смешиваться с этой кабацкой рванью и пропойцами, но делать нечего. Проболтал Семен с «золотой ротой» дней пять и едва заработал полтину — переносили фортепьяно богатому купцу. А там старуха теща донимает.

— Вот дармоеда зятя господь послал!.. То-то радость... Кормилец, одним словом.

А свои мельковские лесоворы, у кого были лошади, уж орудовали полной рукой, несмотря на новый строгий закон. Только свист стоит, как выдергивают лес... Семен сторонился лесоворной компании, потому что ка-

кой он товарищ, когда, кроме своих двух рук, ничего не имел. Даже стыдно Семену за свою беспомощность... А все оттого, что нет лошади... Разве бы бедовал он так, ежели бы Гнедка не свели за штраф мировому судье.

Целый месяц прошлялся Семен без всякого дела, обносился, захудал, изнищал, а теща так и пилит.

Это скитание кончилось тем, что Семен раз под вечер отправился в Верх-Исетский завод, до которого от города было рукой подать. Были там и дружки, и приятели, когда промышлял Семен по своей лесоворской части. Он нарочно пошел вечерком, чтобы не все видели его убожество. Тоже стыдно настоящему мужику коричневой рванью ходить.

В Верх-Исетском заводе жила знаменитая «матка», старуха Марфа, которая заведовала всей лесоворной частью. Дело в том, что Верх-Исетская заводская дача в миллион десятин примыкала к городской даче. Лесоворы свой городской лес не трогали, как частную собственность, а посессионную считали царской. В народе живет своя юридическая логика, выработанная столетиями. «Пенсионную дачу», как окрестили рабочие по-своему посессионную, можно вырубить без зазрения совести. Заводоуправление употребляло все меры, чтобы бороться с хищниками, но все было бессильно. Мировые судьи были завалены делами о хищнических порубках, в остроге отсиживали лесоворы сотнями, и все-таки работа шла.

«Матку» Семен застал дома. Это была высокая строгая старуха из староверок. Она встретила Семена довольно строго.

— Баб ноне увечишь...— выговаривала она.— Как же, слышала. За глаза похвалила. А только, миленький, по мужику и баба: у хорошего мужика и жена хороша.

Семен угнетенно молчал. Он был такой жалкий, что «матка» смилостивилась:

— Свели лошадь-то? Эх ты, горе лыковое... А работа теперь в самый бы раз. Трудненько ноне, а все из-за хлеба на воду заробить можно.

— Новый строгий закон вышел, бабушка Марфа.

— Кому новый, а нам старый: по-прежнему с дуги лесообъездчикам платим. Прежде-то гривну платили, а ноне двоегривенный.

«Матка» выкупала лесоворов у лесообъездчиков. К

ней собирались на совещание, куда и когда ехать и во сколько дуг. Это было что-то вроде комиссионной конторы. Старуха умела уластить лесообъездчиков, рассчитывалась с ними и поила водкой. Прежде Семен был одним из лучших работников — и силен, и удал, и «матка» пожалела в нем сейчас именно этого задарма пропадавшего работника.

— Ну, так как же, Семен?..

— Подшибся я, бабушка, изнищал...

— Ну, и другим не легче... На заводе работы вон сократили наполовину, и половинныя поденщины выписывают. Неделю работай, а другую гуляй, а счет рабочим остается тот же. Вот у нас какие дела...

«Матка» вечно болела общественными нуждами и напастями. Это был тип мирского человека, выработанный специальными условиями. К бабушке Марфе шли за советом по всяким делам, и у нее не было отказа, а нуждающемуся человеку дорого было уже одно то, что его внимательно выслушают и потужат вместе. Лесоворная часть служила для населения теперь главным подспорьем, потому что заводы переживали какой-то кризис и сокращали работы. «Обращалось» на заводских работах по отчетам то же количество рабочих, а поденщины были уменьшены вдвое.

Бабушка Марфа дала выговориться Семену, покачала головой и вырешила дело.

— Не помирать, в самом-то деле, с голоду,— говорила она на прощание,— Так уж ты по-моему сделай, Семен...

— Сделаю, бабушка...

— А бабу не тронь: женское дело, слабое... Сам виноват. Еще пригодится, баба-то, вот как пригодится, ежели по-божецки...

Семен ушел от «матки» с облегченным сердцем. Умственная старуха всю беду рукой развела...

4

Вернувшись домой, Семен сейчас же принялся за работу. Из обрубка дерева смастерил два лотка, на каких катаются ребята, и облил их со дна водой. Утром на другой день, когда было еще темно, он разбудил жену и велел ей одеваться потеплее.

— Ну, а теперь, видно, поедем, Дарья,— прогово-

рил он, когда сборы были кончены.— Захвати хлеба краюшку.

Старуха Митревна только покосилась на дарового едока.

— Куды господь несет? — спросила она со сдерживаемой злобой.

— К генералу Кукушкину в гости, баушка...

У Митревны мелькнула мысль, что не замыслил ли чего-нибудь Семен насчет Дарьи. Куда он ведет бабу в такую рань? От путаной головы все станется. Но Семен был весел и даже улыбался. Он взял топор, поточил его и спрятал под свой рваный полушубок.

— Ну, благословляй, баушка...

— Ладно, не заговаривай зубов.

Дашка отнеслась к веселости мужа довольно подозрительно. Заведет куда-нибудь в лес и прикончит... Кто его знает, чему он радуется. Она даже была в нерешительности — идти за мужем или нет. Впрочем, это продолжалось всего одно мгновение.

Они вышли из дому еще в темноте. Семен пошел задворками, волоча за собой лотки. Окраиной города они вышли на узкую дорожку, уползавшую змеей в так называемый мещанский лес. Дашка теперь понимала, куда и зачем ведет ее муж, и покорно шла за ним. А он шел так уверенно, согреваясь на ходу. Утро было морозное, и крепкий холодок прохватывал насквозь.

— Вот она, наша пенсионная дача, зачалась... — объяснил Семен, когда они миновали черту городского леса и вышли на почерневшую старую порубь.— Вишь, как орудовали наши лесоворы: чисто.

Городские лесоворы никогда не трогали своего городского леса, а вырубали заводскую дачу. По целому ряду запутанных лесных дорожек они дошли наконец и до настоящего леса. Всего от города нужно было пройти верст десять, что заняло битых два часа. Лесную дачу Семен знал вдоль и поперек лучше, чем собственные карманы. Дашка с непривычки устала порядком и была рада, когда Семен остановился.

— Ну, теперь за работу примемся,— весело проговорил он, оглядывая сосновый бор опытным воровским взглядом.— Вот она, наша пенсионная сосенка стоит... Эх, кабы Гнедко!..

По привычке Семен забрался в настоящий сосновый бор, где сосны стояли, как восковые свечи — дере-

во к дереву. Выбирай любую за лучшую. Лиха беда в том, что на себе не вывезешь настоящее дерево двенадцати аршин в длину и шести вершков в вершине. Пришлось выбирать дерево поменьше, недоросток. Семен огляделся, прислушался, перекрестился и быстро принялся за работу. В тихом зимнем воздухе звонко посыпались резкие удары топора, и дерево звенело, как стеклянное. Семен несколько раз останавливался и прислушивался: как бы на шум не наехал какой-нибудь шальной лесник,— по мерзлой земле каждый звук разносился далеко, не то что летом, когда звуковая волна замирала в лесной листве. Дашка присела на пенек и молча наблюдала мужнину работу. Хорошо работал Семен, сейчас видно настоящего лесовора.

Дашка вздрогнула, когда подрубленная сосна с треском повалилась на снег. Семен еще раз прислушался и начал быстро чистить сучья, потом отмерял топорищем длину и отрубил вершину. Получилось дерево семи аршин.

— Эх, Гнедка нет: три бы таких дерева вывез на нем,— еще раз пожалел Семен, глядя на свою работу. — Ну, Дарья, айда наваливать пенсионную деревину.

На снегу была вытоптана дорожка. Под срубленное дерево подведены лотки — один под комель, другой под вершину. До настоящей крепкой, наезженной дороги было сажен пятьдесят, но вывезти бревно по целому снегу — дело нелегкое. Семен наладил веревки у переднего лотка.

— Ну, Дарья, я в корню пойду, а ты на пристяжках,— весело говорил, он, пробуя веревки.

Вывезти бревно на дорогу стоило большого труда. Лесоворы бились с полчаса, напрягая все силы, так что Дарья даже вспотела. Несколько раз лотки вывертывались из-под бревна, и их приходилось поправлять снова. Все это задерживало работу. В одном месте бревно почти засело в прикрытой снегом колдобине.

— Дарьюшка, наддай! Ну, еще разок, милая...

Они бились по колена в снегу, красные от натуги, но счастливые совместной работой. Давно рассвело, и день глядел во все глаза. Скупое зимнее солнце донимало отраженным от снега светом так, что Дарья только жмурилась. Ох, и дорога эта воровская лесинка... Наконец бревно было вытащено на дорогу, и лесоворы

вздохнули свободно. Теперь оставалось везти по укатанному санному пути. Дарья устала и глядела на мужа печальными глазами.

— Ничего, не мы одни...— утешал Семен.— Давай закусим, да и в путь-дорогу.

Они поели хлеба и картошки, присев на бревно. Семен был весел как никогда и подшучивал над женой.

— Не весь голову, не печалуй хозяина, Дарья... «Матка» полтину сулила за бревешко, ежели все благополучно. Ну, запрягайся...

Везти бревно по укатанной дороге не составляло особенно тяжелого труда, если бы не так далеко и если бы Дарья не промокла в снегу до колен.

— Иззябла я, Семен.

— Ничего, на ходу разогреешься.

Десять верст провезти на себе бревно — работа нелегкая, и лесоворы до Верх-Исетского завода тащились часа четыре. Главное — непривычное дело... К себе домой Семен не хотел везти дерево, потому что совестно было своих. Его много утешало то, что по дороге встретилось несколько таких же пар — это орудовали верх-исетские «ершовники». Эта кличка была присвоена заводским мастерам с незапамятных времен, а мещан из Мельковки называли описательно: «мельковская нужа».

— Работишка идет! — похваливал Семен.

К «матке» Семен с Дарьей привезли свою добычу уже в сумерки. Старуха сейчас же выдала условленную полтину и приговорила Дарью:

— Ничего, милушка, приобыкнешь... Сперва-то оно несладко покажется, а потом как по маслу пойдет.

У Дарьи от натуги кружилась даже голова. Она едва стояла на ногах, да и ноги были точно чужие.

5

Дарья действительно привыкла к новой работе и недели через две уже не испытывала той мертвой усталости, как в первые дни, когда возвращалась домой полумертвой. Только до места добраться.

Это была самая счастливая пора в ее жизни.

Прежде, когда Семен лесоворил один, он любую половину заработанных денег оставлял в кабаке у Спирьки. А теперь ему было совестно пропивать женин

заработок. Дарья сама покупала иногда ему водки, и они распивали ее у себя дома. И жили дружно, как никогда, потому что теперь их связывала совместная лошадиная работа. Правда, в первый месяц они заработали очень немного, да и нужно обряжаться: у Семена распались сапоги, ей надо было купить теплые чулки и варежки. Старая Митревна не могла нарадоваться. Давно бы так-то... А Семена все время грызла одна и та же мысль — мысль о своей лошади. Эх, если бы лошадь...

Через месяц Дарья сама предложила мужу вывозить по два бревна в день.

— А надорвешься? — смущенно спросил Семен.

— Ершовники вывозят по два...

— Им ближе...

— Будем за второе бревно деньги откладывать, а потом лошадь купим. Пятьдесят бревен выволокем — вот и лошадь.

— Дарьюшка, кабы только господь помог!.. Я буду подыскивать помаленьку на Сенной. Крестьяне приводят в другой раз дешевую скотину: заморят дома-то, забьют, ну и продают ни за грош.

Вывозить по два бревна в день оказалось тяжелее, чем можно было предположить. Ох тяжело доставалось это второе бревно... Вернувшись домой поздно вечером, Дарья не могла даже говорить и валилась на лавку, как сноп. Семен разыскал место поближе, всего верстах в шести, потом везли бревна прудом, что значительно сокращало дорогу, и все-таки доставалось тяжело. Ломило спину, ноги, руки.

— Ну его к ляду, второе бревно! — говорил несколько раз Семен, впадая в отчаяние. — В самом-то деле, хорошей лошади в пору...

Но Дарья упрямилась и считала дни, когда заработают рублей двадцать на лошадь. Один раз понатужиться, да и другие работают. Семену, главное, было стыдно, что он свою бабу на лошадиную работу поставил, но не околевать же с голоду. Только бы лошадь раздобыть... Нет, брат, теперь он не отдаст ее никакому приставу. Шалишь... Тогда сдуру отдал. Пусть мировой на высидку садит, а лошадь не тронь. У Семена закипела глухая злоба и против лесообъездчиков, и против мирового, и против пенсионного заводоуправления. Мало им стало лесу... Божий лес. Кто его садил да ро-

стил? Ну, пиши протокол, сади в острог на высидку, а лошадь не тронь.

Подвыпив, Семен любил рассуждать на эту тему:

— Ты сосчитай, сколько теперь поденщин у нас пропадает в одном остроге?.. Страшно выговорить... Не от сладкого житья лошадиную работу робим, а тут тебя протоколом накроют. Где она, работа-то, зимним делом у нашего брата-мещанина? Разе нашего брата-мещанина можно приравнять к мужику, крестьянину? У крестьянина вот тебе земля, вот тебе твой пропитал и всякое прочее. Ежели с умом, так крестьянину помирать не надо... А мещанин весь тут: ни впереди, ни позади, ни с боков — ничего не бывало. Тоже взять и мастерового человека... Вон пенсионные сократили работы, куда мастеровому деться?

Заработанные деньги поступали к Дарье, и она прятала их, как мышь. Семен не вступался: уж баба убережет... Да и денежки кровные. К рождеству Дарья, благодаря лошадиной работе, ухитрилась отложить целых семь с полтиной. Ведь это чуть-чуть не пол-лошади. Еще понатужиться — и вся лошадь будет.

Но вышло немного иначе.

Перед рождеством лесоворам досталось особенно тяжело благодаря стоявшим буранам. И дороги переметены снегом, и мороз донимает, и «матка» жалуется на лесников, которые рвали с нее живым мясом. Пенсионное заводское начальство принимало с своей стороны самые энергичные меры к прекращению хищничества, и на этом основании лесники брали больше.

— Потерпи, баушка... — уговаривал Семен роптавшую старуху.

— И то терплю, милый человек. Куда вас деть-то...

Раза два Семен попадал на объезд в лесу, и приходилось откупаться из своих. Тяжело было отдавать кровяные двугривенные-то, и Дарья плакала.

— Вон какие красные рожи наели лесники на наши двугривенные-то, — ругалась она. — К празднику, слышь, деньги нужны, а нам они не надобны?.. Разорвала бы я их всех на мелкие клочья...

Семен молчал. В нем все больше и больше накипала глухая злоба.

Раз, незадолго до рождества, Семена и Дарью лесники накрыли на самом месте преступления. Бревно было срублено и навалено на лотки. Когда наехал лес-

ник в своих санках на высоких копыльях — в таких санках ездят охотники, — Семен по привычке бросился бежать в лес. В лесу живого человека трудно поймать. Дарья растерялась и осталась у своего бревна, как пень.

— Ах, дура! — выругался Семен, схватившись жены. — Дашка, да ты очумела?..

Здоровый лесник уже ухватил Дарью и улыбался. Все равно мужик не уйдет.

И Семен не ушел. Он вернулся.

— Ты, ирод, не тронь бабу!.. Такого и закону нет, штобы мировой баб стал судить за лесоворную часть...

— А ты иди, друг, ближе... — смеялся лесник. — Сенька Ковригин? Видна птица по полету...

Это уже окончательно взбесило Семена:

— Я и есть Сенька... Ну, составляй протокол! Ну, описывай! Ну, пей нашу кровь...

Протокол был составлен.

6

По составленному протоколу Семен Ковригин был привлечен к законной ответственности. «По совокупности» мировой судья приговорил его к трехмесячному заключению.

— А как же, напримерно, жена? — спросил Семен судью. — А напримерно, ребятишки?..

Мировой судья поднял брови и перешел к очередным делам.

Семен попал на высидку как раз на праздники, что его кровно обидело. Бывает и свинье праздник... Дарья ревела, как зарезанная: потому что догадайся она убежать от лесника — ничего бы не было. Семен не жаловался и даже не ругался. Что же, сидеть так сидеть... Не впервой... И другие сидят.

Долгие были эти три месяца. Ах, какие долгие... Деньги, скопленные на лошадь, ушли меж пальцев. Дарья помогала матери и каждый вечер уходила в острог со свежим калачом.

Семен вышел только в великий пост. Озлобленный, молчаливый, он в лоск напился в тот же вечер у Спирьки и поколотил Дарью. Последнее вышло так, между прочим — нужно было на ком-нибудь сорвать сердце. Дарья не жаловалась, понимала настроение мужа.

— Я вам покажу!! — орал Семен, расхаживая петухом по своей избушке. — Из-за кого я страждить должен?..

После некоторого промежутка Семен попал под второй и третий протокол, снова попал в острог и по новому закону лишен был «некоторых прав и преимуществ» и приговорен к ссылке в «не столько отдаленные места». Последнее было самым обидным... Прав, кроме права умереть с голоду, у Семена все равно не было никаких. А вот лишить родного пепелища — это уж совсем другое дело.

Через полгода ссылки Семен вернулся домой. Его тянуло мертвой тягой именно домой. Што-то горюша Дарья поделывает? Што-то ребятенки? Просто, наконец, увидеть родные места, свою пенсионную дачу, лесоворов, кабатчика Спирьку...

Семен был пойман в собственной избушке, на месте преступления — он спал на полатях. Правосудие лишило его, как беглого, всех прав и «состояния». Семен ушел уже на каторгу.

Через два года он опять «выворотился». На этот раз он был умнее и не пошел домой, а спрятался у кузнеца Пармена. Здесь он прожил целых три недели, видаясь с Дарьей украдкой. Мысль о Дарье у него являлась роковым пунктом. Семен не мог жить без нее...

Пойманный во второй раз, Семен был приговорен окружным судом в каторгу и ушел обычным этапным порядком. Дарья порывалась уйти за ним, но ее удерживали дети.

— Ужо, погоди... — говорил ей на прощание Семен. — Я все равно выворочусь и тогда покажу им всем кузькину мать. Нет, ты скажи: за что меня на каторгу обсудили?

Дарья только могла плакать и обвинять себя: ежели бы она тогда убежала от лесника...

Через два года Семен еще раз «выворотился». Теперь он был уже не помнящим родства. Его видели в Верх-Исетском заводе, когда он заходил к бабушке Марфе. Старуха запиралась, что знать ничего не знает, но это ни к чему не повело. Полиция, в свою очередь, знала, что Сеньке деться некуда, и сколько ни погуляет, а придет в свою Мельковку к своей Дарье. Пока следили за ним стороной, а решительных мер не принимали. Однако наученный горьким опытом Семен оказался

предусмотрительнее и бывал только в Верх-Исетском заводе, а домой не показывался.

Наступало лето, а Семена все не могли поймать. Это было обидно. Наряжена была специальная команда для поимки Сеньки. В нее, кроме полицейских, вошли и лесники. Как-то под вечер двое стражников наткнулись в «пенсионном» лесу на неизвестного человека, который неизвестно зачем лежал около огонька.

— Ты это што здесь делаешь?

— А товарища жду...

— Долго тебе придется ждать, мил друг. Пойдем вместе, нам по одной дороге.

Бродяга вскочил и ударился бежать. Стражники летели за ним. В самый критический момент показался ехавший навстречу лесник.

— Держи!.. Лови!..

Лесник загородил дорогу и даже выхватил револьвер. Бродяга очутился меж двух огней. Но он не струсил, а грудью пошел прямо на лесника.

— Ну, стреляй!.. Ну, убивай...— бормотал он.

Не успел лесник опомниться, как уже повалился с лошади с распоротым животом. Бродяга вскочил на лошадь, погрозил ножом стражникам и скрылся в лесу.

Это был Сенька Ковригин.

Кончилось скитание Сеньки все-таки тем, что его накрыли у жены Дарьи. По суду ему вышла бессрочная каторга. Ребятишки подросли, и Дарья пошла в Сибирь за мужем.

1893

Баймаган

I

«Хороша киргизская степь, хорошо голубое небо, которое опрокинулось над ней бездонным куполом, хороши звездные степные ночи, но лучше всего новый кош[1] старого Хайбибулы, в котором он живет вместе со своей старухой Ужиной и молоденькой дочкой Гольдзейн». Так думает молодой Баймаган, работник Хайбибулы, думает и поет:

В небе звезды,
И в коше Хайбибулы звезды...
Там и ночью светит солнце!
А в голове Баймагана
Мысли, как птицы.

— У меня много-много мыслей, и все они, как степной ковыль, гнутся в одну сторону,— говорил Баймаган, когда они вместе с другим работником Урмугузом пасли косяк кобылиц.— У Хайбубуллы всего много... Старая лисица катается как сыр в масле, а я ничего не возьму за свои мысли, Урмугуз.

— Дурак ты, Баймаган... — лениво отвечает Урмугуз, покачиваясь на высоком киргизском седле.— Какие мысли могут быть у таких бедняков, как мы с тобой?.. Ты глуп, Баймаган, а Хайбибула умен... У Хайбибулы двести лошадей ходит в степи, у Хайбибулы пять лучших иноходцев, у Хайбибулы новый кош, целый сундук с деньгами и красавица дочь. У бедных людей должна быть одна мысль: не лечь голодным спать.

Обидно Баймагану слушать такие слова своего приятеля, который никогда ни о чем не думает, точно киргизский баран. Да, Баймаган — бедняк, но это не мешает ему видеть и слышать то, чего не видит один Урмугуз.

---

[1] Кош — круглая киргизская палатка из войлока. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

У Баймагана каждый раз дрогнет сердце, как подстреленная птица, когда он вечером с косяком кобылиц возвращается к кошам. Издали эти коши точно потерянные в степи шапки, одна большая и две маленьких. Из большой в холодные ночи весело поднимается синий дымок — это старая Ужина вечно что-нибудь стряпает, чтобы угодить мужу. Вот около этого огонька в коше старой лисицы Хайбибулы и бьется молодое сердце бедняка Баймагана, потому что вместе с дымом по вечерам из коша несется песня красавицы Гольдзейн.

2

У Хайбибулы новый кош, который стоит рублей пятьсот,— он из лучших белых кошм, а внутри по стенам развешаны дорогие бухарские ковры. Тут же стоят сундуки, набитые всяким добром — рубахами, бешметами, халатами. У Гольдзейн свой сундук, весь обитый белой жестью, точно серебряный; в нем копится приданое для того счастливца, которому достанется Гольдзейн.

— Кто даст калым в сто лошадей и пятьсот рублей деньгами, тому и отдам Гольдзейн,— хвастается Хайбибула, когда с гостями напьется кумыса.— Будь хоть без головы жених, мне все равно... Сто лошадей и пятьсот рублей деньгами.

Пьяный Хайбибула непременно бранится с женой и каждый раз повторяет:

— Ты мне надоела, Ужина... Вот получу калым за Гольдзейн и прямо с деньгами поеду под Семипалатинск: там в кошах живут два брата, Кошгильда и Яшгильда, богатые киргизы, и у обоих по молоденькой дочери. Которую хочу, ту и возьму, а тебе, старой кляче, пора отдохнуть.

Когда Гольдзейн весело распевает свои песни, старая Ужина горько плачет, потому что Хайбибула непременно женится на молоденькой и сживет ее, Ужину, со свету. Он уж двух жен в гроб заколотил, а она — третья, и ее заколотит. Старый волк любит молодую козлятину, и погубить человека ему ничего не стоит, а все считают его хорошим, ласковым мужем.

«Лучше уж мне самой умереть...» — думает Ужина, думает и плачет, вспоминая молодое время, когда щеки у ней были румяные, глаза светились, сама была тол-

стая да белая и когда Хайбибула говорил ей льстивые, ласковые речи.

Скоро износилась красота Ужины. Бессонные ночи, работа, дети и мужнины побои развеяли по ветру девичью красоту, а Хайбибула ее же попрекает дорогим калымом.

Никто не жалеет старухи, а Гольдзейн нарочно отвертывается, чтобы не видать слез матери. Глупая девка только и думает, чтобы поскорее выскочить замуж за богатого жениха, а родная мать ей хуже чужой.

Как-то пьяный Хайбибула сильно избил Ужину, и она едва вырвалась от него. Убежала и спряталась за кошем. Ночь была темная, а на душе Ужины было еще темнее. Стала она просить себе смерти, потому что никому-никому, ни одному человеку не жаль ее.

— Эй, Ужина, не плачь...— прошептал над самым ухом старухи знакомый голос.

— Это ты, Баймаган?

— Я... Я все вижу и знаю. Погоди, вот женюсь на Гольдзейн, тогда и тебя возьму к себе. Славно заживем...

— Да ты с ума сошел?.. У тебя ничего нет...

— Э, погоди, все будет... Старая лисица Хайбибула сам будет ухаживать за мной... Вот я какой человек, Ужина!

Это ласковое слово глупого парня согрело душу Ужины, как солнечный луч, и ей сделалось жаль Баймагана: аллах велик, у аллаха всего много, что стоит аллаху бросить росинку счастья на Баймагана? Все может быть...

— Слушай, Баймаган, никогда-никогда не женись на Гольдзейн,— шептала старая Ужина,—в ней волчья кровь... Женись лучше на Макен: вот мой совет за твое доброе слово позабытой всеми старухе.

3

Около коша Хайбибулы в стороне стояли два старых дырявых коша, в которых жили пастухи и работники. В одном жил кривой пастух Газиз с дочерью Макен, а в другом Баймаган с Урмугузом. Очень бедно было в коше Газиза, а у Баймагана с Урмугузом совсем ничего не было, кроме хозяйских седел да разной сбруи. Спали оба работника на лошадиных потниках. Сквозь прогоревшие кошмы пекло солнце и лился дождь,

точно аллах хотел каждый день испытывать терпение молодых пастухов.

Все хозяйство Газиза вела Макен, и она же постоянно помогала старой Ужине, точно работница, хотя скупой Хайбибула не платил ей ни гроша, разве когда подарит ей обноски после Гольдзейн. Макен работала как лошадь и ходила чуть не в лохмотьях. За работой она пела такие печальные песни и каждый раз смолкала, когда мимо проходил Баймаган.

— Он хороший человек,— говорила Ужина, не называя Баймагана по имени.

— Хорош, да не для меня... — отвечала Макен и тяжело вздыхала.

Аллах мудрено устраивает человеческие дела: Урмугуз любил Макен, Макен любила Баймагана, а Баймаган любил гордую Гольдзейн. Баранчуками[1] они все росли вместе, а потом вышло вон что. Старый Газиз видел все это, но молчал, потому что аллах велик и знает лучше нас, как и что делать. Урмугуз думал про себя, что Макен первая красавица во всей киргизской степи и что Гольдзейн приворожила глупого Баймагана своими песнями и богатыми нарядами. В праздники Гольдзейн всегда щеголяла в шелковом полосатом бешмете, заплетала свои черные волосы в мелкие косички, в уши надевала дорогие тяжелые серьги, а всю грудь увешивала серебряными и золотыми монетами, которые так весело звенели у ней на ходу.

Баймаган подолгу смотрел на нее с разинутым ртом или старался чем-нибудь услужить. Гордая красавица совсем не замечала Баймагана и только иногда любила посмеяться над ним, особенно когда тут же была Макен.

— Баймаган, скоро у тебя будет сто лошадей и пятьсот рублей денег? — спрашивала Гольдзейн, толкая Макен локтем.— Смотри, мне, пожалуй, надоест ждать, и я как раз выйду за другого... У меня уж есть три жениха.

Гольдзейн весело смеялась, а у Баймагана замирало сердце от этого смеха, и он начинал ненавидеть Гольдзейн. И чем больше она смеялась над ним, тем больше он ее любил.

Проклятых сто лошадей бедный пастух часто видел

[1] Баранчук — ребенок, дитя. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

во сне, а деньги даже искал у себя под изголовьем. Перестала бы Гольдзейн смеяться над ним, когда бы он принес Хайбибуле пятьсот рублей старыми серебряными монетами и выставил в поле свой собственный косяк лошадей... Всего сто лошадей и пятьсот рублей. Баймаган день и ночь стал думать, как добыть дорогой калым, похудел и ходил как в воду опущенный.

Хайбибула прежде сам был беден, и вся степь знает, откуда пришло его богатство: он сначала сам воровал лошадей по казачьей уральской линии, а потом стал только сбывать краденый скот.

— Это люди болтают из зависти,— говорил кривой Газиз.— Аллах все видит...

4

Баймаган возненавидел Хайбибулу и за глаза бранил его самыми скверными словами. Тут доставалось и толстому брюху Хайбибулы, и его красному носу, и седой голове, которая думала о молоденьких девчонках. Когда в урочные часы старик выходил из коша на молитву, расстилал под ноги коврик и падал ниц, приложив раскрытые ладони к ушам, Баймаган испытывал глубокое чувство отвращения к этому старому ханже, который хочет обмануть самого аллаха.

— Кажется, я убил бы эту старую лисицу! — говорил Баймаган своему другу Урмугузу.— Его деньги нажиты кровью, он загубил двух первых жен, теперь губит третью и хочет жениться на четвертой, чтобы согреть свою старую волчью кровь молодой... О, как я ненавижу этого Хайбибулу!..

Хитрый старик заметил косые взгляды Баймагана и время от времени любил подшутить над ним. Бессильная злоба бедняка забавляла Хайбибулу.

Раз в праздник, когда в коше и перед кошем сидели гости, Хайбибула сказал Баймагану:

— Баймаган, покажи гнедого иноходца гостям... Впрочем, у тебя заячье сердце, пусть приведет лошадь Урмугуз.

Это было сказано нарочно, чтобы подзадорить Баймагана и потешить гостей отчаянной скачкой. Гнедой иноходец был еще необъезженной лошадью и никого не пускал на себя. Обида засела глубоко в сердце Баймагана, и он захотел показать перед всеми, что

ничего не боится и что Хайбибула напрасно его обижает.

Иноходца едва поймали на два волосяных аркана, подвели к кошу, и Баймаган птицей сел на спину дрожавшей от страха лошади.

— Смотри, упадешь!..— крикнул вслед Хайбибула.

Началась самая отчаянная скачка на необъезженной лошади, старавшейся сбить седока. А Баймаган видел только улыбавшееся лицо Гольдзейн, которая смотрела на него из коша вместе с гостями. Да, он приведет лошадь к кошу смирную, как овечку, или ему не видать Гольдзейн, как своих ушей.

Лошадь и человек боролись отчаянно несколько часов. Баймаган уже чувствовал, что лошадь начинает уставать и скоро будет в его руках, как ребенок. Но в этот момент она сделала неожиданный прыжок в сторону, и Баймаган слетел на землю. Все это случилось в одну секунду, и бешеное животное с удвоенной силой понеслось в степь, стараясь освободиться от тащившегося на аркане наездника. Баймаган крепко держал веревку обеими руками и решился лучше умереть, чем выпустить лошадь.

Через полчаса иноходец прибежал один, а Баймагана нашли в степи без чувств. Он лежал весь избитый: голова, лицо и плечи были покрыты глубокими ранами от лошадиных копыт.

5

Баймаган лежит в своем дырявом коше. За ним ухаживает старая Ужина, которая знает много хороших степных трав. Иногда в кош завертывает Макен и молча садится у входа. Больной никого не узнает и все бредит.

Ему ужасно тяжело и все кажется, что он скачет на проклятом иноходце. Лошадь бьет его задними ногами прямо в голову, и Баймаган страшно вскрикивает. Долго-долго носит его по степи взбесившийся иноходец, а когда он открывает глаза, то видит над собой дырявую кошму своего коша и слышит точно сквозь сон голос Ужины:

— Не шевелись, Баймаган... Будешь жив, если не будешь шевелиться. Все идет хорошо.

Баймаган старается лежать спокойно, хотя ему

ужасно хочется приподнять голову — в коше кто-то тихо плачет, а кому плакать о нем, о круглом сироте? Ах, зачем он не умер там, в степи, где носил его иноходец!..

Потом Баймагану вдруг сделалось так легко и так хорошо, совсем хорошо. Он здоров. Нет, будет уж служить старой лисице Хайбибуле!.. Прощайте все: и кривой Газиз, и Урмугуз, и Макен, и Ужина... С Гольдзейн Баймаган не простился, потому что слишком ему было бы тяжело видеть ее насмешливую улыбку.

— Э, увидимся!..— утешает самого себя Баймаган, направляясь в степь, где там и сям торчали киргизские коши, точно бритые татарские головы в тюбетейках.— Надо жить, как старая лисица Хайбибула...

Баймаган скоро нашел себе работу — он сделался отчаянным барантачом. По степи он отбивал овец у гуртовщиков, у казаков и русских угонял лошадей, и везде стали бояться одного его имени. Несколько раз он попадался, и его били прямо по голове, точно все знали, где у него самое больное место.

Через несколько лет такой работы у Баймагана был готов весь калым за Гольдзейн, и он орлом полетел к старому Хайбибуле.

— Вот твой калым...— объявил Баймаган, высыпая перед стариком старое серебро.

— Ты — умный человек,— задумчиво говорил Хайбибула, пересчитывая деньги.— Ну, Гольдзейн — твоя... Такой красавицы до Семипалатинска не найти. Что же, твое счастье, а я очень рад. Макен тоже вышла замуж за Урмугуза, я и калым платил за него. Давай поцелуемся.

6

Рядом с кошем Хайбибулы вырос новый кош Баймагана. В последнем жилось очень весело. Гольдзейн по целым дням распевала свои песни, а Баймаган лежал на ковре и пил кумыс. Когда ему надоедало гулять одному, он посылал за Хайбибулой и угощал старика.

— Ты умный человек, Баймаган,— повторял каждый раз Хайбибула и улыбался старым беззубым ртом.— Стар я стал... Вот и борода седая, и глаза слезятся, и зубы пропали. А когда-то я умел наживать деньги. Надо тебе показать все норы и лазейки, а мне пора отдохнуть.

И старая лисица Хайбибула учил Баймагана всяким плутням, называл всех своих знакомых и товарищей по ремеслу, а Баймаган слушал и удивлялся, что Хайбибула совсем не такой дурной человек, как он думал раньше. Даже очень хороший человек этот Хайбибула, если разобрать; а если он занимается воровством, так не он один грешен перед аллахом.

Когда Хайбибула выгнал старую Ужину и женился на четырнадцатилетней Аяш, дочери Кошгильды, о которой давно говорил, и тогда Баймаган не обвинил старика. Хайбибула еще в силах, а Ужина едва волочит свои старые ноги. Так хочет аллах, если одно дерево цветет, а другое сохнет. Конечно, Аяш молода для такого беззубого старика, как Хайбибула, но старику уж немного осталось веселить свое сердце — пусть еще порадуется на конце своих дней.

Старая Ужина пришла к Баймагану и сказала:

— Муж меня прогнал, а я стара... Помнишь, как ты обещал приютить меня, если женишься на Гольдзейн?..

— Я этого не говорил, старая кляча!..— закричал Баймаган.— Это все ты сама придумала...

Баймагану было совестно за свою ложь, и он еще сильнее рассердился.

— Не наше дело судить вас с отцом,— ответила матери Гольдзейн, потакавшая мужу.— Мы не желаем ни с кем ссориться, а живите себе, как знаете.

Ничего не сказала старая Ужина и ушла. Ее приютил в своем рваном коше Урмугуз.

— Мне уж за одно вас, стариков, кормить,— проговорил он,—вон Газиз живет, живи и ты.

Тесно было в коше Урмугуза, но Макен нашла уголок для старухи, совсем убитой горем. Это взбесило Баймагана.

— Вот нашлись богачи! — ругался он.— Всех полоумных старух да стариков не накормишь.

— Урмугуз, видно, богаче нас с тобой,— прибавила Гольдзейн.— Недаром он столько лет служил у отца, а теперь служит у тебя. Видно, ему выгодно, если может кормить чужих людей.

Баймаган сильно рассердился на Урмугуза, но до поры до времени затаил в своем сердце эту злобу. Урмугуз нарочно взял к себе Ужину, чтобы постоянно колоть ею глаза и ему, и Гольдзейн, и старому Хайбибуле.

— Урмугуз глуп,— шептала Гольдзейн, ласкаясь к мужу,— а это придумала Макен... О, это хитрая и злая женщина!

7

Киргизская степь была так же хороша, как десять лет назад, так же весной она покрывалась цветами и ковылем, тот же играл по ней степной ветер, а зимой волком завывали снежные метели, голубое небо так же высоко поднималось над ней, так же паслись по ней косяки киргизских лошадей, а Гольдзейн позванивала своим серебром.

Хорошо жилось Баймагану. Всего у него было много, а когда надоедало сидеть дома, он уезжал куда-нибудь в гости. У богатых людей много хороших знакомых. Когда было лень ехать, Баймаган по целым дням лежал в коше и думал о разных разностях. Всего лучше ему делалось, когда он вспоминал про свое детство. Да, Баймаган вырос у старого Хайбибулы как бездомная собачонка: спал под открытым небом и питался объедками, вместе с хозяйскими собаками. Когда варили махан или салму[1], Баймаган только облизывался издали и был рад, если на его долю доставалась обглоданная косточка, которую бросала ему добрая Ужина. Эти воспоминания делали настоящее еще приятнее, и Баймаган нарочно приглашал Хайбибулу есть салму, чтобы вспомнить про старое.

Однажды, когда они вдвоем сидели около чугунного котла с салмой, старик хитро подмигнул, указывая на дочь.

— Ты ничего не замечаешь, Баймаган? — прошамкал он.

— Нет, а что?..

— Я ничего, так... Будто Гольдзейн у тебя постарела. Она будет вылитая Ужина. Вот увидишь... А Макен молодеет. Впрочем, на чужих жен нехорошо заглядываться... Я так сказал. Ну, прощай...

Эти слова глубоко запали в душу Баймагана, хотя он старался о них совсем не думать. Раз он больно прибил Гольдзейн, и, когда она стала плакать в своем

[1] Салма — лапша из конины; махан — жареное из жеребенка. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

углу, он занес было руку с нагайкой, чтобы ударить ее по спине, но взглянул на ее заплаканное лицо, испуганные глаза — и рука с нагайкой бессильно опустилась сама собою: на него смотрела старая Ужина, а Гольдзейн, красавицы Гольдзейн, больше не было.

Баймаган начал часто напиваться кумысом, бил жену и все ходил около коша, чтобы хоть издали посмотреть на Макен. Урмугуза он нарочно посылал в дальние киргизские стойбища с разными поручениями, чтобы не стыдно было заходить в его старый кош под разными предлогами.

Макен стала прятаться от Баймагана, а это еще больше разжигало в нем кровь. Чтобы показать ей свою любовь, Баймаган не упускал случая на ее глазах бить Гольдзейн по чему попало, а потом отнял у жены все украшения и спрятал их в свой сундук. Кривого Газиза он поил самым хорошим кумысом и называл дядей. А Гольдзейн от побоев и слез делалась все больше похожей на свою мать, и Баймаган старался не смотреть на нее.

«Надо избыть Урмугуза, а потом я женюсь на Макен, когда она останется вдовой,— подумал Баймаган.— Гольдзейн пусть служит ей, как раба...»

8

Урмугуза не стало. Много так пропадает в степи. Чужие люди обвиняли Баймагана, что он подослал убийц к своему работнику, а сам женился на его вдове.

А Баймаган ничего не хочет знать, что говорят про него люди. Он по целым дням лежит на ковре вместе с Макен, а Гольдзейн прислуживает им, старая, некрасивая Гольдзейн. Но Макен такая печальная, и Баймагана тянет выйти из коша; рядом в коше старого Хайбибулы каждый раз на шум его шагов отодвигается край ковра, которым прикрыт вход, и оттуда смотрят прямо в душу Баймагана два темных глаза, а из-за белых зубов сыплется беззаботный детский смех. Это молодая Аяш смотрит на Баймагана, и у него темнеет в глазах.

«Обманул меня Хайбибула,— думает он,— Макен все думает о своем Урмугузе... Ей скучно со мной».

Не спится по ночам Баймагану, а вместе с ночным холодом ползет к нему в кош ласковый девичий ше-

пот,— о, он знает этот голос, который хватает его прямо за сердце! Нужно было отправить на тот свет не Урмугуза, а старую лисицу Хайбибулу. Будет ему грешить, а Аяш еще молода.

Темнее ночи ходит Баймаган и все думает о старике Хайбибуле,— может быть, старая лисица сам догадается умереть.

Отточил острый нож Баймаган и ночью, как змея, заполз с ним в кош Хайбибулы. Вот уж он слышит ровное дыхание спящей Аяш, а рядом с ней на постели, под шелковым бухарским одеялом, храпит Хайбибула. Баймаган подполз к изголовью и замахнулся, чтобы ударить Хайбибулу прямо в сердце,— он пригляделся к темноте и теперь хорошо различал спавших,— но, заглянув в лицо старику, Баймаган остолбенел: это лицо смеялось своим беззубым ртом, а старческие слезившиеся глаза смотрели на него в упор.

— Ну, чего ты испугался?..— шепчет Хайбибула, а сам все смеется и смотрит на него.— Делай то, за чем пришел...

Страшная ярость закипела в груди Баймагана, хочет он поднять руку с ножом, но у него нет больше силы,— рука висит как плеть.

— Убил Урмугуза, убивай и меня,— шепчет Хайбибула.— Аяш моложе твоих жен... Ты умный человек, Баймаган. Ха-ха-ха...

Эти слова ударили Баймагана прямо в голову, и он почувствовал, как на его голове открываются старые раны от лошадиных копыт и как он сам начинает весь леденеть. Жизнь быстро выходит из него вместе с горячей кровью, а старый Хайбибула делался все дальше и дальше, и только далеко-далеко, точно из-под земли, доносился его страшный дребезжащий смех и тот же шепот:

— О, ты умный человек, Баймаган!..

Баймаган крикнул, объятый ужасом, и сам испугался своего голоса, точно это кричал не он, а какой-то другой голос.

— Тише, тише... не шевелись, Баймаган,— шептал над ним голос старой Ужины, и чьи-то руки удерживали его голову.

9

— Так это был сон?..— спрашивал Баймаган, когда пришел в себя и увидел, что по-прежнему лежит в своем дырявом коше, а около него сидит старая Ужина и уговаривает его, как ребенка.

— Ты сорвал повязки с головы и чуть не истек кровью...— шептала ласково старуха.— Отчего ты так страшно крикнул?..

— Не спрашивай... после расскажу. Я дурной человек... я хуже всех других, Ужина.

Баймаган поправился, но сделался таким задумчивым и печальным, что никто не узнавал в нем прежнего молодца.

— О чем ты думаешь, Баймаган? — спрашивала его Макен.

— Дорогая Макен, прежде я думал всегда о себе,— отвечал ей Баймаган,— думал, как бы мне устроиться лучше других. А теперь мне жаль всех людей, потому что я все вижу и все понимаю... Да, понимаю все и понимаю то великое зло, какое сидит в каждом человеке и обманывает всех. Мне иногда делается страшно за то зло, которое и в нас, и вокруг нас. Я был глуп и ничего не понимал, но за одно доброе слово, которое я сказал несчастной старухе, аллах показал мне мою собственную душу.

Через год Баймаган женился на Макен.

1886

Лебедь Хантыгая

1

— Где хаким[1] Бай-Сугды? Где лебедь Хантыгая? — спрашивал Бурун-хан своих придворных.— Отчего мои глаза не видят славу и гордость моего государства? Где он, слеза радости, улыбка утешения, свет совести,— где хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая?

Мурзы, беки, шейхи, тайши и князьки, присутствовавшие в палатке Бурун-хана, опустили головы и не смели взглянуть на своего повелителя, точно они все чувствовали себя виноватыми. В сущности, они просто боялись огорчить Бурун-хана печальным известием и вызвать его неудовольствие.

— Отчего вы все молчите? — спрашивал Бурун-хан, грозно сдвигая седые брови.— Отчего никто из вас не хочет сказать правды?.. Впрочем, это смешно — требовать правды от людей, которые хотят заменить мне и мои глаза, и мои уши, и мои руки, чтобы лучше пользоваться моей слепотой, глухотой и бездеятельностью... Один хаким Бай-Сугды говорил мне правду, а я не вижу его.

Еще ниже наклонились старые и молодые головы мурз, беков, тайшей и князьков, и опять никто не посмел проронить ни одного слова. Тогда смело выступила вперед красавица Джет, любимая дочь Бурун-хана, и, преклонив одно колено, сказала:

— Отец мой, прости мне мою смелость, что я решилась сказать тебе то, о чем молчат другие...

Седые ханские брови распрямились, морщины на ханском лбу исчезли, грозные ханские глаза глянули весело: разве найдется такой человек, который может рассердиться на красавицу Джет?

— Говори, Джет, моя газель.

— Отец, хаким Бай-Сугды уже давно совсем изменился, так что ты его не узнаешь... Он больше уже не

[1] Хаким — ученый, учитель. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

складывает своих чудных песен, которые распевает весь Хантыгай. Да... Хаким Бай-Сугды заперся в своей палатке и никуда не выходит. Вот уже полгода, как он заскучал, а его жены проплакали свои глаза... Кто-то попортил солнце Хантыгая, и оно скрылось за тучу.

Хан опять нахмурился и велел привести хакима Бай-Сугды, а красавица Джет поместилась за шелковой занавеской. Когда старый хаким, с длинной седой бородой, вошел в палатку, девушка тихо заиграла на золотой арфе и запела самую лучшую песню, какую только когда-нибудь сложил Бай-Сугды:

Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет
На груди твоей таится...

Никто в целом Хантыгае не умел петь лучше Джет, и все лица повеселели, а Бурун-хан посмотрел на хакима с улыбкой. Улыбнулись и мурзы, и беки, и шейхи, и тайши, и князьки, как живое зеркало Бурун-хана. Один хаким Бай-Сугды стоял перед ханом, опустив глаза, и на седых ресницах у него повисли слезы.

— Хаким Бай-Сугды, лебедь Хантыгая, что сделалось с тобой? — спросил Бурун-хан. — Никто тебя не видит... Может быть, у тебя есть какое-нибудь горе? Может быть, износилось твое платье? Может быть, твои стада постигло несчастье? Может быть, наконец, ты недоволен мной?..

Поднял голову хаким Бай-Сугды и сказал:

— Всем я доволен, Бурун-хан, и все у меня есть, даже больше, чем нужно одному человеку... Я, как пылинка в солнечном луче, купаюсь в твоей милости.

— Может быть, похолодело твое сердце, хаким Бай-Сугды, и нужна новая пара газельих глаз, чтобы воскресить в нем молодую радость?..

— О, Бурун-хан, у меня семь жен, семь красавиц, и мне достаточно молодых радостей, — с горькой усмешкой ответил седой хаким.

— Что же тебе нужно, Бай-Сугды? Проси все — и я все сделаю для тебя... Ты выше меня, потому что я сейчас хан, а завтра меня съедят черви, а ты умрешь — после тебя останутся живые чудные песни... Ханов много, а хаким Бай-Сугды — один.

— Бурун-хан, у меня есть к тебе просьба: пусть красавица Джет не поет больше моих песен... И пусть

другие девушки их позабудут. Когда птица поет беззаботно, сидя на ветке, она не предчувствует близкой беды, не видит беды, не видит коршуна, который ее схватит. Моя зима пришла, а мой коршун уже летает над моей головой, и я чувствую, как веют его крылья...

— Неужели ты, мудрейший из людей, испугался смерти?

— Нет, хан, не смерти я боюсь, а того, зачем я жил так долго... Мое сладкое безумство пело песни, а ненасытное сердце искало новых радостей. Но теперь нет больше песен... Давно углубился я в ученые книги, в это море мудрости, и чем дальше углубляюсь в них, тем сильнее чувствую, сколько зла я наделал своими песнями. Я обманывал их сладким голосом и молодых и старых людей, я сулил им никогда не существовавшие радости, я усыплял душу запахом роз, а вся наша жизнь только колеблющаяся тень промелькнувшей в воздухе птицы... Горя, несчастий, нужды и болезней целые моря, а я утешал и себя и других одной каплей сладкой отравы. Мои песни теперь нагоняют на меня тоску. Бурун-хан, чем больше я читаю мудрые книги, тем сильнее вижу собственное безумство... Отпусти меня, хан! Я пойду в другие государства и найду великих подвижников, которые целую жизнь провели в созерцании и размышлениях; у них истина жизни, которой я хочу поучиться. Вот моя вторая просьба...

Задумался Бурун-хан: жаль ему стало певца Бай-Сугды, славу и гордость Хантыгая. Что же останется, когда улетит этот лебедь? Но хаким Бай-Сугды так сильно изменился, и путешествие будет для него лучшим лекарством.

— Хорошо, хаким Бай-Сугды, пусть будет по-твоему,— согласился Бурун-хан.— Иди, куда хочешь, но только возвращайся, а пока ты путешествуешь — в Хантыгае не будут петь твоих песен. Иди, отыщи истину и принеси ее нам...

2

Ханство Хантыгай было очень большое, но в нем хаким Бай-Сугды не знал никого, кто был бы его ученее. Он быстро собрался в путь, нагрузил трех верблюдов всем необходимым для далекого путешествия, взял десять человек слуг и отправился в соседнее цар-

ство Чубарайгыр, где жил знаменитый хаким Тююзак.

Целых три недели шел караван до границы. Хантыгай и Чубарайгыр много лет воевали между собой, разрушали города, пустошили населенные местности, убивали тысячи людей и тысячи людей уводили в плен. Счастье было изменчиво, а война прекращалась только тогда, когда войска изнемогали, запасы истощались и общая нищета заставляла мириться на время. Ханы уверяли друг друга в дружбе, а сами потихоньку готовились к новой войне, чтобы напасть врасплох. Поэтому, когда караван хакима Бай-Сугды показался на границе, то оберегавшая ее стража сейчас же схватила верблюдов, а самого Бай-Сугды объявила пленником чубарайгырского хана Майчака. Пленника представили прямо хану, но когда Майчак узнал, с кем имеет дело и зачем хаким Бай-Сугды заехал в его государство, то предложил ему богатые дары и отпустил.

— Твои песни, хаким, открывают тебе везде счастливый путь,— сказал хан Майчак, счастливый, что видел знаменитого певца.— Если бы у меня был твой дар, я бросил бы свое ханство. Бог тебя да благословит. На обратном пути не забудь навестить меня.

Отправился хаким Бай-Сугды дальше. Ему нужно было проехать опасную Голодную степь, где торговые караваны подвергаются нападению степных разбойников. Так случилось и с ним. На третий день пути караван хакима был окружен разбойниками. Они перевязали слуг и принялись развязывать тюки. Хаким Бай-Сугды не сопротивлялся, а спокойно смотрел на их работу. Это удивило разбойников.

— Разве тебе не жаль своего добра? — спросили они.— Кто ты такой?..

— Я хаким Бай-Сугды из Хантыгая.

— Лебедь Хантыгая?..

У разбойников опустились руки. Они навьючили снова верблюдов, развязали слуг и, не воспользовавшись ничем, отпустили знаменитого певца.

— Мы грабим только купцов и богатых людей,— объяснили они в смущении.— Будет проклят тот человек, который вырвет хоть одно перо из белого крыла лебедя Хантыгая... Твои песни открывают тебе счастливый путь.

Когда караван тронулся в путь, один из разбойников запел:

Алой розой смех твой заперт,
Соловьиной песни трепет
На груди твоей таится...

Опять та же песня, и опять она огорчила хакима Бай-Сугды до глубины души, напоминая ему о его прошлом безумии, преследовавшем его всюду, как бежит тень за человеком.

«О, это мое проклятие! — думал хаким Бай-Сугды, закрывая глаза.— Моя песня преследует меня черной тенью».

За Голодной степью начинались дикие горы, в которых жил Тюозак. С величайшим трудом достиг караван до глубокой горной долины, где жил славный хаким. Жилищем ему служила пещера, выкопанная в горе. Путешественники нашли отшельника на берегу горного ключа: здесь он предавался созерцанию. Хаким Бай-Сугды подошел к нему и поклонился.

— Хаким Тюозак, я пришел к тебе издалека, чтобы напиться от ключа твоей мудрости...

Тюозак с удивлением посмотрел на пришельца своими столетними глазами и строго проговорил:

— Мудрость не возят на верблюдах... Мудрость не нуждается в пышной одежде. Ты только напрасно потерял свое время...

Два дня провел Бай-Сугды у Тюозака в душевной беседе. Он рассказал отшельнику всю свою жизнь: как он был молодым и бедным байгушом и как прославился на весь Хантыгай даром песен; как осыпал его богатством и почестями Бурун-хан, как он сам возгордился своими песнями, которые распевал весь Хантыгай, и как он в конце концов задумался, зачем он прожил свою жизнь, и как ошибся, принимая за счастье его обманчивую тень. Столетний Тюозак, с пожелтевшими от старости волосами, выслушал его внимательно и сказал:

— Вся твоя беда в том, Бай-Сугды, что ты свое счастье искал в чем-нибудь внешнем. Ты рад бы был захватить все стада Хантыгая, все золото, все платья, всех красивых женщин. Но ведь ты не поедешь на десяти лошадях разом, не наденешь десять халатов, не съешь и не выпьешь за десятерых. Твое богатство тебя давило, как ярмо... Вот и теперь, зачем тебе эти верблюды, слуги, тюки с имуществом? Не легче ли тебе идти одному и думать только о себе?

— Ты прав, Тююзак,— согласился Бай-Сугды.— Жаль, что я раньше не подумал об этом.

Он разделил свое имущество между слугами и отпустил их домой.

— Бай-Сугды, ты сделал еще не все,— сказал Тююзак,— ступай в ханство Шибэ, там живет мудрейший из хакимов, Урумчи-Олой... Он тебя научит всему.

От ханства Хантыгая до ханства Чубарайгыра хаким Бай-Сугды ехал три недели, от хана Майчака до хакима Тююзака он ехал тоже три недели, а от хакима Тююзака до хакима Урумчи-Олоя он уже шел пешком целых три месяца. На нем оставалась самая простая одежда из верблюжьей шерсти, какую носили бедные пастухи, а за плечами в тяжелой котомке он нес необходимые припасы для своего пропитания. Дорога была трудная, горами, лесами, с трудными переправами, но Бай-Сугды все шел вперед, счастливый уже тем, что благодаря Тююзаку освободился от лишней тяжести. В самом деле, для чего ему эти верблюды, слуги и тюки, когда одному человеку так немного нужно?

Хаким Урумчи-Олой, старец ста двадцати лет, жил под открытым небом. Он так оброс волосами, что должен был приподнять свои нависшие, тяжелые от старости брови, чтобы взглянуть на гостя. Длинная борода спускалась до колен. Сквозь рубище выглядывало желтое худое тело.

— Бог да благословит мудрейшего из хакимов! — приветствовал его Бай-Сугды, кланяясь до земли.

Он рассказал Урумчи-Олою про себя все, как и Тююзаку, и еще прибавил, что кроме богатства его угнетала страстная любовь к женщинам. Да, Бай-Сугды не мог пропустить ни одного хорошенького личика и лучшие свои песни слагал для обольстительных черных глаз. У него было семь красавиц жен, которых он любил, когда они были молодыми. Что лучше цвета женской молодости, девичьей красоты и покорной ласки темных глаз?.. Теперь он стар, но и сейчас женская красота зажигает в нем молодой огонь страстных желаний. Эта жажда томила его целую жизнь и не получила удовлетворения.

— Что ты ел, Бай-Сугды? — сурово спросил Урумчи-Олой, опуская брови.

— Я ел все, что только мог достать...

— Огонь преступных желаний в нас от пищи... Не

ешь мяса, не употребляй пряностей и вина, и он потухнет сам собой. Нужно изнурять свое тело трудом, постом и созерцанием, и только тогда ты приблизишься к истине. Человек, поевший свиньи, сам делается свиньей, а отведавший крови делается кровожадным... Один мужчина не может любить семь женщин, если он будет жить так, как я сказал. Что такое женщина? Это обман... Он проходит вместе с первой ночью. Посмотри на старую женщину, куда девалась ее красота и то, чему ты слагал свои песни? Но я еще не достиг совершенства, Бай-Сугды... Иди в ханство Катун, там на большой реке спасается великий хаким Эрьгуудзль. От него все узнаешь...

Горько заплакал хаким Бай-Сугды. И Тююзак и Урумчи-Олой сказали ему правду, заглянув на дно его сердца. О, сколько неправды, зла и похотей он носил в себе целую жизнь и разжигал своими песнями в других... Бай-Сугды бросил свою котомку в пропасть, где по ночам выли шакалы, а сам пошел вперед пешком и босой, с одной палкой в руке.

3

От Урумчи-Олоя до Эрьгуудзля хаким Бай-Сугды шел три года. Сколько опасностей он перенес, сколько труда... Пришлось идти через каменистые горы и страшным лесом. Одежда давно износилась и висела лохмотьями, сквозь которые сквозило пожелтевшее, высохшее тело, а ноги были покрыты глубокими ранами. Но все перетерпел хаким Бай-Сугды, чтобы достигнуть совершенного из людей и услышать от него слово последней мудрости. Питался он дикими плодами, кореньями и травой, как дикий зверь, и успел позабыть, какой вкус у мяса, сладких вин и сладких плодов. Несколько раз он лежал больной в лесу один и со смирением ждал своего смертного часа. Но богу было угодно, чтобы его подвиг наградился успехом. Это было в конце третьего года, когда уже стояла весна и все кругом цвело и ликовало. Хаким Эрьгуудзль жил на берегу громадной реки Чэчэ, и хаким Бай-Сугды заплакал от радости, когда издали увидел ее светлые воды, покоившиеся в зеленых берегах. Место было самое красивое, какое только можно себе представить.

— Бог да благословит хакима Эрьгуудзля! — сказал хаким Бай-Сугды, приближаясь к шалашу из пальмовых листьев.

Ему навстречу вышел свежий еще старик с красивым лицом, в чистой одежде и с крепким телом. Именно такого старика хаким Бай-Сугды не ожидал встретить.

— Ты устал? Ты хочешь есть? Ты истомился жаждой? Ты нуждаешься в одежде? — спрашивал Эрьгуудзль, ласково улыбаясь.— Вот река Чэчэ, сначала ступай напейся и умойся...

— Я хаким Бай-Сугды, из Хантыгая,— говорил Бай-Сугды в смущении.— Мое прозвище: лебедь Хантыгая...

— Так это ты самый Бай-Сугды, который сложил песню:

Алой розой смех твой заперт...

О, я рад тебя видеть, лебедь Хантыгая, и позволь мне омыть твои израненные ноги, одеть тебя в новое платье и поцеловать, как дорогого гостя. Твои чудные песни долетели и до меня, как залетают редкие птицы в далекие страны.

Они пришли к реке, и хаким Бай-Сугды с жадностью припал к светлой прохладной влаге. Эрьгуудзль смотрел на него и улыбался. Когда Бай-Сугды утолил жажду и поднялся на ноги, Эрьгуудзль с удивлением его спросил:

— Что же ты, лебедь Хантыгая? Ведь тебя томила смертная жажда, а ты не выпил даже этой реки.

Бай-Сугды подумал, что хаким шутит, и ответил:

— Все мы, когда томит нас жажда, думаем, что целое море воды не утолит ее.

Хаким Эрьгуудзль ласково засмеялся и указал на дикую козу, которая на берегу реки общипывала молодой куст.

— Как ты думаешь, лебедь Хантыгая, вырастет это дерево, если коза каждый день будет приходить и ощипывать самые свежие листочки? — спросил он.

— Нет, оно засохнет...

Хаким Эрьгуудзль опять засмеялся, а хаким Бай-Сугды задумался.

Так они прожили три дня. Хаким Бай-Сугды успел отдохнуть, освежился и переменил свое рубище на чистую одежду. Он нарочно ничего не говорил о цели своего путешествия, ожидая первого слова от Эрьгуудзля, а хаким делал такой вид, что точно давно ожи-

дал Бай-Сугды и рад его видеть, как брата. Только на четвертый день Эрьгуудзль заговорил:

— Лебедь Хантыгая, тебе можно сейчас отправиться домой: ты отдохнул, подкрепил себя пищей и прикрыл тело новой одеждой... Мне не хотелось огорчать тебя, что ты напрасно потерял столько времени и перенес столько трудов и опасностей; тебя привела сюда твоя гордость и желание быть лучше других. Иди домой и пой свои песни... Каждая слеза, осушенная твоей песнью, и каждая улыбка радости, вызванная ею,— такое счастье, о котором не смеют мечтать и ханы. Да, тебя привела сюда твоя гордость, которой ты и сам не замечал... Она помрачила твое светлое око, и мир тебе показался темным. Ты надеялся на свой ум, но это самый лукавый из слуг, который старается подать тебе то, чего ты еще не успел пожелать... Счастье наше в одном дне, а правда жизни в своей совести. Ведь жизнь так проста, хаким Бай-Сугды, и ее смысл совсем не в том, что́ ты будешь есть или во что будешь одеваться. Голодный и голый человек не сделается справедливее оттого только, что он гол и голоден.

— Все это я понимаю, хаким Эрьгуудзль, и согласен с тобой,— отвечал Бай-Сугды,— но как же спать спокойно, когда вся наша жизнь ничто перед смертью... Никакая добродетель, никакой ум, слава и красота не спасают от уничтожения.

Хаким Эрьгуудзль весело рассмеялся.

— Лебедь Хантыгая, ты боишься того, чего не существует... Смерть — это когда ты думаешь только об одном себе, и ее нет, когда ты думаешь о других. Как это просто, лебедь Хантыгая!.. Созревший плод падает на землю — разве это смерть?..

И просветлела душа Бай-Сугды от этих простых слов, и понял он то, что недосказал хаким Эрьгуудзль: испугала его своя старческая слабость, затемнившая на время свет сердца...

Через десять лет вернулся лебедь Хантыгая домой, и пронеслись по всему ханству его новые песни, как прилетевшие весной птицы: он пел о счастье трудящихся, о счастье добрых и любящих, о счастье простых... Эхом повторяли эти песни и пастухи в степи, и пахарь за плугом, и молодая девушка за прялкой, и старики, согревавшие свое холодевшее тело около огня.

1892

Майя

Легенда

1

Шум жестокой сечи стихал... Разбитый наголову неприятель бежал, оставив победителю родной город Гунхой. Часть победителей порывалась в погоню, без пощады убивая всякого, а другая часть, с ханом Сарымбэть во главе, приготовлялась занять открытый город. Издали это был настоящий пчелиный сот из низеньких белых домиков с плоскими кровлями, глухими белыми стенами и узкими грязными уличками. Отдельно возвышались куполы мечетей и стройные иглы минаретов, отдельно стоял дворец бежавшего хана Олоя, потонувший в зелени садов.

— Пленных не будет,— говорил молодой хан Сарымбэть, подъезжая к городским воротам.— Победу дает аллах... Город будет могилой для тех, кто был нашим врагом больше ста лет. Развалины покажут нашим потомкам, как мы умели мстить нашим врагам. Пленных не будет, а победу дает аллах.

Красив хан Сарымбэть, молод, полон отваги,— настоящий молодой лев, который в первый раз отведал горячей крови. Но жестокие слова сказал не он, а их придумала старая голова главного ханского советника Кугэй. Беззубый старик точно для того прожил восемьдесят лет, чтобы внушить молодому хану жестокие слова.

— Так нужно, хан, так нужно,— шамкал старик, едва держась в своем мягком седле.— Аллах дает победу, но нужно уметь ею воспользоваться... Недаром наша кровь лилась целых сто лет. Огонь гасят огнем, а кровь кровью.

Хищный старик заметил колебание на лице молодого хана, в его глазах мелькнула жалость, и Кугэй залил ее ядом своих старых слов.

Молча махнул рукой хан Сарымбэть, и тысячи всадников ринулись грабить беззащитный город, в котором

оставались старики, женщины и дети. С гиком неслась страшная смерть... В городе некому было даже защищаться, а только протягивались беззащитные руки с мольбой о пощаде. Но ханское слово — закон, и пустела одна улица за другой, каждый шаг вперед усеян был трупами, а по канавам лилась кровь, как вода. Кто умирал под ударом сабли, кто был приколот пиками, многие растоптаны лошадиным копытом, а детей разбивали головками о каменные стены родных домов. Это была настоящая бойня, целый ад... Тысячи людей столпились на базаре, в мечетях и около мечетей — их и убивали тысячами, точно человеческую жизнь косила острая коса, а смерть висела в воздухе.

Хан Сарымбэть смотрел на побоище из своей ставки и слышал только отчаянные вопли, заглушаемые веселым гиканьем победителей. Восточная часть города уже горела, и некому было тушить огонь. Показалось облако дыма и в противоположной стороне.

— Я хочу видеть город,— заявил хан Сарымбэть.

Старый Кугэй нахмурился, но спорить не смел.

Хан Сарымбэть въезжал в Гунхой, окруженный блестящей свитой, точно всходило утреннее солнце. Несчастный город был завален трупами, залит кровью, лютое пламя довершало жестокое дело человеческих рук. Не смущалось сердце хана пылом кровавой сечи, когда он летел впереди других, а тут и он задумался, когда редкой красоты его боевой конь начал храпеть и шарашиться в сторону при виде теплых трупов. Убитые старики, женщины и дети загораживали дорогу. Белые стены сбитых из глины домиков были обрызганы кровью. Лошадь хана фыркала и дрожала. Сам хан Сарымбэть опустил голову, пораженный страшной картиной всеобщего избиения. А там — заваленный трупами базар, площадь перед мечетью... трупы, трупы и трупы.

Оставался нетронутым один ханский дворец, оцепленный стражей. В нем было тихо, как в могиле.

— Едем назад,— сказал Кугэй.

Но тут случилось что-то необыкновенное. Из дворца вырвалась целая толпа женщин и бросилась навстречу молодому победителю. Они бежали с распущенными волосами, обезумев от страха, бросались ниц, моля о пощаде. Другие хватались за стремена и целовали ханские ноги, полы его халата, его кривую саблю.

— Бей! — скомандовал Кугэй.

Началось избиение... Это было самое ужасное, что только видел хан Сарымбэть. Женщин и детей топтали лошадьми, резали и кололи. Вид этой резни отуманил и его голову. Ведь эти женщины — матери, жены, сестры и дочери его исконных врагов, они родили проклятое племя гунхой, они призывают своими воплями и слезами только свою бессильную ненависть к нему, они, вот эти женщины, выкололи глаза его деду, попавшемуся в плен, то есть их бабушки, они народят еще несметное число его врагов, а счастье переменчиво. Вперед!.. Ханский конь врезался в живую толпу, а ханская сабля косила головы направо и налево. О, разве может быть счастье больше, как видеть поверженного в прах своего злейшего врага и наслаждаться его предсмертным хрипением... Вперед! Бей! Пленных не будет...

Ханский скакун вылетел вперед и вынес его к дворцу. Вот оно, это проклятое гнездо. Хан Сарымбэть в пылу погони на коне въехал прямо в дворец. Здесь тоже было много женщин... Одни лежали ниц, другие, стоя на коленях, поднимали кверху маленьких детей... Нет никому пощады! Кугэй ворвался во дворец следом за ханом, и началась страшная резня.

— Бей... бей... бей!..

В одной из дальних комнат дворца хан увидел сидевшую на ковре молодую женщину поразительной красоты. Она сидела, обняв колени руками, и не шевелилась, не молила о пощаде, не плакала, а с достоинством ждала своей смерти. Старый Кугэй, задыхавшийся от кровавой работы, подбежал к ней и уже замахнулся саблей, но хан Сарымбэть протянул руку.

— Кто ты, женщина? — тихо спросил он.

— Я — Майя.

Она даже улыбнулась и злобно посмотрела на него своими темными, как ночь, глазами. Кугэй скрежетал зубами от ярости. А хан Сарымбэть сделал уже знак, что дарует жизнь смелой женщине, позабыв собственный приказ о всеобщем истреблении.

2

Город Шибэ торжествовал, ожидая возвращения победителей. Да, проклятое племя гунхой было уничтожено, город Гунхой срыт до основания, и не осталось

в нем камня на камне. Такова воля аллаха... Племя шибэ и племя гунхой враждовали издревле, как враждует собака с волком, и вот свершилось то, чего не могли предугадать самые умные. Гунхоя нет, а есть Шибэ...

Возвращавшийся в свою столицу хан Сарымбэть был встречен, как молодой месяц. Многотысячная толпа ликовала, везде горели веселые огни, слышались веселые песни и клики радости.

— Да живет хан и да радуется ханское сердце!..

Грустен возвращался один старик Кугэй. Воля аллаха не была исполнена, и ханское слово изменило самому себе. Много добычи взяли с собою войска, и великая радость ожидала их у себя дома. Но старого Кугэя беспокоила пленница, которую везли вместе с добычей в Шибэ. И для чего она понадобилась хану Сарымбэть? Разве не стало у него своих женщин: тридцать жен, тридцать прислужниц — можно еще столько же добыть. Так нет, увидел Майю и везет ее к себе, точно сокровище.

— Майя была наложницей Олой-хана,— шептал Кугэй хану Сарымбэть, чтобы возбудить в последнем чувство ревности.

— Знаю...— коротко отвечал молодой хан.— Ты можешь прибавить, Кугэй, что Майя во дворец попала уже не девушкой. Она попала пленницей... Ее муж — степной батырь.

— Ее муж, хан?.. Вот цветок расцветает в поле и дает плод,— разве у него есть муж?.. Не один батырь был у Майи... Она переходила из рук в руки, как старая монета.

— Старые золотые монеты ты сам любишь, Кугэй...— смеялся хан.— Они имеют только один недостаток, именно, принадлежат только тому, кто их держит в руках.

Шибэ веселился, а Майя сидела в ханском дворце и горько плакала. Да, у нее теперь явились и слезы... Зачем она не умерла вместе с другими?.. Страшно жить... Она часто просыпалась ночью и вздрагивала: перед ее глазами проносилась ужасная картина. Отчаянный крик матерей, защищавших своих детей, стоны раненых, мольбы о пощаде и смерть, смерть, смерть...

У Майи было свое отдельное помещение во дворце, куда никто не смел входить, кроме хана Сарымбэть.

Да, он пришел к ней, но не как к пленнице, а как слуга.

— Не нужно ли тебе чего-нибудь, Майя? У тебя заплаканные глаза... Может быть, с тобою дурно обращаются?..

Майя сделала отрицательное движение головой.

— Может быть, ты оплакиваешь хана Олоя? — тише спросил Сарымбэть.

— Нет...

— Что же тебе нужно?..

— О, если бы у меня было столько глаз, сколько у ночи звезд, то и тогда я не выплакала бы всего своего горя... Вот ты радуешься, ты счастлив, а мне тебя жаль. Оставь меня с моим горем... Тебе — радость, мне — горе.

— Знаю, ты оплакиваешь своего батыря! — гневно сказал Сарымбэть.— Женщина принадлежит только тому, кто первый ее взял... И всей крови, пролитой в Гунхое, не хватит на то, чтобы смыть с тебя одно имя твоего батыря. Я все знаю, Майя...

— Убей меня, хан! Я желаю умереть...

Заскучал молодой хан Сарымбэть, и ничто ему не мило. Так и тянет его к Майе, а пришел туда и — слов нет. Чужими глазами она смотрела на него... Не то ему было нужно. Самому себе удивляется хан Сарымбэть,— так приворожила его полонянка Майя. Да, и ночью он ее видит, и протягивает руки, и говорит ласковые слова, а днем смелость оставляет его, и хан бродит по своим садам, как потерянный. Не мил ему и собственный дворец, не милы и любимые жены, и охота, и всякие другие удовольствия. Ничто не мило хану, и ходит он по собственному дворцу, как тень.

— Майя... Майя...

Иногда он сердится на нее, припоминая ее батыря и хана Олоя. «Да, ты вот кого любила, Майя... Ты думаешь о своих любовниках. О, змея, змея... Мало было убить тебя, а нужно замуровать живой в стену. Нужно отрубить руки, обнимавшие батыря, вырвать язык, лепетавший любовные слова, выколоть глаза, глядевшие на хана Олоя ласково... вырвать живым это змеиное сердце, бившееся для других!» — И много таких жестоких мыслей роится в голове хана, а увидит Майю, оробеет сам, чувствуя, как бессилеет тело и путаются мысли в голове.

— Ты меня спрашивал, что мне нужно,— прогово-

рила однажды Майя, глядя на него своими темными глазами.— Да, мне нужно... Когда я умру, похорони меня в степи, в вольной степи, где гуляет вольный степной ветер... Есть там озеро Кара-Куль: на его берегу похорони меня. Не нужно мне ханской могилы, не нужно тяжелых камней на могилу.

— Все будет исполнено, Майя, но зачем ты говоришь о смерти?..

— О, я скоро умру, хан... я знаю это.

И опять молчит Майя, только смотрит на молодого хана своими большими глазами. Жутко сделалось хану Сарымбэть, опустил он свои глаза и чувствует только, как замирает в груди его собственное сердце. Приворожила его Майя... Ах, если бы она хоть раз взглянула не него ласково — он сам готов умереть. Но смотрит Майя по-прежнему чужими глазами...

Старый Кугэй давно заметил, как изменился хан Сарымбэть. Похудел, сделался задумчив, перестал улыбаться и не желал ни с кем говорить.

— Скучает хан...— говорил вкрадчиво хитрый старик.— Позволь старому Кугэю зайти к Майе, и он вышиб бы из нее своей нагайкой память о батырях и хане Олое... А любовь Майи в твоих руках. Когда я был молод, то брал любовь силой!..

— Ах, не то...— стонал хан Сарымбэть.— Мало ли у меня своих красавиц? Не то, старый Кугэй... Ты поглупел от старости.

— Я поглупел?..— смеялся зло старик.— Я поглупел, старый Кугэй? А кто говорил тебе, чтобы не брать пленных из Гунхоя? Вот теперь ты сам сидишь в плену у ничтожной пленницы... И какой хан — молодой, красивый, храбрый! Хочешь, добудем десять новых красавиц, десять новых жен... Одна другой краше, как цветы в поле, а Майя пусть им служит. Вот как сделаем, хан, а ты говоришь: «Кугэй — старый дурак».

3

Так прошло полгода, а через полгода гордые глаза Майи опустились сами собой, когда вошел к ней хан Сарымбэть.

— Что с тобой, Майя? Ты нездорова?

Она отвернулась.

— Майя...

— Нет больше Майи... Зачем ты пришел сюда? Уходи к своим женщинам... Там каждый взгляд куплен, каждая улыбка — насилие. Они всё готовы сделать для своего повелителя, потому что рабыни не телом, а всей душой. Они ждут тебя... иди!..

Радостно забилось сердце хана Сарымбэть. Это были знакомые ему слова женской ревности. Майя начинала его любить и сердилась на самое себя. Да, вот это не берется ни насилием, ни деньгами. О, велика сила любви, и приходит она против воли человека, как пожар.

Тихо подошел хан Сарымбэть к Майе, обнял ее и прошептал:

— Я давно тебя люблю, Майя... Люблю с первого раза, как увидел.

Задрожала Майя, как молодая зеленая травка, закрыла глаза и ответила:

— Твоя любовь убьет меня... Я это чувствую.

— Ты скажи, Майя: ты любишь меня?

У нее не было слов, а только протянулись теплые руки, и счастливое лицо спряталось на груди хана.

На другой день Майя сказала хану:

— Я тебя вчера любила, а сегодня ненавижу...

— За что же, моя радость?

— А помнишь, как ты истреблял Гунхой? Я смотрела в окно, когда ты своим конем топтал беззащитных женщин, и вот эта рука рубила женские головы... Да, я тебя ненавижу и вместе с тем люблю... Меня приводит в ужас это двойное чувство.

— Того хана уже давно нет, Майя, как нет и Гунхоя. Такова воля аллаха... Он дает и победу и счастье. Да и чего тебе жалеть: ты была только пленницей у Олой-хана...

Майя гордо выпрямилась и посмотрела на хана потемневшими глазами.

— Я была пленницей Олой-хана, но не любила его... А вот тебя люблю, и в том моя погибель.

— И моя, Майя...

Каким счастьем пахнуло на хана Сарымбэть!.. Не было ни дня, ни ночи, а одно только счастье. Смеялась Майя — и он смеялся, хмурились ее темные брови — и он хмурился. Она думала, а он говорил,— и наоборот. Они читали мысли друг у друга в душе, и это даже пугало их. Иногда Майя задумывалась, и хан Сарым-

бэть хмурился, точно над их головами проносились тяжелые тени.

— Майя, о, я знаю, о чем ты думаешь!..

Он скрежетал зубами и падал на подушки в бессильной ярости, чувствуя, что много есть такого, что не в состоянии вырвать даже любовь. Ах, как много... Майя чувствовала его мысли, и лицо у нее бледнело, точно она умирала. Да, она страдала и за себя и за него, и чем была счастливее, тем сильнее мучилась.

— Майя, не думай ни о чем,— утешал ее хан Сарымбэть.— Что было, то прошло, а я счастлив настоящим... О, как я счастлив, Майя!.. Я до сих пор даже и приблизительно не знал, что такое любовь...

Хан Сарымбэть часто говорил и думал о счастье и все-таки не знал, что такое счастье... Здоровый не чувствует в полном объеме своего здоровья, так и счастливые люди. Он даже потерял счет времени, а оно шло так быстро, как колесо, которое катится по хорошей дороге.

Раз Майя припала своей красивой головкой к груди хана и, краснея, проговорила:

— Мой повелитель, мое счастье, моя радость, я тебя подарю скоро величайшим счастьем, каким только может подарить любимая женщина... Твоя радость отпечаталась в моем сердце, и я тебе подарю маленького хана. Да... Подарю, а сама умру. Я это чувствую...

— Майя, свет моих глаз, дыхание моих уст, что ты говоришь?!

— Да, да... Воля аллаха неисповедима, и ты скоро будешь отцом. Помни, что ты похоронишь меня в степи, на берегу Кара-Куль, где носится вольный степной ветер. Это мое последнее желание...

Задумался хан Сарымбэть и потом засмеялся. Все женщины боятся родов, но ведь родят же бедные и больные женщины, а его Майя будет окружена и лучшим уходом, и всякими удобствами. Все, что можно купить или достать силой,— все будет у Майи...

Майя не обманулась. Она готовилась быть матерью, и счастливый хан Сарымбэть ухаживал за ней вдвойне, как не ухаживала бы за ней родная мать. О, он все делал для нее и спал в ее комнатах, как последний раб, чтобы ничто не нарушало покоя царицы Майи. Да, она была царица вдвойне... Как он караулил ее сон, как угождал малейшей ее прихоти и как был счастлив!

Ожидаемый ребенок должен был покрыть собою все прошлое Майи, и с ним рождалась новая жизнь.

— Ты меня забудешь...— говорила грустно Майя со слезами на глазах.— У тебя столько красивых женщин, а Майи не будет. Только одна ее тень пронесется вот здесь, где она была так счастлива... Помни это, хан, и впредь всякая твоя радость будет отравлена. Вот здесь будет незримо бродить моя тень... Здесь я была счастлива своим коротким счастьем.

Не верил хан этим тяжелым предчувствиям, а случилось именно так, как думала Майя.

Она родила хану наследника, а сама умерла на другой день.

Хан не отходил от ее постели и, когда она лежала мертвою, все смотрел на нее. Даже холодная рука смерти пощадила эту царственную красоту. Никогда Майя не была еще так красива, как мертвая,— лицо такое строгое, бледное, точно выточено из слоновой кости.

— Майя... Майя... Майя...— повторял хан Сарымбэть, хватаясь за голову.— Моя Майя... Моя дорогая... Майя, ты не слышишь, не слышишь меня?

Майя уже ничего не слыхала.

За ханом ухаживал один старый Кугэй и повторял:

— Такова воля аллаха, хан... Мы все умрем...

— Отчего же не ты умер, а умерла она, моя Майя?..— стонал хан, ломая руки.— Ты, старая гнилушка, живешь, а Майя умерла... Нет справедливости на земле. Я не верю аллаху...

Старый Кугэй в ужасе затыкал уши от такого богохульства и закрывал глаза.

4

Похоронили Майю на высоком берегу озера Кара-Куль, и вольный ветер насыпал над ней могилу.

Хан Сарымбэть каждый день просыпался в слезах и в слезах засыпал. Его молодое сердце умерло вместе с Майей, закрылась радость, погас яркий свет,— ничего не осталось у хана, кроме глаз, чтобы оплакивать свое черное горе. Опостылел ему и дворец, и зеленые сады, и красавицы жены. Нет Майи, и ничего не нужно хану... Нет Майи, слышите?..

Единственное утешение осталось хану: каждое утро

он уезжал на могилу Майи. Приедет, пустит коня пастись, а сам сидит на могиле, горько плачет и все зовет ее, Майю.

— Майя... Майя... Майя... Слышишь ли ты меня? Ведь я здесь, я с тобой... Смерть нас разлучила, но она же и соединит нас. Рядом я лягу с тобой, Майя... Дорогая, родная Майя, я здесь... Горлинка моя, свет мой, я здесь!..

Громко кличет молодой хан Майю, а ветер разносит его жалобу,— один вольный степной ветер слышит ханское горе, да зеленая степная трава, да ясные зори. И ни от кого не получал ответа хан... Один он со своим горем.

По целым часам сидит хан на крутом берегу и смотрит на шелковую гладь степного озера, обложенную зелеными ресницами камышей, точно рамой из дорогого рытого бархата. Давно ли он ездил сюда на охоту, и радовалось ханское сердце молодецкой забавой, а теперь ничего не нужно хану. Майя, Майя... Все ты унесла с собой, а оставила одно черное горе. Хан Сарымбэть, слышишь ли? Какой хан — нет и хана, как нет Майи, а ходит одно черное горе, и плачет, и жалуется. Нет хана — это люди придумали. Если бы он был сильнее других, то удержал бы Майю, отогрел ее холодевшие руки своим дыханием, раскрыл своими поцелуями ее чудные глаза и теплотой своего сердца согрел эту грудь... Ведь живут же другие женщины?.. Ах, Майя, Майя... Нет Майи, нет и хана!..

Так прошел и год, и другой, и третий.

По-прежнему горюет хан Сарымбэть, по-прежнему ездит на могилку Майи и по-прежнему плачет над ней и громко зовет ее, Майю, и по-прежнему не получает ответа. Похудел, постарел хан, точно прожил тридцать лет, а в бороде уже серебрится седина. Хан Сарымбэть старится, а молодой хан, сын Майи, растет: в нем проснулась красота матери. Но не радует хана и любимый сын... Тошно ему у себя во дворце, скучно, все надоело.

— Кугэй, старая лисица, мне надоело быть ханом,— сказал Сарымбэть своему старому советнику.— Да, надоело... Я ставляю вам ханом сына Майи, а сам уйду. Нет моих сил больше... Какой я хан, когда не мог сохранить посланную мне аллахом жемчужину.

Низко поклонился хитрый Кугэй, счастливый тем,

что мог управлять всем, пока ребенок-хан подрастал. У всякого были свои мысли...

Так и ушел хан Сарымбэть из Шибэ, распустив жен и оставив все сокровища. Даже не взял он с собой лишней пары одежды. Для чего?.. Ведь и хан и последний нищий одинаково будут лежать в земле, для чего же обременять себя лишним платьем? Так и сделал хан: надел рубище дервиша, взял его кошель и палку и ушел из Шибэ.

Поселился Сарымбэть на берегу Кара-Куль, около могилы Майи. Выкопал землянку и живет как отшельник. Перечитал он все мудрые книги, долго и много молился и тысячу раз передумал всю свою жизнь, полную легкомысленных радостей, суетных желаний и мыслей. Он не видел той пропасти, которая была сейчас под ногами...

Каждый день, каждый час, проведенный с Майей, был сокровищем, а он его не замечал, ослепленный собственным счастьем. И так все люди живут, обвеянные счастливой слепотой.

Жил Сарымбэть на берегу Кара-Куль до самой смерти, пока не сделался седым и дряхлым стариком. К нему приходили издалека, чтобы поведать какое-нибудь горе и научиться мудрости. Да, состарился Сарымбэть, и глаза уже плохо видели, а он все оплакивал свою Майю, точно она умерла только вчера. Ведь она открыла ему свет жизни, она отдала ему сердце и душу, и проснулось его сердце...

— Майя, слышишь ли ты меня? — повторял он каждый день над могилой своей возлюбленной.— Уж скоро я приду к тебе, Майя, мое счастье, моя радость... Скоро, скоро!..

Сарымбэть вырыл себе могилу рядом и спал в ней, чтобы быть ближе к ней, к Майе.

Раз он молился и слышит незнакомый голос:

— Хан Сарымбэть...

— Нет здесь никакого хана, а нищий Сарымбэть.

— Ты меня не узнаешь?

Посмотрел Сарымбэть — перед ним стоял старый-старый человек с пожелтевшей от времени бородой.

— Я — хан Олой...

— А, это ты... Что же, садись рядом: места довольно.

Они долго сидели и молчали.

— Сарымбэть, много ты пролил напрасной крови, но и искупил ее своим подвижничеством. Я пришел мириться с тобой...

Заплакал Сарымбэть, припоминая истребление Гунхоя, и сказал:

— Похорони меня рядом с Майей, хан Олой... Я завтра умру. Видел я здесь на озере чудо. Когда я был ханом и ездил на озеро на охоту, то убил лебедушку. Чудная птица лебедь... Когда я переселился сюда, то лебедь, оставшийся без лебедушки, каждую весну прилетал сюда и каждое утро выплывал на озеро и жалобно кликал свою лебедушку. Тридцать лет он прилетал, тридцать лет горевал, а в последний раз прилетел, поднялся высоко-высоко и грянулся оземь. Я это видел и подумал, насколько человек хуже даже глупой птицы... Моя Майя открыла мне глаза, и я знаю только одно счастье, чтобы похоронили меня рядой с ней.

Сбылись слова праведного человека: когда хан Олой проснулся на другой день, Сарымбэть был уже мертв. Бывший смертельный враг похоронил его рядом с Майей.

Так было, и сейчас на высоком берегу озера Кара-Куль красуется двойная могила хана Сарымбэть с красавицей Майей. Издалека приходят люди, чтобы поклониться их праху: так любили они друг друга... Ровно через сто лет племя гунхой напало на Шибэ и разрушило город, как прежде был разрушен Гунхой: то сделал внук Олой-хана. Все было истреблено, выжжено и разрушено. Но даже враги не тронули могилы Майи, а внук хана Олоя сам приехал посмотреть святое место и прослезился.

— Хан Сарымбэть показал, как нужно любить,— сказал он.— Все проходит, разрушается, исчезает, а остается одна любовь...

1892

Полонянка

Быль[1]

1

— Ваше высокоблагородие, Иван Степаныч, наши-то казачишки из поиску выворотились,— докладывал старик вахмистр Афонька, вытягиваясь в струнку.— Вся станица на вал высыпала...

— Н-но-о? — изумился старик комендант,— он всегда чему-нибудь удивлялся.— Выворотились, говоришь?..

— По степи идут... Песенники впереди, а Степан Иваныч с бубном попереду всех.

— Ах, кошма проклятая!..

Старичок комендант страшно засуетился. Он заглянул в следующую комнату, где комендантша разбирала шерсть, и проговорил просительно-заискивающе:

— Васенька, я схожу на вал поглядеть, как наши казаки из орды идут?..

— Чего не видел-то, старый дурак? — обругалась сердитая комендантша.— А впрочем, ступай... Мне Степан Иваныч обещал гостинец из орды привезти...

Обрадованный милостивым позволением, комендант весело подмигнул Афоньке и, запахнув свой засаленный халатишко и шлепая туфлями, надетыми на босую ногу, торопливо пошел за вахмистром. Форменную фуражку он надел уже дорогой. С трубкой Иван Степаныч никогда не расставался и теперь весело размахивал ею.

Станица Поперешная поднялась, как один человек, когда пронеслась радостная весть, что казаки возвращаются из похода. На глиняном валу, обращенном к «орде», собрались теперь все: солдаты местного гарнизона, старые казаки, а главное — казачки со своими ребятишками. Бойкие эти бабы-казачки, и старик комендант едва пробился вперед, прочищая дорогу своей трубкой. На-

---

[1] Время нашего рассказа относится к началу настоящего столетия. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

род весело галдел, наблюдая приближавшуюся сотню казаков. Яркий солнечный день так и слепил глаза, а казаки шли точно в дыму, поднимая страшную пыль.

— То-то, поди, наворовали!..— ворчали гарнизонные солдаты, всегда завидовавшие казакам.— Охулки на руку не положат, только дорвутся в орду...

Казачки впились в приближавшийся отряд, выглядывая своих мужей, которых издали узнавали по лошадям. Все ли целы воротятся казачки и кого-то недосчитает острый бабий глаз? Редкий поиск проходит без урону, а Степан Иваныч песни запаривает.

— Полон ведут! — крикнул кто-то, вглядываясь из-под руки.

Комендант сидел верхом на вестовой пушке и даже всплеснул руками: зацепил, видно, атаман Степан Иваныч самого батыря Майгака — вот и радуется.

— Майгака везут!..— пронесся по толпе шепот.— Ай да Степан Иваныч... молодца!

А казаки уже совсем близко. Видно, как атаман взмахивает своим бубном; песенники так и заливаются... Отворили станичные ворота, и отряд торжественно вступил в родную ограду. Общее внимание привлекала какая-то таинственная, закутанная с головой фигура, сидевшая на великолепном иноходце золотистой масти. Когда отряд выстроился, атаман Степан Иваныч, седобородый осанистый старик, снял свою папаху и перекрестился. То же сделала и вся сотня. Потом атаман спешился и подошел к коменданту.

— Здравствуй, Иван Степаныч!..

— Здравствуй, Степан Иваныч!..

Старики обнялись и облобызались, причем комендантская трубка очутилась на широкой атаманской спине.

— Как бог спасал, атаманушка? Все ли благополучно?..

— Слава богу, комендантушка... Нагнали мы холоду на барантычей: долгонько не забудут. Ну, а только вышла и наша неустойка — из рук батыр Майгак ушел. Между глаз прошел, воровская душа...

— Ах, Степан Иваныч, Степан Иваныч!.. Да кабы я... да я бы его своей трубкой зашиб!.. Который год он теперь нам спокою не дает... Я бы его утихомирил!

— Ну ладно, расхрабрился, Иван Степаныч!..— пошутил атаман, потрепав старого друга по плечу.— А вот я тебе гостинца привез... Да еще какого гостинца-то: век

будешь благодарить. Как глянешь на атаманский подарок, так и спасибо скажешь атаману.

Старик сделал знак хорунжему. Тот вывел на середину круга иноходца с таинственным всадником. Степняк-иноходец красиво шарахнулся и, раздув ноздри, обвел всех своими большими глазами.

— Тише ты, кыргыцкий черт! — крикнул на лошадь атаман.

Он взял ее под уздцы и подвел к коменданту.

— Вот, Иван Степанович, все ты жалился на меня, что вывожу я из орды добычу, а с тобой не делюсь... Вот на, владей коньком!

Атаман взял уздяной повод полой бешмета, а комендант принял его полой своего халата — так всегда делается при передаче лошади от одного хозяина другому.

— И с уздой, и с седлом, и с седоком дарю...— говорил атаман, срывая с седока закутывающее его покрывало.

Вся станичная публика обомлела... В высоком киргизском седле сидела по-мужски красавица девушка. На голове у нее была мерлушчатая шапка-каракулка, из-под которой мелкими косичками выбивались черные как смоль волосы; шелко́вый полосатый бешмет на груди был покрыт монистом из серебряных монет. Пленница большими темными глазами смело посмотрела сначала на растерявшегося Ивана Степаныча, а потом на окружающую их толпу. Писаная была красавица, даром что «кыргызка».

2

Много всякой всячины испытал комендант Иван Степаныч, а такого «экземпля» от закадычного друга не ожидал. Что он будет делать теперь с девкой-киргизкой?

— Ты бы хоть спасибо-то сказал...— попрекнул его атаман.— Лучше этой девки во всей орде не сыскать!.. А звать ее Най-Хэ...

— А что Васенька скажет? — уныло проговорил комендант после долгого раздумья.

— А Василиса Марковна сама меня просила о гостинце... Да что с тобой говорить, Иван Степаныч: я сам к Василисе Марковне отвезу гостинцы, а там делите, как знаете.

— И поезжай... Она тебе покажет такого гостинца, что не обрадуешься. Тоже придумал, хрен тебе в голову!

Атаман вскочил на коня, сказал несколько слов по-киргизски Най-Хэ и повел ее к комендантскому дому, а за ними хлынула вся станица. На старом месте остались только комендант со своей трубкой да вахмистр Афонька.

— И расчешет его Васенька, атамана...— думал вслух комендант, провожая глазами толпу.

— Ох как расчешет! — ответил Афонька, как эхо.— Тоже придумал атаман девку привезти из орды... Жареным и вареным эти казаки воруют, а тут живую девку приволокли. Надо повременить малым делом, Иван Степаныч, пока Василиса Марковна будет разделывать атамана... Не дай бог под сердитую руку к ней попасть!..

— Это ты правильно, Афонька... И то повременим малым делом.

Расшутившийся атаман дорогой по-киргизски объяснял Най-Хэ, что старик в халате главный хан, которому он, атаман, дарит ее в жены, а теперь они едут к старой ханше. Девушка низко опустила голову и ничего не отвечала: она вперед боялась старой ханши. Ехавший за ними хорунжий Захарчук понимал по-киргизски, как все казаки, и чуть не лопнул от душившего его смеха. И придумал атаман штуку...

Комендантша, завидев из окна приближавшуюся толпу, сама вышла на крыльцо. Атаман спешился и, сняв папаху, поклонился ей в пояс.

— Не обессудь, Василиса Марковна, на гостинце, ежели не угодил...

Грозная комендантша только взглянула на Най-Хэ, как сразу поняла казацкую выдумку.

— Иди в горницу...— коротко ответила она.— Да народ разгони: нечего им глядеть...

Атаман помог Най-Хэ слезть с лошади и повел ее в комендатский дом, а Захарчуку велел разогнать галдевший народ. Что затем произошло в комендантских горницах — история скромно умалчивает, только атаман вылетел на улицу весь красный, как рак, и даже без папахи. А грозная комендантша высунулась в окно и, погрозив кулаком, проговорила:

— Я еще с тобой не так рассчитаюсь, кошемный атаманишка! Ты у меня попомнишь Василису Марков-

ну, татарская образина... Я тебя выворочу, как свой карман...

Единственным свидетелем этой горячей сцены был хорунжий Захарчук, да из-за угла выглядывала седая комендантская голова.

— Ах, чертова баба!..— ругался атаман, хватаясь за бока.— Ну и баба!..

Можно себе представить, как встретила мужа Василиса Марковна, когда тот насмелился войти к себе в дом.

— Это вы вместе сговорились меня бесчестить на старости лет!..— кричала она неистовым голосом, наступая на старика.— Ты его просил привезти тебе девку.., а?..

— Васенька... милая...

История вторично умалчивает о том, что происходило дальше. Только комендант был заперт на замок в своей горнице и громко стонал, а знаменитый черешневый чубук валялся на полу, сломанный на несколько частей. Досталось и Афоньке, который просто подвернулся под руку...

— Ступай к атаманше Лукерье Спиридоновне и позови ее ко мне,— наказывала комендантша, давая вахмистру здорового подзатыльника.— Да шевелись живее, старая крыса!

Во все время, пока Василиса Марковна расправлялась с атаманом и комендантом, Най-Хэ сидела в горнице на полу и не смела шевельнуться. Такая бледная-бледная сидит, и только одни глаза горят, точно угли. По-своему она понимала все поведение ревнивой старой ханши и только удивлялась главному хану, который все время закрывал свою лысую голову руками, пока старая ханша лупила его чубуком. Отчего он не выгнал ее, как старую лошадь, или, по крайней мере, не поучил хорошенько нагайкой, как делают настоящие ханы? Да и бедная обстановка комендантской квартиры заставила девушку усомниться в словах атамана... В ее душу закрался слабый луч надежды. А старая ханша все время ходила около нее и сердито оглядывала всю с ног до головы.

— Этакая погань уродится же... тьфу!..— обругалась она, останавливаясь перед красавицей пленницей.

Атаманша не заставила себя ждать. Это была толстая старуха с красным «калмыковатым» лицом. Она ходила по станице в шелковых татарских бешметах и

в шапке, как татарка. И говорить умела по-киргизски не хуже любого казака. Муж рассказал ей о «гостинце», и атаманша сгорала от нетерпения посмотреть на ордынскую девку.

— Вот, на-кась, полюбуйся! — встретила ее комендантша.— Твой муженек приволок...

Комендантша вдруг заголосила и запричитала, как быть следует настоящей бабе, а гостья подсела к полоняночке и заговорила с ней по-киргизски. Най-Хэ обрадовалась атаманше, как родной матери, и тоже расплакалась.

— Весь аул выжгли да вырезали наши казаки,— объясняла атаманша хозяйке,— а вот она осталась... Ну, куды ее деть девичьим делом? Мой-то Степан Иваныч и пожалел...

— Тогда бы домой и вез к себе!..

— Пошутить хотел... И ей насказал, что в жены ее отдает старому хану. Напугал девку до смерти... Сирота ведь она теперь круглая, хоша и кыргызка.

Разжалобили эти слова комендантшу, и она велела сейчас же накормить полоняночку.

3

Станица Поперешная была закинута далеко в киргизскую степь, где проходила «линия», как называли пограничную черту, отделявшую русские владения от «орды». Свое название станица получила оттого, что загораживала так называемый «старый калмыцкий брод», которым сыспокон веку кочевники нападали на русскую границу,— стала станица поперек «калмыцкому броду» и вышла «поперешная». После пугачевщины в степи особенно серьезных волнений не происходило, но частные стычки закипали то там то сям, перебрасываясь блуждающими огоньками по всей линии. Главным поводом ко всем недоразумениям были степная баранта — с одной стороны, а с другой — свои казачьи шалости.

Гарнизон Поперешной составился наполовину из оренбургских казаков и наполовину из старых солдат, дослуживающих здесь свой солдатский век. Между этими двумя родами оружия сыспокон веку царила непрерывающаяся рознь, вызванная разницей положения сторон. Казаки жили припеваючи, потому что и служба у них

легкая, и землей они наделены, и живут со своими семьями — умирать не надо. А солдатское положение было самое печальное: бездомные инвалиды несли тяжелую солдатскую службу, выходили постоянно на ученье, а в свободное время употреблялись на крепостные работы. Да и какие это были солдаты — беззубые почти поголовно, глухие, кривые — одним словом, самый обор. Бойкие казачки не давали этим инвалидам прохода, высмеивая их на каждом шагу. Только и название солдатам было «крупа». В свою очередь инвалиды прозвали казаков «кошемным войском», а сокращенно — просто «кошмой». Станица так и делилась на две половины: казачий конец и солдатская слободка. В первом было несколько широких улиц, усаженных чистенькими домиками со всяким хозяйственным обзаведением, а вторая состояла из двух солдатских казарм, старой и новой, цейхгауза, провиантского магазина, комендантского домика и гауптвахты. Казачий конец процветал и выглядел с веселой домовитостью, а солдатская слободка смахивала на плохую каторгу, потому что женатых солдат не полагалось и никакого хозяйства они не вели. Главное, не было в солдатской слободке ни одной бабы...

Но и со всем этим инвалиды могли бы примириться — уж такое солдатское счастье, а главная обида лежала в том, что солдаты безвыходно должны были сидеть в станице, неся гарнизонную службу, а казаки постоянно высылались в орду и возвращались оттуда непременно с добычей.

— Первые заворуи, с камня кожу сдерут,— ругали их инвалиды.— А мы сиди да посиди да только поглядывай, как кошма карманы себе набивает... Эх, жисть!..

Каждое возвращение казаков из орды являлось настоящим праздником: весь казачий конец радовался по неделям. Пили, горланили песни, ходили из одной избы в другую в гости, а инвалиды только ожигались, поглядывая на казачью вольную жизнь. Только и беды было, что казачки поревут об убитых в орде, а об инвалидах и плакать было некому.

Привезенная киргизская полонянка Най-Хэ послужила настоящим яблоком раздора между казаками и солдатами. Дело в том, что она жила пока в комендантском доме и привыкала к русскому обиходу. Девушка была сметливая и бойкая, так что в каких-нибудь полгода выучилась говорить по-русски, хотя и с грехом пополам.

Василиса Марковна даже полюбила ее, но все-таки опасалась — очень уж красивая девка, кровь с молоком.

— Ты у меня смотри!..— грозила комендантша мужу.— У всех у вас, мужчин, одна вера-то...

Иван Степаныч, благодаря полонянке, влачил самое жалкое существование, потому что вечно находился в подозрении. Не красно ему и раньше жилось, а тут хоть петлю на шею. Он даже прятался, чтобы не встречаться с Най-Хэ. А сколько перенес он незаслуженных попреков, оскорблений и ругани... Несколько раз Иван Степаныч убегал из дома к атаману и в свою очередь ругал его на чем свет стоит. Атаман чесал свой красный затылок, разглаживал окладистую седую бороду и говорил:

— Да, оно, действительно, того... Кто его знал!... Тебе же хотел угодить...

— Угодил, нечего сказать!.. Веревку на шею надел...

— Пожалел девку... Пропала бы она у себя в орде, потому как ни роду ни племени не осталось.

Когда Най-Хэ обжилась и переменила свой костюм на обыкновенный бабий сарафан, а волосы заплела в одну девичью косу,— из казачьего конца холостые казаки начали шататься в солдатскую слободку каждый день: кто с песней пройдет, кто с балалайкой. Это подняло на ноги и казачек, и солдат. Первые подняли настоящий бунт, потому что какой это порядок, ежели холостые парни будут за «кыргызкой» ходить. Свои девки сидят да женихов ждут, а тут выискалось приворотное зелье. Досталось от бойких казачек и атаману и коменданту. На первого они даже плевали. Инвалидная команда тоже поднялась на ноги. Произошел настоящий бунт.

— Ты как хочешь, Иван Степаныч, а чтобы казачишки не шатались в нашу слободку,— галдели инвалиды.— У них своих баб непочатый угол, а у нас только и свету в окне, что девка-кыргызка...

— Да вы белены объелись, старые черти?! — кричал Иван Степаныч, топая ногами.— Да я вас всех в бараний рог согну... Какая ваша девка?..

За инвалидов вступилась Василиса Марковна и разом вырешила дело.

— Ладно, солдатушки, будет по-вашему,— говорила она.— И то напримались вы горя достаточно...

— Матушка наша Василиса Марковна, не оставь! —

взмолились инвалиды.— Не дай в обиду кошме проклятой...

— Ну-ка, выстройтесь, ребятушки! — скомандовала комендантша.

Василиса Марковна любила покомандовать над солдатами, но они не обижались этим, потому что она же, матушка комендантша, выстаивала их перед казаками и не давала в обиду, а Иван Степаныч робкой души был человек и не умел этого сделать.

Выстроились солдаты в две шеренги и ждут, что будет дальше. А комендантша вывела на крыльцо Най-Хэ, показала на солдат и говорит:

— Вон какие молодцы, девушка... Который тебе любее всех?..

Подтянулась вся команда при этих словах, не смеет дохнуть, а Най-Хе застыдилась вся и опустила глаза.

— Эй вы, ребятушки: налево кругом... ммарш! — скомандовала комендантша.— А ты, девушка, гляди во все глаза...

Два раза прошли солдаты мимо крыльца, отбивая шаг. Вахмистр Афонька впереди всех, как на настоящем смотру.

— Смиррно-о!.. Ну что же, девушка? Будет тебе сиротой в девках сидеть.

Подняла свои темные глаза Най-Хэ, а сама бледная-бледная, как полотно. Но потом точно она что вспомнила и указала рукой на вахмистра Афоньку, который стоял ближе всех.

— Ну, твое счастье, Афонюшка,— решила комендантша.— Так и быть тому делу... Окрестим девушку, а потом и свадьбу сыграем.

Таким образом разрешились все недоразумения, вызванные появлением Най-Хэ в Поперешной станице. Все были довольны: и бунтовавшие казачки, и солдаты, и Иван Степаныч, и Степан Иваныч. Плакала только одна Най-Хэ: забилась она в чулан и целых три дня не выходила.

4

Полонянка Най-Хэ была крещена в соседней станице и названа Натальей. Через две недели она вышла замуж за вахмистра Афоньку, для которого инвалидной командой был выстроен в месяц отдельный домик. Солдатская

слободка переживала необыкновенное оживление, торжествуя свою первую победу над казачьим концом. Инвалиды выбивались из сил, чтобы чем-нибудь угодить своей солдатской молодухе. Они носили ей воду из реки, помогали по хозяйству и ухаживали, как за ребенком.

— Наша ведь ты, Натальюшка,— ласково приговаривали беззубые старики.— Наша солдатская косточка... сестричка солдатская...

Первое время солдатская молодуха сильно похудела и все молчала, пока солдатская любовь не растопила ее сердце, точно разом она сделалась другой. В солдатской слободке вообще происходило что-то небывалое, невиданное и неслыханное. Настоящий праздник... А когда через год у вахмистра Афоньки родился сын, слободка точно сошла с ума: инвалиды пронесли ребенка по всей станице с песнями и пляской. Даже комендантша Василиса Марковна прослезилась, глядя на своих солдатушек. Так дело шло года три. Хорошо жилось молодухе, особенно когда пошли дети. Совсем настоящая русская баба сделалась, кабы не лицо. Вот только весной она задумывалась и начинала тосковать. Никому ничего не говорит, а убежит в комендантскую конюшню, обнимет иноходца, на котором привез ее из орды атаман, а сама рекой разливается... Плачет и лошадь целует, точно родного человека.

— О чем пригорюнилась, касатка? — спросит в другой раз вахмистр.— Аль про свою сторону вспомнила? Аль я тебе чем не угодил?

— Нет, Афонюшка, всем я довольна, а только по веснам у меня сердце сосет... тоска нападает.

Ровно через четыре года, весной, под Поперешной показался известный киргизский батырь Майгак,— все время пропадал, считали его уже убитым, а он точно с того света пришел. Кружит около станицы на своем гнедом иноходце и дразнит казаков, чтобы погоню вызвать. Пробовали счастья казаки, да уж очень хорош конь у Майгака: ветер, а не конь.

— Кто мне поймает Майгака, тому насыплю столько серебряных рублей, сколько войдет в мою папаху! — вызывал удальцов атаман Степан Иваныч.

А Майгак совсем близко подъезжал к станице, на ружейный выстрел — подъедет, шапкой машет, ругается. Каждый день станичники выходили на вал и смотрели на киргизского батыря. Пришла как-то и солдатская мо-

лодуха. Глянула она на батыря и вся побелела... А батырь узнал ее и совсем близко подъехал: смеется и по-киргизски лопочет.

— Гляди-ка, братцы, узнал, собака, свою-то кыргыцкую кость! — удивлялись казаки.

Крикнула ему что-то в ответ и Най-Хэ, только никто не мог ничего разобрать.

Сказали вахмистру Афоньке, как его жена с барантачом переговаривалась. Рассердился старик и в первый раз побил жену. Ничего не сказала Най-Хэ, а только забилась в угол, как зверь, да там и просидела целую ночь.

— Ты у меня смотри: я вышибу лишнюю-то дурь! — пригрозил ей муж на всякий случай.

Ничего не сказала Най-Хэ, а только взглянула черным глазом, точно огнем обожгла.

Ночью она пропала. Пропал и иноходец с комендантской конюшни. Ударили по станице тревогу, и полетели казаки в погоню за Майгаком: он увез Най-Хэ — больше некому.

Три дня и три ночи гнались казаки за разбойником. Догадлив был атаман Степан Иваныч и гнал погоню о-двуконь. На третий день завидели казаки и Майгака, вдвоем они уходили от погони, лихие кони притомились. Видят казаки — курится в степи огонек малешенек, а около огня стоит сам Майгак. Припал атаман к луке, гикнул и полетел с лучшей пятеркой. Подпустил Майгак совсем близко, а потом птицей сел на своего гнедого иноходца и улетел, а у огонька остался труп только что зарезанной Най-Хэ. Двоим не уйти от погони, и Майгак зарезал беглянку, чтобы не досталась живая казакам.

1892

Коробкин

1

Лидочка, единственная дочь Павла Иваныча Коробкина, умирала...

Старичок доктор, расстроенный и жалкий, взялся за шляпу и неловко совал свою сухую красную руку Павлу Иванычу, который смотрел на него широко раскрытыми, обезумевшими глазами.

— Я должен предупредить вас...— смущенно бормотал доктор, перебирая замшевые перчатки.— Тяжелая обязанность врача, но... есть случаи... наука бессильна...

— Доктор, голубчик, не уходите! — крикнул Коробкин не своим голосом и как-то по-детски уцепился за докторскую руку.— Неужели никакой надежды?..

Доктор растерянно развел своими большими руками и, не простившись, торопливо вышел из комнаты, а Павел Иваныч упал в кресло и, закрыв лицо руками, зарыдал. Полное, бесцветное лицо исказилось судорогами, а сквозь белые пальцы полились слезы человека, терявшего все.

— Зачем он ушел?..— повторял вслух Павел Иваныч, вскакивая с кресла и опять падая на него.

— Ах, да! нет никакой надежды... Лидочка умирает!.. Лидочка, Лидочка, Лидочка!..

В дверях мелькали встревоженные, любопытные лица прислуги; мимо Коробкина неслышными шагами несколько раз прошла сиделка в белом фартуке, потом показался молодой священник, на ходу торопливо развертывающий зеленую епитрахиль; затем наступила страшная тишина, нарушаемая только сдержанным шепотом, доносившимся из комнаты умиравшей.

«Это отходную Лидочке читают...» — мелькнуло в голове Коробкина, и он в ужасе закрыл свои напухшие от слез глаза.

— Павел Иваныч... Где Павел Иваныч?..— послышался шепот сиделки, и женская рука повела Коробкина

в ту комнату, где погасала молодая жизнь, точно колебавшееся пламя потухающей свечи.

Небольшая мягкая женская рука ввела Коробкина в полутемную комнату, едва освещенную розовой ночной лампочкой, и он припал своей седевшей головой к маленькой прозрачной детской руке, уже терявшей теплоту живого человеческого тела... Вот и это дорогое худенькое лицо с ввалившимися, потухающими глазами, и коротко остриженные белокурые волосы, и тонкая детская шейка, и запекшийся рот.

— Лидочка... Лидочка...— всхлипывал Коробкин, целуя холодевший белый лоб.

Тут же, у изголовья умиравшей, тихо плакала жена Коробкина и все повторяла захлебывающимся голосом:

— Господи, да за что же это... а? Ведь одна у нас Лидочка... одна!..

Сиделка осторожно поддерживала ее за локоть и наставительно заметила:

— Авдотья Егоровна, успокойтесь... Это даже очень грешно, если человек впадает в отчаяние... И Лидочке это нехорошо будет...

— Отошла, моя голубушка... ангелочек мой!..— заголосила громко старуха нянька, когда агония кончилась и Лидочка перестала дышать.

Комната наполнилась стонами и отчаянными воплями собравшихся женщин; Авдотья Егоровна как пласт упала на грудь мертвой Лидочки, и ее никак не могли оттащить. Этот отчаянный плач женщин заставил Коробкина очнуться: он несколько мгновений посмотрел на жену, на спущенные зеленые шерстяные занавесочки, на ночной столик с лекарствами, на все еще горевшую розовую лампочку, на косой луч солнца, врывавшийся золотой полоской между занавесками, пощупал свою голову, еще раз обвел всю комнату глазами и, не торопясь, ушел к себе в кабинет.

— Господи, за что?..— повторил он про себя вопрос жены, хватая себя за волосы.— Нет, она не умерла... она не могла умереть! У других много детей, а у нас всего одна Лидочка... Одна, одна, одна!.. За что?

Страшная злоба закипела в груди Коробкина, и он рванул себя за волосы. Вся и все были виноваты, начиная от того предательски теплого весеннего дня, когда Лидочка по детской неосторожности простудила горло, и кончая этим доктором с его проклятой наукой... Какая

там наука?.. Вздор и галиматья,— только добрых людей напрасно морочат эти ученые дураки... Просто нужно было позвать самую простую старушонку, знахарку, которая вспрыскивает водой с уголька, и, быть может, Лидочка была бы теперь жива...

«Если бы Лидочка тогда оделась теплее, например, надела бы на шею шарф...— думал Коробкин вслух, шагая из угла в угол.— Это уж Дуня виновата, не умела смотреть за дочерью... да. Ростили, берегли, лелеяли, надышаться не могли — и всего какой-нибудь один час, какой-нибудь глупый шарф... О нет, это невозможно!.. Это слишком глупо... все глупо... все!..»

Ужасно было именно то, что все случилось крайне глупо: Лидочка простудилась, у Лидочки заболело горло, доктор посмотрел и успокоил, что пустяки,— сам Павел Иваныч тоже как-то равнодушно отнесся к этой болезни, хотя обыкновенно дрожал над каждой царапиной у Лидочки. И Авдотья Егоровна не беспокоилась, потому что была занята какой-то работой в парниках — вот тебе и парники, и шарфик, и доктор, и собственная глупость... все к черту, все пошло прахом!.. В конце концов Коробкин додумался до того, что если кто-нибудь виноват в смерти несчастной девочки, то это не кто другой, как именно он, Коробкин. Да, кругом виноват: нужно было, во-первых, самому смотреть за девочкой, во-вторых, не следовало доверяться доктору, наконец... что же такое, наконец, позвольте?

— Господи, за что же... за что?! — со стоном повторял Коробкин и опять начал передумывать все сначала, взваливая вину то на других, то на себя; выбитая из колеи мысль десятки раз, как муравей с непосильной ношей, взбиралась на какую-то высоту и каждый раз летела вниз, чтобы опять начать мучительный подъем...

2

Лидочку похоронили.

Вернувшись домой, Павел Иваныч почувствовал страшную пустоту; сгоряча он хорошенько еще не взвесил своего несчастья и теперь, на досуге, мог вполне углубиться в самого себя.

Прежде всего Павел Иваныч заметил, что он точно разделился надвое: как будто он, Павел Иваныч, и как будто не он...

Это открытие сильно смутило Коробкина, так что он внимательно принялся рассматривать себя в зеркало. На него смотрело осунувшееся, полное водянистой полнотой лицо с добрыми серыми глазами; подстриженная бородка, просвечивавшая лысина, серьезно сложенные губы, известная порядочность в выражении физиономии, свойственная заслуженным чиновникам, говорили об устоявшемся человеке. Недаром Павел Иваныч называл себя «средним провинциальным человеком». Теперь ему было под пятьдесят. Когда-то он окончил курс в университете, а потом поступил на службу. Завиральных идей Коробкин не проповедовал, сделаться знаменитым человеком не мечтал, а потянул чиновничью лямку, как ее тянут по Руси по всем уездным захолустьям. От университетского в Коробкине осталось только то, что он с каким-то благоговением относился ко всякой «учености» и любил повторять знакомым чиновникам:

— Да-с, есть великие умы, есть наука... Это — святое дело, господа! Только не всякому оно дается, много званых, да мало избранных. Да-с... А дух-то все-таки остается, ежели и просто в передней у науки-то постоишь, особенный такой дух: маленький человек, а чувствуешь про себя, какие настоящие-то люди должны быть.

Нужно заметить, что Павел Иваныч отличался настоящей, не напускной скромностью и был о себе действительно невысокого мнения. Конечно, он был в университете, но ведь не обязательно всякому студенту быть непременно каким-нибудь Гумбольдтом, Гуго Гроцием, Менделеевым, Сеченовым — одним словом, этаким ученым чертом-дьяволом... Я — маленький человек и буду делать свое маленькое дело, а большие люди пусть делают большие дела, потому что им много дано...

Служил-служил Коробкин по разным палатам и канцеляриям и к описываемому моменту дослужился до видного местечка в административной лестнице. Тридцати пяти лет он женился по расчету на дочери своего начальника (любовь — это опять не для маленьких людишек, так, по крайней мере, думал Павел Иваныч) и зажил припеваючи. В результате этого тугого чиновничьего счастья явился новенький полукаменный домик, выходивший пятью окнами на Студеную улицу, всякое хозяйственное обзаведение, своя лошадь, общее уважение в Сосногорске и дочь Лидочка, которая уже училась

в женской гимназии. Все шло отлично, как по-писаному, и вдруг — Павел Иваныч точно оступился в яму и совсем позабыл, о чем думал, когда шел по дороге... Точно это был не он, Коробкин, а какой-то другой человек, и, нужно признаться, человек довольно странный.

Авдотья Егоровна страшно тосковала о Лидочке и постоянно плакала; Коробкин старался ее утешать как умел и произносил целые речи на тему о «необходимости терпеть и покориться» и дошел до того, что указал на пример чиновника Севастьянова, у которого в одну неделю от скарлатины умерло четверо детей. Потом — еще вопрос, нынче с детьми трудные времена... Вон, у протопопа Головина тоже была дочь, поехала на курсы, а теперь бог знает где... Одним словом, желая утешить жену, Коробкин зарапортовался до того, что наконец самому сделалось совестно, и он с каким-то страхом почувствовал, что это говорит не он, Коробкин, а кто-то другой, что он никогда и не любил жены по-настоящему да и жалеет ее больше по привычке и потому, что она мать Лидочки...

«Нет, это совсем не то... да, не то»,— повторял про себя Коробкин и сконфуженно уходил к себе в кабинет.

Вообще Павел Иваныч, видимо, начал «задумываться», как говорят в провинции, и первая обратила на это внимание Авдотья Егоровна. Она перестала плакать открыто и старалась чем-нибудь вывести мужа из его странной задумчивости. Но эта политика дала как раз обратный результат: Павел Иваныч быстро раскусил все и как-то странно так улыбнулся.

— Павел Иваныч, голубчик, перестань запираться-то...,— умоляла Авдотья Егоровна со слезами на глазах.— Вон какой ты стал: лица нет... Ну, погоревали, поплакали — не воротишь!

Павел Иваныч выслушал жену, потер себе лоб рукой и задумчиво ответил:

— Нет, Дуня, это не то...

Авдотья Егоровна заметила, что муж как-то быстро и с любопытством оглянул ее всю, как смотрят на незнакомых женщин, и даже смутилась. Ей теперь было сорок с хвостиком, но для своих лет она порядочно сохранилась, хотя фигуру и лицо портила брюзглая полнота засидевшейся в четырех стенах женщины; красавицей Авдотья Егоровна никогда не была, но была

свежей, здоровой девушкой, и Павел Иваныч по-своему любил ее. Зачем же он теперь так нехорошо посмотрел на нее?

Но Коробкин и не думал обижать жену — напротив, он ее жалел, хотя, занятый своими мыслями, как-то забывал о ней. А в самом деле: зачем он женился на Авдотье Егоровне? Признаться сказать, когда она была еще девушкой, ему больше всего нравился у нее бюст, а затем ряд отрицательных достоинств: не зла, не глупа, не ленива и т. д. Затем, Дуня была из хорошего чиновного семейства, что имело свое значение в служебных делах, так как известные связи — очень и очень не лишняя вещь даже и в такой глуши, как Сосногорск. Потом у них родилась Лидочка и принесла с собой то, чем большинство заменяет истинное чувство.

— Лидочка...— шептал Коробкин, и, как ни путались его мысли в голове, в конце концов он приходил неизбежно к одной роковой точке, и в голове Коробкина с мучительной болью вставал образ мертвой Лидочки.

Сначала смерть Лидочки казалась результатом глупого сцепления самых глупых случайностей, притом случайностей внешнего характера. Именно эта нелепость и подавляла Павла Иваныча, делая жизнь какой-то игрушкой в руках слепого случая. Стоило ли жить при таких условиях, когда счастье целой жизни разлетается дымом от ничтожного дуновения? Конечно, нет!.. Что осталось от Лидочки?.. Несколько фотографий, ряд тяжелых воспоминаний — и только, а давно ли она наполняла вот эти самые комнаты своей веселой болтовней и детским смехом, шалостями и всем тем, что вносит с собой начинающаяся жизнь!

Коробкин любил подолгу смотреть на фотографию дочери, снятую уже с мертвой: полудетское личико дышало таким необыкновенным спокойствием и трогательной серьезностью, что отец не мог от него оторваться. Эта девочка унесла с собой и радость, и смех, и веселье, и надежды... Раз, когда Павел Иваныч с щемящей грустью рассматривал фотографию Лидочки, его точно что кольнуло в самое сердце — и он даже отскочил от портрета...

— Господи, что это такое? — в ужасе шептал он, чувствуя, как на лбу выступают у него капли холодного пота.— А, так вот в чем дело!.. Да, теперь я понял, все

понял!.. Дурак, дурак... А я все объяснял случайностью?!

Коробкин дико захохотал и упал на кушетку лицом на подушку. Теперь для него сделалось все ясно, но эта ясность именно и ослепила его, как слепит человека простой дневной свет, если он долго сидел в темноте. Именно, он до настоящей минуты был слеп, нравственно слеп и тешился разными фантомами, а теперь точно какая завеса спала с глаз — и все кругом сделалось так ясно, так понятно... Перед глазами Коробкина живьем встала неумолимая железная последовательность той внутренней сути, которая связывает факты, и он в первый раз почувствовал непреодолимую потребность бежать из своего собственного дома, нажитого многолетним трудом, бежать от того мещанского счастья, которое ослепило его, бежать очертя голову, чтобы одуматься, прийти в себя, сообразить что-то, наконец, чтобы просто побыть с глазу на глаз с самим собою. В нем вплотную сцепились те два человека, которых он заметил после смерти Лидочки.

— Вот оно когда пришло... вот когда откликнулось! — хрипло повторял Павел Иванович, хватаясь за голову.— Нет, видно, от себя, брат, не уйдешь... стой, брат!..

Павел Иванович теперь действительно походил на сумасшедшего: притворив плотно дверь кабинета, он вытащил из письменного стола спрятанную между бумагами отцветшую порыжелую фотографию молоденькой девушки в соломенной шляпе и поставил ее рядом с портретом Лидочки. Он заходил сбоку, отступал назад, рассматривал фотографию вблизи и все что-то бормотал про себя.

— Конечно, теперь сходства нет, но она мертвая поразительно походила на Лидочку... Да, да... Так же волосы были зачесаны, такой же чистый лоб, так же губы сложены, и легкая морщинка в углу глаза... Что это? Возмездие?.. Наказание?.. Упрек?.. Казнь?!

3

Вот что припоминал Коробкин.

Лет тридцать тому назад — как это давно и, вместе, как это недавно все было! — он, кончая курс красногорской гимназии, имел урок у купца Зимина. Выбившись из подрядчиков, Зимин жил очень туго, на купе-

ческую руку. Коробкин, по рекомендации директора, попал к Зимину репетитором; за стол и квартиру он должен был перетащить в третий класс маленького купеческого сынка, подававшего все надежды сделаться большим купеческим саврасом. Гимназисту была отведена гнилая каморка в нижнем этаже, а обедал он вместе с семьей Зимина. В зиминском доме господствовала какая-то особенная, тугая атмосфера — точно все здесь было сколочено гвоздями, даже мысли. Старик Зимин был самодуром чистейшей воды и держал всех в ежовых рукавицах, начиная с жены, забитой и запуганной женщины, не смевшей дохнуть в присутствии мужа.

Кроме сына у Зимина была еще дочь Капочка, девушка лет шестнадцати. Это была очень бойкая и веселая особа; она где-то поучилась и могла говорить по-образованному. Коробкин как теперь видел ее: небольшого роста, тоненькая, живая, с русой головкой и парой бойких, веселых глаз, она служила олицетворением молодой, нетронутй силы, и можно было только удивляться, как могла родиться такая оригинальная девушка в зиминском доме, где господствовал вечный страх, специально купеческая, сытая скука и обман всех против всех, как это и бывает в семьях самодуров. Особенно хорошо Капочка смеялась: откинет свою русую головку, полузакроет глаза и зальется таким смехом, что даже и сам Зимин улыбнется и сердито заметит:

— Эк тебя разобрало, Капитолина... будет зубы-то мыть...

Капочка быстро сошлась с застенчивым гимназистом, который за столом не знал, куда девать руки и ноги.

— Гимназист, вы мне очень нравитесь,— заявила откровенно Капочка на третий же день их знакомства.— Я так рада, что у нас будет хоть один живой человек в доме... Послушайте, у вас есть сестра?

— Нет...

— Ну, так зовите меня просто Капочкой... Конечно, не при тятеньке... Боже вас сохрани... Я буду вашей сестрой.

Капочка весело засмеялась и даже ударила смутившегося гимназиста своей беленькой ручкой по плечу. Знакомство завязалось быстро, как умеет знакомиться счастливая и беззаботная юность. Капочка даже прибегала в каморку к гимназисту, перебирала его книги и

тетрадки, устраивала фантастический порядок, прятала цветы под подушкой, вспрыскивала духами гимназическую амуницию и даже собственноручно повесила милому гимназисту занавески. Вообще, она дурачилась с ним, как сумасшедшая, а при отце делалась такой неприступной и строгой, точно монахиня. Впрочем, Капочка не всегда дурачилась. На нее нападали полосы какого-то тяжелого раздумья, и она плакала,— плакала дешевыми девичьими слезами, не стесняясь присутствия гимназиста.

— О чем вы плачете, Капочка? — спрашивал иногда Коробкин.

— Ты не поймешь, миленький гимназистик...— смеялась сквозь слезы Капочка.— Скучно мне, вот и плачу. Ну, узнал?.. Ах, гимназистик, гимназистик, ничего-то ты еще не понимаешь!..

— Нет, я все понимаю, Капочка... Я совсем большой... Да...

Раз после такого откровенного разговора Капочка долго и внимательно смотрела Коробкину прямо в глаза и с серьезным лицом проговорила:

— Вот ты говоришь, что ты совсем большой... да?..

— Конечно, большой.

— Ну, если большой, так возьми меня замуж... Я буду хорошей женой... А! Что? Испугался!.. То-то вот и есть!

— Мне еще нужно учиться, Капочка...

— Да, да... Я знаю, я пошутила. Куда тебе, миленький гимназистик, с такой верченой девчонкой... Ты — вон какой скромненький, аккуратный, прилежный. Кончишь гимназию, поступишь в университет... Я тебе, как цыганка, расскажу всю судьбу. Выучишься, будешь чиновником, женишься на богатой... да? Все это так и должно быть, голубчик... Такие скромненькие хорошо живут, а нашему брату — не сносить головы!

— Потерпите, Капочка, может быть, все устроится и у вас...

— У меня?! Да чего мне ждать-то?.. Состаришься, попадешь в христовы невесты — спасибо, голубчик... Старухой-то жить не стоит, а молодой не дают. Какая у нас жизнь... а? Как мыши в щели живем... Ох, тошнехонько, гимназистик мой миленький, а деваться некуда! Вот будут отдавать замуж за немилого — а я утоплюсь... Я этой воды до смерти боюсь, так и тянет... Ей-богу!..

Чем веселее была Капочка, тем ближе к слезам,—

она плакала с улыбкой на губах, и Коробкину было до смерти жаль этой странной девушки... Но что он мог сделать для нее?.. Одно время он начал было сильно увлекаться ею и потихоньку следил за ней глазами, но Капочка поймала его и оборвала со своей обычной откровенностью:

— А ты не смотри на меня такими глазами... нехорошо. Я — твоя сестра... Смотри, уши надеру!..

У Коробкина было много занятий, и он за книгами забывал эту ласковую, как русалка, девушку. Ее неожиданные посещения приводили его в самое праздничное настроение, и в классе Коробкину долго мерещилась улыбавшаяся русая головка, и он даже чувствовал, как его волосы перебирает тонкая белая рука Капочки...

Наступила весна, распустились деревья, везде топорщилась зеленевшая травка. По небу весело гуляли стада белогрудых облаков; в каморке у Коробкина сделалось особенно неприветливо, но он упорно высиживал порции своих экзаменов. Особенно весенние вечера наводили на Коробкина страшную тоску, и он по целым часам прислушивался к весенним звукам, тянувшимся в его подземелье с улицы.

Вот в такие-то вечера особенно тяжело доставалось Коробкину, и он по целым часам с закрытыми глазами мечтал о Капочке, пока не сделал открытия, что он ее очень любит,— так любит, как еще не любил ни один человек в мире ни одной девушки... Это открытие даже испугало Павла Иваныча, и он несколько дней ходил в каком-то сладком чаду, пьяный своим тайным счастьем. Да, он любил Капочку, как любят только в первый раз — с благоговейным трепетом, робко, со всей обстановкой в первый раз проснувшегося чувства. С Капочкой он теперь держался как-то особенно далеко, видимо избегал неожиданных встреч с ней и даже запирался в своей каморке на крючок,— точно боялся неприятельского вторжения: он был слишком счастлив и, как вор, похитивший какое-то необыкновенное сокровище, боялся дневного света.

Встречаясь с Капочкой, Коробкин страшно робел и старался не смотреть на нее,— это заячье малодушие потом создавало миллион нравственных терзаний, и великодушный человек даже плакал от злости, уткнувшись головой в подушку. Коробкин удивительно скоро переходил от самых высоких мыслей к полному самоуни-

чижению и раскаянию; Коробкин идеальный и Коробкин в действительности слишком расходились между собой, образуя какую-то мучительную пустоту. Ясно и отчетливо было только одно, именно — то первое и молодое чувство к Капочке, которое делало Коробкина и счастливым и несчастным.

Была одна роковая встреча, которая перевернула в душе семнадцатилетнего гимназиста все. Это было как раз после экзаменов, когда Коробкин собрался уезжать на каникулы домой. Капочка затащила застенчивого гимназиста кататься на лодке. Как теперь видел он эту тонкую изящную девушку, кокетливо прикрывавшуюся большим шелковым платком — шляпок Капочка терпеть не могла. Они каталась на лодке вдвоем, и Капочка все время наблюдала своего кавалера какими-то особенно грустными глазами.

— Вы скоро уедете, миленький гимназистик, а я тут останусь одна...

— Осенью я вернусь.

— Ах, не то...

Капочка даже рассердилась без всякой видимой причины, что иногда с ней случалось, а потом проговорила с своей детской наивностью:

— Смотрю я на вас, гимназистик, и жалею вас... Да, жалею. Ведь вам семнадцать лет, а вы еще ничего не понимаете. Вы жизни боитесь... Эх, да что тут говорить! Все равно ничего не выйдет. Мне и себя жаль, потому что я вся хорошая, а должна пропасть ни за грош.

Коробкин испугался этой откровенности и сильно смутился. Капочка поймала его настроение и засмеялась, зло и нехорошо засмеялась, а потом вдруг бросилась к нему на шею и принялась целовать.

— Это я с тобой прощаюсь... Навек прощаюсь, миленький! Полюбила я тебя не к добру... Ну, значит, не судьба. Я знаю, что и ты меня любишь, любишь и не женишься, потому что боишься бедности, боишься того, как мы будем жить. Ведь ты аккуратный, паинька, и все у тебя рассчитано вперед... Ну, скажи правду, не солги, боишься?

— Да, боюсь...— ответил Коробкин, у которого в голове быстро промелькнула нарисованная Капочкой невеселая картина.— Вот кончу сначала гимназию, потом университет, тогда...

— Э, вздор! — решила Капочка, тряхнув ухарски

своей головкой.— Это еще Андроны едут... Да. А только ты меня потом вспомянешь... после. Все будет, а милсердечного друга не будет.

Эта сцена стоила Коробкину целой бессонной ночи, когда он мучился решением рокового вопроса. К утру для него сделалось совершенно ясным, что от счастья с Капочкой приходилось отказаться,— впереди его ждало совсем другое, и он не мог поступиться этим другим. Что же делать, приходилось жертвовать своим личным счастьем. Это последнее ему казалось даже героизмом.

Вернувшись в Сосногорск осенью, Коробкин опять поселился в подвале зиминского дома: нужно было как-нибудь дотягивать гимназию, а других уроков не имелось в виду. Молодой человек, умудренный тяжелым опытом, зарылся в книги с головой и больше ничего не хотел знать. Капочку он опять встречал за обедом, но это была совсем другая девушка — бледная, худая, с каким-то убитым выражением лица.

Так прошла осень.

— Миленький гимназистик, я выхожу замуж...— объявила Капочка после святок.

Она так давно не разговаривала с Коробкиным и теперь так странно улыбалась.

Разговор происходил опять в каморке Коробкина, куда Капочка завернула как-то вечерком в сумерки. Она была одета в простенькое ситцевое платье, которое так шло к ее гладко зачесанным волосам и вообще ко всей грациозной фигурке. В сердце Коробкина шевельнулось старое забытое чувство.

— Чиновник есть, Теряев; ну, так меня за него и отдают,— проговорила Капочка, точно она говорила сама с собой.— Пьяница он, говорят... Ну да нам выбирать не из чего: один конец.

Капочка тихо заплакала. Коробкин не выдержал и начал ее утешать избитыми общими фразами, вычитанными из какой-то очень хорошей книжки: никогда не следует предаваться отчаянию, потому что из самого дурного положения есть непременно выход; все зависит от самого человека — как он захочет, так и будет; прежде всего необходимо работать, особенно женщине, потому что только труд дает самостоятельность и т. д. Капочка слушала эту дешевую мудрость, опустив свою головку, а когда проповедник кончил, она неожиданно обняла своими тонкими руками и горячо поцеловала,

— Ничего ты не понимаешь, голубчик...— шептала Капочка, улыбаясь сквозь слезы.— Я пришла к тебе проститься, гимназистик... Миленький, тяжело мне. Я ведь сама понимаю, что я глупенькая, но и глупеньким людям тяжело бывает... ах, как тяжело, как тяжело!.. Теперь вот я к тебе пришла,— знаешь, зачем? Себя я боюсь, миленький: страшно мне одной оставаться... Вот теперь ты этого самого не поймешь, а после как-нибудь...

Капочка торопливо расцеловала гимназиста в волосы, в лицо, в шею и упорхнула как мотылек. Коробкин остался в каком-то ошеломленном состоянии, чувствуя, что Капочка не досказала чего-то, потому что считала его все-таки мальчиком. Бросить гимназию к черту и жениться на Капочке... А университет, а общественное положение, а обеспеченное будущее? Потерять все это для одной Капочки, погрузиться вместе с ней во все случайности жизни недоучки гимназиста, тянуть лямку где-нибудь в канцелярии на шести рублях жалования, идти в подручные к самодуру купцу... А с другой стороны — смотреть, как на глазах будет гибнуть живой человек, когда его можно спасти... Какой-то чиновник Теряев выискался!..

Гимназист чувствовал, что начинает сходить с ума от всех этих противоположных мыслей и чувств...

4

Капочкина свадьба была совершившимся фактом. Коробкин сделался невольным свидетелем этого печального торжества благодаря шумному говору, топоту пьяных ног, нескладным песням и визгливым звукам музыки, доносившимся к нему через пол.

Чиновник Теряев даже в качестве жениха не мог удержаться от роковой первой рюмочки и поэтому все время находился в приятном полузабытьи.

У Коробкина невольно сжалось и заныло его молодое сердце, когда он увидел в первый раз Капочкиного суженого. Это был вихлястый субъект лет под тридцать с испитым и сморщенным лицом, на котором слезилась пара серых мутных глаз: всего хуже у этого выжатого как тряпка человека было то, что он корчил из себя важную особу и постоянно крутил черные щетинистые усики.

«Убить этого мерзавца...» — с затаенной злобой подумал Коробкин и только теперь понял, как он сильно любил Капочку. Он уже видел ее бледной, страдающей женщиной с убитым, опущенным взглядом, и страшная, смертельная тоска охватила его сердце...

— Слава тебе, истинному Христу...— вслух думала старая зиминская нянька Матрена, заглядывая в каморку гимназиста.— Ты что же наверх-то не идешь? Ну, орешков бы погрыз али с барышнями поиграл... а?..

— Не хочется, Митревна...

— Какой-то ты, право, несообразный, паренек. Молодое дело: молодо-зелено, погулять велено... Ох-хо-хо!.. Женишок-то наш не из мудреневьких, ну да уж дело такое подошло — его счастье. Не видать бы ему нашей Капочки ни в жисть, ежели бы не жисть-то наша темная.

А музыка пилила польки, кадрили, вальсы; десятки ног грузно шаркали над самой головой Коробкина, и каждая капля этого пьяного веселья падала на его душу тяжелым камнем, вызывая слезы на глазах. Гибла молодая жизнь, а тут веселились десятки пьяных негодяев... Коробкину делалось страшно за разыгрывавшуюся над его головой драму, и он не мог освободиться от знакомого дорогого образа: Капочка стояла пред его глазами как живая и с печальной улыбкой смотрела на него. «Ты еще мальчик...» — шептали побелевшие губы Капочки.

Через две недели своего медового месяца Капочка превратилась в бледную, испуганную женщину, бродившую по дому как тень. Она вся точно застыла.

Через полгода пьяный Теряев уже бил жену.

Весь этот семейный ад отдавался в душе гимназиста Коробкина, который не раз плакал бессильными слезами. Иногда он желал, чтобы чиновник Теряев лучше бил его, гимназиста Коробкина, а не несчастную Капочку, и даже начал чувствовать, что во всей этой истории виноват не кто другой, как все он же, то есть гимназист Коробкин.

Раз он нечаянно встретился с Теряевым на дороге и остановил его, не понимая хорошенько сам, что делает.

— Мне необходимо переговорить с вами...— пробормотал мальчик, краснея с ушами.

— Что вам у-угодно, млстивый гсдарь? — нахально спросил Теряев, пьяный вчерашним похмельем.

— Я... я должен вас предупредить... предупредить... одним словом, мы будем стреляться.

— Позвольте... что такое: стреляться?.. Извините, молодой человек, я, кажется, ослышался... А позвольте, с кем имею честь разговаривать?..

— Кто — все равно для вас... Если вы не хотите стреляться, как стреляются порядочные люди, я назову вас публично подлецом... побью палкой прямо по морде!..

— Милый мальчик, за подобные глупости вам следует нарвать уши...

Чиновник Теряев засмеялся самодовольной пьяной улыбкой, а «милый мальчик» готов был провалиться от стыда: враг попал в самое больное место и одной фразой точно придавил его.

Они стояли один против другого, а Коробкин не находил больше слов.

— Вы где живете-то? — спросил Теряев.

— В доме Зимина...— машинально ответил Коробкин.

— Ага... понимаю!..

Эта глупая мальчишеская выходка всей своей тяжестью обрушилась на Капочку. Теряев обрадовался неожиданной выходке и не давал жене прохода, попрекая гимназистом. Капочка выносила насмешки, побои, ругательства — и молчала, как окаменевшая.

Наступила глубокая осень. На полях лежал уже снег; не осталось больше ни одной зеленой травки; мутная вода холодно чернела в мертвых берегах, и только один осенний ветер, как воротившийся домой хозяин, властно и шумно гулял кругом. Сосногорск совсем утонул в грязи. На улицах тащились крестьянские телеги, брели чиновники на службу, с криком перелетали мокрые галки с одной крыши на другую... Осенние ночи точно проглатывали город, и жалкие фонари не могли бороться со сгущавшейся около них тяжелой и сырой мглой; провинциальный город засыпал рано, и только кое-где радужными пятнами выделялись освещенные окна,— это теплились семейные очаги, где, около одной лампы, по вечерам собиралась вся семья, или грязные кабаки, служившие последним пристанищем разному оборванному, жалкому люду.

В такую отчаянную погоду все жмутся по своим углам и незримо творится бесконечная ткань человеческой

жизни с ее радостями, напастями, весельем и слезами...

Сидит в своей норе и гимназист Коробкин, сидит без конца над своими книжками и тетрадками и время от времени чутко прислушивается,— что делается «там», наверху... Товарищей у него нет, да ему и не до товарищей: он слишком привык к своему одиночеству и старается не думать о том, что ему скоро придется уехать из Сосногорска.

Гимназист Коробкин уже мечтает о своем теплом угле и знает сам, что потихоньку да полегоньку вылезет в люди. Одна Капочка является темным пятном на этой прямой дороге... В глазах Коробкина Капочка все еще девочка, и он не может видеть в ней чиновницу Теряеву.

По вечерам Коробкин долго засиживался у своего письменного стола и не замечал, как летело время. Раз он засиделся особенно долго и совсем не слыхал, как отворилась дверь в его каморку, как неслышными шагами вошла Капочка и горячо обняла его.

— Пришла проститься, миленький гимназистик...— ласково прошептала она, продолжая обнимать смутившегося Коробкина.— Я не буду тебе мешать... уйду...

Капочка посидела в каморке гимназиста всего несколько минут, тревожно оглядела ее бедную обстановку, сунула какую-то ленточку в книги и проговорила с грустной улыбкой:

— Хорошо у тебя здесь, милый гимназистик... А знаешь, о чем я думаю?

— О чем, Капочка?

— А вот о чем: из миленького гимназистика вырастет большой чиновник; у чиновника будет свой дом, жена, дети... Как-нибудь, вот так же вечером, соберутся все за одним столом чай пить... ну, чиновник и вспомнит о глупой Капочке, которая когда-то бегала к нему в каморку... Да?.. Капочка была не злая...

Капочка поболтала, посмеялась и убежала, оставив на столе свою фотографию.

Коробкин понял значение этого неожиданного визита только утром на другой день, когда Капочку нашли в реке утонувшей...

И утонула-то Капочка не как другие: речонка была мелкая, и Капочка долго брела по ней по пояс в воде, пока попала в настоящий омут...

Она лежала на столе такая тихая и спокойная, с восковым лицом и строго сложенными губами. Гимна-

зист Коробкин долго плакал в своей каморке над безвременно погибшей молодой жизнью, пока эта рана не затянулась житейской тиной, песком и камешками.

5

Смерть Лидочки напомнила Коробкину всю эту детскую историю с трагической развязкой, и, благодаря сходству фотографий, он увидел таинственную связь между ними: одну он имел возможность спасти — и не спас; другую спасал всеми возможными средствами — и не мог спасти...

«Стоило тогда жениться на Капочке, и все было бы другое...— рассуждал вслух Коробкин с самим собой.— Нет, хотел сытой, обеспеченной жизни, хотел сделать карьеру, а живой человек гиб на глазах — это ничего! А оно вот и сказалось».

Перед расстроенным мозгом Коробкина с поразительной ясностью встала ужасная картина его жизни, ужасная своей пустотой и бесцветностью... Ему теперь опротивел вдруг собственный дом и наполнявшее его до краев трудовое довольство,— тогда мальчишкой он испугался бедности, а теперь его давило это чиновничье богатство. Куда? К чему?.. Вся жизнь развертывалась перед ним, как бесконечная лента из маленьких глупостей, тщеславия, эгоизма и какой-то удручающей лжи. Ложь, ложь и ложь,— ложь без конца... Единственным светлым пятном в этом мраке являлось мимолетное чувство к Капочке, которую он любил, но и это лучшее молодое чувство было растоптано собственными ногами в угоду этому же чиновничьему счастью, пропитанному скукой и каким-то больничным запахом.

Авдотья Егоровна, с своей стороны, давно заметила происходившую в муже перемену и пробовала по-своему разогнать его тоску; но все было напрасно. Коробкин или отмалчивался, или улыбался такой странной улыбкой и постоянно бормотал:

— Нет, это не то... все не то, Дуня.

— Да что «не то-то», Павел Иваныч?

— Ах, ты не поймешь...

Бедная женщина совсем начинала терять голову от новой напасти и со страхом прислушивалась к тому, как Павел Иваныч шагает в своем кабинете из угла в угол. На службу он ходил исправно, как всегда, но как

придет домой — и пошел шагать по кабинету, точно он что-то потерял, и все что-то бормочет про себя.

Павел Иваныч видел беспокойство жены и по-своему жалел ее, но объяснить ей все не решался — и не поймет его, да и как-то было совестно: Коробкин чувствовал себя виноватым перед ней. Ведь он никогда не любил ее, а женился на ней из-за самых подлых побуждений и, как ни рылся в своей памяти,— ничего не мог подыскать в свое оправдание. Конечно, он привык к ней, уважал ее, но ведь это все не то... Не было главного,— именно того, что освящает жизнь, наполняет ее, вносит в каждый шаг глубокое и всепроникающее счастье; в этом — тайна жизни, и каждый обман жестоко наказывается.

Откуда эти бедные дети, жалкие телом и душой, на которых с первого дня рождения ложится печать какого-то проклятия?..

Отчего истинные дети любви при самой неблагоприятной обстановке цветут, как здоровое растение?

Да, природа безжалостна и разоблачает всякую ложь, как физическую, так и душевную...

Идея возмездия засела в голову Павла Иваныча, как железный гвоздь, и не давала ему покоя...

Мысль разрасталась.

Выяснив свое собственное положение, Коробкин понял всех других людей и еще больше ужаснулся за все то, что творится кругом него. Он хорошенько не мог и сам дать себе отчета, как в его голове укладывалось все это; но мысль работала и работала, как заведенная машина, и неудержимо влекла его вперед, от одного вывода к другому. В конце концов Коробкину сделалось страшно за других, за их жизнь, за вечный самообман, за общую слепоту...

Раз, проснувшись ночью и раздумавшись на эту бесконечную тему, Коробкин зарыдал,— так ему сделалось жаль себя, жены, всех других...

— Что с тобою, Павел Иваныч? — спрашивала проснувшаяся Авдотья Егоровна. Эти детские слезы резнули ее прямо по сердцу.— Господи, да что же это такое!.. Павел Иваныч, голубчик, что это с тобой?..

Она зажгла лампу и принялась утешать мужа, который продолжал плакать и не стыдился собственных слез.

Наконец он успокоился, умылся и чистосердечно

рассказал жене все, что он передумал и перечувствовал за все то время, как умерла Лидочка. Несколько раз во время рассказа он пытливо вглядывался в лицо жены и со страхом начинал сознавать, что она его не понимает, то есть что он, Коробкин, не может и не умеет передать ей всего того, что сам так хорошо передумал и перечувствовал...

— Ты меня не понимаешь, Дуня? — спросил он нерешительно...

— Не все, голубчик... Я ведь простая женщина и, пожалуй, всего-то не пойму... учености разные.

Павел Иваныч чувствовал, что жена говорит не то, что думает: она его признание приняла как бред сумасшедшего и только из сожаления к его душевному состоянию не противоречила ему. Он печально опустил голову и несколько времени молчал.

— При чем тут эта Капочка? — спрашивала Авдотья Егоровна, пытливо глядя в лицо мужу.— А уж Лидочку ты, пожалуйста, не запутывай сюда: это уж совсем нехорошо...

— Да, да... Я и сам так же сначала думал... Но ведь ты только вникни, Дуня, во все то, как оно шло... Не оттого же Лидочка наша умерла, что не надела шарфа?.. Так?.. В жизни есть глубокий внутренний смысл, который открывается только избранным, а обыкновенные люди, такие, как мы с тобой, все объясняют разными шарфиками... Вот я и додумался... Ты ведь меня тоже не любила, когда выходила за меня замуж, как и я,— ну, а это несправедливо... Мы думаем обмануть природу, а она вот и сказалась... Так и везде. Отчего все эти больные с детства, идиоты, сумасшедшие, пьяницы, воры, разбойники, развратники? Это природа мстит людям... да...

— Ну, это твое дело, а только я тебя любила, Павел Иваныч,— обиженно заявила Авдотья Егоровна и даже заплакала.— Ты только напрасно меня обижаешь... какую-то Капочку придумал... Кто тебе мешал жениться на ней? Ну и женился бы, и наплодил бы нищих, да и маялся с ними...

Авдотью Егоровну прорвало, и она высказала мужу целый ряд горьких истин. Павел Иваныч слушал ее молча и только чуть-чуть хмурился: его откровенность только отдалила от него жену.

Вечером того же дня в доме Коробкина появился

знакомый уже нам старичок доктор, лечивший Лидочку. Он долго и внимательно рассуждал с Павлом Иванычем, вызывая его на откровенность. Коробкин понял, зачем пришел этот добрый старичок и зачем он так внимательно смотрит на него; это как-то кольнуло Павла Иваныча, и он откровенно рассказал старичку все свои сомнения.

— Да, да... так,— соглашался доктор, наклоняя голову на один бок.

— Вы меня понимаете, доктор? — радовался Коробкин.

— Кажется, начинаю понимать... да, да...

Доктора позвала Авдотья Егоровна, чтобы освидетельствовать тронувшегося мужа, и с нетерпением ожидала конца этой затянувшейся беседы.

Она поймала уходившего доктора уже в передней и немым взглядом спросила, как он нашел мужа.

— Плохо...— прошептал старичок, расставляя руки.— Одностороннее тихое помешательство... самый опасный вид душевных болезней.

1885

Господин Скороходов

1

— Тихон Петрович, господин Скороходов, здравствуйте! — весело кричал каждое утро сапожник Гаврилыч, выставляясь в окно своего подвала, выходившее на двор.

— Здравствуй, Гаврилыч!..— отвечал тоненький детский голосок.

— Как поживаете, господин Скороходов?

— Скверно, Гаврилыч...

— Ах, братец ты мой... Дело табак, Тихон Петрович.

— Да, не особенно красиво.

В детском голосе звучали какие-то особенные, недетски-серьезные нотки, что придавало ему печальную оригинальность чего-то созревшего прежде времени и бессильного. Сапожник Гаврилыч каждый раз с каким-то изумлением прислушивался именно к этому удивительному голосу, задумчиво крутил стриженной по-солдатски головой и точно смущался, что вот он, Гаврилыч, такой здоровенный, сильный и могучий человек. Если бы было возможно, так, кажется, взял бы да и отдал половину здоровья Тихону Петровичу с его девичьим голосом или бы сказал за него, как здоровому человеку хочется откашляться за больного.

У сапожника было такое красное, точно выдубленное лицо. Тут сказалось все — и солдатский загар, и слабость к рюмочке, и главное — неиспорченная деревенская кровь. В свои пятьдесят лет Гаврилыч выглядел молодцом. Он никогда еще не хворал и удивлялся, как это другие могут хворать. Больше — у Гаврилыча являлось брезгливое отношение ко всем больным или просто к людям, которые могут захворать. Исключение представлял один Тихон Петрович, бледное, бескровное личико которого казалось сапожнику таким близким, родным, точно оно притягивало его к себе.

— Велико ли еще место, всего-то семь годков,— рассуждал вслух Гаврилыч,— это было его слабостью,

а может быть, и принадлежностью мастерства.— Еще дите, ангельская душенька Тихон-то Петрович, а господь ему все открыл... Да. Большого поучит... Эх, кабы господину Скороходову ножки да здоровьишка — вот какой бы человек вышел!

Знакомство сапожника с г. Скороходовым состоялось только в прошлом году, вот так же о весне. Двор только очистили от снега, и на него выползла из своих углов разная петербургская детвора, точно галчата. Крик, шум, гам,— известно, ребячье дело. Как-то в понедельник у сапожника очень трещала голова с похмелья. Гаврилыч был мрачен и с особенным ожесточением тыкал шилом какую-то невинную подметку, точно она была главной причиной его скверного душевного настроения. Два подмастерья работали молча, стараясь не глядеть на хозяйскую муку мученическую. С похмелья Гаврилыч делался зол, и теперь его раздражал шум и гвалт детских голосов на дворе. Он уже несколько раз сердито поглядывал в раскрытое окно, подыскивая случай придраться. И случай представился. Вся детвора столпилась у окна в подвал напротив и кого-то дразнила. Слышался задорный смех, вызывающий крик, детская брань.

— Вот я вас, акробаты! — ругнул ребятишек Гаврилыч, высовываясь в окно.

Но никто не обратил на его крик ни малейшего внимания, что окончательно взорвало Гаврилыча, особенно когда послышался тихий детский плач.

— Обезьяна!.. обезьяна!..— выкрикивали детские голоса.

Гаврилыч не стерпел и вылетел на двор, чтобы обследовать дело. Он увидел следующую картину: у открытого окна подвала сидел в подушках худенький бледный мальчик и плакал.

— Что вам нужно от меня? — говорил он, обращаясь к детям.— Ведь я вам не мешаю, и вы мне не мешайте...

— Обезьяна... обезьяна...

— Я вас, наконец, прошу, господа, оставьте меня в покое. Это просто невежливо. Вы играйте, а я буду смотреть на вас... Я и сам с удовольствием поиграл бы с вами, но, к сожалению, не могу.

Дети с детской жестокостью дразнили больного ребенка и не хотели оставлять его.

— Господа, вы мне мешаете читать,— продолжал

тоненький детский голосок уже со слезами.— Ведь это мое единственное удовольствие... Вы здоровы, можете бегать, кричать, а я должен сидеть на одном месте.

— Обезьяна!..

— Эй вы, акробаты, брысь! — крикнул Гаврилыч так, что больной мальчик в окне вздрогнул и даже закрыл глаза со страха.— Вот я вас... Ежели кто подойдет вот к этому окошку, так я пропишу такую встрепку... Слышали?

Детвора мигом рассыпалась, как стая воробьев. Самые храбрые показывали языки, другие ругались недетскими словами. Увлекшись своим подвигом, Гаврилыч бросился с поднятыми кулаками, и маленький неприятель исчез врассыпную.

Больной мальчик с удивлением и удовольствием смотрел на своего заступника, и ему все в нем понравилось, начиная с жилистых рук и кончая загорелым лицом. Когда сапожник подошел к окну, мальчик протянул ему свою исхудалую, почти прозрачную руку и серьезно проговорил:

— Благодарю вас... Вы меня избавили от большой неприятности. Ведь я никому не мешаю...

— Да вы только скажите мне, барин. Я их распатроню в лучшем виде.

— Нет, зачем же обижать детей. Они по-своему правы... Я не сержусь. Меня зовут Тихоном Петровичем, фамилия Скороходов. Точно в насмешку такая фамилия, потому что, как видите, я совсем не могу ходить, а должен сидеть. А вас как зовут?

— Сапожник Гаврилыч... Меня тут все знают, потому как я живу в этом доме четвертый год. А вы, господин Скороходов, видно, недавно еще переехали к нам?

— Перед пасхой, когда мой папа умер. Он служил в типографии и умер от чахотки. Я живу с мамой. Ей, бедной, трудно достается. Она тоже служит и приходит домой только вечером, когда я ложусь спать. Знаете, больные люди должны вести правильный образ жизни.

Так и состоялось это оригинальное знакомство. Гаврилыч присел к окну, набил солдатскую трубочку-носогрейку и закурил. Его поразил необыкновенный мальчик, говоривший тоном большого человека.

Новые знакомые довольно бесцеремонно оглядели друг друга с ног до головы, а потом мальчик заметил:

— Отчего от вас пахнет водкой, Гаврилыч?

Сапожник сконфузился. Его трубочка захрипела, точно он хотел высосать из нее свое оправдание.

— Видите ли, господин Скороходов, такое уж наше положение, значит, сапожничецкое... Сидишь-сидишь неделю-то, в том роде, как идол какой, ну а в субботу, грешным делом, и разрешишь. Окромя всего этого я человек неженатый, ну, стало быть, такая плепорция... У всякого своя плепорция.

— Нехорошо,— наставительно ответил мальчик и посмотрел на Гаврилыча такими печальными глазами.— Я говорю: нехорошо.

— Уж что тут хорошего, господин Скороходов... Самая это вредная вещь водка, ежели разобрать. А что в башке делается с похмелья. Себя бы самого растерзал, кажется.

— Для чего же тогда вы пьете?

Гаврилыч ничего не мог ответить, а только развел руками. Плепорция такая... сапожничецкое положенье...

Таким образом завязалось знакомство. Каждое утро отворялось окно в подвале, и в нем показывалось бледное личико г. Скороходова. Сапожнику очень нравился больной ребенок, и он раз забрался в квартиру. Мать г. Скороходова была дома. Она очень походила на сына, только казалась серее, точно ее покрыла пыль столичной мостовой. По бедному платью, плохонькой дешевой обуви и всей обстановке бедной квартиры сапожник сразу определил бедственное положение. Да, не красно жилось вдове.

— Не будет ли чего насчет починки? — объяснил Гаврилыч.— Я тут на дворе живу, значит, сапожник... Вы не сумлевайтесь, деньги могу подождать, потому как из-за дела подмахну заплатку. Вот мальчику, может, что понадобится...

— Ах, это вы и есть...— обрадовалась вдова.— Мне Тиша говорил про вас. Очень вам благодарна...

— Помилуйте, сударыня. Пустяковое дело... Известно, ребята пристали. Ну, я их пугнул малым делом... Озорники, одним словом. А ежели что касаемо починки, так уж вы только скажите...

— Зайдите ко мне, Гаврилыч,— послышался из следующей комнаты тоненький детский голосок.— Я буду рад вас видеть...

Сапожник высморкался, обдернул свой рваный

«спинджак» и осторожно прошел в следующую комнату, где в старом клеенчатом кресле лежал больной ребенок. Теперь он показался Гаврилычу совсем маленьким, точно цыпленок. Головка маленькая, шея тонкая, а личико, как у большого,— умное личико, а глазенки совсем не по-детски смотрят. Особенно хорошо Тихон Петрович улыбался — тоже умненько так, как улыбаются хорошо сохранившиеся старички. Детское тельце совсем было скрыто под старым пледом. Это двойное впечатление ребенка и большого человека ставило Гаврилыча в тупик, и он не знал, как ему говорить с мудреным мальчонкой.

— Садитесь...— предлагал маленький хозяин.— Мама, ты, может быть, нам дашь чаю? Впрочем, сахару осталось всего два куска...

— Нет, не нужно чаю,— отказался политично Гаврилыч.— Я так, на минутку завернул... Насчет работы. Вот господину Скороходову можем новые сапожки оборудовать.

Ребенок печально улыбнулся: он не нуждался в сапогах, потому что не мог ходить.

«Эх, невпопад слово вырвалось,— подумал Гаврилыч, почесывая свой красный затылок.— Большим себя дураком оказал...»

Сапожник посидел недолго. Он боялся помешать, да и вообще как-то конфузился, точно самой фигурой производил обидный диссонанс в этой маленькой подвальной квартирке.

— Заходите, когда будете свободны,— приглашал мальчик.— Я-то постоянно свободен и буду рад вас видеть... Целый день сижу один. Только вот квартира у нас сырая, а у меня по вечерам бывает лихорадка...

Когда сапожник ушел, ребенок задумался. Он внимательно следил за матерью своими печальными глазами и наконец проговорил:

— А он славный, мама, этот сапожник. Ты заметила, какие у него сильные руки и какой он весь большой? Дышит так, что на улице слышно... Ах, мама, как бы я желал быть таким же здоровяком!.. Ведь это, должно быть, очень хорошо, когда ничего не болит... и когда можешь работать. Я тебе мог бы помогать тогда, а теперь тебе так трудно с больным ребенком. Ведь я все понимаю, мама, и часто думаю, что мне лучше умереть.

— Перестань, Тиша. Глупости... Куда же я без тебя?..

— Нет, мама, нужно смотреть серьезно на вещи. Ведь я тебя только стесняю, а пользы от меня никакой. Это обидно... Конечно, тебе будет очень жаль, когда я умру; но ведь весь я не умру: душа останется... Я всегда буду с тобой, только тогда не нужно будет ухаживать за мной. Ты, пожалуйста, не огорчайся... Ведь все равно когда-нибудь нужно будет умирать. И ты умрешь, и даже этот сапожник... Ах, какой он здоровый, мама! Мне точно лучше сделалось, когда он вошел ко мне в комнату... Здоровые люди должны быть добрее, потому что их ничто не должно раздражать.

Подобные разговоры часто велись в маленькой квартире, и мать Тиши уходила в другую комнату, чтобы скрыть слезы. Это было одно из тех страшных несчастий, для которых нет слов...

Болезнь Тиши развивалась медленно, но с той последовательностью, какую имеют только болезни. Ребенок родился здоровым, почти крепышом, и таким оставался до трех лет, а потом вдруг начал хиреть. Причин болезни было много: сырые квартиры, плохое питание, нездоровый воздух — одним словом, все то, что дает столица бедному люду. Маленькое детское тельце подавало в отставку, а живой оставалась одна голова. Мысль работала упорно и неугомонно, сосредоточив в себе все силы. В пять лет Тиша уже свободно читал. Его лучшими друзьями сделались книги. Ребенок их глотал с жадностью и особенно любил путешествия. Фантазия работала с поразительной яркостью.

— Когда я читаю путешествия, то чувствую себя здоровым и сильным человеком, а это такое счастье...— объяснял ребенок.— Вот тоже во сне, мама, я всегда вижу себя здоровым и тоже счастлив.

В маленькой детской головке ярко цвели пестрые картины тропической природы, где царит вечная весна, бушевал океан, быстро неслись громадные реки, величественно поднимались неприступные горы со снеговыми вершинами, расстилались цветущие степи и покрытая снегом тундра, таинственно шумели вековые леса, пели птицы и ласково улыбались цветы. Ах, сколько было цветов... Это были золотые сны, те счастливые грезы, от которых не хочется проснуться. Мальчика угнетало только одно, именно, что ему не с кем было поделиться всеми этими богатствами, а мама от усталости даже не могла его слушать.

2

Странные бывают психические сближения, как это было и в данном случае. Сапожник Гаврилыч сделался дорогим гостем в квартире Скороходовых. Больной мальчик каждый раз оживлялся, когда в его комнате неуклюже помещалась массивная фигура отставного солдата, насквозь пропитанная смешанным запахом кожи и махорки. Сначала сапожник очень смущался, а потом привык. Чтобы не портить воздуха своим куревом, он уходил с трубочкой в сени или смешно присаживался на корточки к топившейся печке. Мальчик любовно смотрел своими умными глазами на эту большую фигуру и делался как-то спокойнее, когда сапожник сидел около него. Ведь он был такой сильный и здоровый. Часто ребенок трогательно просил его:

— Гаврилыч, вы посидите около меня, пока я засну...

— В лучшем виде посижу, господин Скороходов.

— Вы держите мою руку, Гаврилыч... Вот так. Только, пожалуйста, не дышите на меня...

И Гаврилыч сидел, не смея шевельнуться, как самая заботливая нянька. Правда, что это было не легко, но что поделаешь с г. Скороходовым. Маленькая прозрачная ручка сначала крепко держала жилистую руку Гаврилыча, а потом распускалась — такая маленькая, совсем ребячья рука. Больной спал в своем кресле всегда в одной позе, немного склонив голову на один бок. Гаврилыч терпеливо выжидал, когда послышится ровное дыхание заснувшего, и удалялся таким осторожным шагом, точно шел с огнем в пороховом погребе. Он даже захватывал свой рот ладонью и свободно переводил дух только в сенях.

Это удивительное сближение произошло главным образом на духовной почве. Гаврилыча поражал необыкновенный ум ребенка. Кажется, все-то на свете он знал и так удивительно хорошо умел рассказывать обо всем. Слушая своего маленького друга, Гаврилыч чувствовал себя ужасно глупым и совершенно темным человеком. Ничего-то, ничего он не знал, а вот мальчонка так все произошел. И насчет звезд, и насчет разных стран, и насчет городов иноземных, и про войны, и про всяких полководцев. А то еще стишки прочитает — все больше жалобные стишки. И про святых угодников тоже отлич-

но понимал. Гаврилыч с все возраставшим удивлением слушал маленького оракула и только встряхивал головой, как взнузданная лошадь.

— Так в темноте и кончимся, Тихон Петрович,— говорил он уныло, подавленный своим незнанием.— Прямо сказать: все мы от пня народ... Вот и службу прошел, оболванивали тоже, а как ничего не знал, так и остался. Живем, как во сне...

Мальчику нравилась та непосредственность, с которой Гаврилыч относился ко всему. Он так хорошо умел слушать и так увлекался всем.

— Вот так штука, братец ты мой, господин Скороходов... Дерево в семьдесят сажен высоты? Ловко... Это повыше адмиралтейского шпица. А вот что я скажу вам, господин Скороходов: и деревья разные, и горы, и моря-окияны, а люди-то везде одинаковые... Так, чуть-чуть разность маленькая... И все должны работать, и забота у всех одинаковая, и семьишка такая же, и детишки.

Был один пункт, в котором Гаврилыч оказывался неизмеримо сильнее маленького мудреца. Именно г. Скороходов видел только один Петербург, а об остальном знал только из книжек. Другое дело Гаврилыч — он много видел, начиная со своей деревни. Когда заходила речь о последней, роли сразу менялись, и г. Скороходов превращался в самого обыкновенного ребенка, предлагавшего иногда вопросы, наивные до смешного. Здесь наступала очередь Гаврилыча удивляться, что есть такие люди, которые не понимают самых простых вещей, как пашня, лес и т. д. Сапожник даже сердился на г. Скороходова. Как этого-то не понять? Конечно, обидно...

— А в деревне нет мостовых? — спрашивает, например, г. Скороходов.

— Какие там мостовые... Одно слово, деревня. Тут тебе пашня, тут река, тут лес. Значит, как есть деревня настоящая, значит, вполне... грязь...

— Вот вы говорите, Гаврилыч, лес... Кто же его садил?

— А никто... Сам лес растет. Так уж это назначено от господа... Где быть лесу, там он и растет.

Недоразумения происходили главным образом потому, что ребенок никогда не был за чертой Петербурга, и живое представление о природе у него сложилось из того, что он только видел. А видел он мостовые, пяти-

этажные дома, дворы колодцами, чахлые петербургские скверы, гранитные берега Невы. Тут бессильны были все книги, и Гаврилыч в свою очередь должен был объяснять многое такое, что для деревенского жителя понятно само собой.

— Главное дело в деревне — пашня,— объяснял он с какой-то особенной торжественностью.— Все от пашни... Без пашни, брат, шабаш. Вот и мы с тобой чужой хлеб едим... А он дорого стоит настоящему мужику. Это, брат, штука!..

— Один раз посеять хлеб, он и будет расти.

— А вот и не будет. Ты его посеял, снял, а на следующий год та же музыка сначала. Да еще может случиться засуха или ненастье... В деревне-то с молитвой живут, не то что в городу. Здесь мне што — плевать. Вёдро так вёдро, ненастье так ненастье, а в деревне-то... Да что тут говорить!..

— Лучше в деревне?

— Какое же сравнение: конечно, лучше. Возьмите хоть меня, господин Скороходов: какой я есть человек, ежели разобрать? Ведь денег я зарабатываю уйму, ежели это по-деревенски считать, а где они у меня, деньги-то?.. То-то вот и есть. Весь тут, дома ничего не осталось. А в деревне у меня бы и своя избенка была, и лошаденка, и коровенка, и всякое обзаведение... Ну, как следовает настоящему мужику быть. А здесь что: тьфу!.. Разве это жисть?.. Вот придет суббота, и натрескаюсь, как свинья. А отчего?.. Такая плепорция городская... И в деревне пьют, только с умом: на праздниках, на свадьбах, а не так, чтобы дуром. Вот и вы, господин Скороходов, ежели бы родились в деревне, разве такой бы были?.. В деревне народ здоровый, потому как вольный воздух первое дело.

— Отчего же вы не уедете в деревню, Гаврилыч?

— Я-то? А немножко, значит, угорел... Привык к городскому легкому хлебу. Ослабел...

Заговорив о деревне, сапожник весь изменялся. Он делался совсем другим человеком. Даже голос не тот. Мальчик смотрел на него с удивлением и никак не мог понять причины такой перемены. В действительности Гаврилыч идеализировал деревню и деревенскую жизнь, но тем не менее чувствовалось, что она его захватывала всего, несмотря ни на какую городскую «плепорцию». Эти разговоры очень нравились мальчику, и у него

складывалось самое фантастическое представление о той России, которая начиналась сейчас за Петербургом. И он, петербургский выродок, никогда не увидит этой настоящей русской деревни, настоящего леса, желтеющих нив и всего того, чем живут десятки миллионов настоящих русских людей. Петербург ему представлялся громадной тюрьмой, где люди не живут, а мучаются, и больше всех он, Тихон Петрович Скороходов, такой маленький, такой бессильный и такой жалкий, как те чахлые деревца, которые растут в петербургских скверах. Ах, если бы можно было взглянуть хоть одним глазком, как живут там, не в Петербурге,— взглянуть и умереть! Там и за квартиру не нужно платить; там и подвалов нет, и дворов колодцами, и болезней... Вот отчего Гаврилыч такой здоровый, и вот отчего он делается совсем другим человеком, когда начинает говорить о деревне.

Прошла гнилая петербургская весна, и наступило лето. Каменные дома днем накалялись от солнца, воздух был пропитан едкой кислой пылью, нечем было дышать. Господин Скороходов мучился теперь от того, что нечем было дышать, как весной страдал от подвальной сырости. Раз, накануне воскресенья, Гаврилыч сказал:

— Вот что, Тихон Петрович, мы завтра с вами разгулку устроим. До Юсупова-то сада от нас рукой подать... У меня есть знакомая барыня, а у барыни стоит детская колясочка.

— Да ведь вам будет скучно со мной, Гаврилыч... В трактире веселее.

— И трактир от нас не уйдет, а в Юсупов сад все-таки съездим.

Это было целым событием в жизни г. Скороходова. Сборов было столько, точно снаряжалась экспедиция по меньшей мере к Северному полюсу. Как волновался ребенок за этот роковой день! Какая-то будет погода? Не раздумал бы Гаврилыч? Не закапризничала бы барыня с коляской? Мать Тиши волновалась еще сильнее, хотя и старалась не выдавать себя.

— Какой добрый этот Гаврилыч!—повторяла она.

— Ты его, мама, еще не знаешь!..

Ночь прошла почти без сна. Господин Скороходов ужасно волновался. В нем проснулся тот живой ребенок, которого не могла похоронить никакая петербургская пыль. В шесть часов утра он уже проснулся и на-

блюдал по противоположной стене двора, какая будет погода. К ним в подвал солнце никогда не заглядывало, и метеорологические наблюдения ребенок производил по противоположной стене: стена освещена,— значит, есть солнце.

Гаврилыч заканчивал какую-то спешную работу и явился только часам к одиннадцати. Он даже умылся. приоделся и выглядел франтом. Но главный восторг был в колясочке. Правда, она была немного мала, но с этим приходилось мириться. Больной был уложен в колясочку, и Гаврилыч торжественно повез ее. День был праздничный. На тротуарах происходила настоящая давка, и только благодаря силе и ловкости Гаврилыча колясочка благополучно добралась до Юсупова сада.

— Вот мы как! — хвастался Гаврилыч, когда коляска покатилась по усыпанной песком дорожке.

Но г. Скороходов был разочарован. Все деревья стояли серые от пыли, и, главное, тот же кислый воздух. Вдобавок все уголки были усыпаны детворой, а г. Скороходов не выносил шума. Господи, сколько тут было детей, этих несчастных петербургских детей!.. Бледные, худенькие, с тонкими ручками и ножками, они напоминали те бледные цветы, которые вырастают в подвалах без солнца. Правда, они играли, бегали, кричали, дрались, как и следует детям, но это было не настоящее детское веселье. Господин Скороходов, лежа в своей колясочке, с какой-то тоской наблюдал их своими не по-детски умными глазами, и ему делалось ужасно скучно. Все это было не то, чего ему хотелось, точно самый воздух был здесь насыщен какой-то фальшью, а «скверные» деревья только притворялись зелеными. Да, не то... А эта петербургская детвора, набравшаяся сюда из своих подвалов и чердаков,— что могло быть печальнее?.. На детских личиках уже сквозила недетская тревога, а в глазах светилось то раздражение, которое не оставляет настоящего петербуржца даже летом. Больной мальчик наблюдал детей с таким видом, точно он сам был вот этими самыми детьми, принимая сотни всевозможных превращений. О, он так все отлично понимал!..

— Ах ты, братец ты мой, господин Скороходов,— ворчал Гаврилыч, огорченный неудавшейся поездкой.— Пыль одна, а не сад. Так, название...

Так прошло все лето, тяжелое и мучительное. Даже

Гаврилыч затосковал, бросил работу и кутил недели две. Он явился к Тихону Петровичу таким виноватым и никак не мог взглянуть прямо в глаза ребенку.

— Нехорошо, Гаврилыч...

— Ах, как нехорошо, Тихон Петрович... Уж скорее бы осень. По крайности, сидишь у себя в норе и никуды тебя не тянет.

Осень не заставила себя долго ждать. Пошли дожди, потом ударил первый морозец — все шло своим порядком. В конце сентября выдалось несколько таких крепких и хороших осенних деньков. Именно в один из таких дней Гаврилыч пришел к г. Скороходову и заявил без всяких предисловий:

— Ну и дурак же я, Тихон Петрович... ах, какой дурак!..

— Что случилось?

— А тогда-то, ну, когда мы в Юсупов сад путешествовали... Ну конечно, дурак! Нужно было не в Юсупов сад вас везти, а за город. Что мне стоило в колясочке-то вас скатать хоть в то же Парголово... И настоящий лес посмотрели бы, и пашню, и травку зеленую. Положим, не настоящая деревня, а нашибает.

Господин Скороходов молчал. Такое путешествие было его заветной мечтой, но он боялся даже думать о нем, как о чем-то недосягаемом и несбыточном.

— Не буду я, ежели будущим летом не свожу вас за город, господин Скороходов,— решил Гаврилыч, чтобы хоть чем-нибудь утешить пригорюнившегося ребенка.— Ей-богу, так... Только бы зиму пережить...

Ждать целый год... Это был такой ужасный срок, особенно когда приходилось жить в сыром подвале. Но уже самая мысль подкрепляла г. Скороходова, и ребенок любил разговаривать на эту тему. Маршрут был выработан во всех подробностях, с точностью военной диспозиции. Гаврилыч сто раз рассказал весь путь, и мальчик запомнил его от начала до конца.

— Ах, только бы нам зиму смотать! — повторял сапожник.— Как это мне раньше-то в башку не пришло... а?..

Много было разговоров в длинные зимние вечера на эту тему, и мальчик каждый раз оживлялся. Он считал, сколько осталось дней до этого события, и чувствовал, как одна мысль о нем живит и подкрепляет его.

— Мама, я тогда умру спокойно,— повторял ребе-

нок с каким-то особенным чувством.— Ведь мне так немного нужно... Только один раз взглянуть...

А время ползло ужасно медленно. Гаврилыч приходил к г. Скороходову почти каждый вечер и при его помощи переплывал море-окиян, путешествовал в тропических лесах, сгорал от жажды в Сахаре, замерзал в полярных льдах при освещении северным сиянием, спускался в глубины земных недр, поднимался на воздушном шаре, сражался при Фермопилах, защищая свободную Грецию от персидских полчищ, открывал Америку вместе с Колумбом, изобретал паровую машину и даже заглядывал в то далекое будущее, когда пароходы, железные дороги и телеграфы покажутся жалкими игрушками. Слабая детская рука вела этого большого и сильного человека от одного чуда к другому, из одной страны в другую, и Гаврилыч чувствовал только одно, что самое главное чудо вот этот больной ребенок с его девичьим голосом и печальными глазами. Старый солдат привязался к нему всей душой и был счастлив, когда бледное детское личико озарялось улыбкой.

3

Мы ничего не сказали о матери Тиши. Ее звали Настасьей Антоновной. Родилась и выросла она в Петербурге и, кроме Петербурга, ничего не знала. Образование получила домашнее, другими словами — никакого. После отца осталась двенадцатилетней девочкой и скоро познакомилась с нуждой. Мать была больная женщина и едва существовала крошечной пенсией. Маленькой Насте пришлось поступить в магазин швеей. Шестнадцати лет она познакомилась с молодым типографским наборщиком и скоро вышла за него замуж. Он был приезжий из далекой провинции и мечтал со временем завести свое дело. Но вышло иначе. Петербургский климат и непосильная работа надломили силы. Ребенку было пять лет, когда чахотка свалила с ног отца. Прислушиваясь к разговорам Тиши и сапожника, Настасья Антоновна живо припоминала мужа: больной, он тоже мучился тоской о своей далекой провинции, мечтал о ней и умер с мыслью о ней. Ребенок шел по отцовской дороге, и мать чувствовала, что он скоро умрет. Да и примета такая есть: если больной начнет собираться в дорогу — дело скверно. А какой рос мальчик — понят-

ливый, умненький, совсем особенный. Еще при отце выучился читать и целые дни проводил за книгами.

— Не жилец он у вас, сударыня,— говорил не раз Гаврилыч, качая головой.

— Что же я поделаю? И то вытянулась вся...

— Божья воля... да.

Последнюю зиму Настасья Антоновна сама прихварывала и уставала от работы. Придет домой и рада месту, а тут то нужно, другое, третье, и везде приходится самой. Хоть и маленькое, а все-таки хозяйство. Да еще шитье разное да починка. От нужды и забот бедная женщина начинала тупеть, и ее охватывало то тупое отчаяние и равнодушие, которому нет исхода. Иногда она думала, что уж лучше Тише умереть, чем так мучиться. Положим, что он никогда и ни на что не жаловался, но она чувствовала его страдания. Сапожник Гаврилыч являлся счастливой находкой, и она не знала, как его благодарить за участие к больному ребенку. Раз она даже попробовала это сделать, но Гаврилыч только сконфузился.

— Что вы, что вы, сударыня... Да ведь я хожу-то к вам для себя. Очень уж любопытно... Даже и рассказать не умею, как любопытно. Совсем особенный у вас Тихон Петрович... Господь умудряет младенцев.

Настасья Антоновна расплакалась. Гаврилыч нахмурился. Не любил он этих бабьих слез. Плачет, а того не подумает, что все под богом ходим — сегодня живы, а завтра и поминай как звали.

— А за город я его свожу, как только земля оттеплеет,— бормотал сапожник, точно оправдываясь.— Уж вы не сумлевайтесь, Настасья Антоновна. Надо потешить младенчика.

Ласковые слова у Гаврилыча выходили как-то особенно хорошо, и сам он точно светлел от них.

Поддаваясь течению событий, Настасья Антоновна и сама увлеклась идеей путешествия Тиши за город. Какие это смешные пустяки для других, а для них троих в этих пустяках было все: интерес целой зимы, интерес будущего. Если бы отнять эту мысль о поездке, все трое почувствовали бы себя ужасно несчастными. В жизни большое и маленькое меряется личным настроением. Так было и тут, в подвальной квартире, где сошлись такие противоположные люди, как больной ребенок и отставной солдат. Ах, скорее бы наступало лето... Это

было самое томительное ожидание, сопровождавшееся иллюзиями и фантазиями вроде того, что ведь может быть лето и в апреле месяце — стоит только теплу ударить, и зиме капут.

Роковой момент приблизился почти неожиданно. Это было в середине мая. С вечера выпал такой теплый весенний дождичек. Ранним утром Гаврилыч сбегал в Юсупов сад и принес радостное известие, что деревья уже распустились и высыпала зеленая травка.

— Только в скверных местах зелень-то раньше показывается, господин Скороходов,— объяснял сапожник.— Потому камень кругом, солнышком-то и угреет. Надо обождать денька три... Пока што, а пусть там все распустится.

Еще три дня самого томительного ожидания. Накануне поездки у Гаврилыча явился неожиданный план.

— Не махнуть ли нам, господин Скороходов, по Финляндской железной дороге? До вокзалу в колясочке доедем, а там колясочку в багаж, сами в вагон...

— Нет, Гаврилыч...— заупрямился г. Скороходов.

Ребенок слишком сжился с первым маршрутом, который знал наизусть: по Парголовскому шоссе, мимо Лесного, мимо Поклонной горы, Озерков — нет, так лучше. Да и на вокзале будет много людей, а тут совсем одни.

Рано утром восемнадцатого мая голова Гаврилыча высунулась из окна. Светило яркое солнце,— значит, отлично.

— Тихон Петрович, господин Скороходов, вы встамши?

— Здесь, Гаврилыч,— ответил тоненький голосок.

Колясочка была готова еще две недели тому назад. Необходимая провизия лежала завязанная в газетную бумагу. Гаврилыч не забыл сунуть сапожный нож за голенище. Одним словом, путешествие форменное.

— Ну, с богом,— говорила Настасья Антоновна, провожая путешественников за ворота.— Гаврилыч, вы смотрите, осторожнее... Где-нибудь еще под конку попадете.

— Не сумлевайтесь, сударыня...

Мальчик показался матери таким бледным сегодня, точно восковой. Она слышала, как он сегодня всю ночь надрывался от кашля. Да и лихорадка всю весну мучит... А колясочка катилась по тротуару. Вот она уже

на углу. Гаврилыч остановился, оглянулся и сделал Настасье Антоновне под козырек. В последний раз мелькнуло бледное детское личико, и Настасья Антоновна вернулась в свою нору, вытирая непрошеную слезу.

— Господин Скороходов, вот мы и поехали...

— Да...

Мальчик задумчиво смотрел на закипавшие жизнью центральные улицы. В воздухе еще чувствовалась свежесть. Отворялись магазины; бежали кухарки с корзинками и кульками; дворники мели мостовую, подымая облака пыли. Начинался тревожный столичный день. Ах, как все это надоело — и эта вечная суета, и треск экипажей, и вечная пыль!

А колясочка катилась да катилась. Вот и новый Александровский мост, и клиника, и паровая конка. Дома делались все ниже. Начинался фабричный квартал. Гаврилыч попутно делал некоторые объяснения.

— Только бы нам до московских казарм добраться, а там мостовой шабаш, господин Скороходов. Солдатские огороды начнутся...

Доехали и до казарм, и колясочка мягко покатилась по утрамбованному шоссе. Ребенок с особенным вниманием смотрел кругом, ожидая какого-то чуда. Вот там лес...

— Гаврилыч, ведь это настоящий лес?..

— Нет, еще не настоящий... Так, дачи. А эвон на горке Лесное, значит, парк: шапка шапкой.

Навстречу попадались чухонцы в своих таратайках, ломовые, возвращавшиеся с дач порожняком, извозчики. Пронеслась мимо «паровушка».

У подъема к Лесному Гаврилыч сделал первый привал, поставив колясочку в тени дачного сада. Везде уже зеленела трава, деревья распустились. Сапожник с особенным удовольствием раскурил свою трубочку.

— Хорошо, господин Скороходов?

— Отлично... А лес скоро?..

— Скоро, скоро... Вот только проедем Лесное, сейчас можно свернуть влево, к Коломягам — и там лес, а то можно вправо ударить, по Старо-Парголовскому шоссе — тоже лес.

— Нет, я хочу на Поклонную гору...

Ребенка огорчало то, что город все еще не кончался,— все эти дачи были только его продолжением. Ко-

нечно, это не Юсупов сад, а все-таки настоящего еще нет.

— Ну, трогай! — покрикивал Гаврилыч, вкатывая колясочку на пригорок, где стоит церковь и конка делает поворот с шоссе вправо.

Мимо потянулись бесконечные дачи. Должно быть, хорошо здесь жить. Воздух совсем другой, и столько зелени. В одном месте Гаврилыч сделал неожиданную остановку. Как проедешь мимо постоялого двора «Распутье»? Он быстро юркнул к буфету, хватил стаканчик и вернулся обратно, на ходу прожевывая какую-то корочку.

— Зарядил малым делом, господин Скороходов.

Было уже около десяти часов утра, когда колясочка подъехала к Поклонной горе. Господин Скороходов был в восторге. Господи, как здесь хорошо... И сосновый бор, и какая даль там, внизу, и какое высокое небо здесь. У мальчика начинала кружиться голова и перед глазами точно летали мухи, но он крепился и ничего не говорил Гаврилычу. Свежий воздух его опьянил. Хотелось ехать вперед без конца...

— Хорошо, господин Скороходов?

— Ах, как хорошо...

Здесь дач было уже меньше. Встречные попадались редко, так что Гаврилыч даже затянул какую-то необыкновенную солдатскую песню:

Мы Расеюшку наскрозь пройдем,
Да граф Па... граф Паскевича в полон возьмем!..

Скоро показался и тот лесок, о котором говорил целую зиму Гаврилыч. Был тут и луг, и какой-то безыменный ручеек, и целый островок из сосен и берез. Колясочка свернула с шоссе и скрылась в лесу. Как мягко катились колеса по этой зеленой траве, как ласково шептались только что распустившиеся зеленые листочки, как весело выглядывали из травы первые весенние цветочки!..

— Стоп, машина! — скомандовал Гаврилыч, останавливаясь на опушке леса с той стороны, с которой не видно было шоссе.— С благополучным прибытием, господин Скороходов...

Господин Скороходов что-то хотел ответить, но только раскашлялся. Бледное личико покраснело от натуги, потом посинело.

— Это от пыли...— объяснил Гаврилыч, тоже кашляя, точно хотел откашляться за своего маленького друга.— А мы сейчас огонек разложим, чайничек согреем... Хотите на травку, господин Скороходов?

Мальчик ничего не ответил, а только смотрел на Гаврилыча своими печальными глазами. Он не мог говорить от охватившего его волнения. Гаврилыч устроил сам все, что было необходимо. Разостлал по траве плед и подушки и перенес г. Скороходова на новое место, а сам сейчас же принялся разводить огонь. Мальчик лежал и смотрел в голубое высокое небо, на тихо шумевшие вершины сосен, на плывшие по небу белоснежные облака — смотрел и чувствовал, что с ним делается что-то необыкновенное. Его точно уносила какая-то сила... Не было ни боли, ни усталости, ни той тяжести, которая давила его маленькое сердце. Глаза закрывались сами собой.

«Намаялся дорогой-то, пусть соснет»,— думал Гаврилыч, сидя на корточках около огонька.

Ребенок заснул, заснул с таким счастливым выражением на лице, как засыпают только дети.

Чайник закипал уже три раза. Прошло больше часа, а ребенок продолжал лежать с закрытыми глазами.

— Тихон Петрович, господин Скороходов...— тихонько будил его Гаврилыч.— Будемте чаевать...

Ответа не последовало.

Господин Скороходов заснул, чтобы больше не просыпаться...

1893

Сусанна Антоновна

1

— Сусанна Антоновна, вы с чем принимаете сегодня чай: со сливками или с лимоном?

— Какой глупый вопрос, Антоша! Точно вы не знаете, что я не выношу сливок...

— Виноват, Сусанна Антоновна...

— Пожалуйста, не делайте глупого лица...

Антоша делал одну из самых смешных гримас, и вся рубка второго класса заливалась неудержимым смехом. Это даровое представление повторялось по нескольку раз в день. Сусанна Антоновна сердилась и говорила серьезным тоном:

— Антоша, идите туда, к себе... Вы не умеете себя держать.

— Слушаю-с...

Антоша делал под козырек, корчил еще одну смешную гримасу и каким-то журавлиным шагом, как ходят по сцене оперные любовники, выпячивался в дверь. Он входил в свою шутовскую роль и делался самим собой, только спускаясь по лесенке на палубу третьего класса. Да, он так добродушно улыбался, а глаза принимали грустное выражение. Если бы кто-нибудь мог знать, как он любил и как гордился своей маленькой Сусанной Антоновной, уже теперь, в свои семь лет, умевшей занять целое общество. Ведь это необыкновенный ребенок, перед которым все остальные дети просто болваны. И Антоша улыбался, повторяя про себя резкие выходки не по летам развитого ребенка. Да-с, всего семь лет, а говорит, как большая.

На большом американском пароходе «Брат Яков» ехала целая труппа провинциальных артистов. Тут были и grande dame[1], и две ingenue[2], и благородный отец, и комическая старуха, и первый любовник, и примадонна,

---

[1] благородная старуха *(фр.)*. Исполнительница ролей почтенных матерей семейств.

[2] простушка *(фр.)*. Исполнительница ролей наивных молодых девушек.

и две водевильных штучки, и два водевилятника, и свой кассир, и режиссер, и суфлер — одним словом, театральная орда в полном составе. Антрепренер и примадонна с первым любовником помещались во втором классе наверху, а вся остальная труппа на палубе третьего класса. Комик Антоша всю жизнь ездил в третьем классе, перетаскивая свою семью из одного конца России в другую,— он занимал амплуа комика, а «она» ingenue, хотя была уже в том почтенном возрасте, когда разыгрывать молоденьких девушек довольно трудно. Но Антоша был хороший комик, публика его любила, и антрепренеры нанимали его скрепя сердце вместе с его ingenue. Впрочем, возраст — понятие относительное, и у всякого возраста есть свои преимущества. Сама ingenue не хотела согласиться с наступавшим критическим возрастом и стеснялась даже своих двух младших детей, щеголявших в красных турецких фесках. В доказательство неостывшей юности она могла бы привести целый ряд приключений, кончая настоящей поездкой. Мы должны прибавить, что в свое время ingenue была красива, а сейчас искусно пополняла недочеты по этой части косметиками и умением одеваться к лицу. Что она была глупа, это знала вся труппа, и не замечал этого один Антоша, очень любивший подругу своих скитаний. Любовь еще раз была слепа и еще раз, вероятно, поэтому — была счастлива.

Труппа села на «Брата Якова» в Нижнем, и Сусанна Антоновна сразу заявила, что не согласна ехать в этой гадости, то есть в третьем классе. Она обошла весь пароход и устроилась только в рубке второго класса, где были и мягкие триповые диваны, и ковер на полу, и драпировки на окнах. Девочка сама перетащила сюда свои вещи и устроилась в уголке с большим комфортом. Произошла очень интересная сцена, когда «Брат Яков» отвалил и помощник капитана, ражий детина с глуповатым лицом, начал проверять билеты. Проходя через рубку, он заметил Сусанну Антоновну, а также и то, что она устроилась не на своем месте.

— Ваш билет...— довольно грубо спросил он.

Девочка довольно смело смерила его с ног до головы, сузила свои большие зеленоватые глаза и проговорила с расстановкой:

— Билет? Мой билет вы можете найти у моего отца, то есть у Антоши. Он там, в третьем классе...

— Да, да, помню... Он уже говорил мне... К сожалению, я не могу позволить вам оставаться здесь... Здесь рубка, а не каюта.

— А если именно здесь мне нравится?

— Для меня это все равно... Пожалуйте в третий класс.

Детские глаза опять сузились, а детский голосок ответил с изумительным нахальством:

— Скажите, пожалуйста, милостивый государь, в какой конюшне вы воспитывались?

Все это произошло так быстро и неожиданно, что помощник капитана совершенно растерялся, покраснел и смотрел на маленькую грубиянку глупо вытаращенными глазами, как смотрит бык на болонку. Присутствовавшая при этой сцене публика поддержала девочку дружным смехом, и помощник капитана вынужден был ретироваться со стыдом. Нашлись люди, которые выпросили у капитана позволение ребенку остаться в рубке, и Сусанна Антоновна торжествовала полную победу. В благодарность за это участие она не давала прохода помощнику и преследовала его самыми ядовитыми шуточками. В течение одного дня девочка превратилась в маленькое чудо, на которое приходили смотреть даже чопорные пассажиры первого класса, скучавшие по своим каютам, как умеют скучать только очень богатые люди.

— Ведь такая маленькая..— повторяли все.

— Мне семь лет... да,— отвечала Сусанна Антоновна.— И в этом нет ничего удивительного, кроме того, что большие люди задают не всегда умные вопросы.

Сусанна Антоновна была очень тоненькая и очень грациозная девочка. Тонкое личико с горбатым носиком красиво выглядывало из живой рамы русых кудряшек. Красиво очерченный детский пухлый рот открывал два ряда мелких белых зубов. Портил это лицо только недетский взгляд зеленоватых глаз и недетская улыбка. Одним словом, это было типичное дитя кулис, вернее — маленькая театральная крыса, пропитанная с пеленок специфическим ароматом.

Театральные дамы относились к юному чуду довольно враждебно, потому что Сусанна Антоновна обладала талантом всем надоедать, везде совала свой нос и видела больше, чем полагается детям ее возраста. Исключение представляла примадонна Гиреева, помещавшаяся

в одной каюте с антрепренером Усовым,— ни для кого не было тайной, что Гиреева удостоилась счастья сделаться его сезонной женой. Это была жирная блондинка с детскими голубыми глазами, короткой шеей, золотистыми волосиками на верхней губе и хриплым голосом. Усов любил примадонн с весом. Гиреева изнывала в своей каюте от жары и скуки, а в таком положении Сусанна Антоновна являлась просто находкой. Лежа полураздетая, она усаживала на себя тоненькую девочку и болтала с ней по целым часам, как попугай.

— Кого ты больше любишь: отца или мать?

— Трудно сказать, а в сущности все равно. Валечка ужасно глупа...

— Какая Валечка?

— Мать. Она ненавидит меня и называет подколодной змеей. Антоша добрее, но у него тоже заяц в голове...

— Заяц? Ха-ха... Милое семейство, нечего сказать. Бедная крошка...

— Вы увидите, как Валечка молодится... Отец ей верит, а она...

— Что она?

Девочка сказала совсем не детское слово, так что Гиреева чуть не задохнулась от смеха. Помилуйте, такой клоп, и уже знает всякие слова... Это было пикантно и щекотало давно притупившиеся нервы зажиревшей примадонны, весь талант которой, как говорила про нее Сусанна Антоновна, был сдан в багаж,— антрепренеры приглашали Гирееву исключительно за богатый гардероб.

— Валечка просто старая обезьяна, как называл ее один резонер,— продолжала девочка, поощренная удушливым хохотом патронессы.

Когда пикантная тема об отце и матери исчерпалась до основания, перешли на остальных членов труппы. Сусанна Антоновна оказалась в курсе дела: она успела всех вызнать и характеризовала каждого с убийственной иронией.

— У нашего первого любовника глаза, как у копченой рыбы, и ходит он так, точно кто его держит за левую ногу. Ужасно занят собой, милашка... Вторая ingenue мне нравится, но, к сожалению, у нее коротки ноги, уши торчат, как у летучей мыши, рот, как у щуки, и вообще вид девицы, которую только что высекли...

— Сусанна Антоновна, довольно... Ха-ха!.. Это ведь ты придумала, что мой талант сдан в багаж? Я не сержусь, крошка... Ха-ха... Нет, ты меня уморишь. Ну, а как, по-твоему, наш благородный отец?

— У него милая привычка смотреть такими глазами, точно он хочет вскочить на вас и поехать верхом. Ухаживает за водевильной штучкой... Я ей посоветовала подарить ему носовой платок, потому что он может высморкаться голой рукой,— у него такой вид.

— Ах ты маленькое чудовище!..

2

В Казани на «Брата Якова» села труппа странствующих акробатов, пробиравшаяся на зимние квартиры куда-то в Астрахань. Тут были и клоуны, и наездники, и два брата-эксцентрика, и канатные плясуны, и ученые собаки, и во главе труппы «чудо природы», или гуттаперчевый мальчик. Весь этот сброд разместился, конечно, в третьем классе, где таким образом перемешались разом две труппы, составив один артистический табор. Тренькали мандолины, неистово орали ученые попугаи, цирковой вантрилог жужжал пчелой, ingenue Валечка мурлыкала бесшабашный опереточный мотив — одним словом, сразу водворилось настоящее цыганское веселье, вставленное в пеструю раму походной обстановки. И все это тонуло на широком волжском просторе, заглушаемое шумом воды и тяжелой работой пароходной машины.

Сусанна Антоновна принимала самое деятельное участие во всем происходившем. Она дразнила попугаев до хрипоты, дергала за хвост большую обезьяну и кончила тем, что чуть не подралась с «чудом природы». Сцепившихся ребят едва растащили.

— Ты что такое: несчастный паяц, а я — артистка! — выкрикивала Сусанна Антоновна, принимая гордый вид оскорбленной театральной королевы.— Тебя клоуны хлыстом бьют...

Обиженный гуттаперчевый мальчик не знал, что ему отвечать этому сорванцу-девчонке, и только смотрел на нее широко раскрытыми темными глазами. Ему было лет десять, но он ничего подобного еще не видал. Смуглое детское лицо было покрыто тенью преждевременного утомления, а глаза смотрели со скрытой внутренней пе-

чалью. Ходил он разбитым шагом, как человек, только что перенесший тяжелую болезнь,— ребенок был весь изломан.

— Ну, что ты смотришь на меня? — приставала Сусанна Антоновна.— Что молчишь, как дурак? Ты просто глуп..

— Я глуп? — задумчиво повторил гуттаперчевый мальчик и вместо ответа прошел по палубе колесом, перевернулся в воздухе, а потом перегнулся так, что смуглая голова показалась меж ног.

— Я глуп? — с торжеством проговорила эта голова.

Сусанна Антоновна была поражена, больше — сконфужена. Она даже покраснела, как виноватая. Ничего подобного она еще не видала до сих пор. Изломанное тело гуттаперчевого мальчика говорило своим собственным ужасным языком.

— Разве тебе не больно? — тихо спросила она, ощупывая удивительное существо, как ощупывала бы какую-нибудь мудреную куклу с секретом.

— Мне? Нет, ничего... Пустяки! — ответил «чудо природы» с молодцеватым видом настоящего артиста.— Сделай-ка ты так...

Сусанна Антоновна задумалась.

— А тебя как зовут? — спросила она уже совсем другим тоном.

— Меня? Меня зовут в разных городах по-разному: в Нижнем я назывался «человек-змея», в Казани — «чудо природы», в Ростове-на-Дону — «гуттаперчевый мальчик», в Варшаве — «каучук»...

— Нет, настоящее твое имя? Ах, какой ты глупый... Ну, меня, например, зовут Сусанной Антоновной.

— Сусанной? Да, да... Меня зовут просто Сашей.

— Ты немец или русский?

— Я?.. Я не знаю...

«Чудо природы» повторял каждый вопрос, точно перелезал через каждое новое слово. Ему трудно было думать.

С этой первой встречи между детьми театральных подмосток установилась странная дружба. Сусанна Антоновна сделалась задумчивой, притихла и старалась избегать большого общества. У нее проявилось даже что-то вроде нежности к отцу. Засыпая, она теперь требовала, чтобы он сидел около нее. Приняв театрально-изящную позу, девочка говорила:

— Антоша, ты любишь меня... Ну, так, немножко?

— Очень, Сусанна Антоновна...

Девочка полузакрывала глаза, свертывалась под своим пледом, как нашаливший котенок, и шептала:

— А тот гуттаперчевый мальчик, он тоже спит, Антоша?

— Наверно...

— У него, наверное, все болит?.. Мне его очень жаль, Антоша...

— И мне тоже жаль. Что поделаешь... Мальчик зарабатывает себе тяжелый хлеб.

— А я желала бы быть девочкой-змеей. Трико все в блестках, публика аплодирует...

— Можно быть очень хорошей змеей и без блесток, Сусанна Антоновна...

— Я говорю с вами серьезно, Антоша, а вы придумываете глупости.

Пауза. Комик Антоша терпеливо сидит на диванчике и ждет, когда девочка заснет. Он так любит именно этот момент, потому что она именно теперь делается милым, кротким ребенком, которого хочется приласкать, приголубить, поцеловать. Недетское выражение этого тонкого личика исчезает, уступая место той серьезности, которая бывает только у умирающих и у детей. В эти моменты Сусанна Антоновна действительно красива, и только один Антоша любуется этой красотой, счастливый тем, что может сидеть вот здесь и оберегать ее.

— А если бы я начала учиться сейчас, в семь лет...— сонным голосом продолжала девочка, открывая отяжелевшие веки,— вышло бы из этого что-нибудь или нет?..

— Поздно, Сусанна Антоновна... Кости уже срослись, а каучуковых мальчиков начинают ломать в колыбели.

«Чудо природы» неудержимо тянул к себе Сусанну Антоновну. Она видела в нем что-то необыкновенное, совсем непохожее на других людей. Это было преклонение перед чудом исковерканности. Девочка завидовала, что сама не может делать того же. Это преклонение выражалось довольно странным способом: девочка преследовала гуттаперчевого мальчика на каждом шагу, изобретая тысячи мелких мучений. «Чудо природы» был доверчив и по-детски глуп. Маленькая мучительница

пользовалась выгодами своего положения и доводила его несколько раз до слез.

— А? Ты глуп? — пародировала она его манеру говорить.— Неужели глуп? Кто же этому поверит?

Гуттаперчевый мальчик пробовал скрываться, но Сусанна Антоновна его сейчас же находила и подвергала какой-нибудь новой пытке. Она знала его вкусы, привязанности и слабости. Например, он любил обезьяну Коко, которая сейчас была больна. Этого было достаточно, чтобы у Коко явился тайный враг, проливавший его воду, дергавший его за хвост, щекотавший в его носу соломинкой, закатывавший в хлеб булавки. Сусанна Антоновна ревновала «чудо природы» даже к неодушевленным предметам и ловко изрезала его парадную курточку.

— Это я сделала, глупенький,— торжественно заявила она, показывая маленькие ножницы.— Тебе жаль курточки? А? Очень жаль?..

«Чудо природы» был избит своим клоуном за испорченную курточку, но он по какому-то детскому героизму не выдал истинного виновника. Сусанна Антоновна издали наблюдала сцену избиения и торжествовала с детской жестокостью. Ее никто и никогда не бил, поэтому она не могла понять в полной мере чужих страданий. Потом «чудо природы» исчез. Сусанна Антоновна едва нашла его спрятавшимся на самой корме, где были сложены снасти. Мальчик сидел и горько плакал. Эти слезы возмутили девочку.

— А! Ты плачешь, так я тебе не то сделаю...

«Чудо природы» неожиданно кинулся на нее, повалил на землю и принялся бить кулаками, не произнося ни слова. Сусанна Антоновна тоже не пикнула и только защищала тонкими ручонками свое личико.

— Пожалуйста, не бей по лицу...

Рассвирепевший мальчик схватил ее за волосы и потащил к борту. Она даже не защищалась, а только смотрела на него своими зеленоватыми глазами.

— Я тебя утоплю...

— Топи...

«Чудо природы» остановился, чтобы перевести дух, а враг лежал у его ног и улыбался.

— Ты думал, что я заплачу? Да, думал?..

Он растерялся. Она быстро поднялась, оправила сбившуюся набок юбочку, больно ударила его прямо

по лицу и скрылась с быстротой обезьяны. Пробравшись в каюту Гиреевой, она преспокойно уселась около нее на постель.

— Что тебя не видно, чертенок?.. Я соскучилась по тебе... Ну, что нового?

Сусанна Антоновна засучила один рукав и молча показала несколько порядочных синяков.

— Ты ушиблась, крошка?

— Нет... Это он меня избил,— с торжеством ответила Сусанна Антоновна, любуясь синяками...— Он глуп, я его изводила целых два дня, ну, он и избил меня. Настоящий мужчина...

— Что-о?.. Ах ты, зверушка...

— Он хотел меня утопить... да. Но я не заплакала, хотя мне было очень больно. Меня еще никто не бил.

Она говорила покорным тоном большой женщины, пострадавшей от зверства мужчины. Даже Гиреева была поражена и с удивлением смотрела на эту маленькую театральную крысу, державшую себя с таким завидным хладнокровием. Примадонна припомнила по пути, как били ее свои театральные мужчины и как она часто по-бабьи верещала, а эта девчонка гордилась своими первыми побоями. О, она далеко пойдет, это маленькое чудовище...

— Послушай, ты...— заговорила Гиреева серьезным тоном, как говорила с большими,— ты влюблена в него?..

— Я его ненавижу... Он плакса, тряпица, вообще дрянь.

Наступила пауза. Гиреева лениво курила папиросу за папиросой, потом потянулась так, что где-то затрещала материя, а потом, зевая, проговорила:

— Послушай, чертенок, ты настоящая дочь своей матери... Валечка ухаживает за клоуном, а ты за «чудом природы». Вы не теряете даром своего маленького времени.

— Валечка? Опять? — тоном большой переспросила Сусанна Антоновна.

— Да, опять.

3

Комик Антоша чувствовал себя скверно. В последнее время это с ним часто случалось. Так, какая-то неопределенная тоска. Ведь всегда было скверно, и, кажется, можно было бы привыкнуть. Так нет, сосет, давит. Се-

годня Антоша сделал два неприятных открытия: во-первых, весь костюм просился в отставку: и пиджак, и штаны, и жилет, и сапоги, и шляпа; во-вторых... Нет, это было что-то невероятное, чудовищное, нелепое. Ingenue Валечка делала глазки здоровеннейшему клоуну. Да, это он видел собственными глазами. О, он знал, как Валечка делает глазки и что из этого происходит. В ее репертуаре всего один номер специально женского кокетства. И это мать семейства, женщина бальзаковского возраста! Ему в свое время она тоже делала глазки, и он попался на удочку. Впрочем, он не роптал, хотя и получил свою ingenue уже не из первых рук. Валечка тогда была еще свежей женщиной вполне, и от прошлого у нее осталась известная выправка, та высшая школа, которую проходит одна театральная женщина. Во-первых, она смотрела на всех мужчин как на отъявленных мерзавцев, и это миросозерцание застраховывало ее от новых ошибок,— ведь каждый новый мерзавец будет только повторением предыдущих; во-вторых, Валечка привыкла к скитальческой жизни и ее нельзя было удивить никакими лишениями. А это много значит. Наконец, Антоша любил ее, привык к ней и видел в ней мать своих детей.

В их скитанье бывали истории вроде сегодняшней. Антоша напивался пьян и устраивал гросс-шкандал. И все сходило с рук. Впрочем, были два сомнительных случая, которые оставались на совести Валечки и о которых Антоша старался не думать. Но сегодняшнее поведение его возмутило,— возмутило главным образом потому, что все происходило на глазах у двух трупп, где было до десятка женщин, от которых ничто не укроется.

Произошла бурная семейная сцена, закончившаяся слезами Валечки и такой тирадой:

— Ты посмотри на себя, несчастный!.. На свой пиджак, на сапоги, на штаны — рвань коричневая, и больше ничего.

Это было сказано на целую палубу. Нужно отдать справедливость театральным мужчинам — они сделали вид, что ничего не слышали, а театральные дамы ехидно хихикали, наслаждаясь чужими дрязгами. Они были на стороне Валечки, сумевшей ответить на тяжкое обвинение в измене такой ловкой фразой. Но все, и мужчины, и дамы, ожидали, что ответит Антоша. Он чувствовал

это, чувствовал, что стоит пред неумолимой аудиторией, а потому хладнокровно набил походную трубочку, еще хладнокровнее закурил ее и, засунув руки в карманы рваного пиджака, шагом спокойно гуляющего человека удалился. Этот ловкий маневр все-таки не спас его, и чуткое театральное ухо Антоши, привыкшее ловить самые скверные реплики, поймало теперь смешанный гул подавленного взрыва общего хохота. Он сделался посмешищем всего табора.

Шагая по носовой палубе, он мысленно повторял ловкий ответ Валечки. Да, рвань коричневая... посмотри на свой пиджак, штаны, сапоги. Сам дьявол не мог быть более несправедливым. Ведь все знали, почему Антоша ходил коричневой рванью,— он все отдавал той же Валечке и детям, и, однако, все теперь смеялись над ним. Это было и жестоко, и несправедливо, и больно. А самое скверное заключалось в том, что Антоша сам вдруг нашел себя смешным. Конечно, Отелло в рыжих сапогах и рваном пиджаке смешон. Валечка по-своему была права, правы и те, кто мог смеяться над ним.

— Конечно, рвань коричневая! — громко повторил Антоша, убеждая самого себя.

Вся эта сцена происходила вечером. Когда Антоша вышел на открытую палубу, солнце уже закатывалось, обливая родную волжскую картину розовым золотом. Как хороши эти августовские вечера на Волге! Небо точно раздается и уходит вглубь, а внизу наливаются смутные вечерние тени, которые ползут из прибрежных ущелий, прячутся в береговых порослях и охватывают все больше атласную гладь могучей реки. На западе еще горело кровавое зарево, а в небо уже промигивались первые звездочки, точно любопытные детские глазки. Воздух наливался чуткой дремотой. Откуда-то потянуло засвежевшим ветерком, а водяная гладь оставалась все такой же спокойной, и в ней так красиво дрожали серебристые искры первых звездочек. Антоша смотрел на чудную картину и еще сильнее чувствовал себя несчастной коричневой рванью, портившей общее впечатление. Да, он являлся на этом фоне чем-то вроде того пятна, какое оставляет муха на зеркальном стекле и которое отражается двойником на амальгаме. И он тоже видел самого себя на амальгаме сегодняшнего приключения.

— Скверно, Антоша...

Мимо пробежал встречный пароход, блестя разноцветными глазами. Где-то далеко-далеко впереди мигали желтые звездочки фонарей, прицепленных на высоких мачтах барок. Раз, две, три... Взбудораженная пароходом водяная гладь долго не могла успокоиться, точно по ней пробегали судорожные конвульсии. Опрокинутое в нее небо тоже корчилось, и серебристые звездочки колебались в воде, как огоньки качавшихся лампад. Вода темнела все больше и точно бежала навстречу «Брату Якову». Высокий правый берег уже только грезился смутными очертаниями, а прибрежная поросль превращалась в сказочных чудовищ.

Антоша нащупал болтающуюся в кармане штанов мелочь и машинально отправился в буфет. Вечером, когда буфет был освещен, туда так и тянуло заглянуть. Целые батареи бутылок, расставленных в самом соблазнительном порядке, на стойке тарелочка с закусками, рюмки, пирамидки папиросных коробок.

— Так вы мне подпустите налимьих молок... да... две луковых головки... да... А стерлядь повар заколет при мне...

Жирный басок говорил тоном специалиста, и буфетчик почтительно кланялся при каждой подробности мудреного кушанья: «Молок-с? Можно-с... Две луковых головки-с. Очень хорошо-с...» Жирный басок принадлежит самому антрепренеру Усову, любившему покушать. Это был еще молодой человек, но с таким дряблым лицом, усталыми глазами и кисло оттянутой нижней губой. Появление Антоши заставило антрепренера поднять брови,— он не любил якшаться со своими артистами и делал исключение только для начинающих актрис, проходивших первую школу в его руках.

— А стерлядь повар заколет при мне...— продолжал антрепренер, теряя на мгновение нить своих гастрономических соображений.

— Точно так-с...

Антоша как-то впился в свежий дорожный костюм антрепренера. Все с иголочки, все от лучшего портного и все сидит как вылитое. Очень хорошо... Кончив переговоры, антрепренер выпил рюмку какой-то мудреной водки и долго тыкал вилкой в какие-то консервы. Стоявший сзади Антоша видел, как двигались антрепренерские челюсти и как вздрагивали при этом антрепренерские уши.

14 Заказ 363

«Жри, скотина...— со злобой подумал он.— Труппа едет впроголодь, а ты не знаешь, чем нажраться. Жри всех без остатка... Ты думаешь, что я у тебя попрошу денег? Думаешь, что я вот сейчас начну заискивающе улыбаться, подойду бочком и протяну ручку? Нет, голубчик, шалишь... Ничего мне не нужно!..»

Не дождавшись, когда антрепренер выйдет, Антоша потребовал себе рюмку водки. Он хлопнул ее с таким ожесточением и закусил той дрянью, которая была намешана в отдельной миске и за которую особой платы не полагалось.

— Еще рюмку...

Затем Антоша поднялся наверх, занял столик за капитанской светелкой и потребовал себе бутылку пива,— в его распоряжении оставалось еще два двугривенных. Напротив него, на решетчатом деревянном диванчике, сидел толстый купец со сложенными на животе руками. Он наблюдал рваного актеришку и корчил презрительную гримасу. Антоша это чувствовал и вызывающе смотрел на купца. Прошли две шустрых пароходных дамы, искавших под покровом ночи сильных ощущений. У Антоши в дни юности было одно приключение с такой пароходной дамой. Вот так же набежала совершенно зря, зря отдалась и зря исчезла на одной из ближайших пристаней. Вообще, в путешествиях, особенно на пароходах, дамами овладевает какая-то особенная склонность к неожиданным комбинациям.

Выпитое на водку пиво заставляло голову Антоши сладко кружиться. Он вдруг почувствовал прилив сил быстро хмелеющего человека и с гордостью посмотрел на пузатого купца.

— Ну ты, брюхо, что воззрился? И смотри... Я и еще бутылочку выпью.

Антоша лукаво улыбнулся и даже подмигнул купцу, который отвернулся. Затем это светлое настроение сменилось темной мыслью о двух турецких фесках, мирно почивавших там, в глубинах третьего класса. Антоше почему-то вдруг сделалось их жаль... Да, несмышленые детишки... И он когда-то был таким же, но только в другой обстановке. Пред глазами Антоши промелькнула картина разоренного дворянского гнезда, строгая фигура старой бабушки, целый выводок кузин... Где все они теперь? А вот это купеческое пузо слопало...

Из своей задумчивости Антоша был выведен неожи-

данно появившейся Сусанной Антоновной,— она выскочила откуда-то точно ящерица.

— Ты здесь, Антоша...

— А ты еще не спишь, коза?

Детские глаза посмотрели на пустую бутылку, а детская рука шмыгнула в карман и вытащила оба двугривенных.

— Как же я-то, Сусанна Антоновна?

— Посиди здесь,— ответила девочка тоном большого человека, разговаривающего с ребенком.— Я сейчас приду...

Она исчезла с такой же быстротой, как и появилась.

4

Антоша положил голову на стол и задремал, сладко и хорошо задремал. Сон равняет счастливых и несчастных, богатых и бедных. В нем есть какая-то справедливость, дающая забыть то, чем отличаются люди, когда они не спят. Антоша видел во сне что-то такое бессвязное, но хорошее и успокаивающее. Ему не хотелось проснуться, когда маленькая ручка потянула его за рукав.

— А? Что?.. Не согласен...— бормотал Антоша, стараясь сохранить свою скорченную позу.

Но ручка тянула его настойчиво. Антоша открыл глаза. Перед ним стояла Сусанна Антоновна и делала какие-то таинственные знаки. Затем она опять взяла его за рукав и повела. Они спустились в третий класс, где пассажиры уже спали вповалку. Приходилось перешагивать через головы, руки и ноги.

— Кого это черт несет...— ворчал в темноте голос.— На язык наступил...

Вот и помещение табора... Тоже все спят. Антоша отыскал глазами свой угол,— красные фесы спали одни, а Валечки не было. Сусанна Антоновна остановилась и к чему-то прислушалась. Антоше показалось, что за ними следит какая-то женская тень,—она отстала у лестницы во второй класс.

Маленькая ручка опять повела Антошу, потом остановила и указала на две фигуры, уютно поместившиеся за ящиками с какой-то кладью. Их было видно, потому что на них падал слабый свет от кормового фонаря. Парочка, видимо, была счастлива. Он сидел к Антоше затылком, но и по этому квадратному затылку легко

было узнать одного из клоунов. Она... да ведь это была Валечка!.. У Антоши заходили перед глазами красные пятна, и он в первое мгновение видел только слабо освещенное лицо Валечки. Она что-то шептала своему кавалеру, потом положила свою голову к нему на плечо, потом... Антоша схватил Сусанну Антоновну за руку и быстро потащил назад. У него что-то сдавило горло, а сердце стучало в голове.

— Несчастная...

— Антоша, мне больно...

— Больно? Несчастная...

Он схватил ее на руки и потащил по лестнице вверх, в рубку второго класса. На площадке, где узенькая лестница делала поворот, он столкнулся с Гиреевой, которая, видимо, смутилась. Антоша остановился, перевел дух и проговорил сдавленным голосом:

— А, понимаю... Это вы подослали несчастную девчонку... Прочь.

— Вы с ума сошли?

Антоша захохотал ей в лицо и, оттолкнув, потащил свою ношу. Уложив девочку, Антоша быстро сбежал вниз. У него был такой решительный вид. Около машины бродил гуттаперчевый мальчик.

— Ты что тут делаешь? Маленькие должны спать... Ты еще маленький и иди спать.

Мальчик отступил от него и скрылся в темноте прохода. «И он тоже видел,— мелькнуло в голове Антоши.— И это дети... Что же это такое?» В ушах Антоши ужасно шумело, точно там работали пароходные колеса. Антоша вдруг забыл, что ему нужно было сделать и что было так ясно за мгновение. Он чувствовал, как что-то отливало у него на душе, и как у него трясутся руки, и как по-прежнему что-то бьется в голове. А главное, нечем дышать... Антоша бросился наверх, на свое старое место, точно хотел найти там что-то такое хорошее, дорогое, единственное, что было у него сейчас и что он потерял. Давешний толстый купец сидел на прежнем месте, и Антоша почувствовал, что ужасно его ненавидит. Позвольте, за что?.. Ах да, он давеча с таким презрением смотрел на него, потому что он, Антоша, такой жалкий актеришка и потому что он, Антоша, должен потешать эту заплывшую жиром утробу. Антоша даже сделал шаг к купцу, чтобы сказать ему, что он ошибается, но его осенила новая мысль: ведь купец

был прав и жестоко прав... Несчастный комедиант, фигляр! Да, да, да — купец прав... А если бы он знал, что делается сейчас с Антошей, какой он убитый человек, какой... Нет, позвольте, разве такие люди имеют право жениться и иметь детей?! А главное, именно последнее. Боже мой, какие это дети... Антоша даже закрыл глаза от ужаса, когда в его голове пронеслась картина только что разыгравшейся позорной сцены. Его убила маленькая детская рука... Что ждет эту несчастную Сусанну Антоновну? Что ждет тех детей, которые беззаботно теперь спят? Самое лучшее, если самого Антоши совсем не будет на свете. Самое лучшее, если бы они совсем не родились на свет божий... Или нет, будет лучше, если самого Антоши совсем не будет на свете. Да, они будут голодать, бедствовать, нищенствовать, пока не умрут с голода или пока не подберет их какая-нибудь благодетельная рука. Антоша уже видел своих детей в приютских платьицах, худеньких и бледненьких, какими бывают приютские дети. Их научат какому-нибудь ремеслу, им будут говорить о боге, о совести, о труде, о том, как нужно жить, и дети его поймут. Детское сердце возрастит эти добрые семена, а из маленьких детей вырастут большие люди, настоящие люди.

Пред Антошей пронеслась вся его жизнь, то есть не жизнь, а то сплошное безобразие, из какого сложилась именно его жизнь. И вот финал... Его жена, мать его детей, бросается на шею первому встречному. О, позор, позор, позор... Нет, так жить нельзя... Что видят дети? Чему они научатся у такой матери и такого отца?.. Антоше показалось, что мелькнула тоненькая фигурка Сусанны Антоновны, и он долго вглядывался в окружавшую его темноту. Нет, это только ему показалось... Ах, Сусанна Антоновна, Сусанна Антоновна! Этот несчастный ребенок еще красив к довершению всех бед, и эта красота окончательно его погубит. Бедная Сусанна Антоновна...

— Нет, что же это такое? — вслух проговорил Антоша, обращаясь к кому-то неизвестному.

Как он страдал, как мучился, как плакал... И думал он не о себе, а о том, что останется после него и в чем он будет еще жить. Ужасные мысли проходили в голове Антоши, и он чувствовал только одно, что все кончено. Будет... довольно... При чем тут Валечка? При чем клоун? Дело совсем не в этом.

— Кто там? — спросил Антоша, вздрагивая.

Ему показалось, что кто-то около него и что этот кто-то упорно прячется от него.

Сусанна Антоновна и не думала спать. Сначала она зашла в каюту Гиреевой и поболтала с ней о случившемся.

— Задаст теперь Антоша Валечке, — говорила она, улыбаясь и болтая ногами. — Приходите завтра полюбоваться на комедию... Настоящий спектакль.

— Он будет ее бить?

— Может быть.

— А я давеча испугалась, когда он нес тебя. У него было такое лицо... И еще больно толкнул меня, невежа. А Валечка так и не видела вас?

— Нет... Для нее завтра будет сюрприз.

Поделившись впечатлениями, Сусанна Антоновна сбежала вниз. Почти все уже спали. Гуттаперчевый мальчик стоял у освещенного отделения, где работала машина. Он вздрогнул, когда Сусанна Антоновна подкралась к нему сзади и положила свою руку ему на плечо.

— Глупый, что ты тут делаешь?

Мальчик молчал.

— Ты глуп?

Он сделал движение, чтобы уйти, но она удержала его.

— Ты очень глуп, бедняжка?

Она хотела сказать ему еще что-то очень обидное, но взглянула на его лицо и остановилась — «чудо природы» плакал.

— Ты что это, гуттаперча?.. Ах, как стыдно, как стыдно...

Он отвернулся и опять сделал движение, чтобы уйти, но она быстро обхватила его шею своими ручонками и прильнула своим личиком к его лицу.

— Ах, какой ты глупенький: ведь я тебя мучаю потому, что люблю тебя...

Она горячо поцеловала его.

В этом поцелуе умер тот ребенок, который еще оставался в Сусанне Антоновне.

Ночью Антоша бросился в Волгу и утонул.

— Да, Антоша плохо кончил, — спокойно говорила Сусанна Антоновна, с чувством собственности глядя на «чудо природы». — Впрочем, этого нужно было ожидать.

1893

Тот самый, который...

1

Это был роковой день, вернее — роковой вечер.

Виктор Васильевич отправился с женой в театр. Собственно говоря, ему очень не хотелось ехать, но настояла Евгения Павловна. В последнее время он ей во всем уступал, кроме тех случаев, когда от ее капризов могло пострадать ее здоровье. Ведь это каприз, в самом деле, просидеть целый вечер в дрянном провинциальном театре, где дует со всех сторон, а провинциальные актеры играют точно с нарочной целью показать, как не нужно играть. Вот они уже сидят в собственной абонированной ложе (тоже каприз Евгении Павловны — иметь абонированную ложу), и Виктор Васильевич время от времени наблюдает жену заботливым мужским взглядом. Ему кажется, что она сегодня слишком легко оделась, что цвет лица у нее хуже обыкновенного, что антракт продолжается слишком долго — одним словом, не следовало ехать сюда, в чем Виктор Васильевич обвиняет только себя. Сама Евгения Павловна в том исключительном положении, когда она вправе не понимать. Ведь это еще в первый раз, и Евгения Павловна сама удивляется своему положению и даже сердится. Она и хочет и не хочет быть матерью. Настроение быстро меняется, что опять-таки понятно. Зато у Виктора Васильевича такое хорошее выражение лица, и он смотрит на жену такими заботливыми берегущими глазами. Только хорошие по натуре мужчины переживают эту полноту чувств, которые все сильнее и сильнее охватывали его. Да, теперь пойдет все другое, новое, и нужно к нему приготовиться вперед.

— Женя, твоим ногам не холодно?

Она даже не удостаивает его ответом и делает вид, что не слышит. Впрочем, он привык к подобным выходкам: ведь она вся один каприз, вспышка, движение. Это

ему и нравится в ней, потому что она не походит на других женщин. Вот и теперь он любуется на ее тонкий породистый затылок с двумя дорожками из маленьких золотистых волосиков, на гордый поворот головы, на часть тонкого капризного профиля. Красавицей Евгения Павловна никогда не была, но это не мешало ей в ее двадцать два года быть очень интересной и даже пикантной женщиной — эти по-девичьи угловатые движения, этот низкий грудной голос с нервными перебоями, эти дерзкие серые глаза, эта тонкая изящная фигура с высокой грудью. А главное, уверенный тон каждого движения, каждого взгляда, каждого звука... Именно такой Евгения Павловна понравилась Виктору Васильевичу, когда он встретил ее девушкой, а теперь он даже не мог сказать, хороша она или дурна — он просто любил ее, а теперь любил в особенности, как будущий счастливый отец.

— Женя, я принесу тебе теплый платок...

— Отстаньте, пожалуйста...

— Я буду жаловаться доктору.

Она только сделала нетерпеливое движение плечом. В партер, раскланиваясь направо и налево, проходил их домашний доктор Эрнест Карлович, высокий и плотный господин с темными немигавшими глазами и выхоленной окладистой бородой. Виктора Васильича, как кровного барина, коробила манера доктора одеваться с какой-то изысканностью первого тенора и особенно его дурная привычка носить блестящие погремушки. Впрочем, дамский доктор усвоил себе и дамские слабости. Ему все прощалось, как прощал сейчас Виктор Васильич. Он теперь каждый день советовался с ним и просто одолевал самыми невозможными вопросами.

— Вы, кажется, думаете, мой дорогой друг, что никогда еще женщины не рожали и что вы будете первым отцом, как стоит мир? — успокаивал его доктор, привычным жестом разглаживая бороду.— Скоро привыкнете, батенька... Это только ваш первый дебют в роли благородного отца. Статистика доказала, что на земном шаре на каждую минуту приходится около шестидесяти рождений — у вас слишком большая конкуренция. Одним словом, успокойтесь, в свое время все будет, а мы не будем предупреждать событий.

Доктор вообще любил поговорить и слыл за остроумного человека, особенно среди своих пациенток.

В партер проходили и другие знакомые, с которыми Виктор Васильич раскланивался. Все свой народ, как это бывает только в провинциях, где все и всех знают поневоле. Вон седой старик, председатель казенной палаты, вот чиновник особых поручений Тонкошеев, товарищ прокурора Лукашевич, воинский начальник Бобров, инспектор мужской гимназии Подестов — все свои, знакомые по клубу, званым обедам, службе, винту, именинам. Виктора Васильича охватывало невольное чувство этой домашности, и ему даже казалось, что все сочувствуют его положению и тоже ждут появления его первого ребенка. Будут поздравлять, подшучивать, догадываться, что ребенок походит на отца или мать, точно он может походить на кого-нибудь другого. Одним словом, милая провинция... Занятый этими мыслями, Виктор Васильевич совершенно не видал первого действия: что-то такое говорили, входили и выходили, какая-то актриса даже расплакалась — удивительно хорошо умеют эти актрисы именно плакать. В антракте доктор сам зашел в ложу Виктора Васильича и с особенной внимательностью посмотрел его жене в лицо, долго не выпуская ее руки.

— Вы мне сегодня нравитесь, Евгения Павловна,— авторитетно заметил он, здороваясь с мужем.

— Нам не следовало сегодня ехать в театр...— пожаловался Виктор Васильич.— Дует, мы можем простудиться... Не правда ли, доктор?

— Нет, я этого не нахожу... Нарушать привычки вообще не следует.

Евгения Павловна молчала. Мы, вообще, немного стесняемся и так мило стесняемся... Виктору Васильичу вдруг захотелось обнять жену и приласкать, при всех приласкать, чтобы все видели, как «мы счастливы». Там плохонький окрестр что-то такое пиликает, на сцене стучат молотки, а мы все-таки счастливы. Сказав еще что-то и галантно раскланявшись, доктор вышел. Ему нужно обойти еще целый десяток лож, набитых его пациентками. Что поделаете, такая уж обязанность модного дамского доктора, немножко баловня и шалуна, а в общем милого малого.

Вообще, Виктор Васильич был в самом отличном настроении. Когда поднимали занавес для второго действия, в соседней ложе, к которой он сидел спиной, раздался сдержанный шепот:

— Это тот самый, который... Вот она сидит у барьера... блондинка с высокой грудью... модный дамский врач... будет очень интересный папаша... Вообще, счастливая парочка...

Виктор Васильич почувствовал, как он вдруг начал холодеть, а сцена и актрисы запрыгали у него перед глазами. Партер слился в одну мутную полосу, из которой выделялась одна только голова Эрнеста Карлыча да его квадратный красный затылок с врезавшимся в него туго накрахмаленным воротником. Большая-большая голова, которая заслоняет все. Виктор Васильич сидел и боялся пошевелиться, как человек, получивший смертельную рану,— от каждого движения могла хлынуть кровь. У него завертелось в голове, и он чувствовал только одно, что это говорят именно про него, чувствовал как-то всем телом. Ему сделалось до того страшно, что он даже не обернулся, чтобы посмотреть на соседей по ложе. К чему?.. Странно, что Евгения Павловна точно чувствовала его настроение и обернулась. Он опустил глаза. Что делалось дальше?.. Действие как-то необыкновенно быстро кончилось. Кому-то аплодировали, и каждый аплодисмент отдавался в сердце Виктора Васильича резкой болью, точно били его, Виктора Васильича. Потом в следующем действии все хохотали, положительно все, и Виктору Васильичу казалось, что все хохочут над ним, и он боялся взглянуть в партер. Нужно было собрать все мужество, чтобы «досидеть пьесу» до конца и не выдать себя ни одним движением. В последний антракт приходили к ним в ложу, кто-то и что-то говорил, а Виктор Васильич кому-то и что-то отвечал. Ах, скорее, скорее домой... домой — какое нелепое слово! Разве у него есть свой дом, у того самого, который?.. Евгения Павловна что-то капризничала, когда он подавал ей зимнюю ротонду на тибетском белом меху. Он только теперь взглянул на ложу, где говорили про него — там сидели какие-то неизвестные ему мужчины и дамы и над чем-то смеялись. Да, им весело, что он тот самый, который...

Эту фразу Виктор Васильич привез домой, как могильную плиту на кладбище,— она закрывала все его недолгое счастье, закрывала все будущее. С странным чувством он входил в этот свой дом, родовое гнездо, где жили еще тени дедушек и бабушек. Ведь он так любил этот дом, а теперь входил в него чужим человеком. Нет,

хуже... Навстречу выскочила горничная Дуняша, шелестя неистово накрахмаленными юбками. Виктору Васильичу показалось, что у Дуняши такое неприятное и нахальное лицо.

— Чай готов-с в столовой...— проговорила она, снимая с барыни меховые калоши.

— Мне что-то нездоровится...— глухо проговорил Виктор Васильич, бросая шапку на столик с зеркалом.

Евгения Павловна медленно подняла на него свои серые глаза и устало заметила:

— Вы вечно с своими капризами... Это, наконец, скучно!..

В его кабинете горела лампа под зеленым абажуром. Обстановка кабинета говорила о привычках богатого человека, не любившего отказывать себе ни в чем. Виктор Васильич обвел глазами эту обстановку и почувствовал, что все это ему не нужно и что он здесь более чужой, чем где-нибудь в другом месте. Да, решительно ничего не нужно — и вот эти тисненные под кожу дорогие обои, и массивная мебель из черного дуба, и письменный стол с какими-то дурацкими вычурами, и дурацкие безделушки на столе, и этажерка с книгами, и ковер на стене, и медвежья шкура на полу. Ничего не нужно... А между тем еще так недавно он любил эту комнату, в которой работал, устраивал ее, обдумывал каждую мелочь и находил, что все так именно и нужно. Между прочим, он случайно увидел свое лицо в маленьком английском зеркальце, стоявшем на отдельном столике, и почувствовал, что и сам он никому не нужен. А лицо было и красиво, и молодо, с легкой тенью усталости в выражении глаз, что дамы находили в особенности интересным. Сейчас это было чужое лицо... Рот как-то опустился, веки глаз точно подкрашены, глаза смотрят глупо, как у теленка, которого в первый раз привязали веревкой к столбу. Да, он ушел отсюда хозяином, а вернулся чужим человеком, жалким и смешным.

Виктор Васильич упал на диван, закрыв лицо руками. Все было потеряно, разбито, уничтожено... Давно ли он выходил вот из этого кабинета такой счастливый, а теперь... Ничего, ничего не осталось.

— Барин, а барин!.. Барыня ждут чай кушать...

Перед ним стояла старая нянька Фекла, низенькая, сморщенная старушка со слезившимися глазами. Он по-

смотрел на нее долго и пытливо, не понимая, в чем дело.

— В столовой самовар, барин...

— Самовар? Ах, няня, няня...

Он опять упал на диван и зарыдал как ребенок. Няня напомнила ему его детство, его недолгое счастье, и настоящее показалось ему еще отвратительнее. По ее лицу он видел, что она тоже все знает, может быть, знает гораздо раньше его и теперь жалеет его хорошей женской жалостью — это было написано на старом сморщенном лице, в выражении глаз, в складе рта. Вдобавок старушка делала отчаянное усилие показать, что ничего не понимает,— мало ли господа промежду себя спорятся. Дело молодое, сердце-то тут и есть... В другое время Виктор Васильич тоже не заметил бы ничего, а теперь все чувства получили какую-то болезненную остроту. Он припомнил, что няня уже давно смотрела на него какими-то скорбными глазами,— ведь она одна в целом доме не обманывала его. Та же Дуняша, наверно, была правой рукой барыни...

— Ах, няня, няня...

У старушки лицо как-то передернулось, и она проговорила таким тоном, каким говорила, когда он был ребенком:

— Ах, касатик ты мой... Ждет ведь она!

— И пусть ждет... Я не могу... я... Что же это такое? За что?

Потом Виктор Васильич опомнился. Зачем он выдает себя прямо головой? Все-таки Фекла прислуга... В нем проснулась своя барская гордость. Да и никто не может ему помочь все равно.

— Няня, идите спать,— уже сухо проговорил он.— Мне что-то нездоровится... так скажите и жене.

У няни опять появилось непонимающее выражение лица. Она молча вышла. Виктору Васильичу вдруг сделалось страшно, страшно за свое одиночество, когда собственные мысли получили такую яркость, что он мог почти их видеть. И никуда не уйдешь от них, от этих мыслей... Ими пропитан самый воздух, они будут его давить, впиваться в мозг. Он сорвал галстук — дышать было нечем. Что же теперь делать? Да, нужно спать... Он встал и прошел в столовую. Там горела лампа и никого не было. Чашка Евгении Павловны стояла нетронутою,— значит, она не стала одна пить чай — рассердилась.

Дверь в спальню была закрыта изнутри. Виктор Васильич осторожно постучал — ответа не последовало. Это был первый признак объявленной войны. Теперь Евгения Павловна рассердится дня на три. Это уже по обычаю: у нее такой тяжелый характер. Сейчас Виктор Васильич был даже рад, что рассердил жену. Э, все равно, пусть сердится. Он со злобой посмотрел на дверь спальни и проговорил:

— Гадина, гадина... о, гадина!..

Вернувшись в кабинет, он бросился опять на диван и пролежал, не раздеваясь, до самого утра с закрытыми глазами. Может быть, даже он спал, а может быть, и нет... Что-то бессмысленно-громадное мешало ему думать, мешало сосредоточиться, и он все принимался что-то такое вспоминать, такое хорошее, близкое, теплое, облегчающее...

2

Наступили странные дни. Виктор Васильич даже не отдавал себе отчета в том, что с ним происходило. И в несчастье можно плыть по течению... И он плыл. Прежде всего он решил вопрос, что жена не должна была ничего подозревать, потому что ее застраховывало ее положение. Здесь была своя логика, логика без слов и, может быть, поэтому не требовавшая доказательств. Каким-то странным образом это последнее укладывалось в душе Виктора Васильича с органической ненавистью к жене. Да, он ее ненавидел, больше — презирал. Ненависть предполагает какой-то отпор, сопротивление, протест, а презрение сосредоточивается только в самом себе, минуя все остальное.

Всего больше возмущало Виктора Васильича то, что жена была совершенно спокойна. Да, она была поглощена своим грядущим материнством и из-за него не желала видеть решительно ничего. Хотя бы тень сомнения или раскаянья. Ведь есть же совесть даже в потерянном человеке? Безусловно дурных и порочных людей нет, как нет безусловно хороших — у всякого есть своя маленькая поправка, то, что в астрономии известно под именем личного уравнения. Виктор Васильич внимательно наблюдал жену, изучал каждый ее шаг и должен был в конце концов сознаться, что не знал ее. Да, не знал, хотя был ее мужем в течение целых четырех лет. У нее

был свой тайничок, свой особый мир, и он только теперь понял, насколько они чужие люди. Нет, не чужие, а не понимавшие друг друга. И он этого не замечал, как иногда больной не замечает смертельной болезни, которую вынашивает в себе несколько лет. Как это могло случиться? Когда? Что думает сама Евгения Павловна? Может быть, наконец, все это неправда, клевета, сплетни...

— Конечно, неправда! — повторял Виктор Васильич самому себе тысячи раз, хватаясь за голову.— Да, неправда, неправда...

А если спросить жену прямо? Нет, из этого ничего не выйдет. Если она права, то зачем напрасно ее тревожить в таком положении, если правда — тем более... После откровенного объяснения в последнем случае Евгении Павловне остается только уйти из дому, а это связано с оглаской, пересудами и еще большей сплетней. А главное, куда она пойдет, куда понесет свой позор?.. Наконец, ребенок — он ни в чем не виноват. Как это ужасно — человек не успел еще появиться на свет, а над его головой уже собирается гроза. Его рождение будет встречено двусмысленными улыбками, обидными шуточками, всей строгостью общественного мнения... Положение несчастного ребенка будет невыносимо, если еще он раньше всех бросит в него первый камень. Нет, так нельзя. Это было бы величайшей несправедливостью именно по отношению к нему. Виктор Васильич, обсуждая все мелочи, каждый раз ставил себя в положение этого ребенка, припоминал собственное детство, и его сердце сжималось от такой хорошей жалости. Да, он сделает все, что может и что должен сделать в его положении порядочный человек. Чужая подлость еще не заставляет нас отвечать такой же подлостью или придумывать еще худшую. Оскорбленный зверь кусается и рвет на части обидчика, а человек должен же чем-нибудь отличаться от такого зверя.

Основной вопрос о виновности жены для Виктора Васильича совершенно выяснился в течение каких-нибудь двух недель. Не нужно было даже личных объяснений с ней. Для Виктора Васильича выступил совершенно ясно такой ряд доказательств, пред которыми замолкла последняя тень сомнения. И каждый новый день приносил все новые доказательства. Прежде всего Виктор Васильич открыл, что все его обманывают, начиная с горничной Дуняши и кончая хорошими знакомыми,

жалевшими его. С одной стороны обман шел прямой, нахальный, активный, а с другой — пассивный. Но и там и здесь в конце концов получался все-таки обман, обидный, нехороший обман. У Виктора Васильича выработалась целая система, как добираться до истины. Все чувства получили особенную остроту, а ум изворотливость инквизитора. Первый опыт он произвел над Дуняшей. Эта особа оказалась сплошной ложью. Виктор Васильич во всех тонкостях изучил ее лицо, выражение глаз, тон голоса, походку, манеру держать себя в разных случаях и достиг того, что сейчас же знал, когда она лгала языком, глазами, лицом, всем телом. Многое, конечно, делалось бессознательно, по привычке, но Виктор Васильевич чувствовал все мельчайшие оттенки лжи. Например, с барыней Дуняша держалась в его присутствии с деланной вежливостью, а без него часто грубила, и Евгения Павловна должна была переносить многое, потому что, вероятно, боялась этой горничной, посвященной в некоторые подробности. У старой няни Феклы являлось какое-то испуганное выражение, когда она замечала, что он следит за Дуняшей такими недобрыми глазами. Да, все лгали, каждый по-своему, и он ничего не замечал раньше, уверенный в своем счастье. Конечно, домашнее зло было велико и страшно, но до известной степени оно вынуждалось обстоятельствами: горничная Дуняша зависела от барыни, старая нянька жалела барина и т. д. Гораздо возмутительнее держали себя «хорошие знакомые», особенно дамы. О, как хорошо Виктор Васильич теперь изучил их всех! Ведь *это* были совсем не те люди, которых он знал раньше. Как он ошибался, и как они ошибаются сейчас. Для него эти знакомые составляли то живое зеркало, в котором он видел свой позор, свое несчастье, самого себя. Больше всего Виктора Васильича поразила бессознательная жестокость. Он чувствовал ее, когда встречался с кем-нибудь. На нем останавливали такие испытующие взгляды, в его лице искали скрытое страдание, томились от невозможности сообщить ему всю правду — не потому, что жалели его, а потому, чтобы первому насладиться чужими страданиями. Да, все это было. Обманутую женщину жалеют, а обманутый мужчина смешон в глазах вот этой публики. Откуда это последнее отношение к чужому несчастью? Например, он лично, кому он сделал какое-нибудь зло и за что такая кара?..

На этом фоне выступало для Виктора Васильевича его домашнее горе, то горе, от которого даже нельзя уйти.

Настроение жены Виктор Васильич долго не мог разгадать. Сначала он думал, что она слишком поглощена своим грядущим материнством, как это бывает с молодыми женщинами. Но это было совсем не так. Она только примирилась со своим положением — не больше. Ее мысли были не тут. Когда она задумывалась, Виктор Васильич чувствовал, где ее мысли и где бьется ее сердце. Раньше он не знал жены и только теперь изучил ее во всех подробностях. Доктор показывался редко, большей частью в то время, когда Виктора Васильича не было дома. Он постепенно отступал на задний план, и Евгения Павловна видела это. Ее женская гордость получила страшный удар. Она только теперь поняла, что доктор никогда ее не любил и что она в его репертуаре являлась только пикантной подробностью. Когда он входил в комнату, она уже чувствовала, что он больше не принадлежит ей и что, может быть, ее место уже занято более счастливой соперницей. Ревность покинутой любовницы — нет, до этого Евгения Павловна еще не дошла. Она собрала последние силы, чтобы не выдать себя именно доктору, и относилась к нему как к хорошему знакомому. Одним словом, шла двойная игра — одна роль с мужем, другая с любовником. В результате получился обманутый обман... Злейший враг не мог бы придумать более тяжелого наказания. Виктор Васильич, начинавший смотреть на самого себя со стороны, иногда смотрел на жену с сожалением. Она вся точно съеживалась, а потом сама смотрела на него в упор таким вызывающим взглядом, полным какой-то затаенной ненависти. Так смотрят только люди, которым нечего терять. Это было немое отчаянье.

— Ах, скорее бы родился ребенок,— с гнетущей тоской думал Виктор Васильич, изнемогая под бременем своих мыслей.— Да, скорее... Тогда все разрешилось бы само собой. Можно будет все объяснить...

А если бы ребенок родился мертвым? Ведь все может быть... Тогда было бы еще лучше. Виктор Васильич сейчас же ловил себя на этой малодушной мысли, и ему делалось стыдно. В конце концов, он все-таки думал только о самом себе, тогда как на сцене должно было появиться новое действующее лицо.

Решительный момент наступил раньше назначенного срока. Маленький гость явился прежде, чем его ждали. Старый барский дом был весь в этом новом существе. Совершалось что-то такое великое и торжественное, пред чем должны были отступить на задний план все остальные интересы и даже вся злоба пережитых тяжелых дней. Виктору Васильичу казалось, что в его родовое гнездо является кто-то, чтобы произвести суд. Да, именно суд, когда выплывут на свет божий вся правда-неправда. Самая обстановка говорила об этом: акушерка в каком-то белом балахоне, большая тишина во всем доме, серьезно-выжидающие лица, осторожные шаги. Принимал ребенка старичок доктор, а Эрнест Карлыч только стоял ассистентом — это было желание больной. Виктор Васильевич заперся у себя в кабинете, чтобы не встречаться с ним. Да, он сидел там, в гостиной, и тоже ждал. Что он думал?

Какая была ужасная ночь... Виктор Васильич не сомкнул глаз, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Он вздрагивал, когда доносились стоны больной. Раз она пожелала его видеть. Он вошел в спальню и остановился. Его поразило это страшно исхудавшее в течение нескольких часов лицо, эти запекшиеся губы, этот умоляющий взгляд. Да, она хотела что-то сказать, но закрыла глаза и сделала знак рукой, чтобы он вышел: она не хотела его участия.

— Ничего, ничего... Все идет хорошо,— шептала акушерка, выпроваживая Виктора Васильича из спальни.— Отдохнули бы пока, а то только напрасно волнуетесь.

— Отдохнули бы? — переспросил Виктор Васильич и улыбнулся искривленной неестественной улыбкой...— Ах, да... это вы обо мне...

Положение мужа в таких случаях вообще неестественно глупо, а положение Виктора Васильича было невыносимо. Он должен был разыгрывать роль встревоженного супруга, готовившегося сделаться счастливым отцом. Нет, как хотите, а это, наконец, невозможно... Всему есть границы. Величайший акт, переживаемый человеком, являлся в этом доме злой иронией.

— Ах, скорее бы...

Под утро Виктор Васильич задремал в своем кабинете. Его разбудили осторожные шаги старой няни, которая осторожно несла что-то такое в небольшой плетеной корзиночке. Виктор Васильич вскочил.

— Господь радость послал, барин...— просто и серьезно проговорила старушка, открывая белое пикейное одеяльце.

В корзиночке что-то корчилось, такое маленькое, беззащитное, жалкое. Виктора Васильича неудержимо потянуло взглянуть на это «что-то», что стоило ему таких ужасных мук и что унесло его счастье навсегда. Прежде всего он увидел крошечную, совершенно красную ручку, а потом сморщенное красное личико.

— Мальчик...— уже шепотом объяснила няня.— И здоровенький такой...

— Неужели мальчик? — удивился Виктор Васильич, не зная, что ему делать.

— Что же вы, барин, не поцелуете его...— обиделась няня.

Виктор Васильич сконфузился и даже покраснел. Быстро нагнувшись, он поцеловал крошечную детскую ручку. Няня как-то особенно смотрела на ребенка, с тем тихим восторгом, как умеют смотреть на детей хорошие любящие старушки. Этот зародыш будущего человека точно снял с ее души всю тяжесть, все сомнения, все заботы,— родился человек, и теперь нужно заботиться о нем, и только о нем.

Первое свидание с матерью вышло совсем не таким, каким старался его представить себе Виктор Васильич. Она посмотрела на него совершенно безучастно, а потом словно удивилась, что он существует на белом свете.

— Женя, ты очень страдала? — тихо спросил он, наклоняясь к кровати.

— Я?.. Да...

Акушерка сделала Виктору Васильичу глазами знак, что нельзя беспокоить больную. Только выходя из спальни, он сообразил, что ничего не сказал о ребенке и больная тоже,— он для них явился каким-то знаком вопроса.

«Как я глупо себя держу!» — подумал Виктор Васильич.

Да, все было кончено. Старый дом по-прежнему был тих, но это было спокойствие отдыхавшего человека. Виктор Васильич разделся и лег спать. В кабинете было темно. Он уже начал засыпать, как припомнил, что не рассмотрел лица ребенка... Да... а ведь у него есть лицо, есть известное выражение этого лица, есть определенные черты. Что-то мучительно заныло в душе Виктора

Васильича,— явилось ощущение какого-то холода, которое он испытывал в детстве, когда доска качелей взметывала вверх. Что он делает теперь, этот маленький человек? Виктор Васильевич поднялся, накинул халат и осторожно прокрался в детскую, устроенную еще до катастрофы,— с момента своего открытия он не заглянул сюда ни разу. Он крался теперь через залу и маленькую гостиную, как хороший вор. Детская выходила окнами в сад. На столике горела маленькая ночная лампа. Ребенок лежал в своей нарядной колыбельке, стоявшей посредине комнаты. Няня дремала, сидя в кресле. Он подкрался совсем тихо и заглянул в колыбельку. Ребенок спал. Красное личико с закрытыми глазками было покойно. Виктор Васильич долго рассматривал его, задерживая дыхание. Да ведь это личико могло походить на того, другого, если не сейчас, то потом, когда время сделает свое дело. И он, Виктор Васильич, может его возненавидеть... Ребенок точно почувствовал кружившиеся над его головкой сомнения и сделал тревожное движение. Личико исказилось, из пеленок опять выпросталась эта крошка ручонка, точно она что-то искала. Няня встрепенулась от своей дремоты и только теперь увидела барина. Это ее точно испугало, и она загородила ребенка собой, как делает птица, когда почует опасность.

— Я так... ничего...— оправдывался Виктор Васильич.— Мне показалось, что он крикнул, а вы, няня, спите.

— Идите-ка спать, барин...— шепотом ответила старуха.

Она проводила его тревожным взглядом до дверей и только покачала головой.

3

Ребенок в доме, первый ребенок... Весь склад жизни старого барского гнезда приурочился теперь к этой маленькой жизни. Она постепенно наполнила все. Официально ребенку принадлежала одна детская, но он пробрался и в столовую, и в гостиную, и даже в кабинет. Одним словом, властно занял целый дом. Виктор Васильевич не узнавал старой няни, услужливой и доброй женщины, которая сделалась требовательной, ворчливой, обидчивой и вообще надоедливой. Явилось

новое лицо в доме — кормилица. За ней ухаживали, ее кормили на убой, ее старались не раздражать. Каждый день няня являлась к Виктору Васильевичу по нескольку раз с разными новыми требованиями: это нужно для ребенка, это для кормилицы и т. д. У маленького человека оказались очень большие потребности.

— Ведь нужно...— каким-то вызывающим тоном повторяла няня, обращаясь к барину.— Ведь он маленький, сказать не умеет.

— Пожалуйста, няня, делайте что нужно.

Одного согласия вообще старухе было мало; и она требовала разрешения по каждому отдельному случаю, хотя Виктор Васильевич мог только соглашаться, потому что ничего не понимал в сложном деле ухода за ребенком в первый год его существования. Евгения Павловна не выходила из своей спальни целых две недели, потому что чувствовала себя очень слабой. Виктор Васильич надеялся, что когда она поправится, все заботы перейдут к ней, но вышло иначе. Она не любила ребенка и относилась к нему как-то официально: приносили его к ней утром, потом в полдень и вечером. В детскую она почти не заглядывала. Для Виктора Васильича сначала это было совершенно непонятно, и только потом он нашел объяснение: в ребенке Евгения Павловна видела обманувшего ее отца.

Что было делать? У Виктора Васильича сжималось сердце при виде этого забытого ребенка, и он еще больше возненавидел жену. Раньше в нем проснулась жалость к ней, а теперь этому чувству не было места. О, это была женщина без всякого сердца, черствая и безжалостная. С ней всякие церемонии были излишни. Старая няня думала то же и сердито игнорировала ее.

— Мне кажутся странными твои отношения к ребенку,— заявил раз выведенный из себя Виктор Васильич.— Ты к нему относишься, как чиновник. Я этого не ожидал...

— Мало ли чего вы не ожидали,— сухо ответила Евгения Павловна.— Я делаю то, что умею... Все эти материнские нежности в большинстве случаев одно притворство, я этого не желаю.

— Ты его не любишь...

— Не знаю...

По выражению лица жены Виктор Васильич видел, что она уже догадывается, что он все знает, и пригото-

вилась дать ему резкий отпор. Она ждала только первого слова. Но что же она могла сказать в свое оправдание? Ей ничего не оставалось, как только уйти из этого дома. Видимо, она уже приготовилась ко всему и поэтому не обращала никакого внимания на все, что делалось кругом нее. Какое ей дело до этого дома и до того, что в нем происходит? И на себя она тоже не обращала внимания. Знакомых никого не принимала, сама не выходила из дому и вообще отказалась от всего. Виктор Васильич несколько раз думал приступить к роковому объяснению и каждый раз откладывал. Времени впереди еще достаточно... Он смутно все чего-то ждал, хотя ждать было решительно нечего. После объяснения уже ничего не оставалось...

В самом Викторе Васильиче происходило что-то совсем неожиданное, чего он не мог понять и объяснить. Он раньше никак не мог даже представить себе, что можно любить такого маленького ребенка, который еще ничего не понимает и живет исключительно растительной жизнью. Ведь это не человек, а какая-то котлетка... А между тем как это было глупо! Именно эти первые дни и недели и представляют глубокий интерес: на глазах совершалась великая тайна, и эта тайна росла, развивалась и крепла. Вот в этих детских синих глазках точно проснулся первый блуждающий огонек сознания, эта маленькая ручка уже приспособляла свои движения, в маленьком детском организме происходила громадная работа, которая закончится только с пробуждением нравственного мира. Недаром поэт сказал, что с каждым человеком рождается и умирает вселенная. Наблюдая за ребенком, Виктор Васильич чувствовал, как он привязывается к нему все больше, точно прирастает, и это новое чувство даже пугало его. Только иногда он незаметно для самого себя начинал в нем искать чего-то чужого, даже враждебного. Случалось как-то так, что старая няня ловила этот взгляд и старалась защитить ребенка.

— Что вы на него так смотрите, барин! — ворчала старуха.

— Как смотрю?

— А так... нехорошо. Дитя все понимает, только вот сказать не умеет. Нечего на него смотреть-то, божье дело... Мать-то вон и не замечает младенчика. Тоже нехорошо... Вы бы хоть пристыдили ее, барин.

— Послушайте, няня, вы себе начинаете позволять слишком много... Мне это не нравится.

— Ну, уж это как вам будет угодно. Стара я стала, барин...

Раз у Виктора Васильича произошла со старухой довольно бурная сцена. Он вышел из себя и наговорил ей дерзостей. Потом ему сделалось совестно. В старой няне проснулась женщина, и ее старая кровь согревалась у колыбели этого покинутого ребенка. Старуха отдалась ему всей душой и возненавидела бесчувственную барыню. Что же это за порядки такие?.. Ежели и ошибка какая женская вышла, так грех износится: промежду мужем и женой бог судья. А младенчика жаль. Ангельская душенька. У старой няни много было таких простых и душевных слов, которые все ей объясняли. Она теперь даже желала, чтобы барин построжил барыню. Нельзя же так. Одна слава чего стоит. Относительно ребенка она не сомневалась ни на минуту: чьему же ему быть, как не отцовскому? Тоже, придумают... Вон как отец-то воззрится на младенчика, а разве это хорошо?

Между старой няней и Виктором Васильичем завязалась скрытая борьба, исходной точкой которой являлся ребенок. Открыто старуха ничего не высказывала, но это только усложняло положение. Виктор Васильич теперь мог понимать между строк и чувствовал то, что не хотели досказывать. Впрочем, его внимание исключительно поглощалось ребенком, которому он отдавал все свое свободное время. Он запустил свою службу и все остальные дела и только был занят ребенком. Чей ребенок — для него оставалось все-таки вопросом. Иногда ему казалось, что это его, а иногда он с ужасом находил в нем чужие черты. Неужели нельзя любить чужого ребенка? Да разве он чужой? Ничего не известно, и даже не могло бы этого сказать утвердительно самое время. Мало ли бывает случайных сходств наконец, того, что называется «игрой природы». В чем выражается это эгоистическое желание мужчины видеть непременно себя в ребенке? Мой — это еще ничего не говорит, кроме органического тщеславия. Можно и даже нужно стать выше подобных зоологических соображений и полюбить просто ребенка в ребенке, то будущее, которое он несет в себе. Да, любовь творит чудеса, хотя и не всегда справедливо.

Эрнест Карлыч показывался очень редко и очень ненадолго. Евгения Павловна встречала его со скучающим видом и не подавала ни малейшего повода заподозрить ее или его в чем-нибудь. Просто хорошие знакомые, и только. Виктор Васильич как-то чувствовал, когда доктор бывал у них, и старался с ним не встречаться. Он удивлялся, что этот человек имел нахальство являться к нему в дом. Какое у него самодовольно-нахальное лицо, какие манеры, самый голос — нет, удивительно, как это он раньше ничего не замечал. Раз Виктор Васильич встретился с доктором в передней.

— Что это вас не видно? — спрашивал доктор с напускной развязностью.

Виктор Васильич что-то хотел сказать, но так и остался с полуоткрытым ртом. Ему сделалось так противно и гадко. Единственной свидетельницей этой немой сцены была горничная Дуняша, подававшая доктору его дорогое меховое пальто. С глазу на глаз доктор никогда не пропускал ее без того, чтобы не ущипнуть за щеку, и Дуняша делала притворно-сердитое лицо.

— И в клубе не бываете...— продолжал доктор, надевая перчатки.— Что это случилось с вами?..

— Что случилось со мной?

У Виктора Васильича задрожали колени, и точно кто схватил его за горло. Он сделал шаг к доктору, еще одно мгновенье, и могла бы разыграться дикая сцена, но в этот критический момент на выручку доктору явилась Евгения Павловна. Она слышала из гостиной голос мужа и поторопилась предупредить неприятность.

— Доктор настолько любезен, что не забыл нас,— проговорила она с напускной вежливостью.— Это тем более дорого, что доктору решительно нет времени даже пообедать...

— Обязанности прежде всего...— бормотал доктор.— Au revoir, madame! [1]

Этот маневр Евгении Павловны спас доктора, но зато Виктор Васильич почувствовал, что именно теперь наступает роковой момент объяснения. То, чего он боялся, больше не существовало. Сейчас или никогда. Она чувствовала то же самое и намеренно замедляла шаги, возвращаясь из передней.

---

[1] До свидания, мадам (*фр.*).

— Мне кажется немного странным ваше поведение, Евгения Павловна,— заговорил Виктор Васильич, сдерживая хриплые нотки в голосе.

— Что вы хотите сказать? — сухо спросила она, приподнимая плечи.

— Что я хочу сказать?..

Он замялся, подбирая слова. Она шла вперед, но быстро остановилась, обернулась к нему и проговорила в упор:

— Мне не нравится ваш тон, Виктор Васильевич... Понимаете?

— А мне не нравится, Евгения Павловна, что вы считаете меня дураком. Да. Представьте себе только одно, что я знаю столько же, как вы. Может быть, даже немножко больше...

— Вы? Знаете?

Она засмеялась, окинула его своим дерзким взглядом с ног до головы и быстро пошла через залу в свою комнату.

— Евгения Павловна...

В ответ прошуршала только ее шелковая юбка,— Евгения Павловна быстро скрылась в дверях. Да, это была она, та женщина, которую он любил. Эта дерзость ослепила его, ослепила на одно мгновенье, а потом он захохотал.

Что-то было такое неестественное в этом хохоте, так что Виктор Васильич сам удивился, что именно он мог так расхохотаться. Одно мгновенье — как это много значит, потому что ведь вся наша жизнь только одно мгновенье!..

Виктору Васильичу казалось, что он сходит с ума, что у него все перепуталось в голове. Например, теперь ему ужасно хотелось броситься вслед за женой, остановить ее и сказать ей, кто она такая. Да, это был настоящий момент, который так глупо пропущен им. Ведь все равно рано или поздно объяснение должно произойти, и только бесхарактерные люди оттягивают подобные вещи изо дня в день. Это даже не доброта, а просто дрянная бесхарактерность. Евгения Павловна смеется над ним в лицо, и она вправе так делать, потому что с другим мужем она не посмела бы позволить себе выходку вроде сегодняшней.

— Дрянь я... тряпка...— повторял Виктор Васильич самому себе.— Ах, если бы не этот несчастный ребенок!

Если бы он умер... Ведь умирают же другие дети?.. О, тогда было бы совсем другое дело.

Что было дальше — трудно сказать. Время шло, как температура у больного — то быстро, то тихо. И впереди по-прежнему не оставалось никакого просвета. Так, сумбур какой-то. Мысль о смерти ребенка приходила Виктору Васильичу уже несколько раз, и он вперед представлял себе картину того, что произойдет. Евгения Павловна, конечно, уедет к родным... Да и не все ли равно, куда она уедет? Он останется один... Первое время ему будет очень трудно, а потом явится привычка, ведь ко всему можно привыкнуть. Проверяя свои чувства, Виктор Васильич мог сказать, что он любил жену. Да, очень любил и никогда не думал, конечно, что так печально закончится их совместная жизнь. И нет возврата!.. В минуты такого раздумья поворотным пунктом всегда являлась роковая фраза: тот самый, который... Это был его смертный приговор. О, он не хочет быть общим посмешищем, притчей во языцех. Пусть его горе остается в этих стенах, как застарелая болезнь.

Утром у Виктора Васильича являлось что-то вроде прояснения. Он мог более беспристрастно обсудить свое положение и приходил неизбежно к одному заключению: нужно пощадить ни в чем не повинного ребенка. Кстати, у него было уже свое имя: Вадим. Он носил уже его фамилию. Когда Виктор Васильич подходил к его кроватке, кормилица говорила:

— Вадя, это папа... Ну, скажи: па-па!

Ребенок таращил смешно глазенки, взмахивал ручками и оставался вопросительным знаком. Виктора Васильича всегда расстраивала подобная сцена. Он особенно ярко чувствовал свое положение именно в такие моменты. Кормилица, конечно, ничего не подозревала и хотела доставить ему удовольствие. Раз она прибежала к нему в кабинет взволнованная, радостная, с раскрасневшимся лицом.

— Барин, идите скорее...

— Что случилось?

— Ах, идите скорее...

Она потащила его в детскую. Ребенок лежал в своей кроватке и улыбался,— это была его первая улыбка... Виктор Васильич схватил себя за голову и выбежал из детской, как сумасшедший.

— Барин, что вы?

4

— Виктор Васильич, что же доктор не едет?

Он обернулся и внимательно посмотрел на жену. Она стояла в дверях его кабинета такая утомленная, жалкая, измученная и... некрасивая. Именно последнее ему почему-то бросилось в глаза,— какая она худая в этом утреннем капоте, лицо осунулось, рот сделался больше, белокурые волосы сбились какими-то бабьими космами. Всего каких-нибудь две-три бессонных ночи, и от Евгении Павловны осталась кожа да кости.

— Он должен быть сейчас,— равнодушно ответил Виктор Васильич, глядя на часы.

Евгения Павловна сделала быстрый поворот и исчезла, как привидение. Он долго смотрел на притворенную дверь, точно стараясь что-то припомнить — такое далекое и хорошее, что никак не давалось. Что же, в самом деле, доктор не едет? Он пошел в столовую, где часы пробили четыре — самое трудное время для всего дома.

— Что Дима? — спросил Виктор Васильич пролетевшую мимо с каким-то кувшином в руках горничную Дуняшу.

Она как-то фамильярно посмотрела на него своими светло-карими глазами и только махнула рукой. Этот жест точно придавил Виктора Васильича,— ведь сегодня роковой восьмой день, как Дима болен... Боже мой, нужно же что-нибудь делать!

В детской шторы были опущены, и комната освещалась только зеленым кругом лампочки под шелковым абажуром. У кроватки больного сидела Евгения Павловна. Диме только что минуло пять месяцев, и он лежал такой красивый, несмотря на болезнь. Напряженно-раскрасневшееся детское личико, полуоткрытый ротик с запекшимися губами, закрытые глаза,— полная картина страдающего маленького человечества. В обессилевшем детском тельце отчаянно боролся последний огонек жизни. Маленькая грудь так тяжело поднималась,— в ней был настоящий пожар.

— Доктора, доктора, ради бога!..— шептала Евгения Павловна, ломая руки.— Ради всего святого, доктора... Он умирает.

Виктор Васильич выбежал из спальни и бросился в переднюю. Его обогнала Дуняша, спешившая на резкий звонок. Вошел доктор.

— Эрнест Карлыч...— задыхаясь, говорил Виктор Васильич.— Ах, он умирает... да... там... ах, он умирает...

Доктор только поднял плечи. Ведь он же говорил, что опасности нет? Эти господа родители всегда изводят его своими страхами.

— Доктор, ради бога...

— Я сейчас,— сухо ответил доктор, направляясь в гостиную.

Виктор Васильич бросился за ним, добежал до половины комнаты и остановился. Широкая спина доктора уже исчезла в дверях. О, как он ненавидел этого человека, и теперь больше, чем когда-нибудь.

«Нет, не то...— вслух думал он.— Зачем я пустил этого шарлатана? Нужен консилиум... как это раньше мне не пришло в голову?»

Виктор Васильич уехал, не сказав никому ни одного слова. Об его отъезде сообщила барыне Дуняша. Евгения Павловна искоса взглянула на доктора, шагавшего по кабинету. Его возмущало, что болезнь круто повернула к худшему. А все оттого, что эти проклятые нервные дети умирают от простой царапины... Что же он может поделать? А тут еще эти серые глаза, которые смотрят на него с таким умоляющим выражением, точно от него зависит прекратить дурную привычку умирать. Выдастся же проклятый денек...

— Муж отправился устраивать консилиум...— тихо проговорила Евгения Павловна, опуская глаза, точно она просила извинения.

— Я не в претензии,— сухо ответил доктор, поправляя давивший шею крахмальный ворот.— Будь это другой ребенок, то есть обыкновенный нормальный ребенок, тогда другое дело. Никакая наука не может предвидеть тех сюрпризов, какие преподносят господа родители своими нервами... Вы только посмотрите на себя и на вашего супруга...

Евгения Павловна вдруг вся выпрямилась, точно по ней выстрелили. Лицо побледнело, губы конвульсивно зашевелились. Доктор сказал больше, чем желал, и сделал гримасу.

— Вы, доктор, говорите о моем супруге? — проговорила она отчетливо, глядя ему прямо в глаза.— О моем муже?

Он схватил ее за руку и поцеловал.

— Простите... Знаете, я враг этих сентименталь-

ностей, то есть не понимаю их. Я хотел сказать...

— Нет, позвольте, Эрнест Карлович, теперь я уж вам все скажу: я вас презираю... да. Презираю, как только может презирать женщина... женщина-мать... да. И себя презираю...

Они были одни в комнате, но он все-таки оглянулся, делая к ней шаг. Она остановила его жестом.

— Не нужно... не смейте.

Докторские плечи поднялись. О, милые женщины, как они повторяют друг друга даже в глупостях... А между тем даже уйти было неудобно. Нечего сказать, красивое положение. Эта тяжелая сцена прервана была появлением Дуняши, обладавшей необыкновенной способностью входить и уходить вовремя. Так было и сейчас. Доктор посмотрел на нее благодарными глазами. Евгения Павловна тоже была рада. Только безучастным оставался один «инфант», в маленькой груди которого детское сердце било набат. Ах, как страдала Евгения Павловна, глядя на своего первенца,— страдала каждым нервом, каждой каплей крови. Все остальное отлетело, исчезло, спало, как чешуя или короста, а осталась одна мать. Она с удовольствием выслала бы доктора из детской, если бы не считала его помощь необходимой. Дело шло к кризису, и каждая минута была дорога. Давеча она рассердилась на мужа, поехавшего устраивать консилиум без ее согласия, а теперь была благодарна ему. Да и для Эрнеста Карлыча консилиум явится некоторым укором...

Консилиум собрался ровно в семь. Виктор Васильич был известным лицом, и для него не могло быть отказа. Приехали шесть докторов. Все по очереди осмотрели больного, выслушали из вежливости объяснения «господ родителей» и отправились для совещания в гостиную. Эрнест Карлыч все время хранил упорное молчание, стоя у окна и презрительно щурясь на почтенных коллег. И какие коллеги — стыдно смотреть... Военные врачи в таких засаленных мундирах, штатские — еще лучше — какие-то заношенные, обдерганные. Одним словом, среди этого ученого стада Эрнест Карлыч выглядел настоящим модным львом, начиная со своего щегольского сюртука.

Врачи прикрыли за собой двери. За одним столом места не хватило для всех. Эрнест Карлыч заговорил первым:

— Коллеги, я здесь являюсь до некоторой степени ответственным лицом, поэтому считаю своим долгом объяснить дело ab ovo...[1] Прежде всего, я считаю своим долгом указать на господ родителей — в них основная причина, базис, так сказать, и объяснение всего остального. Почтенный Виктор Васильич и уважаемая Евгения Павловна — представители нервного века... fin de siècle...[2]

Ученый ареопаг наклонил головы над столом, стараясь не смотреть друг на друга, и только самый младший из коллег не мог удержаться от улыбки. Действительно, fin de siècle... Он наклонился к уху своего соседа и шепотом спросил:

— Виктор Васильич, ведь это тот самый, который?..

Усатая, давно не бритая физиономия с несомненными следами усердного служения совсем не медицинскому богу сделала утвердительный знак. Конечно, тот самый — кто же этого не знает. Трудненько достаются почтенному Эрнесту Карлычу тоже господа родители fin de siècle'я.

— Именно в господах родителях коренится разгадка разыгравшегося кризиса,— продолжал Эрнест Карлыч, делая своей выхоленной рукой плавный жест.— Да... Нам приходится считаться с ярко выразившейся наследственностью... К сожалению, это — факт.

Священнодействовавшие авторитеты науки еще ниже наклонили свои головы. Из приличия совещание продолжалось целый час, хотя смертный приговор был произнесен гораздо раньше. В заключение приглашен был Виктор Васильич, и ему торжественно было сообщено то, что он уже знал сам. Для смягчения резолюция была уснащена дешевенькими словами вроде «конечно», «случается», «все может быть». Он выслушал все это молча, бледный, растерянный, с беспредметным взглядом, поглощенный своими собственными мыслями.

— Вот не ожидал я такого впечатления! — откровенно удивился в передней младший из коллег.— Бедняга мучится на чистую монету, как настоящий родитель...

— Да, случается...— неохотно ответил седой старик, обладавший более широкой опытностью.— Да... Неко-

---

[1] Буквально — от яйца, в переносном смысле — с начала *(лат.)*.
[2] Конца века *(фр.)*.

торые понимают свои обязанности в слишком широкой форме.

Когда Виктор Васильич и Эрнест Карлыч вернулись в детскую, Евгения Павловна по их лицам прочла роковое решение. О, больше не нужно слов...

— Успокойтесь...— бормотал доктор.— Конечно, я не скрываю опасности, он мне очень не нравится... да. Но детский организм живуч...

— Уходите... Ничему не верю! — шептали побелевшие губы.— Нет, не уходите... О господи, что же это такое?..

Виктор Васильич смотрел округлившимися от страха глазами на ребенка: он являлся теперь связующим звеном... Около его кроватки собрались все действующие лица. Евгения Павловна тихо плакала, опустившись на колени. Виктор Васильич взял детскую ручку и припал к ней своей головой. Да, он умирал, этот несчастный ребенок, точно выполняя какую-то жестокую программу... Сколько раз Виктор Васильич желал этой смерти, и вот она пришла... И все они трое здесь, все те, кто думал только о себе, те, кто не мог дать живой теплоты этому детскому сердцу... В жизни есть своя неумолимая арифметика...

Сколько времени прошло — день не имел времени. Доктор не выходил, выжидая еще чего-то.

— Доктор, ему лучше...— прошептала Евгения Павловна, когда ребенок открыл глаза.— Доктор, он смотрит... Дима, родной...

— Да, совсем лучше,— ответил доктор, закусив бороду.

Начиналась агония.

— Милый... родной...— повторял Виктор Васильич, не выпуская из своих рук маленькой ручки.

Ребенок посмотрел на него, узнал и тихо ответил:

— Папа...

— Родной, родной... милый сын...

Детские глазки закрылись, унося с собой великую тайну, которая родится с каждым человеком. Маленькое сердце перестало биться... Теплая белизна живого тела сменилась мертвенной бледностью, точно это детское личико вылепила из воска какая-то невидимая рука.

— Неужели... все... все кончено? — шептал Виктор Васильич, не выпуская из своей руки маленькой детской ручки.— Дима, родной...

Ответа уже не могло быть.

Доктор наконец мог уйти со спокойной совестью. Здесь ему нечего было делать. Он как-то неловко простился и бросился из детской почти бегом. Виктор Васильич проводил его глазами до дверей. Какой он был жалкий, этот доктор. Потом кто-то запричитал. Ах, это старая няня Фекла... Тут же плакала молодая кормилица, закрыв лицо передником. Кто-то открыл штору, и в окно ворвался белесоватый свет занимавшегося летнего утра. Да, было уже утро... В окно с любопытством заглядывала мягкая зеленая ветка рябины. Виктор Васильич видел только то, что напоминало Диму: вот позабытая на окне детская игрушка, там детская колясочка, ночной столик с лекарствами, комод с его детским бельем — да, каждая мелочь напоминала эту маленькую жизнь, порвавшуюся, как тонкая нить. И ничего теперь не нужно, даже той любви, которой недоставало маленькому сердцу. Зачем наступает этот летний день? Зачем поднимается солнце?.. О, солнце, солнце, если бы ты могло видеть, как человек и зол, и несправедлив, и жесток... Зачем где-то далеко звенит колокол,— ничего не нужно, кроме мертвого покоя. Тише, здесь, вот в этих мертвых стенах, пронеслась смерть, и на всем чувствовалось ее холодное дыхание. Живут другие, а здесь смерть, уничтожение, мертвый покой. И здесь, пред лицом смерти, не может быть ни лжи, ни обмана, ни злобных мыслей. Величие жизни было до сих пор заслонено тяжелой паутиной ежедневных мелочей, маленькой злобой и круговой несправедливостью. Меня оскорбили, кровно оскорбили, и я томлюсь жаждой мщения, я воспитываю в себе это злобное чувство и вынашиваю его, как мать ребенка, точно оскорбление может быть уничтожено только ответной несправедливостью. Да и не для себя я это делаю (ведь я такой простой и любящий человек), а для кого-то другого, которого даже не знаю, которого не уважаю в душе и которого боюсь из ложного стыда...

И среди этой обстановки сидела она, несчастная, убитая, жалкая...

Что было дальше? Ужасные три дня. Дима лежал в зале на большом столе. Изголовье было убрано живыми цветами. Хлопотала главным образом старушка няня. Она была торжественно спокойна и ни на кого не обращала внимания. Маленький покойник являлся дорогим гостем... Горели свечи, в комнатах водворился

запах ладана, сменивший лекарства, царившая тишина нарушалась только монотонным заупокойным чтением... В доме появлялись и уходили какие-то неизвестные люди, точно могильные жуки. Один снимал мерку для гроба, другой шептался с Феклой относительно покрова и катафалка, третий просто приходил поглазеть. Виктор Васильич отсиживался больше у себя в кабинете и старался выходить в залу, когда там никого не было. Он потерял счет дней и ночей... Для чего?.. У него осталось одно смутное чувство, именно, что он должен что-то сделать...

— Дима... родной...— повторял он, шагая по кабинету.— Ах, Дима, Дима...

Его возмущало главным образом то, что в самом искреннем горе есть какая-то театральная ложь. Человек делается неестественным, когда на него смотрят, когда от него чего-то ждут. Именно этого и боялся Виктор Васильич, той последней лжи, которая провожает человека в могилу.

А как хорошо было, когда все стихало! Виктор Васильич прокрадывался в залу, становился в уголок и долго-долго стоял один, прислушивался к чтению псалтири. Если бы он мог молиться, как няня Фекла... Если бы он мог плакать... Стоя в своем углу, он видел, как торопливо вошла в залу горничная Дуняша, подошла к покойнику и быстро рухнула как-то всем телом. Положив три земных поклона, она поцеловала образок, лежавший на груди Димы, и быстро ушла обратно. Она прошла совсем близко от него и не заметила, что он все время наблюдал ее. Виктора Васильича поразило опухшее от слез лицо Дуняши. Она могла плакать о Диме, о маленьком Диме... Что-то защемило на душе у Виктора Васильича, и он почувствовал только одно, что все прощает вот этой самой Дуняше за ее слезы.

Что было, день или ночь? Не все ли равно... Виктор Васильич привык к своему уголку. Он стоял, смотрел и слушал. В первый момент он не заметил, что в другом углу залы стоит Евгения Павловна. Она стояла на коленях и казалась девочкой. Виктор Васильич заметил ее только тогда, когда подошла няня Фекла и тронула его за руку. Он повиновался ей машинально, как бывало в детстве. Няня подвела его к жене и шепотом проговорила:

— Нужно проститься...

— С кем, няня? — спросил Виктор Васильич.

— А с ним...

Она подвела их к Диме и отступила. Евгения Павловна закрыла лицо руками и зарыдала. Виктор Васильич перекрестился, сделал земной поклон и приложился к образку, как делала горничная Дуняша.

— Я не могу...— прошептала Евгения Павловна, хватаясь за его руку...

— Женя, ведь он не виноват...

Она опять закрыла лицо руками... Она вся дрожала. Виктор Васильич обнял ее и увел к себе в кабинет. Там он бережно усадил ее на диван, поправил сбившиеся на лбу волосы и прошептал:

— Да, я тот самый, который... Я тебя опять люблю, потому что сам сделался лучше... потому что я много страдал... Да, да, я тот самый, которого ты любила... Дима мой сын... Ах, Дима, Дима, если бы он мог видеть!.. Все забыто... Все прощено...

Она тихо припала своей головкой к его груди.

1893

16 Заказ 363

Враг

Рассказ

29 апреля проживающий в доме Никишева, на земле Орлика, 1-го уч. Мещанской ч., кр. Герасим Ермаков нашел на лестнице своей квартиры неизвестно кем подкинутого младенца мужского пола, на вид 2 дней от рождения, без креста и записки. Ребенок этот, по желанию Ермакова, отдан ему на воспитание. Того же числа в палисаднике при церкви св. Николая, что в Драчах, усмотрен подкинутый младенец женского пола, на вид не более 5 дней от рождения, завернутый в кусок ситца. Того же числа ночным сторожем Лубянского сквера, кр. Степановым, около китайской стены найден оставленный младенец мужского пола, дней десяти от рождения, с крестиком на шее. Последние два младенца отправлены в Воспитательный дом.

(«Рус. Вед.», 1895 г., 1 мая, № 118)

1

Сергей Иваныч, по обыкновению, поднялся очень рано, в пять часов, что вошло у него в привычку и чем он не без основания гордился, как аккуратный и выдержанный хозяин. Ведь выдержка характера все...

Пока старуха Васильевна ставила самовар, Сергей Иваныч отправился осматривать свое хозяйство. Сегодня он чувствовал себя как-то особенно бодро и смотрел кругом весело щурившимися глазами. Проходя через гостиную, он нечаянно увидел в зеркале свое улыбавшееся счастливое лицо и невольно подумал: «Ведь это, наконец, глупо...»

Да, конечно, глупо радоваться без всякой уважительной причины, радоваться только потому, что в окна смотрит весеннее солнце, что чувствуешь себя сильным и здоровым, что впереди хороший трудовой день.

Через кухню Сергей Иваныч вышел на двор и сделал небольшую остановку, хозяйским взглядом окидывая надворные постройки. Вот навес для дров и экипажей, дальше отличный коровник на двадцать коров, потом конюшня для лошадей, потом отдельный птичий дво-

рик, сеновал, амбары, погреба, подвалы и громадный ледник. Все новенькое и все поставлено умело, опытной рукой. По двору бегали куры и с каким-то отупевшим недоумением вышагивал старый козел Мишка. Сергей Иваныч чувствовал, что он любит вот и этих глупых кур, и еще более глупого козла, и мычавшую протяжно в своем стойле новокупку холмогорскую корову Трухмальную, как ее окрестил садовник Егор Спиридоныч, и даже неодушевленные предметы, служившие немой иллюстрацией хозяйственных замыслов, планов, соображений и расчетов. Главное, здесь решительно ничего не было лишнего, а все самое нужное — козел должен ходить по двору, корова-новокупка — мычать, рабочая телега — стоять под навесом. Даже молодой садик делал свое дело — стояла весна, а он исполнял свою прямую обязанность, окутываясь молодой мягкой зеленью. Правда, что чахлая и недужная петербургская весна походила на конвульсивную улыбку, какой безнадежные больные встречают родственников, и садовым деревьям точно было больно выгонять эту бледную и тощую зелень. Чувствовались родовые муки вот этой чахленькой природы, и являлось невольное желание что-то такое сделать, чтобы облегчить эти невольные муки, как хочется откашляться за ребенка, у которого не хватает силы откашляться самому.

И все-таки хорошо, положительно хорошо... В этой кисленькой петербургской весне, право, есть своя поэзия, расцвеченная линялыми акварельными тонами и каким-то аристократическим малокровием.

Обойдя садик, Сергей Иваныч отворил калитку в громадный огород и еще раз остановился, и еще раз прищурился. Этот огород был его слабостью, как любимое и холеное детище. На первом плане целый ряд парников, ближе к саду небольшая оранжерея и простая тепличка, за ними небольшой квадрат со спаржей, гряды капусты разных сортов, редиски, салата и всевозможных овощей. В глубину тянулись бесконечные гряды клубники и картофельное поле. Последнее составляло гордость Сергея Иваныча, потому что он культивировал до ста сортов картофеля и получал с него большой доход. Гряды для картофеля были уже вскопаны, а в бороздах ягодника пестрели яркими пятнами «копорки», обиравшие прошлогоднюю сухую траву и окучивавшие кустики клубники. Работа, одним словом, кипела, и

Сергей Иваныч невольно полюбовался на свое устроенное именьице. Общую картину портило только громадное здание недавно выстроенной немцем Шиком спичечной фабрики, точно запиравшее горизонт безобразным красным квадратом и отравлявшее воздух дымом, валившим из высокой кирпичной трубы. Когда Сергей Иваныч покупал свой клочок земли, о фабрике не было и помину, да он и не купил бы именья в таком неприятном соседстве. С другой стороны из-за тощего соснового перелеска горбилась зеленая крыша трактира «Голубок», стоявшего уже на самом шоссе. Раньше трактира тоже не было, и Сергей Иваныч ненавидел его еще больше, чем фабрику. Эти два здания отравляли ему существование одним своим видом, напоминая о близости Петербурга и всяческого столичного безобразия.

Отыскав глазами садовника Егора Спиридоныча, Сергей Иваныч направился к нему. Садовник возился у молоденькой липовой аллейки, устроенной сейчас за ягодником, где уже были поставлены два первых улья,— это служило началом будущего пчельника. Пчелы должны были собирать мед со своего огорода, что завершало общий хозяйственный круговорот. Кстати, Сергей Иваныч очень уважал своего садовника, человека солидного, аккуратного и строгого. Это был пригородный мужик лет сорока, приземистый, плотный, с окладистой русой бородой, широким русским лицом и упрямыми умными серыми глазами. Он держал себя с необыкновенным тактом, нисколько не подлаживаясь к барину и сохраняя свое мужицкое достоинство. Даже запой, которым страдал садовник, прощался ему. Во-первых, все талантливые русские люди имеют какой-нибудь крупный недостаток, а, во-вторых, Спиридоныч каждую свою запойную ошибку выкупал самой старательной работой. А главное, он любил свое дело и не был простым наемником. Сергей Иваныч во всем советовался с ним и даже чувствовал известную зависимость. Так, теперь, подходя к пчельнику, Сергей Иваныч сразу заметил, что садовник чем-то недоволен, и почувствовал себя тоже неловко.

Садовник встретил хозяина довольно равнодушно и старался смотреть в сторону.

— Ну, как наши дела? — почти заискивающим тоном спросил Сергей Иваныч.

— Да ничего...

Они помолчали. Егор Спиридоныч оправил свой

белый передник, тряхнул головой и сердито крякнул. Такое мрачное настроение на него нападало перед запоем, и Сергей Иваныч посмотрел кругом с невольной тревогой. Время стояло самое горячее, и вдруг он запьет... С подобными субъектами припадки случаются именно в самые неудобные моменты. Чтобы сказать что-нибудь, Сергей Иваныч прислушался к слабому гулу одного улья и заметил:

— Что-то слабо пчела гудет...

Садовник молчал.

Сергей Иваныч припал ухом к самой стенке улья и окончательно убедился, что там, внутри, что-то неладно. Не было той здоровой напряженности звука, и общая нота прерывалась какими-то болезненными паузами.

— Нет, что-то неладно,— решил он.— Буду в городе, съезжу на опытную пасеку и посоветуюсь...

— Что же тут советоваться,— грубо ответил садовник и даже плюнул.— Только время напрасно терять, Сергей Иваныч.

— А если мы сами не умеем и не знаем, как ходить за пчелой?

— А ежели тут дело даже совсем не в пчеле?

— В чем же?

— Да мало ли... Пчелка — божья тварь и не любит, чтобы какая-нибудь тому подобная мерзость... Уж она не потерпит, ежели, напримерно, что ни на есть такое... вообще... да.

Садовник чего-то не договаривал, и Сергей Иваныч спросил прямо:

— Да что такое случилось, Егор Спиридоныч? Зачем вы тянете и не договариваете?..

— Чего же тут говорить? Вот мы-то ничего не знаем, а пчелка уж учуяла... Одним словом, этой самой Анисье надобно отказать, Сергей Иваныч. Уж как вы хотите...

— За что же отказывать?.. Она девушка скромная и старательная...

Садовник презрительно фыркнул. Сергей Иваныч сначала подумал, что произошла какая-нибудь домашняя распря, но, вспомнив про пчел, все понял.

— Я-то уж давно примечаю за ней...— брезгливо говорил Егор Спиридоныч, снимая фуражку.— Значит, за Анисьей... Как-то вечером по огороду бродит, босая, когда еще, значит, в бороздах снег лежал. Ну, потом за воротами стоит... Вот и настояла!

— Может быть, вы ошибаетесь... Мало ли что наболтают.

— Ну, уж этого нет... Бабенки-то все сообразили. Коровница Домна, горничная, куфарка... Вон сторож с Шиковой фабрики как-то проходил мимо нас, увидал меня и говорит: «С прибылью, Егор Спиридоныч...» Одним словом, мораль всем выходит из-за Анисьи. Прогнать ее, стерву, и всему делу конец!..

В голосе Егора Спиридоныча послышалось суровое озлобление и решимость.

— Гм... да....— бормотал Сергей Иваныч, неловко закуривая папиросу.— Как же это так, то есть вдруг... Одним словом, необходимо подумать.

2

Сергей Иваныч намеренно удлинил свой утренний обход хозяйства, чтобы выиграть время. Подобное малодушие свойственно мужчинам с сильно развитым семейным инстинктом. Он медленно обходил в сопровождении садовника гряды клубники, осмотрел картофельное поле, парники, заглянул в оранжерею и с особенным вниманием отнесся к спарже. А время двигалось с какой-то чиновничьей медленностью, точно оно получало и жалованье, и квартирные, и подъемные, и суточные, и сверхсметные прибавки именно за эту медленность.

— Спаржа ничего...— думал он вслух, разглядывая молодые побеги.

Егор Спиридоныч обиженно молчал. Он все еще находился под впечатлением нанесенной всей ферме Анисьей «морали», а затем он, в частности, не любил спаржи. Что это за овощ, который растет три года?.. Одно баловство, и больше ничего.

— Вот этот клочок будет давать ежегодно тысячу рублей чистой прибыли,— наставительно объяснял Сергей Иваныч, указывая на гряды спаржи.— Да... У меня есть знакомый немец-садовник, так он по две тысячи получает.

— На то он и немец, Сергей Иваныч,— отозвался наконец садовник, задетый за живое этим напоминанием немца.— У немца в носу спаржа будет расти...

— А у нас на грядках... Все дело только во внимании. Да...

Сергей Иваныч старался принять хозяйский тон, чтобы заглушить внутреннее малодушие. В голове у него вертелась неотступно мысль об Анисье, и он вперед чувствовал себя виноватым в чем-то, что трудно было даже назвать.

В огороде Сергей Иваныч провел часа два, а затем отправился на скотный двор. Кучер Архип, молодой русоволосый парень, чистил привязанную к столбу гнедую кобылку, ходившую в шарабане. Эта лошадь была общей любимицей за веселый нрав, послушность и бойкий ход. Из двери конюшни, перегороженной засовом, выглядывала угловатая голова старого сивого мерина с отвислой от старости нижней губой и по-коровьи, тоже от старости, болтавшимися ушами. Сергей Иваныч отнесся к кучеру с особенной подозрительностью и сделал несколько замечаний.

— Ты совсем не смазываешь копыт Гнедку, Архип... И грива не расчесана. Вообще, ты ленишься...

— Помилуйте, уж, кажется, я как стараюсь, барин...— обиженно ответил Архип, ерзая скребницей по вздрагивавшей спине Гнедка.

— Знаю, знаю. Пожалуйста, без разговоров... Я этого не люблю. Да... И сбруя у тебя тоже не смазана.

— Уж, кажется, я...

— Молчать!..

Сергей Иваныч окончательно рассердился и даже плюнул. Когда он направился в коровник, Архип проводил его глазами и покачал только головой. Что это с барином попритчилось? Точно муху проглотил...

После картофеля любимой статьей хозяйства для Сергея Иваныча были коровы. Они с самого начала давали самый верный и определенный доход, а в виде премии — телят и удобрение. И какие были коровы — одна лучше другой. Иностранных пород Сергей Иваныч не заводил, потому что они погибали от туберкулеза, а вот русские холмогорки и ярославки — настоящее золото. Последним номером была новокупка Трухмальная. Встретившаяся в дверях коровника скотница Домна проговорила своим обычным плаксивым тоном:

— Здравствуйте, барин.

Барин ничего ей не ответил, припомнив слова садовника, что вот эта самая Домна болтает про Анисью. Типичнее русской бабы, как Домна, трудно было себе представить. Она походила на тех взъерошенных, сует-

ливых и вечно кричащих русских курчонок, которые всю жизнь проводят где-нибудь на задворках, неизвестно чем питаются и ухищряются нанести больше яиц, чем премированные выставочные кохинхинки и брахмапутры. Собственно, у Домны даже и наружности не было, а так, что-то вроде обглоданной кости. Вдобавок она еще страдала модной болезнью — имела блуждающую почку. Последнее находилось в прямой зависимости от семейного счастья,— муж Домны состоял «паркетчиком», приходил к жене по праздникам, напивался за ее счет и колотил ее до беспамятства. И все-таки Домна ухитрялась существовать, по-своему даже любила пьяницу мужа и работала за двоих. У нее были золотые руки, и в своем коровнике она управлялась за четверых. Эта Домна служила вечным яблоком раздора, все на нее жаловались, она жаловалась на всех, а когда выведенный из терпения барин отказывал ей, все с удивлением заявляли: как же без Домны?.. Конечно, она — яд и купоросное масло и вредная бабенка, а все-таки без нее никак невозможно. Первый враг Домны, степенный Егор Спиридоныч, являлся главным ее защитником. Сергея Иваныча возмущали главным образом дипломатические способности Домны. Она устраивала постоянные коалиции и всех ссорила: то соединялась со старухой Васильевной и нападала на Анисью, то заключала союз с Анисьей против глуповатого кучера Архипа, то организовала целый крестовый поход против Егора Спиридоныча. Ей до всего было дело, она везде совала свой нос, и можно было только удивляться, когда она успевает.

Сейчас Сергей Иваныч очень рассердился на нее, потому что дело получилось самое серьезное, и его возмущало то, что именно Домна по своему женскому делу должна была бы больше других понять критическое положение несчастной девушки и пожалеть ее, а не поджигать других.

— Отчего Трухмальная мычит целое утро? — придирался Сергей Иваныч, не глядя на ледащую бабу.— Вероятно, не вовремя ее напоили или корм не задали...

— Всего ей дадено,— грубо ответила Домна.— А скотина тоже чувствует, ежели в дому...

— Ты у меня поговори!..— перебил ее Сергей Иваныч.— Этакий у тебя язык проклятый, Домна...

— Што́ же я, барин,— моей тут причины никакой нет. Я в законе и могу понимать порядок и што́ к чему...

Сергей Иваныч неожиданно затопал ногами и крикнул:

— Молчать!.. Понимаешь? А еще лучше, если совсем уберешься... Понимаешь: вон!..

— Конечно, барин, ежели я в законе, так вы меня и меняете на какую-нибудь потаскушку...

— Вон!.. вон!.. Сейчас же вон... Слышишь?

Увлекшись, Сергей Иваныч схватил ее даже за плечо и вытолкнул из коровника. Домна как-то пискнула, точно мышь, присела на землю и завопила отчаянным голосом, точно ее резали. В окнах кухни показалось сморщенное лицо Васильевны, из-за изгороди выглянул Егор Спиридоныч, на террасе мелькнул белый капот, кучер Архип перестал чистить лошадь и смотрел на взбесившегося барина глупыми глазами. Одним словом, получалась настоящая живая картина...

— Вон!..— еще раз крикнул Сергей Иваныч, быстро шагая через двор к садику.

Он был доволен собой. Да, надо показать свою власть, а то бог знает что прислуга позволяет себе. Как это ни грустно, а приходится подтягивать. Сейчас Сергей Иваныч не испытывал уже давешней неловкости и вошел на террасу с вызывающим видом. Терраса выходила в молоденький садик, и вся семья любила здесь пить чай, обедать и просто посидеть. Чайный стол уже был накрыт, самовар в ожидании хозяина успел потухнуть два раза, и старушка в ситцевом капоте начинала терять терпение.

— Ты, Сережа, напрасно волнуешься...— с дипломатической мягкостью заметила она, когда сын опустился в зеленое кресло.— Я тебе сколько раз говорила... И Аня тоже, и Ирочка... все!..

— Хорошо, хорошо, мама... Поговорим потом.

Старушка строго сложила губы и занялась чаем. Она знала, что с Сережей не сговоришь, когда он в приподнятом настроении, как сейчас. Он еще будет кричать, забегает, замашет руками и кончит тем, что за завтраком выпьет две лишних рюмки водки и уедет в город.

Семья Колосовых всегда жила очень дружно, все любили друг друга, и все-таки не обходилось без семейных глупых сцен. Жене Сергей Иваныч в большинстве уступал, а с матерью горячился, спорил и кричал тонким голосом. По утрам он обыкновенно пил чай вдвоем

со старушкой, и за самоваром велись большею частью тихие хозяйственные беседы. Сестра Ирочка поднималась позже, и жена тоже. Они спали самым бессовестным образом до десяти часов, когда Сергей Иваныч уже успевал наработаться и начинал испытывать приступы волчьего голода. А сегодня Ирочка поднялась рано и вышла на террасу к чаю бледная, недовольная, готовая раздражиться от малейших пустяков. Она сухо поздоровалась с братом и обратилась к матери:

— Мама, кто это так страшно орал у нас на дворе? Я думала, что мы по меньшей мере горим...

— Не ломай комедию, пожалуйста,— вступился Сергей Иваныч.— Ну для чего ты это делаешь? Ведь ты слышала, что я кричал... Да, я!

— Я не знала, что ты умеешь драться,— ответила Ирочка, поднимая густые брови.— Это очень мило...

Сергей Иваныч вскочил и сейчас же сел. На террасу вошла Анисья со сливочником в руках. Глаза у нее заметно припухли от слез, а лицо получило то скорбное выражение, которое уже не реагирует на внешние раздражения. У Анисьи всегда было какое-то испуганное лицо, но этого выражения не было. Ирочка с аффектированным жестом отвернулась от нее и даже подобрала юбку с того бока, мимо которого прошла Анисья. Одна старушка сохранила спокойствие и только вопросительно посмотрела на Сергея Иваныча. Для него было теперь ясно, что все и все знают и что он в качестве настоящего хозяина узнал все последним.

3

Когда Анисья вышла, наступила неловкая пауза. Сергей Иваныч выпил лишний стакан, чтобы первому не говорить. И уйти с террасы как будто неловко,— походило на бегство. Он смотрел в садик, где распускалась белая сирень, курчавились зеленым барашком кусты смородины и крыжовника, цвела черемуха и зеленел бархатной зеленью приземистый сибирский кедрик. На террасу тяжело вышла сеттер сука Буянка, вильнула пушистым хвостом, вопросительно посмотрела на всех и, почуяв, что что-то неладно, осторожно ушла назад. Она была в таком положении, что уже могла ходить с трудом.

«Зачем люди портят сами себе жизнь? — философствовал Сергей Иваныч, наблюдая тянувшуюся к нему полоску весеннего солнечного луча.— И сколько не нужного никому зла...»

Он внимательно посмотрел на худенькое, с зеленоватым оттенком лицо сестры Ирочки и только сейчас заметил, какая она злая. И во всем эта злость — в очерке тонкого породистого носа, в складке рта, в выражении серых глаз. Ирочка была почти красива, если бы ее не портила нервная худоба начинавшей вянуть девушки. Мужчины за ней ухаживали, но она все выбирала, и так прожила до критического возраста в тридцать лет. С каждым годом у нее все рельефнее делалось сходство с матерью. И у старухи, если справедливо разобрать, было тоже злое лицо, хотя в нем эта злость и тушевалась старческим добродушием. Раньше Сергей Иваныч как-то не обращал внимания на эту фамильную черту и невольно подумал, что, вероятно, и у него тоже злое лицо, хотя сам он и любил думать о себе, как о добром человеке. Эта мысль показалась ему обидной.

Это вынужденное самоедство было прервано неожиданным появлением Анны Петровны, которая вошла на террасу с недовольным заспанным лицом. Это была высокого роста женщина лет под тридцать с некрасивым, но типичным и умным лицом. Она шла тяжелым развалистым шагом беременной женщины и едва поздоровалась с мужем. Сергей Иваныч почуял грозу, потому что не к добру жена поднялась двумя часами раньше. Она заняла свое место на хозяйском конце стола, прихлебнула из чашки кофе, поморщилась и сбоку посмотрела на мужа.

«Хоть бы газету...— уныло подумал Сергей Иваныч,— в трудных случаях он прятался за газету самым малодушным образом.— Проклятый почтальон точно умер...»

Анна Петровна попробовала нарочно для нее привезенный из города московский калач, еще раз поморщилась и проговорила свежим голосом избалованной женщины:

— Сергей Иваныч...

— А? Что?..

Плечи Анны Петровны сделали нетерпеливое движение. Ее возмущала эта дурацкая оторопь мужа, старавшегося в последнее время соглашаться с ней во всем. По тону ее голоса и по официальному началу он понял,

что жена тоже знает все, и по пути сообразил, что мать с сестрой, наверно, знали все раньше, но молчали до поры до времени, а жена, очевидно, узнала только сейчас. «Наверно, это старая Васильевна наболтала...» — решил он, затаивая дыхание.

Прошла мучительная пауза. Ирочка мешала ложечкой остывший чай. Старушка Елена Александровна вся вытянулась, как насторожившаяся птица. Теперь уже не могло быть спасения.

— Сергей Иваныч, вы делаете из дома какой-то вертеп...— залпом проговорила Анна Петровна, двигая стулом.— Да, вертеп... И мне ничего не остается, как только уйти куда глаза глядят.

— Я?!

— Да, вы, вы, вы... Вы понимаете, о чем я говорю. Подобные гадости нетерпимы... да. Вы всегда защищали распущенность прислуги — и вот результат... да...

— Я?! Позвольте...

— И вы еще говорите?! Он еще смеет оправдываться?!

— Позвольте... И не думал, потому что оправдываются только виноватые. Если кто виноват, так это... это...

— Ну? Договаривайте! Прекрасно... Значит, мы виноваты. Это очень мило, чтобы не сказать больше...

Женщины заговорили все разом, точно хлынула вода в открытый шлюз. Слушать уже никто не хотел. Конечно, ясно как день, что Сергей Иваныч развратил всю прислугу... Кто требовал, чтобы Анисью отпускали по вечерам из дому? Кто придумал какой-то воскресный отдых для прислуги? Кто говорил, что наша прислуга — это утонченная и бессовестная форма новейшего рабства? По чьей милости Анисья пропадала из дому по вечерам? И вот законный результат... Этого следовало ожидать.

— Ты действительно, Сережа, распустил прислугу,— говорила Елена Александровна, стараясь сохранить спокойствие.— Я тебе говорила, что ни в одном порядочном доме не позволят так себя держать... Ты настаивал, чтобы отпускать прислугу ежедневно.

— И буду настаивать! — азартно защищался Сергей Иваныч.— И всегда буду говорить, что положение нашей прислуги невозможное... Возьмите Францию или Америку — там прислуга имеет свои свободные часы ежеднев-

но, и от этого никто не страдает. Нельзя лишать людей свободы. Это несправедливо... Вы хотите, чтобы прислуга превратилась в цепную собаку. Так нельзя...

— Слышите, что он говорит? — возмущалась в окончательной форме Анна Петровна.— Мы должны поощрять открытое распутство...

— Кажется, что дело сводится к тому...— заметила Ирочка с политичной ядвитостью.— То, что может быть хорошо во Франции или в Америке, у нас просто неудобно. Кажется, доказательство налицо...

— Нет, извините! — уже кричал Сергей Иваныч.— Во-первых, мы ничего не знаем — начать с того... Может быть, простая сплетня.

Дамы переглянулись и обменялись улыбками сожаления.

— Затем еще вопрос, чем все это кончится,— продолжал Сергей Иваныч, размахивая руками.— Он, может быть, женится. Ведь мы ничего не знаем... В их среде сплошь и рядом бывают такие браки.

— Да, непременно женится,— согласилась Анна Петровна с убийственным спокойствием.— У него есть жена в деревне и двое детей... Прекрасная партия. И профессия недурная: он служит лакеем в трактире «Голубок» и спит под лестницей. Это так называемая трактирная «шестерка»... Совсем по-американски, не правда ли? Очень и очень мило... Мы тут спим, ничего не знаем, а он каждую ночь перелезал к нам через забор и... и...

Ирочка сделала брезгливое движение, поднялась и демонстративно оставила террасу.

— Вы довольны? — объяснила Анна Петровна, указывая на нее глазами.— Приличной девушке невозможно даже присутствовать при наших разговорах.

— И совершенно напрасно! — сказал Сергей Иваныч.— Ирочка в таком возрасте, что понимает все... Читает же она романы Золя. И вообще, меня удивляет ваша специально-женская жестокость. По логике вещей, казалось бы, именно женщины должны были бы относиться с особенным сочувствием к несчастному положению Анисьи, а выходит наоборот... Напомню кстати, что вы чему-то учились и слыхали такие слова, как гуманность, наконец, вы родились и выросли в известных религиозных взглядах. Ведь что-нибудь должно же остаться от всего этого. Я не оправдываю Анисью, но мне

ее жаль, жаль просто по человечеству, как я жалею всякое животное.

— У вас, Сергей Иваныч, ораторский талант,— с сухой ядовитостью заметила Анна Петровна.— Это известный адвокатский прием — построить оправдание клиента на обвинении других... Но только все эти риторические упражнения не ведут ни к чему и факт остается фактом... Да... Будем же смотреть на вещи прямо и называть их собственными именами. С религиозной точки зрения и по требованиям гуманизма мы, конечно, должны пожалеть Анисью, вы правы, но остается, к сожалению, печальная и грустная действительность. Дворник с фабрики уже...

— Знаю, знаю... Мало ли какие глупости говорятся?

— Дайте кончить. Возьмите положение остальной прислуги. Они ведь тоже люди, и люди из одной среды с Анисьей, и вот эти именно люди считают позором дальнейшее пребывание Анисьи в нашем доме. Спросите их... Васильевна, коровница Домна, Егор Спиридоныч, кучер Архип — одним словом, все.

— Это не доказательство, Анна Петровна. Они — люди темные и могут заблуждаться, а мы имеем неосторожность считать себя немного культурными.

— А как же ребенок, Сережа? — спросила Елена Александровна.— Ты не знаешь, каких хлопот стоят дети...

— У нас не воспитательный дом,— поддержала Анна Петровна.

Ребенок... Да, это была уже не Анисья. Сергей Иваныч смутился таким оборотом разговора. В самом деле, как быть с этим новым пришельцем?.. Анисью еще можно было отстоять, но ребенок... У Сергея Иваныча мелькнула счастливая мысль. Не предрешая вопроса вперед, нужно было выиграть пока время.

— Что же ребенок — когда он родится, тогда и будет свой разговор,— убежденно проговорил он.— Еще вопрос, родится ли он, будет ли жив... Нельзя вперед предусмотреть все случайности. Пока речь идет об одной Анисье, и я остаюсь при своем прежнем мнении.

Анна Петровна поднялась и быстро вышла.

— Сережа, зачем ты ее раздражаешь? — с тихим упреком заметила Елена Александровна.— Она в таком положении... Ей вредно волноваться.

— Мама, да что же дурное я сказал?.. Это вы мне

должны были говорить, а не я... В положении Ани, кажется, всего естественнее понять положение несчастной Анисьи.

4

Анисья слышала, как вздорили господа на террасе, и все время простояла в полутемном коридорчике, которым ходили из столовой в кухню. Она по обрывкам долетавших с террасы фраз поняла, что разговор шел о ней и что барин защищал ее, а барыни бранили. И зачем добрый барин только вступается — еще хуже будет... Все равно заедят. Анисья сильно стягивалась, чтоб скрыть увеличивавшуюся с каждым днем полноту, и от этого у нее ныли ноги и ломило поясницу. Но физическая боль ей сейчас доставляла почти удовольствие, отвлекая мысли от накипавшей заботы.

— Господи, ежели бы хоть помереть...— думала Анисья, закрывая глаза.

В этот момент к ней неслышно подошла Буянка, лизнула в руку и вопросительно вильнула хвостом. От этой собачьей ласки у Анисьи захолонуло на душе. Она присела на пол, обняла собаку и принялась ее целовать.

— Милушка ты моя... родненькая.

Анисья припомнила, как барин наказывал ей особенно смотреть теперь за собакой, чем ее кормить и вообще беречь. Барин добрый и жалеет щенную суку. Тварь, а тоже чувствует. Все себе логово в гостиной под роялем устраивает, тащит туда всякую тряпку, а барыня сердится и гонит. Барыня тоже добрая, только не понимает, что и псица заботится о своей голове.

— Буянушка, касаточка...

Собака положила свою квадратную голову к ней на колени и смотрела прямо в лицо большими умными глазами. Анисья несколько раз вскакивала, когда ей слышалось, что кто-то ее зовет. Но ее никто не звал. А на террасе господа спорили все сильнее, барин начал кричать тонким голосом, а Анисья вся дрожала со страха. Все это из-за нее. Потом молодая барышня пробежала к себе в комнату. Эта — сердитая. Только зашипит, как оса. Старая девка, одним словом, хоть и барышня. А на террасе все спорили. Ввязалась молодая барыня, и барину теперь конец. Будет ручку целовать и прощенья просить. Очень уж добер наш барин...

Анисью смущало больше всего то, что ее не зовут на

террасу. Молодая барыня обыкновенно не давала дохнуть: и то подай, и это принеси, и третье убери. В пот даже вгонит. А сегодня ни-ни, не пикнет. Тоже и старуха Васильевна управляется в кухне одна. Прежде все приставала: сделай то, да сбегай в погреб, да вымой кастрюли, а теперь и не смотрит. Анисья заходила в кухню несколько раз, но старуха не желала ее замечать и только шептала что-то себе под нос, как колдунья. Злющая старушонка и кого угодно со свету сживет. Давеча, когда барин выгнал Домну из коровника, вот как озлилась.

— Убить тебя мало, змею! — накинулась она на Анисью.— Из-за кого барин-то расстервенился? У, потаскушка... Стравить тебя — вот и весь сказ.

Потом прибежала Домна в кухню и тоже ругательски ругалась. Теперь Домна и Васильевна дружили между собой и все шептались. Васильевна-то давеча сбегала и молодой барыне все рассказала со злости. Старая барыня знает уже больше недели и молчит, а молодая не стерпела и сейчас на барина кинулась. Что же, все равно, пусть гонят... Один конец. Не сегодня-завтра все узнали бы господа... Анисью начинала бить лихорадка, и она кусала кончик белого передника, чтобы не разреветься вконец. Слезы ее душили с раннего утра, точно сердце чуяло, какой сегодня будет день. Так уж с утра все и пошло одно к одному... Ох, скорее бы смертынька!..

— Что ты тут торчишь? — сердито окликнула ее старая барыня, проходя коридором в кухню.

— Я так... Может, кто позовет.

— Ступай ко мне в комнату.

Эта простая фраза Анисье показалась смертным приговором. Сейчас ей откажут от места... Куда она денется в таком-то виде? И денег всего-навсего два рубля тридцать копеек, да еще за полмесяца вперед получено.

Когда Елена Александровна вошла в свою комнату, Анисья комом повалилась ей в ноги.

— Барыня, милая...

— Встань, встань... Я этого не люблю.

Анисья поползла за ней на коленях, стараясь схватить за ноги.

— Говорят тебе, встань...— совсем уже сурово проговорила старушка.

Этот тон сразу расхолодил Анисью. Все равно тут пощады не будет. Она поднялась и стала у двери. Елена Александровна присела к письменному столику, переложила какие-то книжки и заговорила прежним строгим голосом.

— Ну, что ты теперь думаешь делать с собой?..

— Не... не знаю.

— Кто же знает?.. Ты понимаешь, о чем я говорю, и должна понять, что тебе здесь оставаться нельзя.

— Ничего не знаю...

Анисья опять сделала попытку кинуться в ноги, но старушка остановила ее жестом издали.

— Одним словом, я не ожидала, Анисья, что ты такая... Если бы я знала раньше, то, конечно, не взяла бы тебя. Ты постоянно была в комнатах, все подавала, и вдруг оказывается... Я удивляюсь твоей смелости. Самое лучшее, по-моему, тебе отправиться в деревню. Да...

— Нет, я уж лучше помру, а к себе в деревню не пойду.

— Не болтай глупостей... Нужно же куда-нибудь деваться? Ну, куда ты пойдешь?

— Не... не знаю... Матушка в деревне-то одна... у зятя она живет... Зачем же я ее-то буду страмить? Свои деревенские проходу не дадут... Сейчас-то я одна буду мучиться, а мамушка ничего не знает...

— Все равно после узнает. Да... Вот матери тебе совестно, а нас всех обманывать не было совестно? Кажется, ты не можешь пожаловаться на нас.

— Что вы, барыня, да я...

У Анисьи перехватило горло от слез.

— Пожалуйста, без этого!..— предупредила ее старушка.— Нужно было раньше плакать, пока не наделала глупостей, а теперь нечего...

Порывшись в книжках, старушка достала тоненькую синюю тетрадку, подсчитала и заявила:

— Да, так... Ты забрала деньги за полмесяца вперед.

— Это когда мамушке к пасхе деньги посылала.

— Хорошо, хорошо. Я поговорю с Сергеем Иванычем относительно этих денег. А ты собирайся... Сегодня ночь можешь переночевать, а потом...

В этот момент в комнату вошел сам Сергей Иваныч. Он мельком взглянул на опухшее от слез лицо Анисьи и сразу понял, что здесь только что состоялось жестокое объяснение.

— Мама, я пришел сказать тебе, что Анисья остается у нас, то есть остается пока.

— Анисья, ты можешь уходить...

Анисья не двигалась.

— Анисья, кажется, тебе говорят? Что это такое? Кажется, у нас все с ума сошли...

— Барин, голубчик... не заступайтесь вы за меня...— торопливо заговорила Анисья, делая новую попытку броситься в ноги.— Я уж лучше сама уйду... Один конец все равно... сама виновата.

— Вот что, Анисья...— заговорил с какой-то торопливостью Сергей Иваныч, удерживая девушку одной рукой от новой попытки броситься в ноги.— Теперь вы идите, а там увидим. Да, увидим... Во всяком случае, вы ничего не бойтесь... я вас не дам в обиду.

Когда Анисья вышла, старушка проговорила:

— Ведь рыцарство не обязательно, Сережа... И потом, что это за рабская манера бросаться в ноги при каждом удобном случае. Вот эта Анисья как-то разбила мою чашку и сейчас бросилась в ноги... Разве кто-нибудь этого требует в нашем доме? Просто какие-то низшие животные...

— Мама, в данном случае виноват больше тот, кому бросаются в ноги... да. Это только подтверждает мою теорию нашего домашнего рабства.

Он быстро зашагал по комнате, заложив руки за спину.

— Сережа, ты поссорился с женой?

— Нет, то есть да... Разве можно говорить с женщиной серьезно?

— Ты забываешь, в каком она положении...

— Никакое положение, мама, не заставляет нас поступать не по совести и быть несправедливыми. Если Аня может оправдывать себя своим положением, которое, по моему мнению, в данном случае служит для нее большим обвинением, то вас, то есть тебя, Ирочку, я уже решительно отказываюсь понимать... Но вы все знайте, что я хочу быть деспотом и тираном в собственном доме! Я — мужчина и хочу реализировать себя. Да...

— Это называется гораздо проще, Сережа: просто самодурство...

— Пусть!.. Опять-таки вы довели меня до этого.

Одним словом, Сергей Иваныч устроил настоящий се-

мейный бунт, результатом которого было то, что жена заперлась в своей комнате, Ирочка в своей, Елена Александровна в своей. Никто не хотел выходить, подавляя тирана молчаливым протестом.

— Э, пусть сидят!..— решил Сергей Иваныч, тоже запираясь у себя в кабинете.— Я буду Тамерланом, Иваном Грозным, Генрихом VIII, Емелькой Пугачевым, Фра-Дьяволом...

Анисья ушла в маленькую каморку около кухни, где стояла ее кровать и сундучок, и здесь напрасно ждала, когда ее позовут. Старая Васильевна бегала из одной комнаты в другую, услуживая гневавшимся барыням, и возвращалась в кухню с молчаливым торжеством.

— Вот язва-то сибирская навязалась, подумаешь! — бормотала она, сердито гремя кастрюлями.— Весь дом засмутьянила, поганка...

5

Бывают в жизни какие-то роковые дни, и таким именно роковым днем для семьи Колосовых был описанный выше. Сгоряча Сергей Иваныч даже приблизительно не мог предвидеть всех неизбежных последствий, какие он поведет за собой. Он поступил, как следовало поступить порядочному и гуманному человеку. Кажется, ясно? Даже проще — иначе он и поступить не мог. А тут пришлось считаться с таким отпором, явным и тайным, что невольно являлось сомнение в собственной правоте. Конечно, он погорячился, и следовало бы все устроить просто, незаметно, без всякой помпы. Самым лучшим было бы, в чем Сергей Иваныч имел тысячи случаев убедиться, если бы он поступил как раз наоборот, то есть накинулся бы не на коровницу Домну, а на Анисью, и принялся бы ее гнать из дому. Тогда, наверно, получился бы такой результат: и мать, и сестра, и жена начали бы ее защищать. Да, именно так следовало поступить... И вся прислуга, наверно, тоже была бы на стороне потерпевшей от господского зверства Анисьи.

Одним словом, все дело было испорчено в самом начале, и теперь приходилось только выдерживать характер до конца, чтобы окончательно не потерять своего хозяйского престижа по крайней мере в глазах прислуги.

Борьба велась при неравных условиях, начиная уже

с того, что противная сторона имела численный перевес, и кончая тем, что получались невозможно глупые положения, где обыкновенные человеческие слова и обыкновенная человеческая логика теряли решительно всякий смысл. Всего хуже было то, что эта противная сторона в критических случаях тупо отмалчивалась, принимая обиженный вид, или прибегала к «логике слез». Что было тут говорить? Плакать Сергей Иваныч, конечно, не мог, а попытки угнетенного молчания приводили к тому, что ему же приходилось чуть не вымаливать себе прощение. А между тем как все дело было просто и ясно. Сергей Иваныч точно переставал узнавать и жену, и мать, и сестру. Это были какие-то чужие люди, о существовании которых до сих пор он даже и не подозревал. Тут все шло: и интересное положение жены, и вечные нервы сестры Ирочки, и сыновнее уважение к матери. Сергей Иваныч в буквальном смысле приходил в отчаяние, потому что или он сошел с ума бесповоротно и утратил способность понимать чужие действия, или сошли с ума все другие. Ведь если *так* думают, чувствуют и поступают свои близкие, в которых по кровному чувству помещались до сих пор лучшие стороны жизни, то чего же было ждать от посторонних, от тех *других,* которым мы так охотно уступаем жестокость, несправедливость и весь репертуар маленьких и больших пороков. Терялся тот здоровый пульс, который каждым ударом свидетельствует о нормальной жизни, о здоровье и гармоническом равновесии всех процессов и отправлений. Врывалось что-то такое враждебное, беспощадное и тупое, что разъедало установившиеся формы и гасило в зародыше лучшие чувства. Сергей Иваныч с ужасом начал думать о том, что он теряет уважение и к жене, и к сестре, и к матери и смотрит на них глазами чужого человека, для которого они именно *другие,* лишенные теплоты личного чувства и покровительственного мужского глаза. Он точно уходил от них куда-то, и чем больше, тем дальше уходил.

Виновница всего переполоха была выселена в пустую дворницкую, которая находилась в садовом флигеле. Рядом жил Егор Спиридоныч. Он был очень огорчен этим соседством и угрюмо молчал при встречах с барином. Это уже окончательно взбесило Сергея Иваныча, и он заявил прямо:

— Уж вам-то стыдно, Егор Спиридоныч... Если бабы болтают глупости, так ведь на то они бабы, а вы мужчина...

— Это действительно, барин, что бабы, конечно... Однем словом, бабы — тут уж что говорить. «Здравствуй, крестный...» Это как, по-вашему? Хоть до кого доведись... одна мораль...

— Скажите вашему дворнику, что он дурак... да!.. Так и скажите...

— Уж это как вам будет угодно, барин...

— Да, да... Мне именно это угодно!.. А если вы будете повторять глупости, какие угодно говорить каждому встречному, я... я...

Сергей Иваныч сделал такой решительный жест, как человек, приготовившийся ко всему. Его возмущал садовник своей бараньей глупостью. Неглупый человек, обстоятельный, с настоящей русской сметкой, а тут точно на пень наехал. Сергей Иваныч опять готов был вспылить, но ему пришла в голову одна мысль, которая сразу осветила всю картину и сделала ясным тупое и злостное поведение Егора Спиридоныча. Садовник раньше немного ухаживал за Анисьей и, может быть, присматривал в ней на свой мужицкий глазомер настоящую хозяйственную бабу, а тут вдруг подвернулся какой-то трактирный «шестерка» и все нарушил. Сейчас, может быть, проявляла себя тяжелая мужицкая обида: Егор Спиридоныч хотел принять закон честь честью, а «шестерка» напустил озорства и погубил девку ни за грош.

Последнее соображение было не лишено истины. Твердого намерения жениться на Анисье Егор Спиридоныч не имел, а присматривать действительно присматривал. Когда «мораль» Анисьи обнаружилась, он почувствовал себя глубоко оскорбленным и даже сам верил, что хотел жениться именно на Анисье. Ему начало казаться, что и Анисья все знала и сделала по-своему назло ему, Егору Спиридонычу. И остальная прислуга все знала, как ему казалось, и он совестливо молчал, когда бабы при нем начинали честить Анисью,— все это он относил к себе. Получалось самое скверное положение, а тут еще барин точно назло поместил Анисью в его флигель.

— Ты теперь на барском положении, Егор Спиридоныч,— язвила скотница Домна.— Я у одних господ жила, так барин на одной половине, а барыня на другой.

Садовник побелел от злости и чуть не убил проклятую бабу.

Естественным выводом из этого положения была глухая ненависть Егора Спиридоныча к «шестерке». Между прочим, эта ненависть удержала его от запоя — он уже был близок к нему, подступала предательская глухая тоска, но мысль встретиться в «Голубке» с «шестеркой» Васькой удержала его. Неровен час, под пьяную руку как раз и порешить человека можно... Вот ежели бы так взловить «шестерку» — другое дело. Егор Спиридоныч отлично представлял себе картину, как «шестерка» крадется к ихнему забору, перелезает, и в этот момент его накрывают. Садовник даже бледнел, сжимая кулаки. Вот бы как под орех разделал холуя... А не озорничай, не наводи тень на порядочных людей, не балуйся. Разве это порядок дуру девку обмануть? Вон какое приданое ей приспособил.

Неотвязно занятый мыслью о возмездии «шестерке», Егор Спиридоныч дошел до мысли о настоящей интриге. Он ждал появления Васьки целых две недели, караулил по ночам, прислушивался к каждому шороху — и все напрасно. «Шестерка» не желал показываться. Это малодушие трактирного любовника окончательно возмутило Егора Спиридоныча. Какой же это человек: обманул девку, а тут и глаз не кажет. Она-то ведь по своему женскому малодушию, поди, еще о нем же тоскует и убивается.

— Надо его как-нибудь подманить, пса...— решил садовник.— Тоже это не модель: наозорничал и в кусты.

План был уже составлен. Самому Егору Спиридонычу идти в «Голубок» было неудобно, и он решил действовать через кучера Архипа. Вся беда, что очень уж простоват малый и как раз проврется не к месту. Пришлось подготовлять его несколько дней. Архип хмурил брови, потел и повторял одно:

— Уж в лучшем виде обернем, Егор Спиридоныч. Будьте без сумления...

— Да ты будто так, к слову... Понимаешь? Тоскует, мол, она-то... О тебе же, мол, убивается, идол. Понимаешь?

— Сколько угодно...

Егор Спиридоныч дал даже деньги Архипу, чтобы экспедиция была исполнена в настоящей форме: пришел в «Голубок», выпил стакан водки для куражу, а

потом подсел к столику Васьки и сразу пару пива. Ну, а потом то, се, и вся тень готова.

Архип всю первую половину исполнил в точности, даже прихватил третью бутылку пива, уже на свои, и вернулся домой пьяный.

— Ну что? — спрашивал его садовник.

— Да ничего... Увертлив больно Васька-то. Я ему, значит, обсказал про Анисью-то в полной форме: и тоскует, и убивается... да. А он ухмыльнулся и говорит: «О чем ей убиваться-то? Тем море не испоганилось, что пес налакал...»

Егор Спиридоныч понял только одно, что дал маху и что «шестерка» смеется над ними всеми. Видно, бывал в переделках, рвань коричневая, и своих следов боится. В довершение всего Архип под пьяную руку разболтал бабам о своем неудачном посольстве и ловком ответе трактирной «шестерки».

— И завсегда девка виновата...— тараторила Домна.— Теперь ступай, ищи ветра в поле. Известно, мужчинка свое удовольствие получил и сейчас, например, в кусты...

Эта бабья болтовня донеслась, конечно, до барыни, а барыня сейчас, конечно, барину. Сергей Иваныч только покачал головой и пожалел попавшего впросак Егора Спиридоныча.

— Они будут драться! — в ужасе повторяла Анна Петровна.— Еще и нас убьют... От этих зверей всего можно ожидать.

— Пустяки, ничего не будет,— успокаивал жену Сергей Иваныч.— Так, болтают зря... А что касается зверства, то это еще вопрос...

— И все это у нас в доме? И все из-за этой...

Анна Петровна даже не решилась выговорить то слово, каким прислуга называла Анисью, и только изнеможенно закрыла глаза. Сергею Иванычу стоило большого труда успокоить жену, причем он незаметно для самого себя принимал все более виноватый и глупо оправдывающийся тон.

6

Положение Анисьи, конечно, было хуже всех. Ведь все были против нее, и только один барин за нее. Да и эта барская заступа приносила только вред, еще больше поджигая других. Всего лучше было бы куда-нибудь

уйти, пока все кончится, а тут барина как раз обидишь. Приходилось думать теперь не об одной своей голове, а главным образом о том ребенке, который должен был явиться на свет чужим. Анисья инстинктивно крылась под барскую жалость, как истомленная зноем овца лезет в тень... Все-таки хоть один человек пожалел, а от остальных надо терпеть.

Анисья старалась никому не показываться на глаза и, когда не было работы в огороде, сидела в своей каморке, как пришитая. На глазах у барина, конечно, никто ничего не смел ей говорить, но зато все это с лихвой вымещалось за глазами. Ее изводили и травили всеми способами — бабы открыто, с тем ожесточением, с каким здоровые собаки рвут больную, а мужики с тяжелой и затаенной злобой. Анисье не давали проходу.

— Вон наша-то шпитонка идет! — выкрикивала Домна.— Небось мужнюю жену, которая в законе, никто не пожалеет... Конечно, наш барин прост и нашей женской части совсем даже не понимает, а то взял бы, как кошку, за хвост да об стену... Нечего тут модель-то разводить!..

— Сказывают, и «шестерка» к нам на фатеру собирается съезжать,— поддерживал кучер Архип.— Я, грит, с семейной радостью...

Все они знали, что Анисья никуда не пойдет жаловаться, и тешились вволю. Даже Егор Спиридоныч не упускал случая выразить свое презрение тем или другим способом. Когда Анисья полола в огороде картофель, он как будто невзначай швырял в нее чем попало, а потом снимал шапку и начинал извиняться.

— Простите, ваше превосходительство, что попал мало... Прическу вашу боялся испортить. Мы ведь старые мужики и совсем не понимаем тонкого трактирного обращения.

В ненастье, когда нельзя было работать на огороде, Анисья сидела у себя в каморке, и это было самое скверное время. За работой все-таки не так думалось, как тут, в полном одиночестве. Тихо кругом, а мысли в голове так и ноют, точно мыши скребут и точат где-то под полом. Раз, когда Анисья сидела одна, в отворенную дверь тихо вошла Буянка, вильнула хвостом и вопросительно остановилась. Ей было тоже тяжело, и она искала место, где устроить себе логово.

— Буянушка, милая...

Собака точно все понимала и только не умела сказать. Она стала приходить каждый день, а потом и совсем поселилась в каморке Анисьи. Девушка была рада живому существу и ухаживала за собакой, как за человеком. Буянка смотрела на нее такими ласковыми, умными глазами и благодарно взвизгивала. Эта дружба, конечно, не осталась незамеченной, и кучер Архип всякими способами старался не пустить Буянку во флигель, чтобы хотя этим досадить Анисье. Умная собака начала пробираться тайком и лизала руки Анисьи с радостным ворчаньем. Человек и собака понимали друг друга, и Анисья могла только завидовать Буянке, которую и берегли и жалели... Даже Домна и та поила ее молоком, а Васильевна в кухне сберегала каждую косточку.

— Теперь у нас во флигеле две барыни-собаки поселились,— кричал Архип на весь двор.— Уж которая лучше — и не разберешь...

Домна и Васильевна помирали со смеху, любуясь этим даровым представлением.

Буянка почему-то напоминала Анисье деревню, родные поля, тот убогий простор, среди которого она выросла. Раньше она как-то боялась даже думать о родном угле, для которого сейчас погибала навсегда. Деревенский мир строг и никогда не простит девичьего греха. Возврата не могло быть, и Анисью охватывало щемящее чувство бесповоротной оторванности. Да, с деревней все было кончено, оставался город, то есть опять служба у господ. И так на всю жизнь, пока господь не пошлет по душу... Анисья даже во сне видела эту деревню, видела старуху мать, которая ее проклинала дрожавшим голосом, видела зятя, который бил ее и топтал ногами, и она просыпалась от боли со стонами. Меньше всего она думала о Ваське. Сначала ей как-то было его жаль, а потом, когда он посмеялся над ней перед Архипом, чувство жалости сменилось ненавистью. А она еще так любила его, слушала ласковые наговоры и не пожалела себя... Ей хотелось увидать его и сказать всего одно словечко: «Ах, Вася, Вася, нехорошо! Посмеялся ты над непокрытой девичьей головой, мил-сердечный друг...»

Было еще одно кровное огорчение у Анисьи, именно, когда господа наняли на ее место новую горничную. Это была чухонка Ида, простая и добрая девушка, которая не присоединилась к общей травле и держала себя особ-

нячком. Прислуга ее невзлюбила и навеличивала «чухонской таратайкой». Она в свободную минуту завертывала во флигель к Анисье и любила даже поболтать о господах. Через нее Анисья знала решительно все, что делается в доме. Молодая барыня уже должна была скоро «разродиться», и все готовились к этому событию. Каждый день из города приезжал дорогой доктор,— он ездил по пути, потому что «Шикова жена» тоже, думали, была беременна. Доктора принимали с большим почетом, и барин сам выскакивал отворять дверь.

— Седенький такой старичок, а строгий,— рассказывала Ида со своим чухонским акцентом.— Он из наших, из немцев... Все заставляет барыню гулять, а она ленится. Потом есть запрещает... А наш барин уж так ухаживает за барыней, так ухаживает...

— А как Шикова жена? Она ведь уж двух мертвеньких выкинула...

— Пока еще ничего не известно. Доктор очень старается... А я так думаю, что опять ничего не выйдет у Шиковой жены. Очень уж раскормила себя... Как только придет к нам, наша барыня сейчас все прячет: рубашки, пеленки, кофточки, чепчики... Все приданое ребенку готовят и не хотят ее огорчать.

Жена Шика была институтской подругой Анны Петровны и Ирочки. Судьба их опять свела. Эта m-me Шик была цветущая тридцатилетняя женщина, очень красивая и умная. Она вышла замуж за сорокалетнего мужчину, и неравенство лет сказывалось в том, что дети рождались мертвыми. Это убивало в корне то приличное семейное счастье, которое дает богатство. Шик был богат, баловал жену, как дорогую куколку, и страстно желал иметь детей. Но у этой четы было все, кроме детей. Какое-то скрытое и упорное несчастье тяготело над богатым домом, и «Шикова жена» завидовала тем бедным женщинам, которые рожали детей с проклятиями, как лишнюю обузу и непосильную заботу.

На ферме действительно шли усиленные приготовления к грядущему счастью. Старушка Елена Александровна таинственно запиралась у себя в комнате, и слышно было, как неустанно трещала швейная машинка, этот железный сверчок, подаренный культурной женщине цивилизацией последних дней. Из-под машинки выходили детские чепчики, распашонки, простыньки — все то, что является коконом имеющей появиться на

свет человеческой личинки. За работой так хорошо думается. Лицо Елены Александровны принимало такое хорошее, спокойное выражение, как бывает у женщин в период материнства. Это настроение портилось только мыслью об Анисье и упрямстве Сережи. Последнего старушка никак не могла понять, хотя по свойственной старушкам политичности она делала вид, что мирится с фактом. Однажды в минуту раздумья Елена Александровна сделала генеральную ревизию уже готовому детскому приданому и убедилась, что переработала. Для одного ребенка всего было наготовлено слишком много, а кроме того, накопилось столько ни к чему не нужных остатков. Потом Сережа уже несколько раз в разговорах высказывал очень определенно, что современные матери делают из своих детей разряженных кукол и что это своего рода разврат,— он всегда выражался резко. Результатом этих соображений было то, что старушка позвала горничную Иду и, сунув ей какой-то сверток, брезгливо проговорила:

— Ида, вы снесете это т о й...

Чухонка понимала с полуслова и полетела во флигель к Анисье. Этот неожиданный подарок от старой барыни даже как-то испугал Анисью, и она долго не решалась развернуть сверток.

— Да это тебе, глупая,— объясняла Ида, разбирая обрезки полотна, бязи и бумазеи.— Тоже и у господ есть совесть... Вон, смотри — две рубашонки, три пеленки, чепчик. Это она для образца положила, а ты по ним, значит, остальное сама сошьешь...

— А я ничего не умею, Ида...

— Ну, я тебя выучу... Вот бы машинку — я и на машинке умею. Ну да ничего, и на руках сошьешь, а я скрою тебе.

В этой подачке, упавшей от сытого барского довольства, было что-то обидное, что Анисья чувствовала инстинктом не утратившего своей деревенской свежести сердца, и поэтому она долго не могла приняться за работу по-настоящему. Да и не шли эти дорогие по-деревенски тряпки будущему сироте, который будет и голодать и холодать по чужим людям. Анисья видела самое себя, как она куда-то несет своего будущего ребенка, неизвестно куда несет, и ее вперед охватывало жгучее и щемящее чувство жалости. Вот и чепчик, и рубашонка, и пеленка уже готовы, чтобы осуществилась эта жесто-

кая сцена. Дальше Анисья видела, как все вздохнут свободно, когда избавятся от этого маленького врага, и она сделается прежней Анисьей. Он еще не родился, а над этой невинной детской головкой уже сгустилась целая туча слепой и бессмысленной злобы. Он всем мешал, и даже добрый барин будет рад, когда этого врага не будет. Анисья, конечно, не могла точно формулировать свои мысли, но это не мешало ей отлично все понимать и чувствовать. Да, все будут рады, даже отец... Зачем же все радуются, когда родится теленок, когда курица выведет своих цыплят, даже когда Буянка принесет целое гнездо щенят? Все будут их ласкать, кормить из рук, и только один ребенок всем мешает... В душе Анисьи складывалось и постепенно крепло чувство протеста вот против них, и в ней накипала жажда отчаянной защиты. Будь что будет, а своего детища она не даст в обиду. Будет с нее ее девичьего стыда, а ребеночек не виноват. В нем такая же ангельская душенька, как и в других детках. Бог с нее взыщет грех, а дети не виноваты.

7

Предчувствием грядущего материнства был охвачен весь дом. Волновались все включительно до старухи Васильевны, шептавшей в своей кухне:

— Ох, устрой, господи, все благополучно...

По наружному виду всех спокойнее казалась Елена Александровна. Она имела вид человека, до поры до времени затаившего в себе такую хорошую и счастливую радость. Она даже точно помолодела, переживая в дородовых перипетиях свою собственную юность, и вперед уже любила то неизвестное, что должно было появиться не сегодня-завтра. Напротив, Сергей Иваныч начинал волноваться с каждым днем все больше, как-то глупо терялся и делал испуганное лицо при малейшем поводе. Он был счастливо-виноват и точно боялся быстро назревавшего счастья. Теперь уже говорили в доме о ребенке, решали неразрешимый вопрос, будет это мальчик или девочка, выбирали имена и даже предрешали будущий характер этого будущего человека.

— Я желаю только одного,— говорила Елена Александровна,— именно, чтобы он не усвоил вспыльчивый характер отца... Это несчастие.

Все женщины без исключения желали иметь мальчика, и это возмущало Сергея Иваныча. Почему же не девочка? Гораздо лучше девочка, чем мальчик. Он видел столько хорошеньких девчурок и любовался ими издали. На них такие смешные капоры, пальтишки и платьица. Будущая мать пока относилась безразлично и к мальчику и к девочке, вся охваченная страхом близившихся страданий и опасности. Она или капризничала, или делалась жалко-покорной. Последнее убивало Сергея Иваныча, потому что требовалась не покорность, а энергия, сосредоточенность всех сил и спокойная уверенность. Он презирал за невольное малодушие самого себя и старался казаться таким же спокойным, как мать, хотя это и плохо ему удавалось. Несколько раз жена будила его по ночам и говорила упавшим голосом:

— Сережа, когда я умру... я знаю, что умру!.. ты не оставляй нашего ребенка... Я понимаю, что ты еще молод... и когда будешь жениться...

— Аня, разве можно говорить такие вещи?

— Ты видишь, что я рассуждаю совершенно спокойно, и тоже не волнуйся. В каждом деле прежде всего нужно видеть его дурную сторону, и я уже вперед все пережила... да. Люди всегда останутся людьми, и в этом нет ничего дурного, если вдовец...

— Аня, ради бога... Как же родятся дети где-нибудь в подвалах, в деревенских избах, в поле? Ведь у нас приняты решительно все меры, какие только известны медицине и практике... Да возьми хоть ту же Анисью...

— Опять Анисья? Вот она родит и останется жива, а я умру...

— Что же, она, по-твоему, не такая же женщина, как и ты?

— Конечно, не такая... Эти простые женщины привыкли ко всему, а я не выношу малейшей физической боли. У них другие нервы...

В данном случае Анна Петровна была права. Сергей Иваныч потихоньку издали иногда наблюдал Анисью, когда она работала в огороде, и приходил к тому же заключению. Правда, в ней не было холеной женственности культурной женщины, не было «поэзии форм», но зато это суховатое крестьянское тело с широкою костью и тощими жировыми отложениями было прекрасно приспособлено к сопротивлению, выносливо и вполне удов-

летворяло истинным целям природы. Широкая кость, сухощавый склад, могучая спина, не испорченная корсетом грудь и талия — все было как на заказ. Вся цель всего склада и отдельных форм тела культурной женщины — нравиться культурному мужчине, потворствуя его изысканному вкусу и в прямой ущерб самому себе как зоологическому виду. Эти тонкие талии, подпертая корсетом грудь, пышные бедра, маленькие ноги — эти условно-красивые формы развивались в ущерб здоровой, простой общей гармонии здорового женского тела. Отчего эти молодые жирные женщины с тонкими талиями, как m-me Шик, не могли даже рожать, что зависело не от их воли, а не то что работать «до тех пор», как это делает Анисья? Целым рядом поколений, подлаживаясь к развратным вкусам культурного мужчины, культурная женщина превратилась почти в существо среднего рода. Она постепенно утратила не только всякую способность к физическому труду (тонкие руки, тонкое запястье и длинная тонкая кисть), но даже простую привычку ходить и вообще двигаться. Искусственным способом создавались какие-то бесполезные идолы, которым культурный мужчина усиленно поклонялся, воспевая их выгнанные тепличным воспитанием формы даже в стихах. Сергей Иваныч только сейчас, под давлением своего исключительного настроения, усмотрел все это и ловил самого себя, припоминая, что ему нравилось больше всего в жене, когда она была девушкой. Да, у нее был хороший рост, тонкие руки, красивый бюст, вообще все, что так вульгарно называется пышными формами. Но все это имело только значение лакомой и жирной приманки, а женщины он в ней не видел, той настоящей женщины, которая в будущем должна была сделаться нормальной матерью. И вот теперь эти бессильные руки окончательно опускались, маленькие ноги не могли ходить, испорченный корсетом торс точно был налит болью. Это была какая-то пародия женщины, и Сергей Иваныч болел за жену, проклиная тепличное воспитание и условную красоту. Культурные красавицы теперь напоминали ему те ранние, выгнанные в оранжереях цветы, которые нужно опрыскивать соответствующими их ботанической номенклатуре духами, чтобы они походили на действительно живые цветы.

Но нет такого положения, из которого не было бы выхода, и лучшим утешением служит более скверное

положение другого. Так было и здесь. Когда Анна Петровна начинала говорить о смерти и плакать, ее утешали положением m-me Шик, которая переносила такие же страдания совершенно напрасно. Сергей Иваныч сам доходил до такой логики, за которую потом краснел. Ведь чужие глупости еще не делают нас умнее, как сказал Наполеон, так и чужие несчастия не должны делать нас счастливее. Адя Шик была подругой Анны Петровны по институту и вышла по немецкой покорности замуж за человека «зрелого возраста», которого никогда не любила. Она любила бывать у Колосовых, где не было роскоши и богатства, как у нее, но зато всегда было так уютно и как-то тепло. Эта немочка Адя, не испытавшая настоящего чувства, и в тридцать лет сохранила какое-то запоздалое девичество и совсем не походила на замужнюю женщину. На ферме ее все любили, а дамы принимали особенное участие в ее судьбе, потому что у Ади много лет с чисто немецким терпением разыгрывался свой роман. На фабрике Шика служил механиком Иван Иванович, совсем русский человек, который был влюблен в Адю, когда она еще училась в институте. Она тоже любила его, но вышла за другого, чтобы не огорчать своей семьи. Иван Иванович так и остался холостяком, продолжая любить Адю на самом благородном расстоянии. Это был простой и душевный человек, вынесший тяжелую школу. Анна Петровна была давно посвящена в тайну Ади и относилась к неудачным влюбленным с покровительством счастливой женщины.

Особенно трогательно было видеть Ивана Иваныча, как он волновался в периоды беременности Ади. Он прибегал к Анне Петровне и при ней выплакивал свое горе.

— Бедная, как она мучится! — повторял он, хватаясь за голову.

Все это было так трогательно, что Анна Петровна, утешая Ивана Иваныча, и сама любила всплакнуть. И теперь он приходил каждый вечер и смотрел на Анну Петровну какими-то умоляющими глазами, не смея проявить свои бурные чувства, как бывало это прежде.

Оставалось загадкой одно — знал сам Шик о романе своей Ади или не знал? Это был выдержанный и строгий немец, пробивший себе дорогу из простых мастеров. Он уважал только силу, в чем бы она ни проявлялась, и на этом основании сам давил все кругом, как тоже сила в

своем роде. У Колосовых с ним были только официальные отношения,— вели знакомство дамы, а мужчины только обменивались обязательными визитами. Сергей Иваныч не любил немца, чувствуя, что тот снисходительно его презирает, как беспардонного русского человека, у которого непременно дыра в голове. Из дам уважала Шика одна Елена Александровна как примерного мужа и строгого человека. Из-за него у нее выходили постоянные споры с сыном.

Между прочим, Иван Иваныч по арифметике Елены Александровны числился возможным женихом Ирочки. Конечно, он немолод, а мужчина хоть куда. Ирочка и сама находила его интересным и потихоньку ревновала к этой ряпушке Аде. Да, он умел любить, хотя и поместил свой капитал не в тот банк. Сейчас Ирочка относилась к Ивану Иванычу с особенным вниманием, видимо, стараясь заместить Анну Петровну, что ей плохо удавалось. Разговор как-то не налаживался в настоящий душевный тон, и все выходило сухо и натянуто. Иван Иваныч ежился, смущался и неловко молчал, что злило Ирочку, и она про себя называла его влюбленным идиотом.

Положение Ирочки вообще получалось невозможное. Кругом нее сгущалась атмосфера совершенно чуждых ей чувств, и она начинала чувствовать себя чужой. Ее удивляло то страстное внимание, с которым все ожидали появления ребенка. Что же тут особенного? Очень грустная зоологическая правда, и только. Ирочка не выносила беременных женщин и даже боялась их. Встречая такую особу где-нибудь на улице, она брезгливо переходила на другую сторону. Это брезгливое чувство она перенесла и на Анну Петровну, которая из человека превращалась в самку и с каждым днем наполнялась все больше и больше самочьими чувствами. И к будущему ребенку Ирочка относилась с той же брезгливостью. Разве можно любить этот бессмысленный кусок живого мяса? И вместе с тем в ней просыпалась какая-то ревность к чужой радости и к чужому счастью. Поднималось что-то такое обидное, неудовлетворенное. Раньше она и к мужчинам относилась с некоторой брезгливостью, как к существам грубым и даже неприличным, а сейчас в ней проснулось смутное желание мужской ласки и даже грубого мужского эгоизма. Что же, вон те простые бабы, которых простые мужики бьют и уве-

чат, все-таки по-своему любят, и они по-своему счастливы; эти простые бабы нужны, и около них амальгамируется новая жизнь и новые формы жизни. Ирочка волновалась, и ей начинало казаться, что все, что теперь делается у них в доме, делается именно назло ей, чтобы показать ее, Ирочкину, зоологическую бесполезность. Уж лучше Иван Иваныч, хотя он и идиот...

8

Лето промелькнуло как-то незаметно, точно спешило самое время. К концу лета на ферме появилось новое лицо. Это была рекомендованная доктором акушерка. Она явилась с каким-то подозрительным чемоданом и навела строгую ревизию по всему дому. Анна Петровна окончательно упала духом и почувствовала себя какой-то вещью, которой могут распоряжаться все по своему произволу. Она с ужасом смотрела на строгое и спокойное по-монашески лицо акушерки, точно хотела на нем прочитать свой смертный приговор. К своей пациентке и даже к Ирочке акушерка относилась покровительственно. Ирочку это уже окончательно возмутило. Она придралась к чему-то, наговорила акушерке резкостей и величественно заявила:

— Вы тут, кажется, все с ума сошли, и мне ничего не остается, как только уйти.

— Самое лучшее, что ты сделаешь,— спокойно ответила Елена Александровна, вынужденная всех мирить и успокаивать.

— Вы меня гоните?

— Никто не думал... Тебе, как девушке, просто неудобно оставаться на это время, а потом вернешься. Впрочем, если хочешь — оставайся...

— Благодарю вас... Я просто не могу видеть эту вашу акушерку, мама.

— Да? Что же я поделаю... Ее прислал доктор, а мы не можем взять другую.

— У нас в доме теперь будут распоряжаться чужие люди... Этого еще недоставало.

Ирочка уехала в Петербург к знакомым. Анна Петровна прощалась с ней со слезами и все говорила о своей скорой смерти.

Сергей Иваныч находился в каком-то оглушенном состоянии и только старался об одном, чтобы всем уго-

дить. В доме наступило теперь царство женщин, и они помыкали им. Он должен был скрывать свои симпатии и антипатии. Например, как отвратительно пьет свой чай эта акушерка, стаканов по пять зараз, и притом с таким видом, точно всем делает какое-то величайшее одолжение. Это не женщина, а какая-то дудка. Елена Александровна присутствовала при этой торжественной церемонии в качестве ассистента, и Сергей Иваныч мог только удивляться ее терпению. О боже мой, когда же все это кончится? Избалованная всеми домашними, Анна Петровна должна была выносить от этой особы замечания и даже настоящие выговоры и не смела жаловаться. Потом Сергея Иваныча начинал возмущать доктор, который, видимо, манкировал своими прямыми обязанностями, то есть оставался таким же бесстрастным и равнодушным, точно сушеная рыба. Нараставшая тревога Сергея Иваныча не находила отклика в этих чужих людях, когда каждый час мог быть решительным.

— Будем подождать...— повторял каждый раз доктор, прощаясь.

Катастрофа наступила все-таки неожиданно, как ни были подготовлены к ней. Это было что-то невозможное, ужасное, несправедливое... Анна Петровна мучилась целых тридцать часов и ослабела до того, что даже не могла кричать. Дом весь замер. Сергей Иваныч порывался к жене, но его прямо гнали. Он только волновал бы ее напрасно.

— Самое лучшеее, если бы вы куда-нибудь ушли,— резко заметил ему доктор.— А мы уж разрешим без вас...

Наконец все кончилось. Сергей Иваныч до того измучился, что даже не имел силы радоваться, когда акушерка принесла ему что-то такое маленькое, жалкое и пищавшее, как котенок, и торжественно заявила:

— Мальчик... поздравляю.

Больная была настолько слаба, что отнеслась и к ребенку и к мужу совершенно равнодушно. Сергею Иванычу хотелось и плакать, и молиться, и даже расцеловать акушерку. Над головой пронеслась темной тучей какая-то громадная опасность, а в жизнь фермы ворвалось что-то такое громадное, ответственное и радостное, что бесповоротно нарушало весь установившийся строй. Требовалась какая-то капитальная проверка самых основ, самого себя, взаимных отношений. И как ничтожны все эти будничные пустяки, которые мы при-

выкли называть жизнью, когда живьем встала настоящая огромность настоящей жизни. Недаром сказал поэт, что с каждым человеком родится и умирает вселенная.

Да, жизнь получала новый смысл и значение.

После перенесенных тревог весь дом опять замер. Утомившиеся женщины спали, и бодрствовала только одна акушерка, блаженствуя около самовара. Сергей Иваныч не мог спать и сидел у себя в кабинете, производя ревизию всему своему прошлому. По происхождению он был разорившийся дворянин и получил тоже какое-то «разоренное» образование, потому что нигде не кончил. Потом наступил тот период, когда молодые люди выбирают «род жизни». Сергей Иваныч перепробовал несколько родов службы и понял из этого опыта только одно, что из него никогда не выйдет ни порядочный чиновник, ни вообще службист. «Род жизни» не давался до тридцати лет, когда Сергей Иваныч получил небольшое наследство от какой-то тетки. Тогда у него явилась счастливая мысль устроить ферму под самым Петербургом. Он женился и приступил к делу. Знакомые вышучивали его в глаза и смеялись за спиной, но дело оказалось верным. Оправдывались самые смелые расчеты, а главное, получалась возможность жить совершенно независимой жизнью, зарабатывая свой кусок хлеба честным путем. Восьмилетний опыт этого фермерства дал блестящие результаты.

Сидя теперь у письменного стола и подводя итоги своему прошлому, Сергей Иваныч приходил в ужас от одной мысли, что было бы, если б он был каким-нибудь чиновником. Ведь всякая профессия обязательно накладывает свою печать, а его сын вырос бы в удушливой и мертвой атмосфере чиновничьей семьи, среди чиновничьих интересов и под влиянием чиновника отца, для которого альфа и омега всей жизни в каком-нибудь начальнике отделения. А теперь он будет расти в самой нормальной обстановке, среди здоровых интересов, забот и стремлений и не будет знать ни принижающей приличной нищеты, ни развращающей роскоши.

Стояло осеннее утро, светлое и холодное. Из окна кабинета Сергея Иваныча видны были пожелтевшие листья садовых деревьев и красные кисти рябины. Он любил это время, которое говорит об отдыхе от летних работ, о своем угле и домашней уютной работе. Работы в огороде заканчивались. Лето вышло удачное, и впере-

ди предвиделись порядочные барыши. Вообще, хорошо. Сергей Иваныч чувствовал себя отлично. Сегодня Анна Петровна должна была встать в первый раз с постели. Ребенок был тоже здоров. Одним словом, все хорошо.

— Можно войти, Сережа? — послышался голос Елены Александровны.

— Пожалуйста...

Старушка вошла с встревоженным лицом, что напугало Сергея Иваныча сразу — он за последнее время так привык всего бояться.

— Ничего, ничего,— поспешила она его успокоить.— Аня хорошо провела ночь, ребенок тоже... да.

Он продолжал смотреть на нее вопросительно. Елена Александровна с деловой торжественностью объяснила:

— Одним словом, эта девушка тоже родила... да... Сегодня ночью... да.

— Ну и что же?

— Я нарочно и пришла спросить тебя, что теперь делать. Ведь это было твое желание, чтобы Анисья оставалась у нас.

— Да, да... Хорошо. Я подумаю, мама.

Напоминание об Анисье было неприятно Сергею Иванычу, нарушая его общее радостное настроение. Она являлась резкой диссонирующей нотой в общей гармонии и портила все. За последнее время Сергей Иваныч как-то совсем забыл о существовании Анисьи и теперь только морщил лоб, а потом спросил ни к чему:

— А кто родился: мальчик или девочка?

— К несчастью, девчонка...

— Почему к несчастью?

— Сережа, ты меня удивляешь своим упорным нежеланием что-нибудь понимать. Поговорим спокойно...

Она присела к столу, оправила платье и заговорила уверенным тоном человека, обдумавшего вперед все.

— Меня удивляет, что ты, Сережа, принимаешь нас за каких-то зверей... Конечно, есть жестокие вещи, я не спорю, но ведь мы никому не желаем зла, поверь мне. Почему-то ты непременно хочешь взять привилегию доброты одному себе... Я много думала об этой несчастной девушке, жалела ее и все-таки должна сказать, что поощрять подобное поведение никак не могу. Как хочешь, мы все-таки живем в известное время и уже тем самым обязаны подчиняться известным правилам общежития.

Да... Если женская прислуга будет награждать нас каждый год подобными сюрпризами...

— Это уже я слышал, мама, а в чем особенное несчастие, что у Анисьи родилась девочка?

— Подожди... Кстати, Адя опять неблагополучно родила мертвого. Да... Так мы и думаем с Аней... Есть такое русское поверье, что если бездетные супруги возьмут приемыша, то у них появятся и свои дети. Мы и думали с Аней подговорить Адю взять ребенка Анисьи на воспитание и даже намекали ей на это, но вся беда, что родился не мальчик, а девочка. Мальчика Шик, вероятно, взял бы охотно, а девочку едва ли согласится...

— Опять не понимаю, мама...

— Опять все очень просто, Сережа. Мальчик может быть каким угодно, а девочек любят только красивых. Едва ли дочь трактирного «шестерки» будет красавицей... Вдобавок Шик через кого-то знает уже все подробности романа Анисьи. Будь отец неизвестен — тогда другое дело...

Сергей Иваныч сдвинул брови и, пародируя спокойный тон матери, проговорил:

— По-моему, мама, самое лучшее выбросить эту несчастную девочку куда-нибудь в помойную яму...

— Ты опять раздражаешься, Сережа... Если бы Анисья поместила свою девочку на воспитание, тогда мы могли бы ее взять к себе кормилицей. Я плохо рассчитываю на Аню в этом случае — ей не выдержать... Все дело в том, что родилась девочка.

9

Вопрос об Анисье выступил опять на первый план, и выступил с новой силой. В его обсуждении принимали участие все, каждый со своей точки зрения. Теперь уже речь шла не о ней одной, а и о ребенке. Этот ребенок всех волновал. Анисья, конечно, виновата, Анисья несет кару за ошибку своей молодости, Анисья, вообще, должна тем или иным что-то такое искупить, выстрадать и перенести, а ребенок — тут являлась какая-то глухая стена для всякой логики. Прежней страстности в разговорах на эту тему уже не могло быть, потому что сейчас же все сводилось на ребенка. В самом деле, чем же виноват этот несчастный ребенок?

— Я охотно взяла бы Анисью кормилицей,— говори-

ла Анна Петровна, точно делала величайшее одолжение,— но меня будет мучить этот ребенок...

— А если возьмем другую кормилицу, ведь и у той тоже должен быть ребенок? — спросил Сергей Иваныч.

— Там я ничего не знаю, а только предполагаю. Здесь же я буду постоянно думать, что мой ребенок отнимает материнское молоко у другого, известного мне ребенка... Это будет мне отравлять все.

Получался безвыходный круг заключений, и дело оставалось на какой-то мертвой точке. Сергей Иваныч чувствовал себя как-то виноватым, когда начинал думать об этом ребенке Аниси, да и другие тоже. В жизнь, размеренную и оформленную, врывалось что-то такое обидно противоречившее всему. Те радости, которые принес с собой ребенок, были отравлены в самом основании. Поднималось смутное и неопределенное сомнение в правоте и законности собственного существования, когда тут, рядом, под одной кровлей, явилось человеческое существо с позорным клеймом незаконного ребенка без отца.

Приехавший поздравить Колосовых с новорожденным герр Шик, подтянутый и корректный немец, оказывавший благодеяние всей планетной системе каждым своим дыханием, возмутил Сергея Иваныча до последней степени.

— Я не понимаю, чем вы себя волнуете,— удивлялся герр Шик.— Все русские люди любят считать себя добрыми, но возьмите такой расчет: сегодня вы будете воспитывать дитя вашей Аниси... так? А завтра у вас явится такая мысль: чем лучше этот ребенок других, еще более несчастных детей? Нужно быть последовательным, герр Колосов. Каждый отвечает только за себя.

— Нет, вы ошибаетесь, герр Шик! — горячо вступился Сергей Иваныч, вспыхнув.— Все зависит от точки зрения... Вы смотрите на людей как на машины, которые могут давать тот или другой процент выгодной работы.

— А то как же? Раз человек теряет трудоспособность, ему нужно умирать. И в борьбе за существование это сказано ясно...

— Закон борьбы за существование констатирует только самый несправедливый факт, известную ступень зоологической беспощадной правды, но он не мешает мне чувствовать существующее зло и чувствовать желание бороться с ним.

— И в чувствах нужно, герр Колосов, быть таким же хозяином, каким я у себя на фабрике, а вы у себя в огороде.

— Мы с вами никогда не поймем друг друга...

— Весьма жаль. А для меня все совершенно ясно. Все в природе устроено на определенном законном основании, и я хочу жить тоже на определенном законном основании.

С несправедливостью увлеченного человека Сергей Иваныч сосредоточил всю свою ненависть на спичечном фабриканте, который для него являлся живым олицетворением всех социальных зол и несправедливостей. Да, вот эта корректная скотина могла и есть и спать спокойно и благодарила, вероятно, своего немецкого бога, что она родилась именно корректной немецкой скотиной «на законном основании». Это был какой-то ходячий смертный приговор всему выбитому из законной колеи. Человечество проходило по какому-то роковому мосту, и всякий оступившийся летел в бездну беззакония, где и погибал уже на законном основании, что «сказано и в борьбе за существование». Просто, мило и удобно...

Возмущаясь этой немецкой корректностью, Сергей Иваныч начинал думать о самом себе, что и он ведь тоже по-своему корректен. В самом деле, еще на днях он про себя восторгался своей фермой, удачными хозяйственными операциями, а когда дело дошло до того, чтобы прокормить мать с ребенком, явилась целая масса проклятых вопросов.

— Кислятина я и дрянь, и больше ничего! — заявлял Сергей Иваныч самому себе.— А еще немца ругаю... Он уж потому прав, что знает, что делает, как права машина, которая дробит кости незаконно попавшемуся под ее колеса легкомысленному человечишке.

Про себя Сергей Иваныч решил твердо, что оставит Анисью с ребенком по-прежнему во флигеле. Пусть ее живет, а там, когда ребенок подрастет, будет видно... Да, именно так. А что касается тайного и явного протеста всех остальных членов фермы, то просто нужно пустить в ход дипломатию выжидания. Все дело только в том, чтобы так или иначе выиграть время. Даже, кажется, какой-то великий стратег, искромсавший миллион людей, сказал это же самое.

Впрочем, дамы, охваченные материнским инстинктом,

не особенно приставали к Анисье. Дело дошло до того, что раз вечером, когда приехала Адя, они потихоньку отправились посмотреть Анисьина ребенка. Когда в комнату вошли Анна Петровна, Адя и Ирочка, Анисья, сидевшая с ребенком у печки, страшно сконфузилась и даже закрыла ребенка рукой, точно пришли его отнимать у нее.

— Ну-ка, покажи нам свою девочку...— храбро заявила Ирочка.

Нужно сказать, что дамы, отправляясь в эту экспедицию, сильно трусили. Флигель, вообще, был окружен какой-то таинственностью, как гнездилище порока. Особенно боялась Адя, и чем больше боялась, тем сильнее было желание посмотреть на таинственного ребенка, который мог быть ее воспитанницей. Мысленно она уже одевала эту неизвестную девочку в нарядные капотики с дорогими прошивками, в модные детские шинельки с пелеринками, отделанными настоящим кружевом, и т. д.

Анисья открыла пеленки, из которых выставились сначала две крошечные ручонки, а потом сморщенное личико двухнедельного ребенка с синими глазками. Ирочка храбро взяла одну маленькую ручку и щелкнула языком. Ребенок еще ничего не понимал и только судорожно дергал ручками.

— Какая хорошенькая девочка...— со вздохом прошептала Адя.— Как ее зовут, Анисья?

— Дарьей, барыня...

Анна Петровна молча сравнивала ребенка со своим и с гордостью подумала, что ее Вадим и больше и красивее. Сказался возраставший по часам материнский эгоизм.

Адя все время наблюдала ребенка издали. Она присела на лавку и внимательно осмотрела всю комнату, которая была совершенно пуста. В переднем углу стол, по сторонам лавки — и больше ровно ничего. Из-под лавки выглядывал красный сундук Анисьи, на окне стояла кринка с молоком, на шестке стояло несколько горшков. Пусто, неуютно и голо. Адя боялась посмотреть на ребенка, как боятся смотреть на дно пропасти,— боялась, и вместе ее тянуло к нему. Наконец она пересилила себя, подошла к Анисье и проговорила сдавленным голосом:

— Дай, я ее подержу немножко...

Ребенок был такой легонький и так мило начал кор-

читься в неумелых руках. Адя наклонилась к этому маленькому личику и принялась его целовать, не чувствуя, как сыплются слезы.

— Адя, оставь...— уговаривала ее Анна Петровна.— Довольно...

Ирочка вовремя взяла ребенка из рук Ади и передала его Анисье, которая не понимала, что все это значит. Адя отвернулась к окну и глухо рыдала. В этой голой избе было больше счастья, чем в ее разубранных комнатах...

— Адя, милая, уйдем...

С Адей сделался истерический припадок. Она смеялась и плакала и все рвалась к ребенку. Ирочка успела сбегать за водой и начала ее отпаивать. Стакан дрожал в руках Ади как живой, и вода лилась на ее нарядное платье. Эта сцена испугала Анисью, и она, отвернувшись, как-то всем телом прикрыла ребенка. Ей казалось, что вот его отнимут и унесут, сейчас унесут, и она останется опять одна.

— Адя, милая, успокойся...

— Господи, за что?! — шептала несчастная немочка.— Как я несчастна, как я несчастна...

Анна Петровна и Ирочка под руки повели ее к двери, но Адя вырвалась, подошла к Анисье и сунула ей свой кошелек с деньгами.

— Барыня, что вы... Мне ничего не нужно.

— Не тебе, а девочке... Ах, как я несчастна! Боже, за что?..

Ее увели насильно, и Анисья слышала, как она плакала в сенях и как ее уговаривали барыня с барышней. Анисья тоже расплакалась, укачивая ребенка и держа в одной руке кошелек, о котором совсем позабыла. Ей было до смерти жаль эту добрую несчастную немочку...

В гостиной сидел в обществе Елены Александровны Иван Иваныч. Он сразу понял все, когда вошла Адя с заплаканными глазами. Да, он знал, где она была и о чем плакала... Ирочка посмотрела на этого неисправимого идиота ревнивыми глазами и демонстративно прошла в свою комнату. Елена Александровна строго поджала губы,— она не любила, когда Адя встречалась с Иваном Иванычем у них в доме. Ведь это могли быть условленные свидания, а дома сидит примерный муж и верит своей Аде. Положим, они ничего себе не позволяли, но во всяком случае это нужно было прекратить.

10

Анисью «разрешила» скотница Домна, умевшая «бабиться». Она появилась в самый критический момент, когда Анисье приходил «у смерти конец». Это не было каким-нибудь актом особенного великодушия, а самым обыкновенным проявлением бабьей взаимопомощи. Ежели Анисья «мается», значит, нужно ей помочь, тем более что Домна знала, как и чем помочь.

— Ох, потерпи, Анисьюшка,— нашептывала Домна, отваживаясь с больной.— Такая уж, видно, наша бабья часть... Как быть-то. А то кричи на голос — это помогает в другой раз.

Через несколько часов все кончилось самым благополучным образом, и Домна целых три дня водилась с ребенком, пока Анисья на четвертый день не встала. Нужное бабье дело кончилось, и добрая, ухаживавшая Домна сразу превратилась в сварливую и несносную бабу.

Когда Анисья начала ее благодарить, Домна даже как-то фыркнула, как одичавшая кошка, и проговорила:

— Не надо мне твоих-то благодарностев. Не шубу из них шить... Да и не для тебя, потаскушка, я старалась, а для бога.

Теперь уж Анисья больше не обижалась на эту сварливую бабу. Ведь по-своему, по-бабьи, она все сделала, что могла и умела, а потом опять вся отдалась общественному течению и приличиям света. Вероятно, и сама Анисья так же осудила бы раньше всякую другую девушку, да и осуждала не раз, а теперь как Домна золотила ее во дворе, а кучер Архип надрывал животики от смеха.

— Крестницу бог дал с бору да с сосенки,— язвила Домна.

Анисье много помогала Ида, летевшая во флигель в каждую свободную минутку. Она ухаживала и за матерью и за ребенком, а по дороге успевала поругаться с Домной.

— Уж ты помалкивай лучше, чухонская таратайка! — ругалась Домна.— Одна у вас вера-то с Анисьей...

— А вас это не касается... Вы себя знайте.

По вечерам Архип выходил к сараю с гармоникой и мрачно выжидал, когда покажется белый крахмаль-

ный передник Иды. Завидев ее, он заводил какой-то невозможный мотив и подпевал:

Отворите мне темницу...

В переводе это означало, что сердце Архипа почувствовало большую склонность к белому крахмальному переднику. Эта явная измена постоянного сообщника обозлила Домну до того, что она облила его коровьим пойлом и запустила в ноги пустым ведром.

— Вот тебе, ухвальник!..

— У, ржавчина...— рычал Архип.

Кончилось тем, что союз окончательно расстроился, и Домна сама отправилась во флигель к Анисье, чтобы сорвать сердце.

— Пришла на тебя поглядеть, краля,— грубо заявила она.

Анисья молчала. Она больше не могла сердиться на Домну.

Тоже ведь и ей, Домне, не сладко живется в законе — вот и злится и лезет ко всем, как осенняя муха.

— Ну, что крестница-то? — уже другим тоном заговорила Домна, что-то соображая.

— Ничего, слава богу...

— Вот, вот... Такие-то живущи.

— Этакий у тебя язык, Домна... А мне-то все равно. Только время понапрасну теряешь, ругаешься.

— Тебя же, дуру, жалею — вот и ругаюсь. Ну какой ты теперь есть самый человек, ежели разобрать: ни баба, ни девка, ни мужняя жена, да еще ребенок на шее...

— Это уж не твоя забота. Что купила, то и носила...

— Опять дура... Как жить-то будешь? Сегодня тебя барин пожалел, завтра пожалел, а послезавтра-то что будет?

— А бог-то?

Анисья произнесла это с такой уверенностью, что Домна потеряла на время нить своих мыслей.

— Бог-то, конечно, бог, а тебе все-таки ребенка-то надо устраивать, Анисья. По рукам, по ногам он свяжет... Конешно, жаль, уж это что говорить — вон щенка и того жаль, а только иначе не миновать. Никто ведь тебя с ребенком-то не возьмет...

Анисья молчала и плакала, прижимая к себе ребен-

ка. Не отдаст она его никому,— в ниточку вытянется, а не отдаст. А Домна сидит и свое тростит.

— Жалеючи тебя говорю, Анисья... Суди на волка, суди и по волку, а не ты первая такая-то, и не ты последняя. Вчуже жаль, а ничего не поделаешь. Так-то вот, головочка.

Эти наговоры расстраивали Анисью сильнее всякой ругани, и она не спала целые ночи, раздумывая свою думу. Ведь не одна Домна так-то думает, а все. Вон Ида хоть и не говорит прямо, а то же самое соображает... Анисья читала эти роковые мысли по выражению лица Иды.

С легкой руки «Шиковой жены», подарившей маленькой Даше целый кошелек с деньгами, которых оказалось больше десяти рублей, и другие начали посылать «на зубок», кто и что мог. Ида подарила серебряную чайную ложечку, Анна Петровна прислала байковое одеяльце, Ирочка сама принесла вязаные детские ботиночки и т. д. Даже старуха Васильевна завернула вечерком и принесла фунт баранок. Это внимание и трогало и пугало Анисью. Ей казалось, что все точно откупаются.

— Ну, как ты думаешь о своей-то голове? — пытала Васильевна.

— А ничего я не думаю... Пока живу, а погонят — пойду.

— Так, так... Только ведь нельзя же барыней-то жить на чужих харчах. Тоже и совесть надо знать...

Анисья понимала, что Васильевну подослала старая барыня вызнать, что и как. Молодые-то просты, все на виду, а старушка себе на уме. Потихоньку начнет выжимать и выжмет. Васильевна пришла и в другой раз и опять завела политичный разговор. И все с жалостью, все хорошие да добрые слова говорят.

Больше всего удивляла Анисью молодая барышня Ирочка, которая приходила украдкой от всех и нянчила ребенка. Возьмет ребенка и вся даже раскраснеется, точно ей совестно чего-то. А ведь какая злая да придира... Ирочка действительно немного смущалась, но она не имела случая видеть близко таких маленьких детей и теперь увлекалась. Какие они беззащитные и еще более милые именно этой своей беззащитностью. Ведь это сама жизнь, все будущее и источник новой жизни. С племянником Вадимом Ирочка не любила

водиться, потому что Анна Петровна ревновала всех к ребенку, а тут можно было нянчить сколько угодно.

— А ведь вы, барышня, совсем добрая,— проговорила Анисья однажды, наблюдая ее.— Я-то вас считала раньше...

— Злой?

— Не то чтобы совсем злой, барышня, а так... характерной...

Ирочка засмеялась, а Анисья неожиданно прибавила:

— В самый бы раз выйти вам замуж за Ивана Иваныча, барышня. Вот какой хороший барин...

— Он меня не любит,— так же просто ответила Ирочка.— Я старой девушкой-вековушей останусь... Не всем замуж выходить.

— А вы бы поласковее с ним, с Иваном Иванычем...

— Не умею,— коротко ответила Ирочка и засмеялась.

Вообще мудреная барышня, и Анисья никак не могла ее понять. Вот «Шикова жена» — та вся добрая, только вот деток бог не дает. Анна Петровна тоже добрая, хоть и горячая — накричит, рассердится, а потом и нет ничего.

Раз старая Васильевна засиделась у Анисьи и рассказала ей одну историю, которая подействовала на нее сильнее всяких уговоров.

— Сама ведь я такая-то была,— откровенничала Васильевна.— Что же, дело прошлое. Конечно, глупая была... И вот в самый раз так же, как ты сейчас: у господ жила и ошиблась... Господа такие же были хорошие. Жалели меня, дуру. Ну, я, конечно, свое: не отдам младенца, хоть голову с меня сними... Реву, бунтуюсь... Известно: вся глупая, как овца. Да...

— Ну, а потом?

— Что потом-то — известное дело. У всех один конец... Ты вот сидишь и думаешь, что одна, мол, я такая-то, ан нашей сестры большие тысячи. Все и слова одинаковые наговаривают...

— В воспитательный отдала?

— Сперва-то пробовала и туда и сюда, платила деньги разным кормилкам, ну а потом снесла в воспитательный. Там уж вернее...

— Долго горевала?

— Ох, не спрашивай, девушка! Так убивалась... А

только то думала, что не одна я такая. Тыщи младенцев волокут в воспитательный-то, ну, уж на людях-то всякое дело легче как будто. Ежели бы я еще была в законе, тогда нехорошо и даже весьма грешно, а ежели отца-то нет — что одна мать поделает?

— Мрут в воспитательном-то как мухи, сказывают...

— А где робята не мрут? И у господ мрут, а с нас и взыскивать нечего. Божья воля... Опять и то сказать: помер младенчик — душенька андельская. Нет на ем грехов... Андельчик-то за мать и будет молиться. Бог-то получше нашего знает, что и к чему... Ежели каждая травинка по его воле растет, так младенчик-то ужли хуже травы? Поэтому у каждого человека уж вперед судьба обозначена...

11

Сергей Иваныч заглянул к Анисье последним. Он точно боялся прийти один и пришел вместе с матерью.

— Ну что, как тут живешь? — довольно сухо спросила Елена Александровна, едва взглянув на ребенка издали.

Анисья сделала попытку броситься в ноги, но была остановлена в самом начале. Сергей Иваныч посмотрел ребенка и не знал, что ему сказать. Девочка расплакалась совсем некстати, и Анисья, из желания угодить господам, шлепнула ее.

— Зачем ты ее бьешь? — возмутился Сергей Иваныч.— Она такая маленькая...

Все трое чувствовали себя очень неловко и все были рады расстаться.

— Какая милая девочка,— говорил Сергей Иваныч, когда они возвращались.

— Да, ничего...— уклончиво ответила Елена Александровна, думая о внуке, лучше которого, конечно, не могло ничего быть.— Здоровенькая такая...

Маленький Вадим сделался идолом всего дома. Комментировались каждое его движение, каждый звук. Каждый день являлся чем-то вроде исторической эпохи. Было определено, что он лицом больше походит на мать, характером, к сожалению, на отца. Последнее заставляло Сергея Иваныча счастливо улыбаться в бороду. Что же, пусть походит на отца, если на то пошло. Ему не нравилось, что ребенка назвали Вадимом. Луч-

ше бы просто Ванька или Колька, а тут какая-то аристократическая вычурность. Но все это, конечно, были пустяки. Сергей Иваныч проводил теперь по нескольку часов в детской, и ему казалось, что ребенок меняется с каждым днем. Через месяц он уже научился поворачивать глазки и слушать. Сжатые кулачком пальчики разогнулись и постоянно ловили в воздухе что-то невидимое.

Каждый новый день приносил с собой какой-нибудь новый вопрос; первым и главным из них был вопрос о кормилице. Доктор заявил, что Анна Петровна, несмотря на свой цветущий вид, сама кормить не может. Кормилицу выбирали целую неделю, пока Елена Александровна не объехала все конторы, где рекомендовали кормилиц. В результате этой ревизии получилась молодая женщина Агафья из пригородных крестьянок. Ее встретили в доме очень подозрительно, свозили в баню и заставили переодеться. Особенно волновалась Анна Петровна, убежденная, что ребенок любит и знает только ее.

— Кормилица будет хорошая,— объясняла Елена Александровна тоном специалиста.— Совсем не жирная, и грудь небольшая...

Сергей Иваныч тоже волновался, хотя и по другому поводу. Он думал о том ребенке, на счет которого будет питаться Вадим. Где он и что с ним? Елена Александровна предупредила щекотливый вопрос и коротко объяснила:

— Не волнуйся, пожалуйста... У них все это очень просто делается.

— Не думаю...

— Ну, это уж позволь знать нам. Ты близко видишь первую кормилицу, а я их видела десятки...

— Может быть, у нее ребенок умер? — точно в оправдание себе проговорил Сергей Иваныч.

— Вот видишь, ты опять ничего не понимаешь. Этот народ крайне суеверный — раз ребенок умирает, и молоко у матери исчезает, то есть это по их мнению. Но, к сожалению, я знала несколько таких случаев. Может быть, простое совпадение, а может быть, какой-нибудь не объясненный еще наукой, темный материнский инстинкт.

В этих объяснениях утешительного было мало еще, и все равно приходилось мириться с фактом. Раньше

на совести была одна Анисья, а теперь явилась еще кормилка Агафья. Получалось что-то такое несообразное и дикое, что отравляло в основании самые чистые радости, получалась какая-то неправда, на которую все закрывали глаза, как на нечто неизбежное до законности. Сергей Иваныч мучился молча. Дамы его просто удивляли характерной женской жестокостью, как объяснения Елены Александровны по части кормилкиной психологии. Они все преклонялись пред фактом и были спокойны. Сергей Иваныч не мог видеть, как мать и жена ухаживали наперерыв за Агафьей, с упорством неизлечимо помешанных следя за ее питанием и расположением духа. Сергей Иваныч возненавидел это проклятое слово: питание. Питали мать, а где-то голодал ее ребенок. Агафье прощалась даже ее биография: она была вдова-солдатка и прижила ребенка при таких же условиях, как и Анисья. Главное, не было на глазах этого чужого брошенного ребенка, и все чувствовали себя спокойно. Сергей Иваныч по опыту убедился в бесполезности разговоров с дамами на эти жгучие темы и мучился вдвойне. Неужели это необходимо, то есть уморить неизвестного ребенка, чтобы Вадим имел кормилицу? Ведь это величайшая несправедливость, а несправедливость карается. Смутное предчувствие какого-то возмездия и кары закрадывалось в душу Сергея Иваныча все глубже и глубже. Ему начинало казаться бессмысленным собственное существование, а отцовские радости — преступлением. Где-то слышался голодный плач брошенного ребенка, не умевшего не только защищаться, но даже сказать первое детское слово: мама. Ведь это ужасно, господа... Ужасно и вместе так просто, на вполне законном основании, как делают все.

Опять сам собой выступал вопрос о культурной женщине, утратившей способность даже кормить собственного ребенка, а этот культурный ребенок, вскормленный чужим молоком, даст в свою очередь таких же культурных матерей и культурных детей. Некультурная женщина являлась в роли дойной коровы, с той разницей, что теленка из простого хозяйственного расчета не морят голодом. Значит, теленка морить невыгодно, а маленького беззащитного человека выгодно... По справедливости, должен был бы существовать закон, воспрещающий таким культурным женщинам иметь детей,

как он воспрещает воровство, грабеж, убийство и всякое насилие. Этот закон имел бы тем более смысла, что дело идет о беззащитной человеческой личинке.

Елена Александровна без слов поняла настроение сына и заметила ему:

— Сережа, ты так странно смотришь на кормилицу, что она смущается каждый раз. Она даже сама говорила, а ты знаешь, как ей вредно волноваться: все отзывается на молоке.

— Я не понимаю, мама... Смотрю, как и на всех других.

— Нет, не говори... Ты понимаешь, что я хочу сказать. Она простая женщина, но тоже понимает.

Что было отвечать на это? Сергей Иваныч только пожимал плечами и уходил к себе в кабинет. Он чувствовал себя соучастником в каком-то большом преступлении и не имел достаточно силы воли, чтобы повести дело решительно. Каждый день являлся преступлением...

— Дрянь я, кислятина!..— повторял Сергей Иваныч.— Ни капли воли, и самая покладистая душонка.

Сергея Иваныча возмущало и то, что Агафья была совершенно спокойна и даже счастлива, потому что ее и питали на убой, и одевали «по-мамошному». Она в каких-нибудь две недели вошла в тело и даже побелела. Начинавшееся ожирение встревожило дам, и по совету доктора питание Агафьи было изменено — больше мяса, бульон и меньше мучнистых веществ. Одним словом, все велось по самому строгому расчету.

В течение месяца только раз настроение Агафьиной души было нарушено. Ее таинственно вызвали зачем-то в кухню, и дамы ужасно встревожились, особенно Елена Александровна.

— Что случилось? — спросил Сергей Иваныч.

— Так... ничего.

Он понял, что в кухню принесли ребенка Агафьи. Да, он был там, этот несчастный кандидат на голодную смерть. Сергей Иваныч долго не решался выйти в кухню и взглянуть на него, а когда пошел — свидание уже кончилось. В коридоре встретилась Агафья, торопливо бежавшая в детскую с виноватым видом. Она даже старалась улыбнуться и сделать веселое лицо, потому что успела уже войти в свою роль.

— Это твоего ребенка приносили? — спросил ее Сергей Иваныч.

— Его, барин... Ничего, слава богу.

— Он где живет, то есть у кого?

— А знакомая у меня есть, барин, столярова жена... На Выборгской живет... Три рубля ей плачу, вот она и приносила показать...

Появление ребенка Агафьи было вне репертуара, и Агафья чувствовала себя виноватой; ее подвела «столярова жена», желавшая этой демонстрацией получить двугривенный, чаю и сахару и еще что-то, завернутое в тряпку. Около мамок таким образом кормится целый рой разных более или менее подозрительных баб. Эксплуатация идет самая отчаянная, и разряженные кормилки откупаются от своих брошенных детей очень дорогой ценой.

Через несколько дней таинственная «столярова жена» пришла уже одна и о чем-то долго шепталась с Агафьей на кухне, и опять ушла с узелком и мелочью. Еще через неделю она пришла с известием, что ребенок умер. Агафья выплакалась на кухне, отдала последние деньги на похороны и ходила целый день с красными глазами. Сергей Иваныч не решался ее утешать или просто спросить. Но нужно было чем-нибудь проявить свое участие.

— Агафья, твой ребенок умер? — спросил он наконец, чувствуя, что делает совсем глупый вопрос.

— Прибрал господь, барин, младенчика...

— Гм... да... Отчего же он умер?

— А горлышком схватило... Свечеру схватило, а к утру и кончился.

— К утру? Гм... да...

Агафья говорила совсем весело, что еще сильнее покоробило Сергея Иваныча. Сначала он думал, что она притворяется и разыгрывает роль, но она действительно была рада, как он убедился впоследствии.

— Где же при бедности-то бабьей да еще робят выращивать,— коротко объяснила Агафья.— И богатым-то только-только впору...

Ребенок являлся уже предметом роскоши.

12

Ничто так не подействовало на Анисью, как живой пример нанятой мамки. Ида рассказывала все подробности, как господа ухаживают за ней и какое ей житье.

— А как кончит кормить, всего получит, целый сундук всякой всячины,— объяснила она.— И шесть перемен рубашек, и шесть сарафанов, и шесть полотенец, и подушку с одеялом, и простынь, и чулок, и пальто, и кофты, да еще на выход деньгами целых сорок рублей. Это, значит, по условию, а ежели господа будут довольны, так наградят особо. Целое приданое выправит Агафья, хоть сейчас замуж выходи... Не житье этим мамкам, а масленица. Целый год так-то процарствует.

Анисья хорошо знала, как живут мамки у господ, и только вздыхала. Что же, у какой какое сердце — одна может бросить ребенка, а другая нет. А все-таки ее начинало брать раздумье. Шел уже второй месяц, как она проедалась с ребенком, а ни впереди ни позади ничего не было. В последнее время она старалась жить на свое, кое-какие гроши оставались, да деньги от «Шиковой жены». Стыдно было брать еду с господской кухни, где на нее все косились. Потом наступили холода, а Егор Спиридоныч донимал ее дровами. Из-за каждого лишнего полена приходилось чуть не драться.

— Покупай свои дрова и пали сколько хочешь! — ворчал садовник.— Этак не напасешься на вас... Барин, конечно, молчит, а потом с меня же взыскивать будет: «Куды делись дрова? Ты воруешь дрова?»

Эти дрова были хуже всего. Надо и сварить что-нибудь самой, и постирать на ребенка, и для тепла. А купить, так четыре рублика за сажень выкладывай. Тоже вот и чай, и хлеб, и керосин — везде нужны деньги и деньги, а взять их негде. Раньше хоть была работа в огороде, и Анисья считала, что не даром хлеб ест, а теперь и этого не было. Шила она плохо, гладила тоже плохо, а только умела быть «при комнатах».

Раз вечером, когда Анисья сидела в тяжелом раздумье, Васильевна привела мамку, такую нарядную и сытую.

— Ну что, горюша, как живешь-можешь? — спрашивала Васильевна.— Вот погляди-ка на нашу мамку: корова холмогорская скоро будет... В коже места не останется. Вот бы тебе так-то устроиться... Проворонила место у наших-то господ, а в самый бы раз.

Агафья держала себя настоящей барыней и весело лущила подсолнухи. Анисья смотрела на нее с завистью и почувствовала себя еще несчастнее. Выйдут последние деньги — тогда ложись и помирай. Васильев-

на что-то говорила о «столяровой жене» и нахваливала ее.

— Вот бы тебе такую-то найти женщину, Анисья... Пристроила бы ребенчишка, а сама опять вольная птица. И сама сыта и одета, и ребеночек тоже. Не для себя будешь стараться, а для него же... Вон Агафья-то какая гладкая стала. Жалованья двенадцать рубликов получает...

Когда Васильевна ушла с мамкой, у Анисьи сложилось вдруг твердое решение тоже поступить в мамки. Последние гроши были на исходе, а тут надо и теплую шубку, и башмаки, и платок — все надо, а взять негде. Вот только подыскать бы подходящую женщину, как «столярова жена». Впрочем, и тут выручила Васильевна. Старуха принесла даже адрес какой-то жены железнодорожного сторожа, которая согласна взять «шпитонку».

— Ты сходи к ней и переговори,— советовала Васильевна.— А там видно будет... Я подомовничаю, а ты сходишь. Ребенка сдашь, а сама запишешься в ту же контору, из которой вот Агафью господа взяли.

Кроме жены сторожа оказалось еще несколько других добрых женщин, которые брали «шпитонцев» специально от мамок. Это был уже организованный промысел. Анисья пять вечеров подряд ходила от одной воспитательницы к другой и везде находила одно и то же: грязь, беспорядок, пьянство, подвалы или чердаки. Домой она возвращалась в полном отчаянии. У нее опускались руки.

— Не отдам... не отдам...— шептала она, глотая слезы.

У нее являлась даже мысль пойти с ребенком куда-нибудь на мост и броситься в Неву. Лучше уж умереть вместе...

Раз, когда она возвратилась домой в таком мрачном настроении, Васильевна встретила ее радостным восклицанием:

— Ну, Анисья, и счастливая ты... Бегаешь, ищешь, куды сдать ребенка, а столярова-то жена опросталась: Агафьин ребенок вечор помер. Тебе теперь в самый раз сдать ей свою Даренку...

— Как-то, Васильевна... Она, может, заморила Агафьиного ребенка, а я своего ей потащу.

— От горлышка, слышь, помер... В одну ночь скру-

тило. От горлышка-то у родных матерей мором мрут и у господ... В самый тебе раз к столяровой жене толкнуться.

Анисья села на лавку и только молча заплакала. Судьба точно толкала в какую-то пропасть, и она чувствовала, как ее тянет уже в эту черную глубь.

— Васильевна, страшно... грешно ведь это...

— Перестань, голубка, убиваться. Не нами началось, не нами и кончится. Ежели бы ты была барыней али мужней женой — с тебя другой бы и спрос, а теперь и взыску нет. Невитое сено, одним словом...

Анисья сбегала к столяровой жене и нашла, что ей можно отдать ребенка. Одно только не понравилось — очень уж сладко говорит. Квартира у столяра была маленькая, во флигеле, а семья большая — сам-шост за стол садился. Жена прихватывала кой-какую работишку на стороне и держала «шпитонцев»,— три рубля в месяц — деньги, да еще так кое-что перепадет от мамки. Уговорившись с ней, Анисья отправилась в контору, где рекомендовали кормилиц, и записалась. Кормилок набралось больше десяти, и все ждали тут при конторе, выжидая места. Все-таки не одна, а на людях все же легче. И судьба у всех одна: все бездомные женщины, искавшие чужого угла и чужого куска хлеба.

Устроившись со всеми делами, Анисья собрала свои вещи в один узел, сундук пока поставила к Васильевне в кухню и пошла прощаться с господами.

— Ты это куда же? — удивился Сергей Иваныч, когда Анисья бухнула ему в ноги.

— А в контору, откуда вы Агафью взяли, барин...

— В кормилицы?

— Точно так...

— А как ребенок?

— И его устроила... к столяровой жене, у которой Агафьин ребенок жил.

Сергей Иваныч прошелся по комнате, потер себе лоб и проговорил:

— Анисья, я все-таки не понимаю, зачем ты уходишь. Ведь тебя никто не гнал... Если прислуга что болтала, так на это не следовало обращать внимания. Может, тебя обижали? Говори прямо...

— Что вы, барин! Как же можно, чтобы обижать... Уж я не знаю, как и бога за вас молить. А только всетаки голова к месту...

— Что же это значит: голова к месту?

— Да так... Вот у вас свое место, а у меня свое. Извините, что понапрасну беспокоила вас, барин.

— Ну, это пустяки... Помни: я тебя не гоню и не гнал. Будет лучше, если останешься...

— Нет, уж так лучше...

— Да ты подумай хорошенько...

— Ах, барин, достаточно было подумано, а иначе нельзя миновать...

Елена Александровна начала тоже уговаривать каким-то совсем фальшивым голосом, какого раньше Сергей Иваныч не замечал у нее. Ему вдруг сделалось противно и гадко за эту не нужную никому ложь. Анисья держала себя и говорила гораздо лучше, а главное — так просто, как переболевший убежденный человек. Ирочка тоже вмешалась, но была гораздо искреннее. Она смотрела на Анисью такими хорошими, испуганными глазами.

— И тебе не жаль девочку, Анисья? — наивно спрашивала Ирочка.

— Как же не жаль, барышня... Только это самое дело вам и понимать не приходится, потому как вы есть настоящая барышня...

Сергей Иваныч сходил к себе в кабинет и сунул Анисье смятую ассигнацию. Елена Александровна, Ирочка и Анна Петровна тоже уделили из своих денег по возможности. Ирочка решила в уме, что отдаст деньги, назначенные на концерт Фигнера, и была счастлива этим актом самопожертвования. Сергею Иванычу казалось, что все они откупаются от Анисьиного ребенка, и ему не понравилось, что Анисья берет деньги, и еще больше не понравилось, когда Елена Александровна сказала:

— Это твоей девочке, Анисья... Ах, пожалуйста, не нужно кланяться в ноги. Понимаешь — это нехорошо.

Когда Анисья вышла из комнаты, Сергей Иваныч посмотрел на своих дам, что-то хотел сказать, но тяжело повернулся на каблуках и ушел к себе в кабинет. Дамы слышали, как хлопнула дверь, и многозначительно переглянулись. А Сергей Иваныч сидел у своего письменного стола, положив голову на руки, и думал, как просто делаются самые нехорошие вещи и какой он негодяй — ведь в глубине души он все-таки был рад, что избавился от Анисьи, и избавился самым благородным образом, как порядочный человек.

Вся прислуга принимала самое живое участие в отъезде Анисьи. Даже явился Егор Спиридоныч и сам перевязал веревками Анисьин узел. Васильевна прослезилась, Домна притащила две бутылки молока, Архип сбегал за извозчиком — все хлопотали и все были рады, что Анисья наконец уезжает. Одна Ида смотрела на все безучастно и только при прощанье шепнула:

— Ежели что, Анисья, так здешнее место твое, а я себе найду...

Падал мягкий липкий снежок. Усаживаясь на извозчика, Анисья в последний раз оглянулась по направлению трактира «Голубок», пред которым, как волчий глаз, горел фонарь.

— С богом...— проговорил весело Егор Спиридоныч, подтыкая пальто Анисьи.— Ну, трогай, желтоглазый!..

Анисья тоже была рада уехать, а куда, не все ли равно. Хуже не будет...

13

В конторе кормилиц Анисье пришлось пробыть недолго, всего три дня. Другие кормилки ждали по неделям, а ее выручила молодая миловидность. Сначала ей было стыдно, когда хозяйка заставляла всех выстраиваться в шеренгу при наемщиках. Их осматривали, как дойный скот, и делали вслух оценку всех достоинств и недостатков, точно дело шло не о людях, а о животных. В результате все зависело от счастья, какое кому выпадет. Нанимавшие господа были неизвестны, и о них кормилки могли судить только по костюмам.

Анисья попала в семью одного офицера, жившего на казенной квартире. Обстановка была богатая, но жили скупо, и барыня считала куски. Другим неудобством была старая нянька, которая поедом ела всю прислугу, а новой кормилице не давала проходу. И то не так, и это не так — ничем не угодишь. Анисья прожила у них всего две недели, а потом ребенок захворал и ее уволили, вернее сказать — выгнали. Из сказочных богатств, полагавшихся мамке по условию, она едва унесла только то, что было на себе, и снова очутилась на улице. Она еще не умела быть нахальной, как другие мамки, и ее подняли на смех, когда она явилась опять в контору.

— А ты мировому подай на господ, глупая...— советовали бойкие кормилки.

— Нет, боюсь... Они от меня не разбогатеют, а я не обеднею. Бог с ними.

— Вот и вышла дура... Этак ежели будем потачить господ, так и житья не будет. Только хлеб отбиваешь у других...

Кормилки накинулись на Анисью как осы и довели ее до слез. Кстати, тут же у нее украли теплый платок. Беда не приходит одна, и Анисью пока спасали только деньги, которые ей надавали господа на ферме. Она постоянно их вспоминала и плакала.

На этот раз Анисье пришлось прождать целую неделю, пока она опять попала на место. Господа были хорошие, скромные, но беда в том, что донимали уж очень ученостью, особенно барыня. Началось с того, что ее три раза посылали в баню, потом заставляли каждый день принимать ванну и вытираться холодной водой, кормили мясным порошком и мальц-экстрактом, который Анисья называла мазью, и пóходя дезинфицировали разными снадобьями. Эта ученая барыня наводила на Анисью оторопь. Она все обнюхивала, везде искала пыль, а мелкую сдачу, которую приносили из лавочки, кипятила в горшке, в печке. Боже сохрани, если увидит где-нибудь пятнышко. А сама постоянно больная и вечно что-нибудь нюхает или натирается. Так добрая, а только уж очень изводила своей чистотой.

— Вы уж лучше меня обругайте, барыня,— в отчаянии заявила раз Анисья, когда ее заставили принимать вторую ванну.— Ведь этак живого человека вконец можно извести...

— Вы ничего не понимаете и говорите глупости.

— Уж какая есть, барыня. Право, в другой раз лучше человека ударить...

Кончилось это рациональное воспитание тем, что Анисья расхворалась. У нее просто разболелась голова, но барыня боялась всяких болезней, пригласила доктора и отказала.

— Вы еще нас всех заразите,— объяснила она из другой комнаты.

Анисья опять очутилась на улице и на этот раз серьезно простудилась. Пальтишко было холодное, а теплый платок украли. Она больная пришла к столяровой жене, пролежала здесь трое сутки, а потом совсем разнемоглась, и столяр отвел ее в клинику.

— Ученые господа меня извели,— объяснила Анисья

доктору, принимавшему больных.— Все какой-то пылью кормили да мазью да в холодную воду сажали... Да еще барыня пыль в глаза пущала из какой-то трубочки, а я до смерти боялась.

Доктор только улыбнулся,— у Анисьи было воспаление правого легкого. В больнице Анисья пролежала целых три недели. Ее навещала одна столярова жена, приходившая каждый раз что-нибудь выклянчить — то нужны деньги на лекарство ребенку, то украли все детское белье, то хозяин гонит с квартиры, то нет ни чаю, ни сахару. У столяровой жены всегда про запас была какая-нибудь неотложная бабья беда, и она помаленьку вытянула у Анисьи последние гроши и успокоилась только тогда, когда той нечего уже было давать.

— Не знаю уж, как ты будешь, милая,— жалела она,— выпишешься из больницы, а молоко пропало. Мне-то с тобой хлопот сколько было, а тут еще надо брать другого шпитонка. У меня уж есть на примете...

Положение было самое отчаянное, когда Анисья выписалась из больницы. Она пришла опять к столяровой жене, но здесь ее встретили уже по-другому. Платить ей было нечем, молоко пропало. Сам столяр был пьяница и все тащил из дому, а если нечем было опохмелиться — бил жену чем попадя. Нужно было неистощимую энергию, изворотливость и просто нахальство жить, чтобы столярова жена поддерживала, выражаясь фигурально, огонь на семейном очаге. Когда Анисья потеряла всякий смысл как платежная единица, столяр обратил на нее свое благосклонное внимание. Он любил предаваться разным отвлеченным размышлениям.

— Что такое есть Анисья, ежели разобрать? Ничтожность и сущая мразь... Для чего ты родила, напримерно, единоутробную дочь? Тоже ничтожность и сущая мразь. А позвольте вас спросить, где ихний родитель, то есть вашей дочери Дарьи? У каждого человека должен быть родитель... А ежели который правильный человек, так что он должон тебе выразить?.. Не говоря худого слова, прямо в ухо... Потому, чувствуй.

Раз столяр даже сделал попытку быть правильным человеком, но Анисью защитила его жена. Между мужем и женой по этому поводу произошла настоящая драка. Столярова жена выскочила на улицу в самом растерзанном виде и вопила благим матом: «Ох, убил! ох, смертынька моя...» Впрочем, соседи по дому настолько

привыкли к этим сценам, что не обращали никакого внимания на ее вопли. Между мужем и женой один бог судья...

В окончательной форме столярова жена не гнала Анисьи только потому, что у нее на ферме еще оставался сундук, который в ее воображении представлялся чем-то вроде Голконды. Подобраться к этому заветному сундуку сделалось теперь конечной целью всего бытия столяровой жены. Анисья и сама сознавала, что этот сундук являлся последним средством. Только ей не хотелось ехать за ним на ферму самой. Стыдно было глаза показать. Пришлось послать столярову жену к Иде. Сундук таким образом очутился в квартире столяра. Его содержимое не оправдало надежд столяровой жены. Так, разное барахло — кофты да юбки, а настоящего всего одно шелковое платье, да и то пришлось заложить в ссудной кассе.

— Всего-то хламу наберется не наберется на одну красную бумажку,— определила столярова жена.— Голь ты перекатная, Анисья, и больше ничего...

Ночью столяр взломал сундук и стащил половину добра в кабак. Анисья даже не смела жаловаться, потому что украденное пошло в счет квартиры.

Ребенок за два месяца пребывания у столяровой жены сильно исхудал и как-то подозрительно пожелтел. Анисья объясняла это тем, что его сразу перевели на коровье молоко и соску из хлеба.

— Уж, кажется, ничего не жалею,— хвасталась столярова жена.— Сама недоедаю, а все ребенку. Уж у меня такой характер.

Всего удивительнее было то, что ребенок совсем не кричал, а был какой-то вялый и сонный. Мать просто не узнавала его, как и он мать. Теперь Анисья сама водилась с ним и мучилась вдвойне, когда ребенок вспомнил ее и потянулся к пустой груди.

— Для чего только и рожаются эти самые девчонки,— удивлялась столярова жена.— И кормить-то так не любопытно... Ну, куда с ней потом, с девкой-то? Так, не в людях человек... Нашей-то сестры, бабы, и без этого неисчерпаемое множество. И живущи при этом... Мальчонки — те скорее помирают: чуть что, и свернулся...

Раз ночью Даренка раскапризничалась и разбудила всех. Столяр начал ругаться.

— Ужо вот я ее утихомирю,— ворчала столярова

жена, поднимаясь с своего жесткого ложа.— Дай-ка ее мне сюды, Анисья...

Анисья не давала ребенка, предчувствуя что-то недоброе.

— Говорят: дай,— настаивала жена.— Ежели так-то каждый ребенок учнет закатываться, так и святых вон понеси. У меня есть одно средствие...

Оказалось, что у нее было не одно, а целых два «средствия». Когда ребенок начинал кричать, она совала ему в рот соску, пропитанную наваром из мака, а если и это не помогало, то вливала в рот водки, и ребенок засыпал пьяный.

Анисья даже испугалась. Что-то не ладно дело, но столярова жена ее успокоила:

— А как же у лучших господ делается? То же самое... Если которая барыня не понимает, так мамка должна научить. Спит младенец, и слава богу... Сколько я стравила этой самой водки на твою-то Даренку — даже и не выговорить.

Дом, где держал квартиру столяр, был сверху донизу набит все такими же жильцами. Дом был старый и весь пропитался какой-то кошачьей вонью. Свежего человека мутило, а жильцы привыкли и ничего не замечали. Всякой детворы в этом доме ютилось видимо-невидимо, и Анисью успокаивало, что не одна ее Даренка здесь живет. Но и с этим раем приходилось расстаться. Сундук скоро был прожит дотла. Пробовала она ходить на работу, но из этого ничего не вышло. В прачечной можно было заработать рублей десять, а этих денег не хватало самой.

— Ты вот что, умница,— посоветовал раз сжалившийся столяр.— Девка ты еще в самой поре, а у меня есть один знакомый вдовец слесарь... то есть в самый бы раз, как на заказ. Ты не беспокойся, у него и часы серебряные с двум крышкам, и самовар, и шуба новая...

14

На Анисью нашло какое-то отупение. Она страшно похудела, сделалась желтой и все молчала. Сядет на лавку и молчит. Столярова жена начала опасаться, как бы она чего не сделала над собой. Как раз подведет... Вот так же жиличка в четвертом этаже задумывалась-задумывалась, да и хлебнула нашатырного спирту. По-

лиция явилась, потом квартирную хозяйку в участок. Это уж не модель бедному человеку да еще задумываться... Столярова жена решила действовать энергично.

— Вот что, Анисья, надо ребенка в воспитательный отдавать. Ничего, видно, не поделаешь... Куда ты с ним денешься? Ежели бы еще мальчик, а то девчонка — только понапрасну будешь маяться.

Анисья отнеслась к этому предложению безучастно. Что же, в воспитательный, так в воспитательный... Много таких-то шпитонок, не одна тысяча, а на людях и смерть красна. Столярова жена воспользовалась этим настроением и начала торопить. Чего ждать-то еще — думай не думай, а лучше не придумаешь.

— Вот стемнеет, ну и пойдем вместе. Я тебе покажу, куда идти. Сперва к Полицейскому мосту, а там по Мойке. Я видела, как бабы робят волокут в воспитательный... Так хвостом и стоят, потому как очередь. Прежде-то совсем было просто, а нынче записывают и протчее.

Не откладывая дела в долгий ящик, они решили сегодня же снести ребенка. Эта быстрота несколько смутила Анисью.

— Глупая, да ведь из воспитательного-то ты всегда его можешь взять назад,— объяснила столярова жена.— Сделай милость, только бери...

Стояла гнилая петербургская зима. Падал мокрыми хлопьями снег. На тротуарах светились лужи грязной воды. Обувь у Анисьи давно износилась, и она сейчас же промочила ноги. Но теперь было не до мокрых ног и простуды. На Неве дул сырой ветер-сквозняк.

— Ах ты господи! — повторяла столярова жена, шлепая по мокрому снегу.— Хоть бы часок пожить так-то, как живут богатые... Вон какие фатеры у них, в каретах ездят... пища самая приятная... А мы вон шлепай на своих на двоих... И отчего это только бывает, что один родится богатым, а другой бедным?

Столярова жена старалась занимать Анисью и все посматривала на нее. Они шли по набережной Невы. Вода была в реке совсем темная и тяжело билась о громадную набережную, облепленную молодым льдом. Дуло с моря, и ветер крепчал. Анисья не чувствовала холода, потому что после болезни была слаба и сильно потела на ходу.

— Дай-ка мне робенка-то, Анисьюшка. Тяжело тебе...

— Нет, ничего... Может, в последний раз несу...

— Ну что же: своя ноша не тянет, Анисьюшка.

У столяровой жены проснулась такая хорошая бабья жалость. Ведь дело-то какое... Совсем еще молодая девчонка, а уж бабью муку принимает в полной форме. Только вот не бита, потому как не в законе. Ну, не бита, зато все-таки девушке-то совестно. Ох, дела, дела... И так и этак поверни — все скверно. Такая уж, видно, женская часть. Столяровой жене вдруг сделалось жаль и ребеночка. Куда-то он попадет и какого горя не напринимается? В чужих-то людях горько жить будет...

Когда они повернули с набережной в Миллионную, где были все такие богатые дома, Анисье вдруг сделалось страшно. Ей казалось, что и откормленные швейцары, стоявшие в дверях подъездов, и выездные лакеи, и каретные кучера, и дворники — все видят, куда они так торопятся, и с молчаливым негодованием смотрят именно на нее. Ей даже казалось, что кто-то гонится за ними. Она ясно слышала приближавшиеся шаги и прибавляла шагу, не смея оглянуться.

— Дай передохнуть...— шептала Анисья, когда они по Мойке подходили к Полицейскому мосту.— Руки и ноги отнимаются...

Столярова жена, когда вышла в полосу яркого электрического освещения на Невском, тоже начала трусить, даже оглядывалась,— ей тоже казалось, что кто-то идет за ними. А тут несутся экипажи, звонят конки, бегут без конца толпы пешеходов — даже в глазах рябит с непривычки. Они постояли молча у чугунной решетки канала и молча пошли дальше.

— Вон...— ткнула столярова жена, указывая на левой стороне на железную решетку и какое-то здание в глубине.

У Анисьи задрожали руки так, что она чуть не выронила ребенка. У решетки стояли какие-то женщины, двое с ребятами. Столярова жена сотворила про себя молитву и храбро подошла к сторожу у железных ворот.

— Днем, днем приходите...— предупредил ее вопрос сторож.— Поздно теперь.

— А как же мы такую даль напрасно перли? — озлилась столярова жена.

— Сказано: нельзя. Ах, какие вы несуразные... Так и лезут, точно овцы омморошные! Да принесите паспорта, да деньгами двадцать пять рублей...

— Деньгами? Двадцать пять?..

— Да, четвертной билет... Всем одно положенье. Проваливай...

Сторож ужасно боялся этих баб с ребятами; того и гляди подкинут младенца к решетке, а отвечать должен он. Да и бабы имели именно такой вид, что вот-вот что-нибудь устроят неподходящее. Все какие-то пуганые да голодные... Скажут им толком, а они стоят как оглашенные.

Когда столярова жена объяснила все, у Анисьи окончательно опустились руки. Что же было теперь делать? У нее было всего пятнадцать копеек, и больше ничего. А взять тоже негде... У нее мелькнула мысль о ферме, но на такое дело барин не даст. Они стояли у канавы в полном отчаянии. Снег разошелся и так и валил белыми хлопьями.

— Четвертной билет...— повторяла столярова жена с озлоблением.— Ты выноси ребенка, роди его, майся с ним, да еще подавай четвертной билет... Погодите, и так возьмете. Да... Ишь что придумали.

Она даже погрозила кулаком всему воспитательному дому, повернулась и пошла обратно.

— Пойдем, Анисьюшка... Нет, погодите!..

Анисья молча покорялась. От усталости у нее в глазах ходили круги, а ноги совсем отнимались.

— Дай-ка мне робенка...— предложила столярова жена.— На тебе лица нет, Анисьюшка.

Ребенок раскричался, и они зашли под ворота, чтобы переменить пеленки и сунуть ему в рот другую соску. Дворник начал их гнать.

— Идите, идите своей дорогой. Нашли место!

— Съели мы у тебя место-то? — ругалась столярова жена.

— Ну, ну, разговаривай, жар-птица... Проваливай!..

— У, лупоглазый черт...

Дворник молча схватил их за плечи и вытолкнул на улицу. Столярова жена озлилась в окончательной форме и плюнула на дворника. Анисья вся дрожала от холода и не могла ничего говорить.

— Сквалыги...— ругалась столярова жена, шлепая по панели.— Под воротами и то места не стало. Ироды...

Они возвращались тем же путем. Анисья шла пошатываясь, как пьяная. На Александровском мосту она остановилась. Внизу глухо бурлила совсем черная вода, точно шевелилась какая-то сказочная змея.

— Ну, идем, идем, Анисьюшка,— торопила ее столярова жена.— В самый теперь раз...

Они опять очутились на Выборгской стороне, где так жалко мигали керосиновые фонари.

— Вот тут есть один дом...— на ходу объясняла столярова жена.— Подъезд теплый, а швейцара нет. Понимаешь?

— Ах, все равно.

Очевидно, столярова жена знала, что делает, и, может быть, ей не в первый раз приходилось устраивать такие вещи. Сначала они прошли мимо трехэтажного каменного дома раза два — подъезд был действительно без швейцара. Городовой стоял далеко, на самом углу улицы, где звонила конка.

— Ну, благослови робенка...— шепотом посоветовала столярова жена.— Скоро дворники выйдут за ворота.

Анисья припала лицом к ребенку и замерла. У нее все кружилось перед глазами — и улица, и фонари, и дома, и проезжавший мимо извозчик. Она торопливо перекрестила ребенка, поцеловала холодный лобик и торопливо пошла через улицу. Она плохо сознавала, что делается, и во всем подчинялась столяровой жене.

Анисья была уже на углу улицы, когда ее догнала столярова жена.

— Ух, слава богу, упоместила! — шепнула она.— Куда ты бежишь-то? Погоди малость, надо обождать... На лестнице оставила, во втором этаже... Ужо поглядим, что будет.

Они пошли тихонько, наблюдая роковой дом. Все окна во втором этаже были освещены. В открытую форточку доносились звуки рояля. Потом все смолкло. На подъезд выскочил студент в медицинской форме. Он был без фуражки и громко крикнул:

— Дворник!.. Где дворник?

— Хватились...— шепотом объяснила столярова жена.

На звонок выскочил встрепанный дворник и быстро пошел за студентом. Потом он вернулся и бегом побежал к постовому городовому.

— В полицию, значит, отправят...— объясняла столярова жена.

Городовой и дворник приехали на извозчике. Ребенка вынесла горничная.

— Ну, получай,— сказал городовой дворнику.

— Нет, уж это ты получай...

Они проехали в двух шагах. Анисья видела, как неумело городовой держал ребенка, а ребенок кричал благим матом. Анисья стояла и крестилась. Она уже не могла плакать.

15

Настоящее горе охватило Анисью только по возвращении на квартиру, где всякая мелочь напоминала ей ребенка. Вот приготовленная простынка, вот корзинка из-под белья, в которой он лежал, вот дешевенькая игрушка-побрякушка, вот забытая на окне бутылочка с молоком — и вдруг все это не нужно. Он никогда больше не вернется сюда...

— Господи, господи, за что? — стонала Анисья, изнемогая от душившего ее горя.— Господи, почему же другие матери могут растить своих детей? Господи, лучше бы он помер... я ходила бы на могилку... выросла бы зеленая травка на могилке... Господи, господи, убей лучше меня!..

Столярова жена истощила все свои резоны и молчала. Пусть девушка проревется — от сердца и отпадет. Хуже, ежели бы молчала. По пути она и сама всплакнула бабьим делом. Тоже обидно, хотя и чужое дите. Вообще, столярова жена вышла из своей роли эксплуататорши и точно сердилась на себя за собственную доброту. Анисья это чувствовала и даже стеснялась, когда столярова жена смотрела на нее с какой-то сердитой ласковостью.

— И за что, подумаешь, девка муку мученическую принимает?! — думала вслух столярова жена и принималась ругать кого-то.— Ироды проклятые... обормоты... Взяла бы, кажется, и растерзала всех этих подобных подлецов. Обидеть-то каждый норовит, а пожалеть некому. Да... А тут живой человек на части рвется... Тоже ведь душа есть, хоть и бабья. Идолы проклятые... Сам бы попробовал, окаянная душа. Вон их сколько, баб-то, у решетки стоит... Всю душеньку вымотали, а деваться некуда, окромя воспитательного... У! проклятые...

После этих общих рассуждений столярова жена накинулась на Анисью, точно хотела выместить на ней свою бабью жалость.

— Ну, чего ты воешь-то?! Никого не удивишь, ма-

тушка... Нашими-то бабьими слезами реки бы прошли, кабы воля им.

— Ох, тошнехонько...— стенала Анисья.— Махонький ребеночек-то... Эх бы с полгодика его понянчить, а то вон как он плачет. Дворник-то его взял, как полено какое, и сует городовому... а он все плачет... Уморят они его там, при полиции. Ведь его и ублажить надо, и покормить, а там одни солдаты.

— В воспитательный отправят, а там свои кормилки, глупая. На вот вам четвертной билет, получай... Откуда бабе-то, да еще детной, четвертные билеты добывать? Тоже удумали, охаверники. Черти проклятые!.. И тут бабе места нет... А вот теперь получай.

Анисья всю ночь не спала. Она лежала с открытыми глазами и все слушала. Ей казалось, что кто-то шевелится в пустой корзинке, и ей делалось страшно до того, что зубы стучали, как в лихорадке. Ведь он здесь, он ищет мать... Она видела эти маленькие ручонки, которые тянулись к ней с немой мольбой о защите... Боже мой, как страшно! Какой грех страшный... Раза два Анисья слышала даже детский плач, и она в ужасе садилась на своей лавке и смотрела в темноту. Да, он был тут, он звал ее, он наполнял всю комнату... Анисья пробовала молиться и не могла. Молитва потеряла силу. И слез не было. Потом, выбившись из сил, Анисья разбудила столярову жену и прошептала, точно кто мог ее услышать:

— Голубушка, страшно... смертынька моя пришла... Ведь он здесь... я видела... Ох, страшно!..

Спросонья столярова жена едва поняла, в чем дело.

— Перестань, Анисьюшка. Сотвори молитву и ложись спать. Господь милостив. Ну, ложись.

— Нет, нет. Я сейчас пойду...

— Куда ты пойдешь ночью-то?

— А туда... в участок... Ведь он в участке... Я приду и объявлюсь: мое дитя, я его подкинула. Хоть на части меня режьте...

— Что ты, что ты, глупая?! — испугалась столярова жена.— Вместе дело-то было, а ты и в самом деле ляпнешь... Ведь и меня будут судить за это самое, а чем я виновата — только и всего что тебя пожалела. Нет, милая, я тебя не пущу...

— А ежели мне тошнехонько?.. Жизни своей постылой не рада...

— Ничего, пройдет. На молодом теле и не это изнашивается... Ложись, голубка, утро вечера мудренее.

Анисья металась и плакала, как сумасшедшая. Столярова жена уложила ее с собой рядом, чтобы грешным делом и в самом деле не удрала в участок. Потом-то и не расхлебаешь беды. Вот навязалась-то чужая беда хуже своей. Столяровой жене так и не удалось проспать всю ночь. Все лежала и караулила жиличку. К утру она рассердилась и принялась бранить Анисью.

— Чтой-то, в сам-то деле, Анисья, чудишь ты... Ведь этак я гляжу-гляжу, да и в шею. Вот тебе бог, а вот порог... Самый короткий разговор будет. Для тебя же старалась, а ты что делаешь со мной, бессовестная?

— Голубушка, не буду больше... Ничего я не буду делать.

— То-то, смотри у меня, а то я по-другому с тобой буду разговаривать, ежели на то пошло. Ишь, какая прынцесса нашлась...

Утром Анисья все-таки как-то увернулась, и столярова жена перепугалась до смерти. А вдруг пойдет, глупая, в участок да все и расскажет... Анисья пошла прямо к тому дому, где был оставлен ребенок. Дворник подметал выпавший ночью снег. Анисья его узнала по черной бороде. Вот бы спросить про ребенка, куда они его отвезли. На углу стоял городовой, но это был другой, а не вчерашний,— у того были рыжие усы. Анисья инстинктивно повернула за угол, куда ночью уехал извозчик,— участок должен был быть в этом направлении. По дороге она спросила дворника, и тот молча махнул рукой налево. Но до участка она не дошла. Ее охватил такой страх, что подкашивались ноги. Анисья повернула машинально к Александровскому мосту, прошла набережную и по Мойке вышла к воспитательному дому. У железной решетки стояли все те же бабы, у ворот тот же сторож,— все, как было вчера. У Анисьи усиленно билось сердце. Господи, ведь он сейчас здесь, вон в том большом каменном здании. Сто́ит только перейти двор, подняться по лестнице и сказать начальству: «Это я вчера подкинула ребенка на Выборгской... судите меня...» Анисью так и тянуло к воротам. Голова начала кружиться. Ведь всего сделать несколько шагов...

— Ты это что, матушка, придумала? — зашипел чей-то голос над самым ухом Анисьи, и чья-то рука схватила ее.

Это была столярова жена, бледная, запыхавшаяся от быстрой ходьбы и вся злая.

— Ты это что со мной хотела сделать, змея?!

Та же рука повернула Анисью, толкнула несколько раз в спину и потащила назад. Анисья молча повиновалась, не имея сил сопротивляться.

Всю дорогу столярова жена ругалась и несколько раз пребольно ударила Анисью в бок.

— Дурища ты этакая... а? Ведь засудили бы и тебя и меня... Ну, тебя за дело, а меня-то за что? а? За то, что тебя пожалела... Убить тебя мало. Правду старинные люди сказывали, что, не поя, не кормя, ворога не наживешь. Отплатила ты мне за мою хлеб-соль! Сейчас бы нас с тобой в участок, и сейчас суд: «Твой ребенок?» — «Точно так, мой».— «А ты подкидывала?» — «Нет, это столярова жена...» И сейчас нам разделка: в Сибирь. Вот что ты устраивала, змея...

Дома столярова жена первым делом разревелась. Очень уж она напугалась. Анисья сидела на лавке, как убитая, и молчала.

— Ты бога-то побойся, омморошная! — кричала столярова жена.— Ведь это что же такое, а?.. Голову ты с меня снимаешь...

— Я больше не пойду никуда...

— Не пойдешь? Ну, смотри... А побожись.

Анисья побожилась, и столярова жена несколько успокоилась. Все-таки у каждого есть своя совесть.

Но время терять не приходилось. Нужно было устраивать Анисью сейчас же, чтобы она не дичила. А будет на месте, тогда некогда будет дурить. Заставив Анисью еще раз побожиться, что она никуда не пойдет из дому, столярова жена полетела прямо на ферму.

— Вот тебе, семая ты рота! — ругала она дорогой уже самое себя.— Так тебе и надо... Не суйся, где не спрашивают. Туда же, жалеть вздумала. Бедному-то человеку да еще жалость на себя накинуть. Мало тебя муж бьет, старую кочергу... Вот теперь и бегай и хлопочи, полено ты осиновое! Не к лицу бедному человеку жалость-то... Вон богатые небось никто не пожалеет, хоть все пропадом пропади. Ну и Анисьюшка, задала ты мне жару и пару...

На ферме столярова жена вызвала кормилицу Агафью и завела с ней совершенно посторонний разговор. «Ох, плохо живется, столяр пьянствует, а тут еще Анисья на-

вязалась». О подкидывании ребенка она, конечно, ничего не сказала, а объяснила только то, что Анисья отдала его на воспитание какой-то богатой бездетной купчихе.

— Слава богу, ребенка устроила,— повторяла она.— А вот с ней я вконец замаялась... Ревмя ревет и в том роде, как последнего ума решилась.

Агафья слушала и только качала головой. Хоть и чужое горе, а знакомое. На разговор вышла Ида и начала спрашивать об Анисье.

— На место она хочет поступать?

— На место, милая... Вот за этим и притрепалась я сюда... Может, не возьмут ли ваши господа. Тоже теперь свой ребенок, так одной горничной не управиться, пожалуй. Барин-то у вас добрющий...

Прислуга ничего не знала относительно господских намерений, но когда столярова жена уходила ни с чем, ее у ворот догнала Ида и сказала:

— Ты скажи Анисье, чтобы она приходила. У меня другое место есть... Я ей и раньше говорила.

Столяровой жене показалось, что Ида была даже рада уйти с фермы и хлопотала не столько об Анисье, сколько о самой себе. Что́ же, в добрый час.

16

Появление Анисьи на ферме было встречено с деланным равнодушием, как будто все этого ожидали. Барыни делали такой вид, как будто ничего особенного не случилось и Анисья никуда не уходила. Прислуга, напротив, взяла теперь сторону Анисьи, когда она пришла такая жалкая, едва одетая и худая, как скелет. Изморилась девка в каких-нибудь два месяца. Но барыни и прислуга сходились на одном пункте: не было его, того ребенка, который волновал всю ферму в течение почти целого года. Все это не мешало Анисье переживать самое угнетенное состояние. Она чувствовала себя виноватой перед всеми и лезла из кожи, чтобы угодить всем. Ведь это все молчат до поры до времени, а при первом удобном случае и выкорят. Почему-то Анисья больше всех боялась барина, особенно когда он смотрел на нее. Вот-вот что-то спросит и зарежет одним словом.

Впрочем, Елена Александровна раз зазвала Анисью к себе в комнату и завела серьезный разговор.

— Анисья, теперь, слава богу, все кончилось. Ты знаешь сама, что хвалить тебя мы не можем за это, но ты еще молода и можешь исправиться... то есть не будешь делать новых глупостей.

— Барыня, да разрази меня бог вот на этом самом месте...

— Хорошо, хорошо... Вы все это повторяете, а потом оказывается... да... Понимаешь, мне об этом и говорить-то противно. Петербургская прислуга вообще ужасно испорчена... И меня всегда удивляет одно: что вам нужно — сыты, одеты, работа не тяжелая, получаете большое жалованье, никто вас не обижает, если ведете себя хорошо. Я тебе должна сказать вперед, что в следующий раз я не потерплю...

Анисья понимала одно, что старая барыня чего-то не договаривает, да и прислуга тоже, и что без нее что-то такое случилось. Потом Анисье бросилось в глаза, что как-то особенно жестоко запьянствовал садовник Егор Спиридоныч, как только она вернулась «домой», и что все молчали об этом. Вообще, что-то такое крылось. Прислуга между собой шушукалась, но сейчас же смолкала, как Анисья входила в комнату. Все точно чего-то конфузились. Тайну всей фермы выдала кормилица Агафья, чувствовавшая к Анисье особенное, почти родственное расположение,— одно горе мыкали.

— Ох, Анисьюшка, что́ без тебя-то было — и не выговорить.

— Егор Спиридоныч что-нибудь набедокурил?

— Он самый... Видно, не смейся чужой беде — своя на гряде. Как он тебя избывал да измывался над тобой, а сам-то и попал... да. Было тут греха без тебя... Эта самая чухонская таратайка Ида... Она, нечего говорить, добрая и очестливая, а тоже вполне оказала свою женскую слабость. Тяжелая от нас ушла... Барин-то вот как кричал и ногами топал на Егора Спиридоныча: «Женись, грит, ежели не хочешь оказать себя полным подлецом». Ну, а Егор-то Спиридоныч свое толмит: «Как же, грит, я женюсь, барин, на этой чухонской таратайке? Низко мне, потому как я есть правильный крестьянин... Свои деревенские засмеют, да и в городе тоже не житье, а главное, грит, вера у ней другая». Ну, грешили достаточно, пока Ида не ушла... А Егор Спиридоныч сейчас и запировал. Раньше-то, видишь, все баб судили: та — такая-сякая, эта — такая-этакая, а тут, как дело дошло

до мужика, никто и не знает, что говорить... Егор-то Спиридоныч прямо на закон напирает... Нет, грит, такого закона, чтобы мужчину, например, принуждать к закону. Да и Ида тоже таковская: уйду, и вся тут.

«Барин» действительно терял голову. Такой уж проклятый год выдался. Все точно сговорились отравлять жизнь капля по капле. Одна история Анисьи чего стоила, потом кормилка Агафья, потом роман Егора Спиридоныча. В хозяйственный строй фермы рикошетом врывались такие явления, которых не могла придумать никакая статистика и никакая самая мудрая экономия. Все дело в том, что приходилось дело иметь не с машинами, а с живыми людьми, имевшими свои собственные недостатки, чувства и пороки. Оставалось одно — разогнать настоящий штат прислуги в полном его составе и заменить другим, который окажется таким же. Из всех этих историй для Сергея Иваныча получился один осязательный результат — не разговаривать с дамами, ибо из этого решительно ничего путного не выходило. По личному опыту Сергей Иваныч приходил к тому печальному заключению, что с бабой, с простой деревенской бабой, все-таки можно было иметь дело, особенно если повести его «по душам», а с дамой в крайнем случае можно было быть только вежливым. Дама была неисправима, что он видел на примере матери, сестры и жены. Дама могла быть справедливой только порывом, спорадически, а все остальное заросло целым лесом своих собственных интеллигентных предрассудков. Последней каплей в этой чаше испытаний было отношение дам к вернувшейся Анисье. Ни одна не спросила даже, где ее ребенок, как она его устроила и что думает делать. Самое главное для них заключалось в том, что этого ребенка нет на ферме, точно вынули какую-то занозу. И тут же рядом самое горячее проявление любви к маленькому Вадиму, из которого систематически делали домашнего божка. Да и сам Сергей Иваныч входил в эту роль, и все интересы дня сосредоточивались в каком-нибудь стерилизованном молоке.

Инцидент с Егором Спиридонычем был в пользу Анисьи в общественном мнении всей фермы, но Сергей Иваныч не желал им пользоваться. Дамы ожидали какой-нибудь выходки с его стороны, и каждая вперед подготовляла свой отпор на случай спора, а он молчал, делая равнодушное лицо, когда разговор случайно касал-

ся этой больной темы. Егору Спиридонычу он сказал откровенно все, что думал, кричал на него и топал ногами, а дома упорно отмалчивался. Эта выдержанная политика начинала злить дам, и они старались несколько раз вызвать Сергея Иваныча на спор, но он только улыбался и уходил к себе в кабинет.

— Вы нас не удостаиваете своим вниманием? — сердилась Анна Петровна.

— При чем тут удостаивать или не удостаивать? Все дело в том, что я остаюсь при своем мнении, а вы при своем. Бесполезно терять напрасно время...

— Какое величие...— язвила Ирочка.

— И непогрешимость римского папы,— прибавляла Анна Петровна.— Вообще, мне это нравится, очень нравится... да.

— Господа, кажется, я никому ничего обидного не сказал?..

— Все твое поведение, Сережа, обидно,— объяснила за всех Елена Александровна.— Ты нас точно и за людей не считаешь...

— Ведь я, мама, не умею спорить с вами, как тебе известно. Горячусь, выхожу из себя и говорю лишнее. Зачем же вызывать меня на ратоборство?

— Но ведь ты считаешь себя правым?

— О да, совершенно правым...

Анисью барин, действительно, наблюдал, точно старался что-то угадать, что его мучило. Раз ранним зимним утром, когда Анисья принесла стакан чаю к нему в кабинет, Сергей Иваныч неожиданно спросил:

— Анисья, а где твой ребенок?

— Мой? — испугалась Анисья.— А на воспитание я его отдала, барин...

— Знаю, что отдала, но куда?

— А к купчихе одной... Бездетная она, богатая, ну, ей и любопытно.

Сергей Иваныч сделал сердитое движение и проговорил:

— Зачем ты говоришь неправду, Анисья? И я тебе скажу, почему это неправда. Если бы ребенок был у купчихи, так ты уже десять раз сбегала бы проведать его. Да?

Анисья переминалась с ноги на ногу.

— Я даже скажу, что ты его подбросила... да, да.

— Ну, уж это вы напрасно, барин... За кого вы меня

считаете: вон Буянка и та своих щенят не бросит. Право, у купчихи...

— Хорошо, хорошо. Я совсем не хочу, чтобы ты лгала.

Тем разговор и кончился. Сергей Иваныч за последнее время основательно проникся этой бабьей психологией и был убежден, что Анисья именно подбросила ребенка. Была больна, платить было нечем, просить денег совестно — все так просто и понятно. Именно, самые жестокие вещи устраиваются замечательно просто. И так же просто относятся к этим ужасным вещам все люди, которых они не касаются особенно близко. Ну, что́ же, например, умер человек, родился человек на верную смерть, послала его на эту смерть та материнская рука, которая должна бы беречь и лелеять — все это в порядке вещей, потому что так было до нас и так будет после нас.

Сергей Иваныч вообще чувствовал себя хуже и хуже с каждым днем, потому что рождение собственного ребенка раскрывало ему такие стороны жизни, которых он раньше как-то не замечал, как не замечают другие, не обращал на них никакого внимания и даже не подозревал об их существовании. Все-таки должен был явиться личный мотив, чтобы пробить эту кору интеллигентного эгоизма.

— Что же, я средний человек, безличность...— резонировал Сергей Иваныч.— А средний человек всегда растворяется в настоящем, пока его что-нибудь не стукнет прямо по голове. И мучаюсь-то я бессильной мукой, потому что знаю вперед, что из этих мук решительно ничего не выйдет.

Ясно было только одно, именно, что любить одного своего ребенка и только его — нельзя. Это обыкновенно ставится в заслугу. Помилуйте, отец так любит своих детей, мать так любит своих детей — что же из этого? Представьте себе только такую картину: вы садитесь за свой обычный завтрак и ваши дети садятся с вами — у вас все есть, даже есть больше того, что вам нужно. Но в этот трогательный момент наизаконнейшего семейного счастья входят трое голодных детей — в данном случае предположим, что это дети Анисьи, Агафьи и Иды. Неужели вам пойдет кусок в горло и вы не отдадите своей порции этим несчастным и не отделите им от порции своего раскормленного баловня? Это всякий сделает, даже

очень дурной человек, а если мы этого не делаем, то только потому, что мы не видим этих детей, а они мрут тысячами где-то в прекрасном далеком.

17

Последняя мысль все настойчивее и настойчивее преследовала Сергея Иваныча, превратившись в своего рода idée fixe. Ему делалось положительно стыдно и за окружавшую его обстановку, и за то, что он ел так хорошо каждый день, одевался тепло, имел мягкую постель и мог кормить и содержать точно при таких же условиях всех других. Положим, это был очень скромный комфорт безотносительно, а по сравнению с вопиющей нуждой подвалов и чердаков, предместий и фабричных районов являлся уже непростительной роскошью. А главное, как культурный человек отгородил себя решительно от всего, что напоминало бы ему эту царящую бедность. Приняты решительно все меры, чтобы глаза цивилизованного человека не видели этой вопиющей бедности, а уши не слышали стонов и воплей. Это совершенно особенных два мира, разделенных бездонной пропастью. Самым рельефным примером этого отграничения всеми путями и средствами были те «хорошие господа», к которым поступила Анисья кормилицей и которые помешались на дезинфекции и мерах предосторожности от малейшей возможности заразиться. Вся кухня покатывалась от смеха, когда Анисья в сотый раз принималась рассказывать, как «хорошие господа жарили деньги в печи».

— А между тем это совсем не смешно,— обижалась Анна Петровна, делая Анисье выговор.— Так и нужно делать... Вот мы относимся ко всем этим мерам предосторожности с удивительным легкомыслием, а это нехорошо. Долго ли занести в дом какую-нибудь заразу.

— Чтó вы, барыня, господь милостив. Уж, кажется, все делаете для маленького барина.

«Маленький барин» — чрезвычайно меткое определение, которое постоянно резало ухо Сергею Иванычу. Да, большой барин и маленький барин, как тому и следует быть.

У Анны Петровны последовательно развивался самый болезненный страх к эпидемиям. Она припоминала все случаи, когда дети погибали от эпидемий в семьях близ-

ко знакомых, просто у знакомых и, наконец, вообще у людей, о которых рассказывали, до кормилицы Агафьи включительно. У ее двоюродного брата умерло от дифтерита в две недели четверо детей, у товарища мужа трое, у инспектора института двое, а по одному и не перечтешь. Ее охватывал ужас от сознания собственной беспомощности пред этим стихийным злом. А что̀ пишут в газетах — кажется, не было в России такого уголка, где не свирепствовали бы из года в год самые ужасные детские эпидемии, как дифтерит, круп, скарлатина, дизентерия, а в последнее время инфлюэнца. Достаточно сказать, что один дифтерит уносит в России ежегодно до ста тысяч детей. Ведь ужасно выговорить такую цифру... Целая армия маленьких жертв.

— Просто надо бежать из России,— в отчаянии повторяла Анна Петровна, одолевая мужа своими мрачными мыслями.— Нет такого уголка, где не было бы своей эпидемии. Уж, кажется, на благословенном юге должно было бы быть безопаснее, а там еще хуже, чем у нас на севере.

— Кажется, в Финляндии эпидемий нет,— говорил Сергей Иваныч, косвенно защищая дорогое отечество.

— Что́ же Финляндия,— Финляндия для нас тоже заграница, а я говорю о России. Это ужасно, ужасно... Просто нужно бежать куда-нибудь в Швейцарию...

— Послушай, Аня, по пословице у страха глаза велики... Ведь население России не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается, значит, беда еще не так велика. Доказательство: мы сами... Ведь выросли же мы в России, а не за границей.

— Это все слова, слова и слова.

— Я тебе вот что скажу, Аня... Как-то летом мне пришлось быть за Невской заставой, где начинается фабричный район. Возвращался я вечером на конке и сидел наверху. Солнце закатывается, в воздухе страшная духота, кругом лачуги, кабаки, трактиры, фабрики и ни одного деревца. Понимаешь: ни скверика, ни аллейки, ни рощицы. Несчастная детвора вся на улице, в пыли и грязи... Меня просто взял ужас вот за этих фабричных детей. Но ведь они живы и вырастут большими, хотя, конечно, и не все. В этом фабричном районе считается населения около ста тысяч. Следовательно, детей надо считать до десяти тысяч. Знаешь, какой отсюда вывод?

— Самый простой: фабричное население везде вы-

мирает с ужасающей быстротой и пополняется новыми рабочими из деревень.

— Нет, есть еще и другой вывод: вот нам с тобой просто стыдно бояться за своего ребенка, когда приняты все меры для его существования и все средства. Ты только подумай, при каких условиях вырастают дети в деревне, и все-таки вырастают, а мы, кажется, делаем решительно все для своего ребенка.

— Не говори, Сережа, пожалуйста, не говори этого... Я все боюсь, что мы что-нибудь пропустим, недосмотрим, просто не сумеем сделать.

— Ну, такой страх уже является своего рода болезнью.

— И вполне понятно. Я, по крайней мере, постоянно больна своим ребенком.

Успокаивая жену, Сергей Иваныч сам тоже волновался вопросом об эпидемиях. Он вычитывал все, что печаталось про них в газетных корреспонденциях и даже в специально-медицинских изданиях. Его прежде всего обескураживала бессмысленность этого стихийного зла. Кричат о войнах, а тут творится еще более жестокая война из года в год, изо дня в день и уносит в сотни раз больше жертв, чем все войны, взятые вместе. Если даже взять одну хозяйственную сторону, чего стоит каждый ребенок семье — получатся миллиарды брошенных на ветер рублей. Эта беззаконность стихийного зла врезывалась каким-то клином во всю остальную законность жизни. Ведь все обусловлено, все взаимно связано, все имеет свое разумное объяснение, хотя подчас и несправедливо. «Маленький барин» отнял молоко у ребенка Агафьи, и тот умер якобы от горлышка; Анисья не имела возможности сама воспитать своего ребенка, и он погибнет где-нибудь в воспитательном доме; вероятно, та же участь ожидает и будущего ребенка Иды — жестокая, но законность. Если взять жизнь фермы, то ведь и здесь сложился целый круг таких отношений, из которых невозможно вырваться, несмотря на самое горячее желание это сделать. Например, как он, Сергей Иваныч, мучился и мучается положением Анисьи, Агафьи и Иды и все-таки ничего для них не сделает. Его вмешательство было даже вредным, как в примере с Анисьей. Приходилось эксплуатировать, как эксплуатировали все остальные. Выхода не было.

Обвиняя про себя своих дам и даму вообще, Сергей

Иваныч не мог не видеть, что они только санкционируют факт жизни, а шаблон для этой жизни дается вкусами, привычками, пороками и достоинствами мужчин. Во всяком случае их роль пассивная, и, следовательно, вполне обвинять их несправедливо.

Сергей Иваныч незаметно для самого себя переходил в роль наблюдателя как над другими, так и над самим собой, точно делал какой-то очень сложный и ответственный опыт и научную проверку. В жизни все явления связаны. Кажется, что могло быть общего между фермой, спичечной фабрикой и трактиром «Голубок», а между тем получалась вполне определенная комбинация и даже тесная связь. «Шестерка» из «Голубка» явился каким-то разрушающим элементом, как всякий отброс, Егор Спиридоныч заливал свое горе в «Голубке», сторож со спичечной фабрики являлся в роли беспощадного общественного мнения, на которое все ссылались, Иван Иваныч приходил поверять свои любовные муки Анне Петровне, Елена Александровна имела виды на Ивана Иваныча, Адя приходила нянчить маленького Вадима, корректный немец Шик непогрешимо возвышался над всеми и т. д.

Иван Иваныч, очень милый и гуманный человек, раз откровенно проговорился Сергею Иванычу, когда они сидели одни в кабинете.

— Скажите, пожалуйста, Сергей Иваныч, ну почему я не взял на воспитание ребенка вашей Анисьи? Ведь, кажется, чего бы проще: квартира у меня есть, мне нужна прислуга — самое подходящее было взять Анисью с ребенком именно мне. И как это мне не пришло в голову, да и другим тоже...

— Да, действительно...— спохватился Сергей Иваныч.— Никто решительно этого не подумал.

— Ведь не съел бы меня один ребенок, а потом он бы подрос, я его отдал бы в школу... да. Аделаида Егоровна так любит детей и все вспоминает девочку Анисьи...

Сергей Иваныч понял, что все дело в конце концов сводилось на Адю,— взятый на воспитание ребенок создал бы некоторую сближающую обстановку, общие заботы и общие мысли. А в сущности этот Иван Иваныч такая же мямля и размазня, как и он, Сергей Иваныч. В них было много общего, как в истинно русских людях, добрых, порывистых, бесхарактерных и покладистых.

— Да, действительно...— думал вслух Сергей Иваныч.— А как глупо это все вышло, Иван Иваныч!.. Не умеем мы жить... Говоря откровенно, просто бить нас надо.

Иван Иваныч засмеялся. Он так хорошо умел смеяться, что больше всего в нем нравилось Ирочке.

18

Шекспир где-то называет привычку чудовищем, пожирающим лучшие наши чувства, и Сергей Иваныч начал испытывать это на себе. Да, привычка — ужасная вещь, и то, что возмущало и мучило Сергея Иваныча еще полгода назад, теперь быстро заносилось сором жизни, как заносит река илом самые глубокие ямы и колдобины. Нельзя сказать, что Сергей Иваныч помирился с существующим порядком, но прежней остроты чувства уже не было. Факт жизни брал перевес над теоретическими построениями. Главным действующим началом, заслонявшим все остальное, был свой собственный ребенок. Да, он рос и постепенно наполнял собой весь дом. У него уже были свои желания и нежелания, просыпалось сознание. Он начинал узнавать окружающих и семи месяцев сказал свое первое детское слово: мама. Это был настоящий праздник для всей семьи. Вообще ребенок является каким-то регулятором всей жизни, и все в доме прилаживалось к нему. Открывалась совершенно новая жизнь, полная таких хороших радостей, пред которыми отступало все темное, мучительное и несправедливое.

В постепенном своем перерождении Сергей Иваныч дошел до того, что мог радоваться, наблюдая, как Анисья постепенно привязывается к ребенку. Она помещала в этом ребенке неизжитый материнский инстинкт.

— Знаешь, Аня, из этой Анисьи выйдет очень хорошая няня,— говорил Сергей Иванович жене.— У нее отличный ровный характер, а потом она так любит нашего Вадишку...

— Да, ничего...— сухо отвечала Анна Петровна, ревновавшая всех.

— Нет, серьезно... Эти девушки, которые пережили катастрофу, делаются отличными нянями.

Да, хорошо, совсем хорошо. А тут еще близилась весна, с которой неразрывно связывались такие здоровые заботы. Это уже был счастливый труд, полный нового

смысла и значения. Приходилось работать не для одного настоящего, а и для будущего. Забота о подраставшем ребенке заставляла думать о некоторых сбережениях и запасах, какие делают даже кроты и мыши. Сергей Иваныч с раннего утра уже был на хозяйстве и с особенным удовольствием входил во все его самые скучные мелочи. Ведь теперь все было важно, и в собственном смысле мелочей не существовало. Егор Спиридоныч по-прежнему был правой рукой и опять «наладился», стряхнув с себя жестоким запоем всякую дурь. Он особенно старался и поднимался раньше барина.

— Пчелка-то как у нас гудит, Сергей Иваныч... Учуяла весну божья тваринка,— любовно говорил он, встряхивая волосами.— Она, эта самая пчелка, вот как это все чувствует. Ежели чуть что — лучше к ней и не подходи...

— Пчела требует только ухода, и больше ничего. Остальное все вздор...

— Нет, уж это вы напрасно, барин, потому как ежели что в дому неладно, и пчелка неладно...

— Перестаньте болтать глупости.

Снег быстро таял. Крыши за ночь обрастали ледяными сталактитами. Дорога почернела, и кой-где показались лужи, покрывавшиеся по ночам тонким льдом, ломавшимся, как стекло. Особенно хорошо теперь было в оранжерее, где луковицы уже цвели с февраля; гиацинты, тюльпаны и ландыши нынче были особенно великолепны, а розовые азалии превзошли самих себя. Сергей Иваныч любил копаться в оранжерее по целым часам, потому что цветы были его слабостью, в чем он даже упрекал себя, так как это была уже некоторая роскошь, а не хозяйственная статья. Промышленного цветоводства он не понимал, потому что это не было серьезным делом, а только удовлетворяло лишнюю прихоть богатых людей. Другое дело — иметь оранжерейку для себя; что поработал, то и получил. Раз, когда он работал в оранжерее вместе с садовником, Егор Спиридоныч заметил:

— А ведь неладно, барин...

— Что неладно?

— Да так, примета есть... Вот вы смеетесь над приметами, а они вот как выходят. Как по-писаному...

— Что такое случилось? Пожалуйста, говорите толком...

— Да вот цветы, Сергей Иваныч... Уж вы извините, а только неладно. В прошлом году азалии-то какие бы-

ли: где-где цветочек завязался, а нынче так пукетами и прут. Тоже вот и тюльпаны, и нарциссы, и гиацинты... И оранжерея та же, и руки те же, а цветы другие.

— Ну?

— По-нашему, это не к добру...

Сергей Иваныч только засмеялся.

— Меня удивляет одно, Егор Спиридоныч: человек вы неглупый, а говорите прямо глупости. Это могут сказать Домна или Васильевна, а вам-то стыдно. Видали хорошие оранжереи? Чем лучше уход за растениями, тем больше цветов. Немцы-садовники вон какие цветы выгоняют... Тоже не к добру?

— Немец — это совсем особь статья, Сергей Иваныч. Немцу наплевать, а у нас свои приметы...

— Решительно ничего не понимаю!..

Садовник только пожал плечами и с сожалением посмотрел на ничего не понимавшего барина.

Это замечание хотя и рассмешило Сергея Иваныча, но в последнее время «приметы» начали входить почти в домашний обиход. Вся прислуга существовала по приметам, и от нее начали заражаться остальные. В самом деле, в жизни так много непонятного и таинственного, а, с другой стороны, ведь эти приметы на чем-нибудь основаны, если им верит стомиллионная масса простого народа.

— Может быть, наука впоследствии только подыщет рациональное объяснение им,— говорила Елена Александровна, верившая главным образом снам.— Ведь простые деревенские старухи изобрели и практиковали массаж целую тысячу лет, прежде чем ученые люди додумались до него. А гипнотизм? Те же старухи давным-давно лечат от дурного глаза, заговаривают кровь, присушивают и т. д. И относительно снов то же самое. Положительно, есть вещие сны.

— Мама, я не спорю с тобой,— говорил Сергей Иваныч.— Хотя мое ухо просто не привыкло слышать подобные вещи... Для меня лично существует одна точная, положительная наука, а все остальное — только темная область темных предчувствий. Мы таким образом можем договориться до столоверчения...

Известно, что Сергей Иваныч был скептик — это во-первых, а во-вторых, он был всегда страшно упрям и, в-третьих, всегда спорил. Например, сон, который видела Елена Александровна за несколько дней до скоропостиж-

ной смерти своего мужа,— приходит человек в белом и манит ее рукой. Она тогда же рассказала этот сон, и все смеялись, как вот сейчас смеется Сережа. Нет, в природе есть что-то такое... да. Даже Ирочка и та допускает совпадение некоторых снов с действительностью.

Этот подъем суеверного чувства в женщинах Сергей Иваныч объяснял по-своему, именно страхом перед неотвратимой бедой, грозившей из каждой щели. Да и было чего бояться. У буфетчика в «Голубке» на святках умер ребенок от скарлатины, у сторожа на спичечной фабрике двое детей умерли от дифтерита, и это в двух шагах от фермы. А там дизентерия, круп, инфлюэнца... Дамы на ферме трепетали за своего ребенка при каждом таком известии и чувствовали себя беспомощными.

Беда пришла совершенно нежданная. Не было ни вещих снов, ни каких-нибудь зловещих признаков.

Ребенок был совершенно здоров и весел. Это было в конце второй недели поста. Сергей Иваныч собирался съездить на несколько дней по делам в Москву, но почему-то остался. Вечером в пятницу кормилица Агафья заявила Анне Петровне, что ребенок скучает.

— Что значит: скучает?

— Да так, барыня...

Анна Петровна пощупала головку и нашла только легкий жарок, что с детьми этого возраста случается от всяких пустяков.

— Может быть, зубки режутся...— сделала она предположение, глядя вопросительно на кормилицу.

— А кто его знает, барыня... Известно, дети... Может, сглазил кто-нибудь... Третьеводни Шикова жена все ахала: «Ах, какой чудный ребеночек! Ах, какой хорошенький!» Я не стерпела и сказала ей, что это неладно...

— Ну, это глупости, Агафья.

— Как вам будет угодно, барыня...

Сергей Иваныч тоже отнесся довольно спокойно к этому случаю. Мало ли дети хворают — это в порядке вещей. Он пошел в детскую, посмотрел ребенка и успокоил жену. Самый обыкновенный маленький жарок...

— Вообще мы слишком много волнуемся, Аня,— заметил он наставительно.— Все дети неизбежно проходят известный ряд детских недомоганий и болезней.

— Да я ничего, Сережа...

Ночью Сергея Иваныча разбудили. Маленький барин лежал точно в огне.

— Что́... что́ такое? — бормотал спросонья Сергей Иваныч.— Как это вдруг могло случиться?..

Весь дом всполошился, как один человек. Анна Петровна, помертвевшая от страха, напрасно старалась удерживать слезы. Заложена была лошадь, и Сергей Иваныч сам поехал в город за доктором.

19

Когда Сергей Иваныч ехал в город за доктором, на него напал какой-то панический страх. Господи, что будет? И отчего, подумаешь, могло все случиться... Ребенок был веселенький, играл, вообще имел совершенно веселый вид, и вдруг... «Ах, какой я глупый! — думал Сергей Иваныч.— Совсем забыл посмотреть у него горлышко». Страх перед дифтеритом постоянно его мучил, а тут из головы вон.

Детский доктор хотя и был знакомый человек, но вышел с недовольной миной, когда его разбудили. Перспектива ехать ночью за город совсем ему не улыбалась.

— Может быть, пустяки какие-нибудь? — говорил он, надевая в передней меховое пальто.— Это иногда случается... Родители вообще склонны преувеличивать.

— Ах нет, доктор... лежит с закрытыми глазками...

— Дети вообще слабеют быстро от всяких пустяков, и это еще ничего не доказывает.

— Если бы вы были правы, доктор!

Всю дорогу доктор дулся и упорно молчал, несмотря на все усилия Сергея Иваныча занять его. Дорога обоим показалась гораздо длиннее обыкновенного, лошадь шла тише обыкновенного, кучер Архип правил сквернее обыкновенного, даже ям по дороге попадалось больше обыкновенного. Но вот наконец показался знакомый силуэт построек, мелькнул огонек... Что-то там делается? На Сергея Иваныча опять напал страх, и у него захолонуло на душе. Вот уж совсем близко. У ворот стоял Егор Спиридоныч и, видимо, поджидал. Значит, дело скверно... У Сергея Иваныча упало сердце, и он чувствовал, как дрожат колени от страха, когда он входил в дом.

Доктор осмотрел ребенка и только покачал головой. На него все смотрели со страхом, точно от него сейчас зависели и жизнь и смерть. Оставалась безучастной од-

21 Заказ 363

на кормилица Агафья, не верившая никаким докторам на свете. Божья воля на все, а доктора понапрасну мучают.

— Ну что, доктор? — спрашивал Сергей Иваныч, чувствуя, как у него холодеют руки и ноги.

— Он мне не нравится...— коротко ответил доктор, набрасывая рецепт.

— Что же у него такое?

— Пока еще не определилось... Всего вернее, что инфлюэнца... да... Она сопровождается иногда очень серьезными последствиями... Как мне кажется, у ребенка не совсем в порядке правое легкое... подозрительный шум... шум и особенные хрипы...

— А горлышко?

— Горлышко в порядке...

У Сергея Иваныча отлегло на душе. Все, что угодно, только не горлышко... Даже если воспаление легких, и с этим можно помириться. Ребенок здоровенький и вынесет.

Архипа уже верхом погнали в город, в аптеку, а пока были пущены в ход компрессы. Ребенок тяжело дышал, продолжая лежать с закрытыми глазами. Доктор все щупал пульс и, видимо, волновался: ему не нравилось, как работает сердце маленького барина. Анна Петровна не отходила от кроватки больного и, кажется, ничего не видела и не слышала, охваченная одним чувством. От одной бессонной ночи она сразу вся осунулась и как-то пожелтела.

— Инфлюэнца? — спрашивала она доктора в десятый раз.

Наступало уже весеннее мутное утро. Свет скорее чувствовался, чем виделся, а солнце напоминало воспаленный глаз, полуприкрытый облаком-веком. На ферме царила зловещая тишина. Всего какая-нибудь одна ночь, и люди сделались неузнаваемыми. Везде в комнатах царил страшный беспорядок, пахло лекарствами и слышались осторожные шаги и сдержанный шепот. Сергей Иваныч провел целую ночь в детской и не замечал, как бежит время. Доктор соснул три часа в его кабинете. Теперь уже никто не спрашивал его о положении больного. Маленький барин точно таял у всех на глазах.

— Да... Это удивительно! — бормотал доктор, испытывая постыдное чувство бессилия.— Совершенно новая форма быстротечной пневмонии на почве инфлюэнцы.

С каждым часом оставалось все меньше и меньше надежды. Теперь уже и Сергей Иваныч мог слышать те предательские хрипы, которые сразу так не понравились доктору.

Анна Петровна находилась в тупом отчаянии, как оглушенная. Она больше не могла плакать. Что-то такое громадное, ужасное, подавляющее ворвалось в дом. Смерть уже незримо летала над головой маленького хозяина, и не было силы, которая могла бы предупредить катастрофу. Маленькая жизнь, как блуждающий огонек, готова была потухнуть каждую минуту. Всех спокойнее и выдержаннее была Елена Александровна, и она же оказалась всех выносливее. Когда силы ее оставляли, старушка уходила к себе в комнату и молилась. Ирочка заперлась у себя в комнате и со страха не могла заснуть всю ночь. Она еще не видела, как умирают люди, и совершенно потерялась. В голову Ирочки лезли самые глупые мысли, которые уже совсем не соответствовали важности момента. Она раскаивалась про себя, что любила дразнить маленького Вадишку, что рассердилась на него еще накануне болезни, когда он испортил ей новое платье, что вообще мало его любила и не умела любить. Да и для чего вообще жить, любить, мучиться и желать чего-нибудь, когда в каждый данный момент эта глупая жизнь может порваться, как гнилая нитка? Умные книги говорили Ирочке, говорили решительно обо всем, кроме самого главного, то есть смерти. Вот до этого дня она как-то совсем не задумывалась над этим вопросом, и ей казалось, что простые женщины, как старуха Васильевна, даже Домна и Анисья, знают об этом гораздо больше и понимают то, чего ей, интеллигентной женщине, совсем не дано. Даже эти простые бабы держали себя лучше — в них была такая трагическая простота. У Ирочки явилось какое-то детское беззащитное чувство, ей хотелось, чтобы Васильевна сидела в ее комнате и что-то такое говорила, говорила без конца, ласковое и строгое, простое и верующее, от чего отлегает на сердце.

В девять часов доктор вызвал Сергея Иваныча в кабинет. Он был очень смущен и жалок.

— Сергей Иваныч, я должен вас предупредить...

— Знаю, знаю... Все кончено.

Доктор вынул часы и проговорил уже решительно:

— Меня ждут другие больные...

— Да?..

Когда доктор уходил, Сергея Иваныча охватило отчаяние тонущего человека.

— Доктор, ради бога, не уходите! Умоляю вас...

— Мое присутствие совершенно бесполезно... Впрочем, я заеду потом. Удивительный случай...

В голове Сергея Иваныча быстро пронеслась картина, как другие больные дети ждали вот этого доктора, те другие, для которых еще существовала надежда. Он там был нужен... Потом Сергею Иванычу сделалось обидно, когда он вспомнил, что жена называла вот этого самого доктора добрым. Какой же он добрый, если бежит в такой момент. А главное, Аня сейчас заметит его отсутствие и окончательно падет духом... Впрочем, что же тут говорить, когда он сам признал себя лишним здесь и когда его ждут другие больные дети. Все эти мысли неслись в голове Сергея Иваныча вихрем, как осенние сухие листья.

— Сережа, доктор уехал? — строго спросила Елена Александровна, появляясь своей неслышной походкой в дверях.

— Да, мама... Ах, мама, мама...

Сергей Иваныч вдруг заплакал, почувствовав себя тем ребенком, которого когда-то утешала вот эта мама.

— Мама, за что?.. Мама, это несправедливо...

Анна Петровна сидела у кроватки маленького барина обезумевшая, жалкая, состаревшаяся в одну ночь. Она видела, что ребенок умирает, и понимала, что спасенья нет. Вот маленький барин начал уже дышать тише... Что-то клокотало в маленьком горлышке.

— Барыня, перекрестите младенца... отходит,— шепнула стоявшая за ней Васильевна.— Господи помилуй...

Эти слова точно разбудили дремавшую энергию. Анна Петровна, захлебываясь, начала, повторять:

— Нет, нет, я не позволю... я не дам... я просила бога... Не дам, не дам!..

Она порывалась взять ребенка из кроватки, но Васильевна ее удержала.

— Барыня, нехорошо беспокоить, когда человек отходит...

У кроватки собрались Елена Александровна, Сергей Иваныч и Анна Петровна. Сергей Иваныч собрал все силы и старался казаться спокойным. Одной рукой он держал жену за талию.

— Отошел...— проговорила Васильевна, крестясь.

Ирочка узнала о смерти маленького барина, когда услышала, как в коридоре рыдала Анисья. Она со страхом выглянула из своей комнаты и увидела, как брат ведет жену через гостиную. Она сделала несколько шагов и заглянула в дверь детской. Елена Александровна наклонилась над кроваткой и торопливо крестила маленького барина. В уголке стояла Васильевна и глухо причитала:

— Голубчик ты наш... анделочек.

Ирочка убежала к себе в комнату, затворила за собой дверь на ключ и, бросившись в кровать, принялась плакать... Потом ее удивило, что в коридоре слышался голос Ивана Иваныча, который о чем-то разговаривал с Анисьей.

— Передайте Сергею Иванычу, что я все хлопоты по похоронам беру на себя...

— Слушаю-с...

— Аделаида Егоровна сейчас будет.

20

Покойник в доме вызвал хлопотливую работу всех женщин. Всеми руководила Адя. Она была в трауре и походила на черную тень. Маленький барин лежал в гостиной на столе, окруженный цветущими азалиями. Каждое утро Егор Спиридоныч приносил живые цветы и обкладывал ими покойника. В комнатах водворился запах росного ладана и слышалось монотонное чтение сестры из какой-то общины. Главным образом хлопотал Иван Иваныч, которому больше было заботы с живыми. С Анной Петровной было уже три обморока. Она не плакала, не жаловалась, и это было всего хуже. Но женщины держали себя все-таки бодро сравнительно с Сергеем Иванычем, который ходил с опухшим от слез лицом. По вечерам Иван Иваныч насильно уводил его гулять. Сергей Иваныч беспрекословно повиновался и каждый раз с удивлением смотрел на своего ментора, точно видел его в первый раз. Какой он чудный, а главное, добрый человек. Сергею Иванычу нравилось общество этого хорошего человека. Являлась даже мысль, что как было бы хорошо, если бы он совсем переехал с фабрики на ферму. Все женщины тоже полюбили Ивана Иваныча и обращались к нему за всякими пустяками. Когда он

входил в комнату, Адя опускала глаза. Ирочка следила за каждым шагом Ивана Иваныча ревнивыми глазами. Она только теперь поняла и оценила этого скромного человека, в присутствии которого ей хотелось быть и красивой, и молодой, и одной из тех счастливых женщин, за которыми ухаживают мужчины. Эти чувства Ирочки самым невозможным образом были связаны с маленьким барином, смерть которого еще ярче выставила все величие жизни, ее ответственные интересы и тот смысл, который обыкновенно покрыт дневным шумом и пустяками.

У Сергея Иваныча горе проявлялось в самой шумной форме. Он больше не стыдился своих слез. Любимым его местом была детская, где все напоминало маленького барина — костюмчики, кроватка, все мелочи его обихода, а особенно детские игрушки. Ведь это целый мир — вот эти бессмысленные и смешные детские игрушки, кажется, еще хранившие на себе таинственные следы детских улыбок, детских глаз, детского смеха и первого пробуждения сознания. В них заключалась какая-то неразгаданная тайна, как в тех смешных и нелепых божках и идольчиках, которым поклонялся ветхий человек. Они еще не потеряли живой теплоты детских рук, которые их держали... И вдруг ничего, темнота и ненужность.

— Ради бога, не трогайте в этой комнате ни одной вещи,— умолял Сергей Иваныч всех.— Я приду сюда через десять лет, когда он был бы мальчиком, и буду оплакивать своего дорогого мальчика... приду через двадцать пять лет, когда он был бы юношей, и буду седым стариком оплакивать своего дорогого юношу... Оставьте все, не трогайте ничего и дайте мне плакать...

Ивану Иванычу стоило больших хлопот увести Сергея Иваныча из этой роковой комнаты.

— И вдруг ничего?! — в ужасе повторял Сергей Иваныч.— Да, ничего, ничего, ничего... И сам я тоже ничто, и впереди ничто!

Особенно мучился Сергей Иваныч накануне похорон. Он ходил вокруг маленького гробика и повторял:

— Вадим, ты у меня дорогой гость... и сегодня последняя ночь, которую ты у меня гостишь, мой милый мальчик. Да, последняя, последняя...

Читалка смотрела на горевавшего отца равнодушными глазами. Она видела так много горя и слез, и ново-

го ничего для нее не существовало, как для монеты, которая побывала в миллионах рук.

Елена Александровна попросила Ивана Иваныча увести куда-нибудь безумствовавшего отца. Сергей Иваныч не сопротивлялся. Возбуждение у него сменилось апатией.

— Пойдемте пешком,— предлагал Иван Иваныч.

— Пойдемте...

Падал мягкий весенний снежок, падал как-то нехотя, точно сознавал свою собственную бесполезность и бессилие. Они шли прямо по шоссе, потому что тротуары были затоплены весенней водой.

— Меня что возмущает,— глухо заговорил Сергей Иваныч,— всему есть свои разумные причины и объяснения, даже подлости и безобразию. Да... А тут ничего и ничего. Для чего-то человек родился и уж совсем неизвестно, для чего умирает... Какой же смысл жизни? Получается какая-то колоссальная бессмыслица... Меня это убивает, Иван Иваныч... Ведь последнее утешение — философия. Ах, да что философия: вздор, болтовня, бессмысленное кружево мысли. Ведь вот возьмите Анисью, Домну, старуху Васильевну — они неизмеримо счастливее нас с вами, потому что они могут молиться. Боже мой, чего бы я не дал за такую возможность...

— По-своему всякий молится, Сергей Иваныч...

— Молится, но не всякий получает облегчение. Да... Ах, какая бессмыслица! Ну скажите, разве не приняты были все меры, чтобы ребенок был здоров? Я ищу и не нахожу ни малейшего повода, чтобы обвинить себя или других в какой-нибудь небрежности. Все было сделано, все предусмотрено и... И все-таки бессмыслица! Как вы счастливы, Иван Иваныч, что не женаты и не имели детей... Это такая му́ка...

— Я знаю, Сергей Иваныч, му́ка больше, именно, когда некого оплакивать...

Точно в ответ из мягкой кружившейся мглы с тяжелым грохотом показались какие-то необыкновенные колымаги, напоминавшие собою те телеги, в которых возят с боен еще теплое мясо. В каждой колымаге сидело по две бабы.

— Это что такое? — удивился Сергей Иваныч.— Никогда не видывал таких удивительных экипажей...

— А это из воспитательного дома развозят детей на воспитание...

Бабы действительно держали в руках какие-то таинственные свертки и весело переговаривались с казенными кучерами. Сергей Иваныч и Иван Иваныч посторонились, давая дорогу странному поезду. Всех колымаг было шесть, все были окрашены в зеленую краску, и все были устроены с прочностью хороших лафетов. Колымаги грузно прокатились и медленно пропали в вечерней мгле, точно им было трудно пробираться сквозь крутившуюся снежную сетку. Сергей Иваныч проводил их глазами, постоял и заявил:

— Ну, теперь вернемтесь домой, Иван Иваныч...

Всю дорогу Сергей Иваныч думал о несчастных «шпитонцах». Куда их везут? Что их ждет впереди, этих брошенных матерями маленьких человечков? Где эти несчастные матери? У него стоял еще в ушах веселый говор и смех баб, увозивших домой живой товар. А маленькие человечки не могли даже сказать, как им больно и горько, маленькие ручонки не могли защититься... Впереди их, конечно, ждала самая верная смерть, констатированная статистиками всей Европы. Это были жертвы Молоху нашей цивилизации...

— Бедные, бедные...— подумал Сергей Иваныч, чувствуя, как его сердце сжимается от щемящей боли.— Милые, бедные деточки...

Иван Иваныч остался ночевать у Колосовых. Его попросила об этом Елена Александровна, которая боялась этой последней ночи. Но Сергей Иваныч был спокоен, как-то странно спокоен, как человек, отыскавший разрешение очень трудной задачи.

Пробило уже двенадцать часов. Иван Иваныч лежал на диване, испытывая приступ самой неприличной сонливости. Из гостиной доносилось монотонное чтение сестры, напоминавшее жужжание какой-то громадной мухи. Сергей Иваныч шагал из угла в угол по кабинету, как маятник, и слипавшимся глазам Ивана Иваныча начинало казаться, что Сергей Иваныч стоит на одном месте, а мимо него движется кабинет.

— Иван Иваныч, вы не спите?

— Нет...

— Гм... Помните, что я вам говорил давеча о бессмыслице? Да, так вот я все время думал... И знаете, ведь бессмыслицы-то нет!.. Помните давешний поезд шпитонцев?

— Дда...

Сергей Иваныч подсел на диван и заговорил быстро, точно боялся потерять нить собственных мыслей.

— Видите ли, бессмыслицы-то совсем нет... Вот эти шпитонцы, которых повезли на верную смерть... Кстати, вези на смерть взрослых людей и предложи их взять нам, чем бы мы избавили от этой смерти — неужели мы не сделали бы этого? Да... А тут и вы и я отлично знали, что делается, и мы не разогнули пальца для этих несчастных и даже не подумали об этом. А сколько детей гниет заживо по подвалам, мерзнет в мансардах — что мы для них сделали? Опять ничего... И другие тоже ничего не сделали, хотя и мы, и вы, и все другие отлично знаем ужасную действительность. Но есть возмездие, Иван Иваныч, возмездие за наш эгоизм, вернее — за бессердечие. Этот коллективный брошенный ребенок мстит нам страшными детскими эпидемиями. Откуда эти эпидемии налетают на нас и вызывают тысячи жертв, несмотря на все ухищрения науки, родительскую любовь и предосторожности? Страшный враг мстит смертью за смерть, он зарождается в подвалах, в мансардах, по всевозможным углам, где ютится бедность и нищета... и проникает везде, как воздух... Он не знает жалости, как и мы. «Вы меня выбросили на улицу, вы любите только своих детей, так вот вам и дифтерит, и скарлатина, и новая болезнь инфлюэнца... Вы будете плакать, эгоисты, как плакала моя коллективная мать!»

1894

Мумма

Рассказ

1

Мумма волновалась уже несколько дней, волновалась, по обыкновению, не за себя, а за других. Мумме бог дал доброе сердце, которое служило источником бесконечных страданий. Глядя на ее круглое румяное лицо, никто бы не подумал, сколько эта женщина перенесла.

Да, Мумма волновалась...

«Ах, уж это мне десятое сентября...» — повторяла она про себя и угнетенно вздыхала.

Особенно грустно было то, что прежде это был такой веселый день, а потом с каждым годом молодое веселье таяло, сменяясь нараставшей тоской.

Сентябрьский денек выдался кисленький, с мелким назойливым дождем. Окна отпотели. В Петербурге такие дни производят особенно унылое впечатление, точно в окна на вас кто-то смотрит заплаканными глазами.

Неприятности начались с утра. Мумма поднялась рано, когда все еще спали. Ей было за пятьдесят; когда-то белокурые волосы проросли сединой, старческое ожирение скрыло всякую фигуру, что при небольшом росте выходило очень некрасиво, но у нее оставались живыми карие большие глаза и почти молодая бодрость движений. Она коротко стригла волосы, что ее молодило. Мумма до сих пор не знала устали. Кстати, ее звали Капитолиной Евграфовной, а Муммой называли дети.

Неприятности подготовлялись с вечера. Во-первых, приехал из провинции старший сын Вадим. Боже мой, сколько забот, труда и надежд было вложено в этого человека, а он не только не оправдал их, а остался жалким неудачником. Кажется, уж все системы воспитания были применены, все последние слова педагогии были использованы, и это только для того, чтобы получился «человек двадцатого числа», кое-как при-

строившийся в акциз. Как все неудачники, он женился очень рано, студентом, а потом жена его бросила, и он привез двух своих детей, Олега и Игоря, к матери.

— Что я с ними буду делать, Мумма,— говорил он.— Я целый день на службе, матери нет, а ты по натуре наседка... Вот тебе благодарный материал.

Мы уже сказали, что Мумма была добра и приняла на воспитание внучат без слова, даже со слезами на глазах. Она все-таки безумно любила своего неудачного Вадима, в котором видела свою молодость. Притом мальчики уже были в школьном возрасте, и в Мумме проснулось желание воспитывать. О, она целую жизнь занималась воспитанием, и вы ее наверно встречали на всех собраниях разных педагогических кружков, на лекциях, выставках, актах и беседах. Мумма глубоко верила в то, что только при помощи воспитания можно пополнить все пробелы и недочеты человеческой природы и создать ту новую породу людей, о которой мечтала еще великая Екатерина.

Семья Туразовых состояла из двух сыновей и двух дочерей. О старшем, Вадиме, мы уже говорили, а младший, Ярослав, еще учился в университете. Старшая дочь, известная в семье под кличкой «Нинка-буржуйка», была давно замужем за биржевым маклером, который презирал семью жены за ее интеллигентность, потому что сам мог думать только о деньгах. Мумму возмущало до глубины души, что ее дочь может любить такого человека и еще больше — быть счастливой. Младшая дочь Лия находилась в критическом возрасте «девушки на взлете», как дразнили ее братья, следившие за каждым ее шагом, который вел к ловле жениха. Это была миловидная девушка, кончившая гимназию и побывавшая на всевозможных курсах. Она отличалась какой-то странной апатией и почти не интересовалась ничем, что делалось кругом. Это очень огорчало Мумму. Много ли хороших, выигрышных лет у каждой девушки, и проспать их бессовестным образом... Мумма невольно вспоминала свою бурную, веселую молодость, когда каждый день являлся целым капиталом.

Когда Вадим приезжал в гости, он разыгрывал какого-то хозяина. Все критиковал, делал недовольное лицо и вообще, как говорится, фыркал. Впрочем, он это делал только при матери, а при отце сдерживался. Сегодня он встал поздно и долго ворчал на горничную,

а потом вышел в столовую с таким видом, точно его только что вытащили из воды.

— Поздравляю...— лениво протянул он, здороваясь с матерью.— Сегодня у тебя, кажется, особенно отличный день?

— Именно?

— Мыслящему реалисту исполнилось шестьдесят лет... Это немножко много для серьезного человека.

— Именно?

— Как это тебе сказать, Мумма... В шестьдесят лет, как говорят вежливо китайцы, порядочные люди уже раскланиваются с здешним миром для будущего блаженства.

— Негодяй...

— Нет, серьезно... Потом, Мумма, я считаю, что вы просто живете на мой счет. Отец ничего не зарабатывает, и вы преспокойно проедаете мое наследство. Ведь наследников нас двое: я и Ярослав. Вот и посчитай сама, что нам стоит содержать вас двоих. Мыслящий реалист не привык ни в чем себе отказывать...

Мумма смотрела расширенными глазами на своего любимца и не находила слов для ответа. Господи, что же это такое наконец? Бывают границы и шуткам... «Мыслящим реалистом» в семье называли отца, Андрея Гаврилыча, как старого шестидесятника, и находили это очень смешным. У бедной Муммы появились даже слезы на глазах.

Вадим продолжал нервничать и безжалостно изводил мать. По наружности он не походил ни на мать, ни на отца,— длинный, вихлястый, весь какой-то серый. Его вытянутое лицо, едва тронутое чахлой растительностью, всегда имело раздражительное выражение.

— Вот что, Вадим,— заговорила Мумма, собравшись с силами.— Я не понимаю, зачем ты приехал?

— Как зачем? Выправлять тятенькины именины... Ведь у вас все на купеческую руку, хотя вы и считаете себя интеллигентами, а по купечеству должно уважать родителев. Да и посмотреть на мыслящих реалистов интересно...

— Немного уж их осталось, и ты напрасно смеешься, Вадим... Да, каждый год собирается все меньше и меньше. Ты не можешь себе представить, как это тяжело и грустно, когда убывают такие дорогие и близкие люди, а остающиеся в живых ждут своей очереди. Прошлой

зимой умер Егоров... Помнишь, такой высокий, худой?

— Что-то такое помню...

— Ах, какой был человек!.. Какая чудная, светлая душа... Потом весной почти в одно время умерли Погодаев и Никонов. Летом умерла Елена Ивановна Грекова, с которой мы вместе жили в Вилюйске... Ракитин разбит параличом, у Бурцева грудная жаба... Какие все люди!..

— Бессмертие, Мумма, не обязательно — это во-первых, а во-вторых, удел всякой рухляди — уничтожаться в свое время.

— Ты меня оскорбляешь, Вадим... Ты сам отец и должен понимать, как тяжело переносить оскорбления от детей.

— Это уж закон природы: черная неблагодарность потомков...

Игорь и Олег воспользовались приездом отца и дедушкиными именинами и не пошли в гимназию. Они проспали чуть не до самого завтрака, потом принялись шалить и кончили ожесточенной дракой, потребовавшей вмешательства бабушки.

— Дети, как вам не стыдно?! — возмущалась Мумма, появляясь в дверях детской в позе римского трибуна.— Вы забываете, что вы уж большие...

— Мумма, я тебе стихи сегодня напишу,— говорил Олег, мальчик лет пятнадцати, занимавший в семье пост поэта.

— Хорошо, хорошо... Одевайтесь и не дурачьтесь. Стыдно.

Студент Ярослав еще спал в своей комнате, потому что вернулся домой только в пять часов.

— Мумма, с именинником! — кричали сорванцы, когда бабушка ушла в коридор.

2

«Мыслящий реалист» сидел в своем кабинете в кресле с колесами. У него был ревматизм сочленений, и двигаться он мог с величайшим трудом. По наружности это был почти цветущий мужчина, несмотря на свои шестьдесят лет. Плотный, широкий в плечах, с типичным русским лицом. Длинные седые волосы придавали ему профессорский вид.

Стены кабинета сплошь были заняты полками с книгами. В простенках между ними висели портреты знаменитостей шестидесятых годов. Громадный письменный стол занимал почти половину комнаты и был завален тем ненужным хламом, какой набирается только на письменных столах.

Разговор в столовой велся настолько громко, что «мыслящий реалист» мог кое-что слышать, а об остальном догадываться. Он только пожимал плечами и думал вслух:

— Вот негодяй... а?

Ему всегда было обидно, когда дети начинали вышучивать Мумму, а теперь кроме обиды явилось еще сожаление. В доме давно установился слишком свободный тон благодаря убеждению Муммы, что нельзя стеснять детскую свободу. Теперь приходилось переносить результаты такого воспитания. Положим, в присутствии отца дети сдерживались, но было тем хуже, что они так много себе позволяли с матерью. Много раз «мыслящий реалист» хотел прекратить все эти выходки, но, как настоящий русский человек, ограничивался мелкими вспышками, а потом себя же чувствовал виноватым по несколько дней. Возмущенный поведением Вадима, Андрей Гаврилыч покатился на своем кресле в столовую с твердым намерением разделать негодяя на все корки, но по дороге вспомнил, что он сегодня именинник и что в такие дни все-таки неудобно поднимать семейные истории. В конце концов всех больше огорчилась бы та же Мумма, души не чаявшая в своем первенце.

«А ну его к черту, негодяя»,— решил именинник, вкатываясь в столовую.

К завтраку собралась вся семья. Ярослав очень походил фигурой и наружностью на отца, хотя и старался подражать старшему брату по части недовольства. Вышла из своей комнаты Лия, немного заспанная и апатичная. Прибежали Олег и Игорь, счастливые тем, что не пошли в свою гимназию. Последней приехала Нинка-буржуйка, высокая и костлявая дама, походившая на брата Вадима.

— Ну, вот мы и все собрались, дети, —говорила Мумма, чтобы сказать что-нибудь.

— А Анатолий Денисович? — перебил ее Олег, поглядывая на покрасневшую Лию.

— Он днем занят и приедет только вечером,— коротко

объяснила Мумма, сдерживая волнение.— Я говорю про свою семью, а он не член нашей семьи.

Все переглядывались, сдерживая улыбку, и Андрей Гаврилыч догадался, что от него что-то скрывают.

— Мне этот ваш Анатолий Денисович совсем не нравится,— брезгливо заметила Нинка-буржуйка.—Он и на мужчину не походит.. Так, слизняк какой-то

— Ну, уж это ты того: «ах, оставьте!»,— авторитетно проговорил Ярослав.

— Анатолий Денисыч — гений! — с азартом вмешался Олег и даже покраснел от волнения.— Да, гений...

— Да? — иронически удивилась Нинка-буржуйка.— Скажите, пожалуйста, а я-то, глупая, и не замечала... Не могу не отдать ему справедливости, что он удивительно искусно скрывает свою гениальность.

Андрей Гаврилыч не вмешивался в спор и только улыбался. Мумма заметила, что Лия смотрит на отца и тоже начинает улыбаться. Последнее задело ее за живое.

— Анатолий Денисыч пишет громадное сочинение...— вызывающе проговорила она, глядя на мужа.— Да-с, сочинение.

— А можно узнать, о чем он именно пишет?— спросил Андрей Гаврилыч, продолжая улыбаться.

— Он... он не из того сорта людей, которые, как курица, высидят какого-нибудь болтуна и будут кричать на всю улицу.

— Он нам читал некоторые отрывки, Мумма,— поддержал мать Ярослав.— Действительно гениально... Но, к сожалению, мы не имеем права прежде времени раскрывать основные идеи его труда.

— Скрытый гений, как бывает скрытая теплота,— съязвила Нинка-буржуйка.— С этим ничего не поделаешь... Остается вера, как во все чудеса.

— И даже очень глупо! — вспылил Ярослав.— Анатолий Денисыч не виноват, что есть такие люди, то есть женщины, которые... которые...

— Я договорю за тебя,— перебила Нинка-буржуйка,— «которые глупы как пробка». Да?

— Мадам, не смею с вами спорить...

— Господа, довольно,— вступилась Мумма.— Вы начинаете говорить друг другу дерзости, а это плохое доказательство в спорах.

Несмотря на ее старания потушить огонь, неприят-

ный разговор о гении поднимался с новой силой несколько раз, зачинщицей опять являлась Нинка-буржуйка, видимо, старавшаяся угодить отцу. Один Вадим мрачно отмалчивался. Отец не обращал на него внимания, что опять волновало Мумму. Все-таки человек приехал поздравить отца, а он даже не хочет его замечать.

Спор закончился неожиданным заявлением Нинки-буржуйки:

— Все вы, господа, непротивленыши... Не правда ли, папа? А этот Анатолий Денисыч является вождем этого несчастного стада.

— Нина, довольно,— строго остановила ее Мумма.— Нужно уважать чужие убеждения... да. А критиковать других можно только тогда, если ты в состоянии стать на их точку зрения. Да.

— Мне жаль папу, которому приходится выслушивать всякую декадентскую галиматью,— не унималась Нинка-буржуйка.— Больничный бред ницшенианства, проникновенное бормотанье пьяного босячества, политико-экономический мистицизм, безумный эгоизм в основе переоценки всех ценностей, новейшая эстетика при закрытых дверях, горячечные галлюцинации декадентства...

— Нинка, заткни фонтан своего красноречия! — накинулся на нее Ярослав.—Это скучно даже для нашего мыслящего реалиста...

— Меня ты можешь оставить в покое,— с улыбкой заметил Андрей Гаврилыч.— Я уже давно привык ко всему и все-таки навсегда останусь мыслящим реалистом... Я горжусь последним.

— Господа, вы забываете, что папа сегодня именинник,— проговорил Вадим и со скучающим видом зевнул.— Не следует огорчать человека в такие торжественные минуты...

— Вадим?! — взмолилась Мумма, ожидая семейной сцены.

Но Андрей Гаврилыч только посмотрел на нее грустными глазами и, ничего не ответив, покатился из столовой.

Лия демонстративно поднялась и ушла в свою комнату. Чтобы сорвать сердце, Мумма накинулась на Нинку-буржуйку:

— Это все ты! Да, ты, ты! Я могу только удивляться, зачем ты приехала к нам?

— Мумма, ты меня гонишь?

Все разом накинулись на Нинку-буржуйку, но она решила дорого продать свою жизнь и отчаянно защищалась.

— Вы — непротивленыши, декаденты, выродки... да!..

Туразовский дом являлся чем-то вроде караван-сарая для всевозможных модных течений. Это объяснялось живым, увлекающимся характером Муммы, которая не могла слышать равнодушно о чем-нибудь новом. Последовательно, как по ступенькам, шла через позитивизм, утилитарианизм, народничество, марксизм, пока окончательно не застряла в непроходимых дебрях ницшеанства, толстовщины, декадентства и босяцкой проникновенной философии. Как это все укладывалось у нее в голове — не мог объяснить ни один философ. Но это было так. Дело в том, что Мумма привязывала каждую теорию к какому-нибудь живому лицу, и почему-то случалось всегда так, что носителем новой идеи являлся мужчина. Женщин-философов, как известно, до сих пор еще не было, и Мумме, несмотря на то, что она была ярая феминистка, поневоле приходилось верить поработителям женщин — мужчинам, как она верила больше врачам-мужчинам.

Милая Мумма, как она страдала, перелезая с одной ступеньки на другую. Происходило что-то вроде переезда на новую квартиру, причем старая мебель ломалась, являлась смутная тоска о насиженном угле и неопределенный страх перед будущим. Но история требует жертв, как уверяла себя Мумма, и приспособляемость с годами утратила свою эластичность.

Последней стадией в ряду этих метаморфоз явился Анатолий Денисыч Бурнашев. С ним в туразовский дом влилась новая струя, которую трудно было даже назвать. Это была переоценка всех ценностей на религиозно-мистической подкладке. В доме как-то вдруг водворились давно позабытые слова. Мумма растерялась, как пойманный врасплох школьник, и даже испугалась. Она многого не понимала и только судила по молодежи, что это нахлынувшее новое представляет собой силу и, как всякая сила, имеет право на существование. Мумма не спорила и не соглашалась, а только слушала, что говорят между собой «потомки». Сам по себе Бурнашев ничего особенного не представлял, хотя был солидно образованный человек с очень выдержанным характером. У него было состояние, и он жил хо-

лостяком без занятий. Мумму поражало больше всего то, что апатичная Лия заметно интересовалась им, как и он в свою очередь обращал на нее особенное внимание.

«Что же, все бывает на свете...— по-матерински думала Мумма.— Человек серьезный, обеспеченный...»

Накануне отцовских именин Лия неожиданно заявила матери:

— Мумма, Анатолий Денисыч сделает мне предложение. Он мне ничего не говорил об этом, но я знаю.

3

Готовность так быстро устроить судьбу Лии удивляла самое Мумму. Она старалась проверить себя. Выходило как-то так, что она была и права и в то же время не права. Конечно, вполне естественно со стороны матери позаботиться о судьбе дочери, тем более что она, Мумма, из принципа никогда не насиловала воли своих детей, оставляя за собой только право высказать свое мнение. С другой стороны, она как-то инстинктивно чувствовала, что этот Бурнашев — человек из другого мира, совершенно случайно попавший к ним в дом. Он останется навсегда чужим, как и муж Нинки-буржуйки. Но что было делать? Где нынче настоящие люди?

Мумма усиленно волновалась; волновалась, что ей решительно было не с кем поделиться охватившим ее настроением. Конечно, естественнее и ближе всего было обратиться к «мыслящему реалисту» и поговорить с ним откровенно. Она с этой целью даже входила несколько раз под разными предлогами к нему в кабинет — и возвращалась. Ей делалось так жаль этого больного старика, с которым она рука об руку прошла всю жизнь. Зачем его напрасно тревожить, когда, может быть, Лия преувеличивает и ошибается.

Было еще одно обстоятельство, которое заставляло ее сдерживаться. В последнее время «мыслящего реалиста» начала серьезно беспокоить мысль о смерти, а каждые новые именины точно подталкивали к роковому концу, напоминая о прожитых годах. Прямо он ничего не говорил, но она чувствовала его настроение и старалась не выдавать своего собственного беспокой-

ства. А сегодня «мыслящий реалист» имел такой грустный вид.

Андрей Гаврилыч действительно переживал тяжелый день, тяжелый особенно уже тем, что никаких определенных оснований для этого не было.

«Старческая тоска,— думал он, покачивая головой.— Сердце перестает функционировать нормально. Да... Маразм вообще...»

Когда в кабинет входила Мумма, он старался приободриться и делал беззаботное лицо. Перед ним на столе лежала последняя книжка нового журнала «с настроением», и он малодушно прятался за нее. В сущности, от текущей литературы он порядочно отстал, а говоря проще,— перестал понимать новых авторов, хотя и не желал в последнем признаться даже самому себе. Старые моряки испытывают, вероятно, такое же чувство, когда смотрят на новые суда, построенные при новых условиях и требованиях техники и последних слов морской войны.

Дверь кабинета выходила в гостиную, и «мыслящий реалист» мог слышать обрывки разговоров. Нинка-буржуйка продолжала волноваться и ссорилась с Вадимом. Студент Ярослав дразнил гимназистов Игоря и Олега и хохотал неестественно громко.

«В кого они все такие уродились? — невольно думал Андрей Гаврилыч.— Какие никчемные и никчемушные люди».

Было и обидно и досадно, и поднималась глухая тоска за то, что не осуществилось в жизни, а когда-то манило вперед, радовало и делало счастливым. Ах, если бы эти несчастные дети могли только понять, что переживал сейчас «мыслящий реалист».

— Наш мыслящий реалист сегодня не в своей тарелке,— доносился из гостиной голос Ярослава.— Он недоволен существующим порядком...

Обед прошел как-то особенно скучно. Даже неугомонная Нинка-буржуйка молчала и все поглядывала на мать. Андрей Гаврилыч догадывался, что в семье что-то происходит и что все от него что-то скрывают. Мумма чутко прислушивалась к звонку в передней,— она ожидала официального появления будущего жениха. Лия сидела с опущенными глазами и старалась избегать пытливых взглядов матери.

«Точно семья заговорщиков...» — невольно подумал

Андрей Гаврилыч, не желая даже догадываться, что происходит.

Он не дождался третьего блюда и укатился к себе в кабинет, куда попросил подать ему кофе.

Вадим проводил его глазами и, прищурившись, заметил вполголоса:

— Мыслящий реалист сегодня напоминает мне того опереточного короля Бобеша, у которого во всем государстве был всего один жук и которому этот единственный жук попал в стакан чая.

Мальчики не могли удержаться и прыснули.

— Замолчите, несчастные! — накинулась на них Нинка-буржуйка.

— Ох, страшно! — иронически отозвался Ярослав, набивая рот любимым ореховым тортом.

Мумма молчала, опустив глаза, а потом быстро поднялась и демонстративно вышла из комнаты. Ради сегодняшнего дня она не хотела поднимать семейной истории. Вадим в ее глазах продолжал оставаться тем ребенком, которого из приличия иногда журят и которому тем не менее прощается все.

— Козявки несчастные! — ругалась Нинка-буржуйка.— А тебе, Вадим, как старшему, уж совсем не к лицу говорить глупости. Мать бежит от вас...

Вадим сделал удивленное лицо, поднял брови и проговорил с самым невинным видом:

— При чем же я тут?! Может быть, у Муммы живот болит!

Мальчики замерли сначала от находчивости Вадима, а потом закатились неудержимым хохотом. Для них Вадим всегда являлся идеалом, и они копировали каждый его жест, интонации голоса и по неделям повторяли его остроумные словечки.

До самого вечера время тянулось мучительно медленно, как это всегда бывает, когда ждут обязательных гостей.

Получено было несколько поздравительных телеграмм. Первый звонок обманул всех: это был портной. От скуки Ярослав собрал мальчуганов в гостиной и принялся читать вслух критическую статью о Бальмонте. Он нарочно читал настолько громко, чтобы в кабинете «мыслящего реалиста» слышно было каждое слово.

— «...Бальмонт — залетная комета. Она повисла в лазури над сумраком, точно рубиновое ожерелье... И по-

том сотнями красных слез пролилось над заснувшей землей. Бальмонт — заемная роскошь кометных багрянцев на изысканно-нежных пятнах пунцового моха. Сладкий аромат розовеющих шапочек клевера, вернувших им память о детстве».

— Восхитительно,— шептал Олег.

— Проникновенно! — авторитетно подтвердил Игорь.

— Гениально, черт возьми! — восхищался Вадим.— Немного, а все сказано.

— Позвольте, господа, дайте кончить,— остановил эти неистовые восторги Ярослав.— Я продолжаю: «Он, то есть Бальмонт, разукрасил свой причудливый грот собранными богатствами. На перламутровых столах расставил блюда с рубиновыми орешками. Золотые фонарики вечность озарили. Он возлег в золотой короне. Ложем ему служит бледно-розовый коралл, и он ударял в лазурно-звонкие колокольчики. И он разбивал звонкие колокольчики рубиновыми орешками...»

— Фу, какая глупость! — послышался голос «мыслящего реалиста» из кабинета.— Будет, Ярослав!.. Меня просто начинает тошнить.

— Папа, значит, ты отрицаешь свободу человеческой мысли? — отозвался Ярослав.— Кажется, это не либерально.

— А ну вас, сумасшедших! — ворчал «мыслящий реалист».

— Н-не по-нра-ви-лось! — ехидно заметил Вадим, кивая головой в сторону отцовского кабинета.— Что делать, силой милому не быть...

Он взял лежавший на столике томик Ницше «Так говорил Заратустра» и, перелистывая, проговорил:

— Попробуем почитать эту книжку... Например: «Счастье мужчины называется: *«я хочу»*. Счастье женщины называется *«он хочет»*. И повиноваться должна женщина и присоединить глубину к поверхности своей. Поверхность — душа женщины, подвижная, беспокойная волна на мелкой воде». Гм, недурно. А вот далее: «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!»

Он перевернул несколько страниц и с особенным удовольствием прочел:

— «...Для тебя, чародейка, я пел до сих пор, теперь — ты должна кричать для меня! Под такт плетки моей должна ты плясать и кричать».

— Не правда ли, как просто и ясно разрешен весь

женский вопрос? Наша Мумма напрасно хлопотала целую жизнь, разрешая его.

— Не-го-дя-и! — слышалось из кабинета.

— Папа, ты опять лишаешь нас свободы слова? — вмешался Ярослав, не боявшийся отца.— Это уж рабство!

Раздавшийся в передней звонок прекратил начинавшуюся семейную бурю.

Это был сам Бурнашев.

4

Он входил всегда как-то крадучись и непременно оглядывался кругом своими близорукими глазами, точно боялся засады. И протягивал руку с нерешительной улыбкой,— он постоянно улыбался. По наступившей почтительной тишине в гостиной Мумма догадалась из своей комнаты, кто пришел.

«Ох уж скорее бы»,— подумала она.

Бурнашев отлично знал, что старик Туразов его ненавидит, но делал вид, что ничего не замечает, и сейчас отправился прямо в кабинет поздравить дорогого именинника.

— Благодарю, очень благодарю,— бормотал Андрей Гаврилыч.

У Бурнашева всегда была в запасе какая-нибудь сенсационная новость, которую он получал из верных источников, и всегда он начинал разговор стереотипной фразой:

— А вы слышали?

Андрею Гаврилычу приходилось разыгрывать гостеприимного хозяина, хотя эта роль и плохо удавалась ему. Бурнашева он совершенно не понимал. Что это за человек? В чем заключается секрет его влияния на молодежь? Почему даже глупости, которые он проповедовал, имели такой успех? Несомненно было одно, что он был не глупый и образованный человек, но какой-то весь сдавленный и съежившийся. Он и говорил такими же сдавленными словами, напоминавшими палый осенний лист. Но всего неприятнее была его покровительственная манера спорить, точно он делал величайшее одолжение каждым звуком своего голоса. Впрочем, Андрей Гаврилыч избегал этих споров.

На этот раз беседа с Бурнашевым была счастливо

прервана. Раздался необыкновенно громкий звонок, так что Мумма даже выскочила из своей комнаты.

— Господи, да это какой-то разбойник ломится в дверь? — взмолилась она.

Все невольно притихли. Горничная бросилась отворять дверь с особенной быстротой. В передней послышалось какое-то гуденье, точно ворвался громадный шмель.

— Дома старик-то, а? И старуха дома, а?

— Господа все дома,— обидчиво ответила горничная, разглядывая незнакомого гостя.

— Ну и отлично...— добродушно гудел он.— Скажи, что Яким Образов приехал.

Проходя гостиной, гость поздоровался с молодыми людьми за руку, причем всем без церемонии говорил «ты». Особенное его внимание обратил на себя Бурнашев, которого он принял за старшего сына.

— Эге-ге! Да в кого ты вырос такой щупленький... а? Ни в мать, ни в отца...

— Вы, вероятно, ошиблись и приняли меня за Вадима Андреича,— с достоинством ответил Бурнашев.

Неловкую сцену прервала Мумма. Она без церемонии взяла громкого гостя за руку и потащила в кабинет.

— Да погоди, старуха! — упирался тот.— Столько лет не видались. Надо же и поцеловаться по христианскому обычаю. Еду в Питер, а сам думаю: уж застану ли вас живыми.

— А ты все такой же, Яким! — удивлялась Мумма, качая головой.

— Все такой же... Ха-ха!.. Пробовали меня переделывать на все лады, да, как видишь, ничего из сего не вышло.

Он крепко обнял Мумму и расцеловал из щеки в щеку.

— Где ты пропадал столько лет, Яким? — спрашивала она, с трудом вырываясь из его могучих объятий.

— Где я пропадал? Ха-ха... Лучше спроси, где я не пропадал. Ну да это неинтересно...

Когда гость ушел в кабинет, гостиная точно опустела.

— Вот это так мыслящий реалист,— заметил Вадим.— Ему кули таскать на набережной.

— Д-да-а... — протянул Бурнашев.— Вероятно, из духовных. Отличный протодьякон вышел бы.

— А я его отлично помню,— вмешалась Нинка-буржуйка.— Он меня, маленькую, на руках носил. Страшный добряк...

Гость наполнил гуденьем кабинет и несколько раз принимался целовать хозяина.

— Ну вот и увиделись,— повторял он.— Давно ножки-то потерял?

— Да уж скоро десять лет будет, Яким.

— Это у вас, у дворян, уж повадка такая... Даже и стишонки такие есть: «Стала немножко шалить его правая ножка».

Мумма сидела на кушетке и во все глаза смотрела на громкого гостя, вместе с которым ворвалось в дом такое далекое-далекое, такое хорошее-хорошее прошлое. А этот богатырь, который был известен в студенческих кружках шестидесятых годов под кличкой Еруслана, оставался все таким же младенцем. Да, громадный седой младенец, широкоплечий, с широким русским лицом, с мягким русским носом, с окладистой бородой, с громким голосом. Говорил он как настоящий «володимирец», сильно упирая на *о*, и, кроме того, ставил ударение над словами совершенно по-своему: «деятельность», «совре́менный», «мо́лодежь». Товарищи по медицинской академии и университету были убеждены в духовном происхождении Еруслана и уверяли, что он скрывает в себе притаившегося дьякона. Но это была неправда: Образов происходил из мещанской семьи, промышлявшей плотничьими подрядами. Голос у него был действительно громадный, и никакого слуха. На студенческих пирушках Еруслан ревел как бык, не слушая никого. Временами он пропадал неизвестно куда, потом как-то неожиданно появлялся, причем не любил рассказывать о своих приключениях.

— Емль его и давля́ше,— смеялся он над самим собой.

После первых разговоров, которые после долгой разлуки обыкновенно плохо вяжутся, Мумма спросила:

— Что же, Яким: у тебя есть семья, дети?

— У меня? — удивился Еруслан.— Некогда было... Понимаешь, некогда — и все тут. Одним словом, фасон не вышел... Не по моей специальности. Так и остался перекати-полем.

Дальше начались воспоминания, те обидные стариковские воспоминания, которые совершенно непонятны

молодым людям. Мумма с трогательным чувством перечислила умерших друзей, болящих и вообще всех отсутствующих.

— Что же, и нам скоро пора очистить место молодым,— спокойно ответил Образов.— Нужно смотреть на вещи философски... Больше ничего не поделаешь. Было наше время, пожили недурно, а теперь пора и честь знать.

Андрей Гаврилыч все время молчал и улыбался какой-то виноватой улыбкой. Когда-то, в дни молодости, он очень ревновал Мумму к Образову и почему-то боялся его. Теперь, конечно, никакой опасности не представлялось, но жуткое и фальшивое чувство сохранилось. Образов принадлежал к типу тех странных русских людей, от которых всю жизнь ожидают чего-то особенного и необыкновенного.

Обед прошел шумно и весело. Говорил, конечно, один Образов, а Бурнашев демонстративно молчал и только изредка улыбался своей ехидной улыбкой. Мумма с затаенной тревогой наблюдала за Нинкой-буржуйкой, которая довольно бесцеремонно рассматривала гостя, как в зоологическом саду рассматривают редких зверей. Ее немного огорчило и шокировало, что Образов попрежнему глотал водку рюмку за рюмкой, все больше краснел и начал хохотать неестественно-громким голосом.

— Да, так вот вы какие...— повторял он, обращаясь к наблюдавшей его молодежи.— Чистенькие, вымытые... да... Очень даже хорошо. Значит, всякому овощу свое время... Так я говорю, Мумма?

Дурной привычкой Образова было задавать вопросы и отвечать на них самому. Вообще он не привык стесняться, и Мумма даже незаметно отодвинулась от него.

— Да, были хорошие люди...— повторял Образов с тяжелым вздохом.— Иных уж нет, а те далече.

Бурнашев долго молчал, а потом неожиданно привязался к какой-то фразе. Образов с удивлением посмотрел на него и добродушно проговорил:

— Я не люблю спорить... Мое время прошло.

— Это, может быть, очень великодушно с вашей стороны,— заметил Бурнашев,— но манера не отвечать на вопросы — это плохое доказательство.

— А если я не желаю вам ничего доказывать? Да, не же-ла-ю...

Бурнашев только пожал плечами. Мумма смотрела на него умоляющими глазами. Все притихли. Андрей Гаврилыч с самым глупым видом катал шарики из черного хлеба. Это была одна из его дурных привычек, всегда возмущавшая Мумму. Хорошо еще, что Образов никогда не замечал, что делалось вокруг него.

Обед, к общему удовольствию, кончился благополучно, и все вздохнули свободно.

Когда гость и хозяин ушли после обеда в кабинет курить сигары, Нинка-буржуйка с удивлением увидела, что мать плачет.

— Мама, что с тобой?

Мумма только махнула рукой.

— Ах, Нина, сейчас ты меня не поймешь... У старых людей свои мысли и своя логика. Могу только пожалеть, что ты не увидишь того, что в свое время переживали мы... да...

Бурнашев остался в столовой и с обиженно-ядовитым выражением лица наблюдал происходившую чувствительную сцену. Да, его присутствия милые хозяйки не замечали, и ему, по примеру милого хозяина, остается одно: катать хлебные шарики. Он демонстративно поднялся и начал прощаться. Верхом неприличия было то, что его не удерживали. Когда Мумма вышла проводить его в переднюю и с официальной любезностью хозяйки дома спросила, почему он торопится уходить, Бурнашев с рассчитанной грубостью проговорил:

— У меня, знаете... да... у меня разболелся живот.

А из кабинета доносилось ровное и густое гуденье, точно туда залетел громадный шмель.

5

Мумму интересовало, зачем Образов вернулся в Петербург и что предполагает делать. Спросить об этом прямо она не решилась. Между ними уже легла громадная полоса жизни, мешавшая взаимному пониманию. В самом деле, что думает этот странный человек? Чем больше думала Мумма на эту тему, тем сильнее ей делалось жаль друга юности. Да, над его седевшей головой уже витало холодное и обидное одиночество бесприютной старости. На эту тему Мумма пробовала говорить с мужем, но Андрей Гаврилович только разводил руками и повторял стереотипную фразу, какой отвечают непонимающие мужики:

— А кто его знает...

— Но ведь такое одиночество ужасно?

— Что же, сам виноват, если не умел вовремя устроиться иначе.

— Какой ты странный... Разве можно судить таких людей по обычному шаблону. Он мне прямо сказал, что ему просто было *некогда* подумать о личном счастье.

— Ну, этого мы еще не знаем и будем спорить о неизвестном.

— Есть вещи, которые проделывают одинаково умные и глупые люди. А затем, я даже не вижу оснований, чтобы непременно все женились или выходили замуж... да. Возьми Англию, там уже образовался так называемый третий пол, то есть целый класс девушек, которые, выражаясь по-немецки, никогда не получат мужа.

Мумма не могла понять этого вынужденного безбрачия и протестовала с женским азартом. В самом деле, такой выдающийся по душевному складу человек — и должен влачить свое существование бобылем,— Мумма подумала именно этой заученной книжной фразой.

Сам Образов, по-видимому, меньше всего думал и заботился о собственной особе. У него были какие-то дела в Петербурге, и он то пропадал на несколько дней, то появлялся совершенно неожиданно и непременно в самые неудобные часы,— то слишком рано утром, когда дамы еще были не одеты, то слишком поздно вечером, когда пора было ложиться спать, то после обеда, когда ему приходилось подавать отдельно, точно в ресторане. Это была дурная привычка думать только о себе. Потом, он держал себя, как будто он был хозяином в доме, и дело доходило до того, что он без церемоний уходил в кабинет Андрея Гаврилыча и, не раздеваясь, разваливался спать на диване. Мумму такое поведение старого друга очень смущало, главным образом потому, что дети откровенно его не понимали. Особенно волновалась Нинка-буржуйка.

— Это уж слишком бесцеремонно, мама,— говорила она, пожимая худенькими плечами.— Кажется, он принимает наш дом за трактир, где можно и наесться, и выспаться.

— Ах, ты ничего не понимаешь,— отговаривалась Мумма, напрасно подбирая слова.— Одним словом, это

такой человек... как тебе сказать? Ну, совсем, совсем особенный человек.

Образов упорно не желал ничего замечать и даже больше — обращал особенное внимание на Нинку-буржуйку и производил ей что-то вроде экзамена. Раз она не выдержала и даволько резко ему заметила:

— Вы меня, Яким Ильич, кажется, принимаете за свою ученицу.

— Ну-с, и что же? — невозмутимо спросил он и даже улыбнулся.

— А то, что я уже совсем взрослый человек и в экзаменах не нуждаюсь.

— Так-с... да... Ну, мы так и запишем: окончательно взрослая девица с амбицией.

Старый друг начинал тяготить Туразовых, и Мумма все чаще и чаще начинала думать о том, когда же он наконец уедет. Ее немного шокировало и то, что этот старый друг точно ухаживает за Ниной, а та в свою очередь делала такой вид, что ей такое ухаживание противно. В результате получалось что-то совсем несообразное и нелепое. Волновались и мальчики и ревниво наблюдали за каждым движением старого мамина друга.

Раз Образов пришел в такое время, когда стариков не было дома. Волей-неволей пришлось принимать дорогого гостя Нинке-буржуйке. Он, как всегда, не замечал неприветливости и сухого тона молодой хозяйки и спокойно рассказывал что-то о своих бесконечных странствиях. Когда Мумма вернулась домой, она нашла Образова в столовой. Он сидел и пил пиво. Мумму возмутило, что Нинка-буржуйка не умела занять гостя. Образов понял ее настроение и совершенно спокойно проговорил:

— Барышня обиделась на меня.

— Вы поссорились?

— Нет... то есть, видишь ли, Мумма, я, как это у вас говорится, сделал ей предложение...

— Ты?! Предложение?!

— Да... А она заплакала и убежала в свою комнату. Одним словом, никак не могу понять, чем я мог ее обидеть. Конечно, дело самое обыкновенное.

Мумма поступила, как настоящая любящая мать, то есть присела к столу, закрыла лицо платком и заплакала. Вот уж *этого* она никак не ожидала.

Нинка-буржуйка подслушивала из соседней ком-

наты этот разговор, и, когда в столовой все стихло, она осторожно приотворила дверь и увидела необыкновенную картину. Образов целовал Мумму и задыхавшимся шепотом повторял:

— Она напомнила мне мою молодость... напомнила тебя, когда ты была молодой... О, ведь я так тебя любил...

Мумма отняла руки от заплаканного лица и ответила тоже шепотом:

— Ты? любил меня?

— И потом... всегда...

Мумма обняла его и молча поцеловала. Нинка-буржуйка была жестоко наказана за свое любопытство, осторожно притворила дверь и расплакалась уже настоящими слезами.

Через два дня Мумма исчезла. Все, конечно, ужасно встревожились, а Андрей Гаврилыч совершенно потерял голову. Прошло целых два дня, пока получено было письмо от Муммы. Она извещала, что больше не вернется домой, просила прощения и умоляла ее не разыскивать. Она бежала с Образовым за границу.

1907

Излюбленные люди

Очерки провинции

I

Великий человек на малые дела

1

Величайшей слабостью Аристарха Иваныча были письма. Получать письма, писать письма — лучше ничего не могло быть на свете. Он накидывался на каждое письмо с такой торопливостью, точно кто-то гнался за ним по пятам с явными намерениями выхватить у него из рук драгоценный документ. Для писем у Аристарха Иваныча было устроено что-то вроде «ковчежца», куда он прятал свои сокровища. Периодически он доставлял себе наслаждение перебирать их, перечитывать и сортировать по какой-нибудь новой системе: по годам, по авторам, по содержанию. Местные остряки уверяли, что Аристарх Иваныч вел переписку даже с собственной женой, когда она уходила на кухню. Прибавьте к этому еще то, что во всем остальном Аристарх Иваныч был ужасно беспорядочным человеком и постоянно что-нибудь забывал — палку, калоши, зонтик, книги, носовые платки, адресы, деловые сроки, фамилии своих лучших друзей!

Можно себе представить настроение Аристарха Иваныча, когда он начал получать ежедневные письма десятками. Это было что-то невероятное, феерическое, роковое, и, как мне казалось, Аристарх Иваныч иногда сам не верил собственному счастью. Дело в том, что в Энске задумали устроить научно-кустарную выставку, и Аристарх Иваныч был избран секретарем. Это был уже настоящий пост, и Аристарх Иваныч проникся с первого момента сознанием громадной ответственности, возложенной на него представителями местного самоуправления. Он являлся в роли своего излюбленного человека и не мог не гордиться этим, сознавая в то же время, что нес свои полномочия по некоторому праву. Нужно сказать, что Аристарх Иваныч принадлежал к совершенно особенному типу, который можно

охарактеризовать «человек по чужим делам». В Энске ни одно благое начинание не обходилось без Аристарха Иваныча, особенно когда требовался даровой труд. Каждое такое благое начинание открывалось тем, что приглашали Аристарха Иваныча и на него взваливали сначала подготовительную работу, потом исполнение и, наконец, ликвидацию. Всем почему-то казалось, что именно Аристарх Иваныч должен был все это проделать, а не те, кто вздумал благое начинание и кто погреет около него руки тем или другим путем. Самому Аристарху Иванычу никогда и в голову не приходило отказаться от новой даровой работы, он добросовестно впрягался в новый воз. Особенно эксплуатировали его благотворительные дамы. В самом деле, кто же будет устраивать любительский спектакль в пользу погорельцев, благотворительный базар, кто будет собирать пожертвования, составлять проекты нового устава, вести бухгалтерию, кто, наконец, напишет корреспонденцию об энском благом начинании? Но всего трогательней был тот момент, когда благое начинание проваливалось и ответственным лицом оставался один Аристарх Иваныч. Откуда-то являлись очень строгие и солидные люди, которые начинали его усчитывать, находили ошибки и промахи, выслушивали его объяснения с обидно-снисходительными улыбками и в лучшем случае между строк давали ему понять, что он и глуп, и даже как будто нечист на руку. Аристарх Иваныч горячился, кричал до хрипоты, просиживал ночи над проклятыми отчетами и клялся всеми богами, что это уж в последний раз.

— Да чтобы я?.. когда-нибудь?! Разбейте мне голову, если я когда-нибудь впутаюсь в такую глупость...

Эти угрозы не мешали после некоторого отдыха опять попасть на путь благих начинаний. Милый Аристарх Иваныч... При одном слове «провинция» он встает предо мной как живой,—немного сутуловатый, костлявый, с впалой натруженной грудью и угловатой головой, с непокорной шевелюрой, добрыми серыми глазами и в характерно заношенном костюме,—даже платье сейчас с иголочки имело на нем вид заношенного. Мне не верится до сих пор, что его уже нет на свете, и что вообще можно жить без Аристарха Иваныча, и что без его участия продолжает твориться таинственная «история цивилизации Энского уезда». Мне кажет-

ся, что вот-вот послышится осторожный стук в двери, потом появится его угловатая голова и как-то виновато спросит:

— А я вам не помешаю?

— Милый Аристарх Иваныч, да нисколько...

Я даже слышу эту шмыгающую походку — Аристарх Иваныч ходил точно на чужих ногах, которые были ему немного не впору,— слышу предупреждающее покашливание, чахоточный тенорок, и мне хочется пожать эту холодную костлявую руку и сказать, как я рад его видеть. Когда в газетах встречаешь провинциальную корреспонденцию, в которой неизвестный автор так хорошо негодует по поводу несовершенства жизни, или, в редких случаях, с какой-то детской радостью отмечает некоторое пробуждение, а особенно отрадное явление,— мне кажется каждый раз, что это проносится возмущенная тень Аристарха Иваныча или слышится его одобряющий голос.

Извиняюсь за это несколько лирическое отступление, которое может показаться наивным и смешным в наше трезвое время, недоступное увлечениям. Но разве можно говорить об Аристархе Иваныче другим языком? Это был неисправимый идеалист, вечно кипевший и мучившийся, горевший на чужой работе и считавший себя самым грубым реалистом. Не существовало большего оскорбления для Аристарха Иваныча, если кто-нибудь называл его идеалистом.

— Вот уж, батенька, действительно, попали пальцем в небо,— негодовал он.— Я? Идеалист?! Ха-ха... Настоящий реалист, даже реалистище... Мы еще по матрикулам вылетели из университета, много нас таких-то. А вы: идеалист... Нечего сказать, похож, как уксус на колесо. Даже и совсем родня: нашему кузнецу двоюродный плотник.

2

Но вернемся к событию, к тому моменту, когда Аристарх Иваныч находился на самой вершине возможного для человека благополучия. Я нарочно заходил в земскую управу, чтобы полюбоваться им. Аристарху Иванычу была отведена особая комната, где он и высиживал с утра до ночи, разбирая свои письма, строча ответы и делая какие-то мудреные выкладки.

У нас только раз произошла маленькая размолвка, когда я неосторожно спросил его о вознаграждении. Аристарх Иваныч весь выпрямился и довольно сурово ответил:

— За кого вы меня принимаете? Это такое дело... такое...

— Но ведь у вас есть семья, Аристарх Иваныч... Было бы лучше выговорить все вперед, чтобы оградить себя от недоразумений.

Аристарх Иваныч презрительно съежил свои костлявые плечи и только сердито фукнул носом, как, вероятно, и подобало настоящему реалисту.

— Вот вы говорите о пустяках, а дело серьезное,— заговорил он деловым тоном, похлопывая костлявой рукой по специально подобранной пачке казенных пакетов. Губернатор нас режет, батенька... У нас ассигновано было земством на выставку восемьдесят тысяч, а он урезал в сорок три. Скажите, пожалуйста, почему сорок три, а не сорок две, не сорок пять?.. Решительно не понимаю... Затем, у нас название выставки было: научно-промышленно-кустарная, а губернатор вычеркнул слово «промышленная». Какая такая,— говорит,— у вас промышленность? Две курицы да петух — вот и весь промысел». А что выходит теперь: научно-кустарная, это значит в переводе — кустарная наука... Черт знает что такое получается!.. Я два раза ездил объясняться с ним, а там гадит чиновник особых поручений Перевертов, которому не нравится самое слово: промышленность. Представьте себе: не выносит этого слова, и конец. Оригинал какой-то.

— Дело не в названии, Аристарх Иваныч...

— Не в названии?! А что скажет пресса? Вот этакой столичный корреспондент приедет и осмеет... Мало того, о нашей выставке проникли известия в заграничные издания. Что скажет Европа?.. Вот у меня лежат два письма из Америки, одно из Бельгии, одно из Швеции, три из Франции... Даже есть из Монако... Что вы на это скажете?

Устройство выставки началось с января и продвигалось с лихорадочной быстротой. Город отвел пустовавшее каменное здание упраздненной школы кантонистов, мрачное и полуразвалившееся, с аракчеевским фронтоном и казенными колоннами. Рядом был клубный сад, который был великодушно уступлен тоже под выс-

тавку. Строили киоски, какие-то деревянные башни, фонтан, красили, штукатурили, декорировали — одним словом, работа кипела. Аристарх Иваныч преисполнялся каким-то благоговением, когда попадал на место будущей выставки, особенно в кантонистскую казарму, отведенную для научного отдела. Его приводили в восторг замысловатые витрины, шкафы и все мелочи выставочной обстановки.

— Да, пусть приедут и посмотрят,— повторял он с самодовольной улыбкой.— На наш призыв уже откликнулись ученые силы со всех сторон... Прибудут университетские профессора, делегаты разных ученых обществ, журналисты. Пусть они все посмотрят, как живет провинция. Э, батенька не прежние времена, когда было только и свету в окне что столицы да университетские города. Нет, батенька, и мы тоже существуем.

Особенно трогательное внимание Аристарх Иваныч обратил на научный отдел, в котором проводил все свое свободное время. Тут была и частичка этнографии, и частичка археологии, и частичка энского естествознания, и местные исследования по разным отраслям знания, материалы, собранные местными статистиками, и этнографические карты, и фотографии, и подобранная номер к номеру местная газета «Энский корреспондент». Тут же красовались два клыка мамонта, коллекция местных почв, свитки времен Алексея Михайловича, железные вериги о Христе юродивого Хрисанфа, нумизматическая коллекция, головные уборы энских баб. Гвоздь отдела составляла сводная летопись Энского уезда, входившего когда-то в одну из новгородских пятин. Ее собирал в течение всей своей жизни местный историк-любитель Антропов, большой приятель Аристарха Иваныча.

— А вот пусть посмотрят, как мы работаем,— повторял Аристарх Иваныч, стараясь разложить десять томов летописи самым выгодным образом.— Если бы каждый русский уезд имел такую историю, батенька,— что бы это было? Ведь русская история только еще начинается, и материалы для нее доставит только провинция, а там уже все настоящие ученые разработают.

Аристарх Иваныч как-то особенно любовно похлопывал рукой неуклюжие томы энской летописи, отходил в сторону и обращал на них свое внимание с разных точек. Нет, нужно их не так поставить, чтобы кни-

ги бросались в глаза прежде всего. Ведь это ценный вклад в настоящую науку, а не какие-нибудь клыки мамонта, происхождение которых было очень сомнительно. Да, пусть посмотрят.

У Аристарха Иваныча все-таки оставалось достаточно времени для негодования.

— Там, в столицах, на нас смотрят свысока, как на каких-то межеумков... Нам не верят. Говоря откровенно, меня вообще удивляет отношение к нам столиц. Вы обращали внимание, как они к нам относятся, то есть в данном случае к провинциальным изданиям? Я уж не говорю о провинциальных газетах, которые третируются, с позволения сказать. А вы возьмите книгу, изданную где-нибудь в Воронеже, Иркутске, Кишиневе или Архангельске,— одного этого достаточно, чтобы ее замолчали или передали на рассмотрение какому-нибудь редакционному племяннику. «Помилуйте, книга, напечатанная в какой-то губернской типографии... Ха-ха!..» И я не скажу, что это делают дурные люди и тем более с дурными намерениями, а так, по укоренившемуся недоразумению, с одной стороны, и с другой... Вы знаете, что русский человек вообще не ценит труда, скажу больше — относится к нему враждебно. Укажу вам на живой пример... У нас город разводит сквер и каждый год подсаживает новые деревья. И что же получается? Вы видите поломанные сучья, вырванные с корнем саженцы... Кому это нужно? Возмутительно именно то, что проявляется какое-то тупое и бессмысленное озлобление к чужому труду. Вот ты работал, трудился, заботился, а я приду и единым махом всю твою работу к черту... Я еще понимаю, когда дама, несмотря на все предупреждения и запрещения, ворует цветы,— в этом проявлении дамской преступной воли есть своя цель, именно украсить свою особу наворованными цветами,— а страшно бессмысленное зло.

3

Период письменного блаженства Аристарха Иваныча скоро кончился. Взвились флаги, заиграл плохонький военный оркестр, повалила публика,— выставка была открыта. Появились и дорогие гости: профессор Белоротов, делегат от трех ученых обществ Налетов, два корреспондента столичных газет — Черешкевич и Бер-

тенсон, шведский профессор Стрем, какой-то шалый английский велосипедист Жиль, два очень сомнительных французика, ветхий старичок Синицын, собиравший памятники старины, начинающий художник Молодкин, известный педагог Гурин и еще несколько лиц неизвестных профессий, фамилий и неизвестных намерений. Были совсем странные субъекты, как один дьякон, который приехал на выставку, потому что страдал бессонницей.

Гостей принимали с русским радушием, особенно ученых братьев и знатных иностранцев, Аристарх Иваныч лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь как перед отечеством, так особенно перед Европой. С первых шагов оказались налицо и маленькие недоразумения. Профессор Белоротов, осмотрев всю выставку, брезгливо спросил:

— И это все?..

— Помилуйте, чего же вам еще нужно, профессор? — обиделся Аристарх Иваныч.— Надеюсь, вы обратили внимание на сводную летопись Антропова?

— Да... Гм... Вообще... Знаете, это труд, который еще требует серьезной научной проверки. Работы, без сомнения, затрачено много, но ведь мы, русские, и сейчас еще изобретаем часы, швейные машины и perpetuum mobile.

Докторальный профессорский тон был для бедного Аристарха Иваныча ушатом холодной воды. Излюбленный провинциальный человек невзлюбил сразу важничавшего ученого.

— Это он здесь ломается, а там, в университете, ниже травы,— объяснял он для собственного утешения.— Обратили внимание на его голову: лысина, точно корова слизнула волосы, а усы — точно мышь во рту держит...

Но главное огорчение было еще впереди, именно когда приехал столичный статистик Лучинин, окрыленный последним словом науки, и заявил, что все труды энских земских статистов не стоят выеденного яйца. Это был худенький, белобрысенький и близорукий господин с ядовитой улыбочкой. Он необыкновенно искусно умел спорить и, в сущности, все хвалил, а выходило как-то так, что его похвалы превращались в беспощадное порицание. «Дорогие гости» вообще держались особнячком и относились к устроителям выставки со

строгостью экзаменаторов. Аристарх Иваныч почуял в нем кровного врага, особенно когда Лучинин соединился с профессором Белоротовым. В этой комбинации было что-то зловещее, так что Аристарх Иваныч заметно упал духом. Он вперед трепетал за гвоздь научного отдела, то есть за историю Антропова. Немало затем смущали его простую душу юркие корреспонденты, точно приехавшие не на выставку, а производить обыск. Вообще в воздухе чувствовалась накоплявшаяся гроза.

Помню тот роковой день, когда ранним утром Аристарх Иваныч ворвался ко мне и молча подал номер столичной газеты, размеченной цветным карандашом. Это был первый отчет об энской научно-кустарной выставке.

— Теперь все кончено! — трагически заявил Аристарх Иваныч, комкая свою шляпу.— Да... А мы-то ждали, надеялись... Где же справедливость?!

Пробежав корреспонденцию из Энска, я не нашел в ней ничего особенно ужасного. Просто корреспонденция, написанная довольно небрежно и свысока. Самый обидный пункт заключался в том, что корреспондент сравнивал энскую выставку с последней выставкой в Москве и, конечно, находил много недостатков, промахов и провинциальной небрежности. Я постарался успокоить Аристарха Иваныча, но это оказалось не так-то легко.

— Зачем вы меня утешаете? — обиделся он.— Слава богу, я и сам понимаю все... Есть что есть. А мы-то лезли из кожи, чтобы удивить мир злодейством. И кто же судьи?.. Нет, не понимаю, не понимаю этого бессмысленного озлобления, этой ненависти к чужому труду... Что-то такое стихийно несправедливое, бессмысленное и уничтожающее. Разве я не чувствую этого снисходительного профессорского недоверия? Ах, кажется, взял бы палку и всех этих дорогих гостей палкой с выставки... Не надо нам вашего столичного ума — будем жить по-своему, и конец тому делу.

Аристарх Иваныч почему-то подозревал профессора больше других и приписывал ему разные тайные козни.

— Представьте себе, что он послал нам книгу «Об испанском наследстве». Да, да... Скажите, пожалуйста, ну какое нам дело до Испании вообще и испанского наследства в частности! Я это принял за насмешку, а он потребовал, чтобы книга была помещена

в научном отделе... А потом другая, исследование о заручных записях Кирилло-Белозерского монастыря,— это тоже от него. Решительно не понимаю...

Когда была избрана комиссия для экспертизы энской науки под председательством Белоротова, Аристарх Иваныч понял, что все это значило. Эта комиссия присудила «Испанскому наследству» большую золотую медаль, а «Кирилло-Белозерскому монастырю» малую золотую. Летописи Антропова едва достался похвальный отзыв, наряду с экспонентом клыков мамонта. Священному негодованию Аристарха Иваныча не было предела.

— Это какой-то грабеж на большой дороге! — выкрикивал Аристарх Иваныч, делая угрожающие жесты.— Антропову похвальный отзыв?! а?! Как вам это нравится? Знаете, этот Лучинин — он тоже порядочная выжига — рассорился с Белоротовым и объяснил мне все: автор «Испанского наследства» какой-то меценат, а «Кирилло-Белозерского монастыря» — старый друг,— вот наш профессор и подслужился. И это в самом конце девятнадцатого века — нет, простите меня, а я решительно ничего не понимаю!.. Я вообще лучше думал о человечестве... Что же остается тогда?

Ликвидация выставки вообще принесла Аристарху Иванычу целый ряд «приятных» неожиданностей. Кто-то чем-то был обижен, что-то такое потерялось, что-то запоздало — все теперь лезли к Аристарху Иванычу с ножом к горлу. Ежедневно получались неприятные письма, и Аристарх Иваныч не знал, что отвечать. Последней обидой для него было то, что в награду за все хлопоты по устройству выставки он получил архипастырское благословение энского архирея, выхлопотанное губернатором.

— Это мне профессор устроил,— решил Аристарх Иваныч, ударив себя кулаком в грудь.

Большего оскорбления для мыслящего реалиста, конечно, не могло быть, и Аристарх Иваныч спрашивал всех:

— За что?

Все только пожимали плечами и несли разную чепуху.

Наконец энская выставка была ликвидирована в окончательной форме. Публика отхлынула, экспоненты развозили свои вещи по домам, окончательный раз-

гром довершали плотники, и мерзость послевыставочного запустения водворялась с какой-то ожесточенной быстротой. Раз с прогулки я завернул сюда, чтобы повидаться с Аристархом Иванычем. Он, как оказалось, сидел в клубном садике и в одиночестве пил пиво за отдельным столиком, обсыпанным пожелтевшими осенними листьями.

— Ах, это вы...— обрадовался он мне.— Вот полюбуйтесь...

Он вытащил из бокового кармана заношенный номер местной газеты, где была напечатана целая статья: «Великий человек на малые дела».

— Я читал эту статью, Аристарх Иваныч. Мало ли глупости пишут и печатают...

— Совершенно согласен... Я даже рад, что все обрушилось на одного меня, то есть все ошибки, промахи и неудачи свалены на мою голову, а маленькие достоинства и успехи розданы благосклонно другим. Собственно говоря, этого следовало ожидать. Да... Знаете, из-за меня не тронули по крайней мере Антропова, и это уже хорошо. Человек, пива...

Аристарх Иваныч пил вообще очень редко и в самом небольшом количестве и быстро ослабел. Он сидел, раскачиваясь на стуле, и говорил с больной улыбкой:

— Какой я великий человек на малые дела? Гораздо проще... Помните, как писали новгородские летописцы: «Сверзиша Якуню с моста в Волхов». Так и я полетел Якуней.

Но этот момент слабости сейчас же заменился приливом какой-то ожесточенной энергии. Аристарх Иваныч даже погрозил кому-то кулаком и пророчески заявил:

— Погодите, господа!.. А мы будем жить... да. У нас будет все свое... Мы — почвенная вода, и нами все живет. Вырвали одно деревце, посадим двадцать новых. Будущее принадлежит нам... Мы-то его, пожалуй, и не увидим, ну, дети наши увидят...

Аристарху Иванычу так и не пришлось увидеть этого счастливого будущего, о котором он мечтал. После выставки он как-то сразу захирел, осунулся и после рождества умер.

II

Два летописца

1

Мне хочется рассказать о своей встрече с энским летописцем Федором Павлычем Антроповым, сводная летопись которого на энской выставке была, благодаря проискам столичных дорогих гостей, удостоена только похвального отзыва. Но прежде чем сказать об этом замечательном человеке, я считаю своим долгом сделать маленькое вступление, то есть сказать несколько слов об его предшественнике на скользком пути летописца. Этот предшественник сам по себе человек интересный, начиная с фамилии — Минусов. Есть такие роковые фамилии, в которых таинственно как бы скрыто будущее. Затем Минусов представлял сам по себе характерное явление как тип русского неудачника. Неудачников везде много, но русские неудачники, как мне кажется, типичнее других. Они напоминают роковые письма, которые отправляют без адреса, деревья, вывороченные шальной бурей с корнем, путешественников, которые благочестиво удивляются, что на одном и том же поезде они единовременно едут в Петербург и в Москву, и так далее.

Представьте себе далекую глубину дореформенного доброго старого времени, когда единственным светочем для города Энска и для всего Энского уезда служило одно уездное училище. Еще и теперь встречаются старики, образование которых завершилось этим почтенным учебным заведением, что, однако, не помешало им проходить большие и даже блестящие пути, занимать выдающиеся посты и при случае даже похвастаться своим образовательным цензом. В сущности, ведь все это было так недавно, почти вчера, но кажется уже преданием старины глубокой. Весь педагогический склад этих давно прошедших уездных училищ был построен на так называемых «светлых головах», составлявших славу и гордость заведения. Правда, их было очень немного, но они все-таки были, и к числу их принадлежал Минусов, сын простого энского сапожника, попавший в учебу только потому, что тятинька умел «потрафить на мозоль» училищного смотрителя. Уже в исходном пункте чувст-

вовалось какое-то роковое сцепление обстоятельств: из мозоли смотрителя выросла, так сказать, светлая голова, составлявшая впоследствии гордость города Энска.

— Ну, что наш Минусов? — справлялись обыватели друг у друга.

— Шагает, братец... Этот далеко пойдет.

— Уж этот пойдет... Башка, одним словом.

С первого дня своего появления в уездном училище маленький Минусов занял привилегированное положение «светлой головы». Шустрый и понятливый мальчик учился шутя, отличался находчивостью в ответах и служил примером для остальных. Это маленькое превосходство служило, с одной стороны, источником неиссякаемой злобы среднего ленивого школяра, а с другой — развивало в Минусове самомнение и склонность к уединению. Он рано отстал от кружка товарищей и весь ушел в чтение. На выпускном экзамене энский владыка Вассиан погладил талантливого ребенка по голове и сказал:

— Редкий экземпль... Хочешь быть Ломоносовым?

Участие владыки имело после смотрительской мозоли тоже решающее значение. Богатый откупщик Эвилов, состоявший попечителем, тут же предложил взять дальнейшее воспитание шустрого мальчишки на свой счет. Благодаря этому откупному меценату Минусов через пять лет был в одном из провинциальных университетов, на словесном факультете. И здесь он тоже сразу выдвинулся из общей массы и сделался любимцем профессоров, возлагавших на него большие надежды. Почему сын энского сапожника выбрал словесный факультет, а в частности углубился в самые непроходимые дебри филологии — трудно сказать. Время летело быстро. Минусов блестящим образом кончил курс, еще студентом написал диссертацию о каких-то сближениях санскрита с тюркскими наречиями, и ему пророчили кафедру. Он остался при университете, работал над докторской диссертацией, ездил за границу и в одно прекрасное утро очутился опять... в Энске.

Как и что случилось, осталось неизвестным, за исключением того, что Минусову предпочли кого-то другого, и Минусов не мог перенести этого удара. Он раз и навсегда покончил с университетом и занял место смотрителя энского уездного училища, где и остался на всю жизнь. Свою жизнь в Энске Минусов устроил довольно

оригинально, начиная с того, что никуда не выходил из своей казенной училищной квартиры, ни с кем не водил знакомства и вообще повел жизнь отшельника. Время от времени о его существовании напоминали кое-какие статейки, появлявшиеся в специальных изданиях или в провинциальных губернских ведомостях. Это были отрывки чего-то, подготовительная работа, сводившаяся в конце концов к излюбленному санскриту, корни которого Минусов разыскивал в названиях рек, урочищ и озер громадного Энского уезда. Года шли за годами, пронеслась живая буря реформ, явилось земство, новые суды, новая школа, а Минусов все сидел у себя в кабинете, заваленный старинными рукописями, книгами и архивными материалами. Он умер незадолго до энской научно-кустарной выставки, умер такой же загадкой, какой жил. От него осталось несколько исследований по специальным вопросам истории Энского уезда, послуживших образцом для дальнейших работ в этом направлении. Летописец Антропов считал себя прямым его наследником и говорил:

— Минусов до конца дней остался светлой головой, ибо не мечите бисера перед свиньями... О, я его отлично понимаю!.. Именно так и следовало жить... да.

2

Хотя Антропов и говорил, что отлично понимает Минусова и что вполне одобряет образ его жизни, но это не мешало ему быть полной противоположностью, начиная с того, что автор знаменитой сводной летописи страдал неизлечимой общительностью, и кончая тем, что для занятий историей цивилизации Энского уезда не имел решительно никакой подготовки. Он кончил курс в каком-то специальном высшем заведении и на практике никогда не применял своих знаний.

В Энском уезде, заброшенном на далекий северо-восток, Антропов являлся пришельцем. Родился и вырос он где-то на юге и в Энский уезд попал совершенно случайно, всего недели на две, как было определено в маршруте, но так же случайно остался, случайно поступил на службу по другому ведомству — конечно, пока — да так и остался, потому что женился на энской купеческой дочери. В течение тридцати пяти лет он переменил до десятка мест, исколесил Энский уезд вдоль и поперек и

все время собирал материалы по истории края. Сначала это делалось, может быть, от скуки, а потом перешло в настоящую страсть. Когда открыто было земство, Антропов начал издавать свою сводную летопись, представлявшую собою богатейший сырой материал. Большой ошибкой со стороны Антропова было то, что, набив руку по части собирания материалов, позволял себе делать к ним комментарии, сближения, догадки и разные более или менее остроумные исторические комбинации.

Последнее обстоятельство послужило неисчерпаемым источником неприятностей, особенно после выставки, когда проф. Белоротов отнесся к сводной летописи с таким ученым недоверием. Это послужило сигналом для доморощенных критиков, пустившихся разносить злосчастную летопись уже прямо в клочья.

— Помилуйте, какая же это ученая работа? — горячился учитель гимназии из молодых историков.— Не летопись, а какая-то окрошка.

Другие подвергали сомнению существование самих материалов, с которых Антропов делал копии; третьи уверяли, что он, Антропов, сам ничего и не делал, а собирали за него эти материалы разные писаря, учительницы и маленькие служащие; одним словом, заварилась каша. «Молодые силы» так и напирали на старика, точно это был их злейший личный враг. Довершением всех злоключений было то, что на земском собрании было решено приостановить печатание опороченной летописи и передать этот вопрос на рассмотрение специалистов. Вообще получился какой-то скандал, и имя Антропова произносилось с какими-то подчеркиваниями, как говорят о героях разных хищений и скандальных процессов. Все это было возмутительно, и я, вернувшись из одной далекой поездки, отправился навестить кругом обиженного старика.

Антропов жил на краю города в собственном деревянном домике, построенном без всяких претензий, с той домовитой простотой, которая резко бросается в глаза после столичных пятиэтажных каменных чудовищ. Что может быть лучше и уютнее такого маленького деревянного домика-особнячка со своим неизменным палисадником, мезонином, двориком, службами и своим огородом. Есть еще счастливые люди, которые могут жить в таких домиках, и Антропов принадлежал к их числу. Дверь мне отворил сам Антропов, высокий и плотный

старик с типичным лицом. Он был в халате и с трубкой.

— Рад, очень рад... Милости просим,— торопливо повторял он.— Меня нынче как-то забывают, я боюсь признаться, что, может быть, даже избегают.

— Ничего подобного нет и не может быть, Федор Павлович...

— Да? Очень рад... Кстати, вы пришли вовремя: умирать собираюсь.

— Помилуйте...

— Нет, нет... Это уж так принято: поживет-поживет человек и вдруг — умрет. Знаете, на меня самое сильное впечатление произвела смерть Аристарха Иваныча... Мало ли я перехоронил на своем веку друзей и знакомых, а все как-то не производило того впечатления... Одним словом, нейдет он у меня с ума. А я еще все собирался с ним браниться за выставку... Ведь это он меня тогда втянул в экспоненты. Не следовало, голубчик, этого делать... Ни-ни!.. Хорошо еще, что я сам прихворнул и не мог быть тогда на выставке. Могло быть хуже... Знаете, на старости лет начали бы срамить в глаза — оно как будто и неловко. Ну да не стоит об этом говорить...

Старик ужасно суетился, все искал чего-то глазами и постоянно раскуривал гаснувшую трубку. Я не видал его года два, и за этот короткий срок Федор Павлыч сильно изменился. Цвет лица был зеленоватый, серые большие глаза смотрели с тревожной усталостью, в каждом движении чувствовалась какая-то связанность. Время от времени он подходил к двери и кричал: «Катя!.. Эй, Катя... Катька?!» Но из этих воплей ничего не получалось, и Федор Павлыч только махнул рукой, улыбаясь собственной доверчивости.

— Как есть никого в доме! — удивлялся он вслух.— И куда все запропастились? А этой Катьке необходимо отказать... Четвертый год собираюсь отказать.

Принято думать, что обстановка характеризует человека, особенно человека профессионального. В данном случае этого решительно нельзя было сказать, кроме, разве того, что отсутствовала всякая обстановка, как в доме, где много детей. Кабинет Федора Павлыча напоминал второй или третий день творения,— остальные дни остались невыполненными. В потолке, например, был вделан какой-то вычурный крюк для неосуществившейся лампы, в стене была устроена какая-то овальная ниша, напрасно ожидавшая собственного содержимого,

столяр все забывал привесить оборванную дверку книжного шкафа, сам хозяин уже два года собирался переставить диван к другой стене, горничная Катя никак не могла добраться до густых слоев пыли, покрывавших все кабинетное мироздание и т. д. и т. д. Мне, в сущности, очень нравится такой беспорядок, потому что так надоели всевозможные обстановки, обстановочки и более или менее удачные подделки под оные.

— Катя?! Катька?! Я тебя убью...— взывал Федор Павлыч, размахивая чубуком, и добродушно прибавлял:— Вот полюбуйтесь, на что это похоже... да.

3

Наконец после долгих отчаянных воплей и взываний хозяина в дверях кабинета показалось хорошенькое девичье личико и сейчас же скрылось, и только потом явилась горничная Катя с двумя стаканами остывшего чая.

— Я рад, очень рад, что вы заглянули ко мне,— повторял старик, принимаясь жать мою руку.— Знаете, я скоро умру... да... Может быть, видимся в последний раз... Все это в порядке вещей, и в шестьдесят лет нельзя особенно огорчаться этим. Да... Но только жаль, что остается еще много недоконченного... хотелось бы еще поработать... Ведь жизнь так коротка, а мы ее тратим бог знает на что. Кстати, вы, конечно, читали те нападки, которые систематически печатаются против меня в губернских ведомостях?

— Не все, а кое-что читал... Я решительно не понимаю их...

— А я так отлично понимаю! О, как я их понимаю! И представьте себе, что ополчились на меня все люди хорошие, молодые, полные сил, которых я от души люблю. Прибавьте к этому еще то, что эти люди преследуют меня с самыми хорошими намерениями. И я опять их люблю, как все молодое, полное сил,— одним словом, как можно любить только будущее. Говорю вполне искренно... И мне порой делается даже жаль их, потому что когда они проработают целую жизнь, как я, и когда на смену им явятся новые молодые люди и повторят с ними то, что сейчас они устраивают со мной — повторяю,— мне их жаль. Да, они не понимают еще многого, что понимается слишком поздно, к сожалению... Что

делать, жизнь каждого из нас есть только повторение чьей-то предшествовавшей ошибки.

Федор Павлыч все время ходил по комнате и на ходу отхлебывал свой чай. Мне понравилось его философское спокойствие, с каким он относился к своим молодым врагам.

— Катя?! Эй, Катя... Послушай, позови сюда Наташу. Что она прячется, как поповна на именинах...

В дверях появилась девушка-подросток в гимназической форме и сделала реверанс.

— Рекомендую, последняя отрасль... Наташа, принеси-ка сюда восемнадцатый век. Знаешь, там, на второй полке... Да смотри, пожалуйста, осторожнее, не разбей кипу.

Девушка с улыбкой исчезла.

— У меня все приготовлено на случай смерти,— объяснял Федор Павлыч деловым тоном.— Помилуйте, работал безданно-беспошлинно больше тридцати лет и привык к аккуратности. После меня как знают,— угодно будет земству напечатать или неугодно, а мое дело сделано. Да...

Наташа при помощи горничной едва притащила целых два тюка материалов по истории цивилизации Энского уезда XVIII века.

— Merci, mademoiselle.

Федор Павлыч смахнул пыль с принесенных томов, осторожно их распаковал и принялся показывать заготовленные материалы, расположенные по годам.

— Вот это Петровский период,— объяснял он, откладывая в сторону целую кипу бумаг.— Энский уезд не остался без внимания великого преобразователя... да... А здесь материалы по пугачевщине, которая тоже коснулась Энского уезда, хотя и бочком. Здесь материалы по истории раскола... Есть интересные страницы... Я не пропускал ни одного документа, ценность которого сейчас трудно определить даже приблизительно. Обратите, пожалуйста, внимание, что почти все копии писаны моей рукой, а отчасти помогала Наташа. Между тем меня обвиняют в эксплуатации чужого труда...

Мне пришлось быть добровольцем-понятым, и я постарался вполне добросовестно отнестись к своей обязанности. Впрочем, доказательства были налицо, и особенных доказательств не требовалось. Меня смущало только одно, что Федор Павлович точно оправдывался.

— И приходится оправдываться,— ответил он на мое замечание с грустной улыбкой.— Да, виновен и не заслуживаю снисхождения... Помилуйте, разве человек, проработавший даром тридцать лет, не сумасшедший? Другие играли в карты, пьянствовали, сплетничали, вообще безобразничали, а я собирал какие-то дурацкие материалы, да и собирал, не имея специальных знаний для этого и никаких командировок... сейчас ко мне все с требованиями: «Милостивый государь, а позвольте, не имея диплома историка, на каком вы основании взялись не за свое дело? Кто вас просил об этом?» Господа, да ведь я и не претендую ни на что, а только желал сохранить для благодарного потомства некоторые материалы, которые могли навсегда погибнуть... Одним словом, я являюсь в роли какого-то шарлатана для науки и шута горохового для современников. Конечно, виновен, кругом виновен...

Подмигнув, Федор Павлыч проговорил:

— А сводная-то летопись все-таки останется... хе-хе! Меня не будет, и страсти моих критиков улягутся. А может быть, кто-нибудь и добрым словом помянет... Впрочем, я начинаю причитать, как нанятая плакальщица. Ну, это не в счет... Знаете, умнее всех нас был Минусов.

— Именно?

— Сорвалось, не повезло, и нужно уметь дать самому себе отставку. Не хочу я знать никого и ничего, кроме своей работы, которая наполняет мою жизнь и дает ей смысл. Понимаете, не хочу... Умный был человек, и я понял его вполне только после этой несчастной выставки.

Я часа два рассматривал «восемнадцатый век». Чего-чего только тут не было, напоминая в общем кучу осеннего палого листа, по которому гадательно приходилось восстанавливать живую историческую зелень. Федор Павлыч заметно оживился.

— Вы не бывали у Минусова?

— Нет. Как-то неловко было навязываться на знакомство...

— Напрасно. Это был большой оригинал... Представьте себе, что его кабинет представлял собой архив. В нем лет двадцать ничего не убиралось, до пыли включительно... А ведь это был живой, остроумный, до высшей степени образованный человек. И пришлось похоронить себя заживо...

— Федор Павлыч, как вы втянулись в свою работу?

— А как пьяницы спиваются с кругу: от одной рюмочки. В результате получается уже настоящий форменный запой... Да и любопытно, говоря откровенно. Ведь с каждой страницы на вас глядит во все глаза живое прошлое... Все это снова переживаешь, чувствуешь и совершенно забываешь о настоящем. Если бы каждая губерния представила свою летопись — страшно подумать о таком материале, а русская история еще только напишется именно по такому материалу, собранному на месте действия. Наступит новая эра... Наша русская история писалась в столицах, по данным столичных архивов, писалась одним лицом, как Карамзин и Соловьев, но ведь это значило объять необъятное. Материалы еще только собираются... Может быть, я покажусь вам смешным и нелепым, но это так.

Федор Павлыч любил поговорить и сам увлекался своими мыслями. Закончил он неожиданно так:

— Знаете, у меня на душе лежит одна работа, которой я не успел кончить: это — подробное описание свадебных обрядов, песен и вообще всего свадебного ритуала. Знаете, это величайшее создание самобытного народного гения. Если бы мне удалось прожить еще лет пять, то... Нет, не удастся!..

Он подошел к простенку между двумя окнами и молча указал на три портрета, висевших рядом. Центр занимал портрет Минусова, слева был портрет Аристарха Иваныча, а справа его собственный.

— Видите, они повешены были случайно... Теперь моя очередь. Да... И судьба у всех одна: работали всю жизнь и не были оценены современниками. Что делать, русский человек еще не привык ценить и относиться с уважением к чужому труду...

Я простился с Федором Павлычем без всякой мысли о том, что это была наша последняя встреча, но его предчувствие смерти скоро оправдалось...

III

Наш многоуважаемый...

1

Подъезжая к незнакомому городу, я люблю составить себе воображаемую схему этого города согласно тем

материалам, какие имеются в распоряжении, а потом проверить ее действительностью. В большинстве случаев воображаемый город совсем не походит на существующий в действительности, что меня всегда огорчает. Приятным исключением в этом отношении явился для меня старинный исторический город Головань (изменяю название по некоторым соображениям личного характера), который мне давно хотелось посмотреть, но все как-то не удавалось за разными недосугами. Правда, что я немного знал этот город по фотографиям, а потом знал его историческое прошлое. Сейчас Головань являлся полузабытым обломком седой старины, превращенным в ненужный ни для кого административный пункт.

Уже с вокзала железной дороги (кстати, эта дорога окончательно добила город, вместо того чтобы поднять его значение, как предполагалось, потому что лишала всякого значения проходивший через Головань тракт, а затем оставила без работы сплавную реку Головню) город мне показался знакомым. Это совсем особенное чувство, когда кажется, что видел когда-то вот и этот полуразрушенный кремль, когда-то ходил по этим улицам, даже присутствовал на тех пожарах, которые периодически способствовали украшению города,— чувство полумистического характера. Я не мог отделаться от этого чувства, пока ехал на извозчике к знакомому моего знакомого, к которому имел рекомендательное письмо. Вот и этот собор я когда-то видел, когда он еще не составлял украшения городской площади, а был приперт со всех сторон тесной обывательской стройкой, почему и выгорал раз десять. Кое-где попадались еще кривые и узкие улички, видавшие еще татарву и лихих людей тушинского вора. Да, тут пронеслась не одна бурная волна русской истории, и Головань возрождалась из пепла, для того чтобы снова превратиться в пепел от меча, огня и нашествия иноплеменных. Я положительно видел, как горели из конца в конец вот эти узкие улички, как неистовствовали здесь иноплеменные и свои лихие люди и как обагряли неповинной обывательской кровью каждый вершок вот этой исторической земли. Является невольный вопрос, для кого и для чего это было нужно? Но волна истории отхлынула, и Головань захудала и никак не может умереть в окончательной форме.

Знакомый моего знакомого жил именно в такой старинной кривой улочке, по неизвестной причине упиравшейся прямо в стену кремля. По сторонам сидели дома разных архитектурных эпох: помещичьи каменные дома, выстроенные «во вкусе», купеческие хоромины, чиновничьи бедненькие домики, а между ними втиснулась уже разная мещанская стройка, какая-то взъерошенная и неприветливая. Знакомый моего знакомого занимал квартиру в доме, совмещавшем три эпохи: низ сохранился еще от времен Тахтамыша и представлял собой грубую сводчатую кладку из чуть-чуть приспособленного для этой цели камня-дикаря (сейчас в этих исторических стенах помещался ренсковый погреб), второй этаж кирпичный, помещичьей архитектуры, когда-то украшенный фронтоном с колоннами в стиле «ампир», а третий, этот уже самый новый, деревянный, густо выкрашенный зеленой краской,— в результате получался полукаменный дом мещанина Зеленина.

— Хочется мне посмотреть ваш город...— говорил я, когда мы по русскому обычаю сидели уже за самоваром.— Давно собирался, да все как-то не мог собраться.

У знакомого моего знакомого на лице изобразился вопросительный знак. Кстати, звали его Иваном Алексеевичем и по профессии он был земским человеком.

— У нас, посмотреть?—подумал Иван Алексеевич вслух.— Представьте, что решительно нечего смотреть... Ведь кремль вы видели? И собор на площади? Вот и все... Внутри кремля никакой старины нет, потому что все погибло в пожары, а остатки расхищены или поступили в музей.

— Неужели уже так ничего и не осталось?

— Решительно ничего... Даже совестно в этом признаться, но что поделаешь... Одно имя осталось... Есть, правда, чудотворная икона, но позднейшего происхождения, есть в соборе вериги какого-то схимника, потом посох какого-то чудотворца — и только.

— Немного... Может быть, в окрестностях что-нибудь...

— И в окрестностях ничего нет.

Иван Алексеевич даже немного сконфузился по этому поводу. Вдруг человек едет посмотреть на разную старину и вдруг ничего интересного нет. Но потом лицо Ивана Алексеевича просияло. Он что-то вспомнил.

— Вы с Сергеем Степанычем Бородковским не знакомы?

— Нет... Что-то такое читал. Вообще знакомая фамилия.

— Ах, помилуйте, да это же наша голованьская знаменитость. Он археолог и может вам рассказать все... Понимаете? Решительно все может рассказать... Самый уважаемый у нас человек. Мы к нему прямо и поедем. Старик будет рад...

Торопливая радость Ивана Алексеевича несколько задела меня, точно он хотел сбыть меня этому археологу. Но это подозрение исчезло, когда он заявил:

— И я с вами поеду вместе... Давно не видел старика. Он что-то нигде не показывается. По профессии он, собственно, врач, а в археологии любитель. Все бросил и занимается только своей археологией.

2

Бородковский жил сейчас за собором, в старинном двухэтажном домике, подъезд к которому зарос травой забвенья. Первое впечатление было чего-то нежилого и запустелого. Вдобавок и ворота оказались запертыми.

— Может быть, его нет дома,— сделал я предположение.

— Вот тебе раз! — изумился Иван Алексеевич.— Куда же ему деться? Конечно, дома.

На стук в калитку во втором этаже из-за косяка окна выглянуло чье-то лицо, видимо, наблюдавшее за нами, но не решившееся показаться.

— Сергей Степаныч, можно вас видеть? — крикнул Иван Алексеевич, начиная терять терпение.

Окно осторожно приотворилось, и в нем еще более осторожно показалась седая старческая голова.

— Это вы, Иван Алексеевич? То-то, я смотрю, как будто знакомый человек...

— А я к вам гостя привез, Сергей Степаныч...

Старческая голова испытующе посмотрела на меня и ответила не вдруг.

— Милости просим...

Я теперь припомнил фамилию Бородковского и даже составленную им книжку по археологии голованьского края. Давеча у меня эта фамилия как-то совсем выпала из головы, а сейчас я сразу все припомнил, даже

обложку книги и многознаменательную ремарку: «Голования, типография губернского земства». По мнению покойного Аристарха Иваныча, такая ремарка равнялась смертному приговору.

Послышался где-то визг давно не отворявшейся двери, потом шлепанье туфель, и наконец растворилась наша калитка. При слове «археолог» вообще представляется что-то особенное и необыкновенное, но наружность Бородковского превзошла все ожидания. Представьте седого сгорбленного старика, одетого в какую-то необыкновенную синюю рубаху, спускавшуюся ниже колен,— в таких рубахах иконописцы изображают иногда старинных русских угодников,— из-под рубахи виднелись шаровары необыкновенного цвета — не то табачного, не то Bismark furioso и туфли, напоминавшие по форме те древнерусские «ичиги», в каких доныне хоронят покойников по русским захолустьям. Когда Иван Алексеевич отрекомендовал меня, Бородковский добродушно улыбнулся и, протягивая руку, проговорил:

— А я, батенька, подумал, не казенный ли археолог приехал... Есть такие нынче судари, которые любят чужими руками жар загребать... Милости просим, господа!

Небольшой двор весь порос травой, какие-то домовые пристройки рушились — вообще привлекательного было немного. Опять завизжала несчастная дверь, и мы начали подниматься по ветхой деревянной лестнице во второй этаж, причем на ходу могли убедиться в профессиональных вкусах хозяина — на площадке были свалены в кучу кости мамонта, какие-то камни, черепа, деревянные орнаменты, какая-то проржавевшая до невозможности железная ломь и т. д. В передней едва можно было повернуться, так все было заставлено какими-то таинственными сундуками, деревянными образами, опять костями и какими-то разбитыми глиняными цилиндрической формы горшками, оказавшимися впоследствии старинными «голосниками», выломанными из стены какой-то старинной церкви. Небольшой зал, небольшая гостиная и большой кабинет представляли собой археологический институт после пожара. Не было свободного вершка, и археология поселилась здесь во всей своей неприкосновенности — археология в витринах, шкафах, на стенах, на подоконниках и просто археология на полу. Картоны с нашитыми на них черепками, костями, каменными орудиями и доисторически-

ми металлами составляли целую библиотеку. Но всего характернее был кабинет хозяина: по одну сторону письменного стола целая груда черепов, по другую — громадный камень пудов в двадцать весом, потом еще несколько камней, обломки глиняных горшков, кости, надгробный каменный крест и т. д. В глубине виднелись шкафы, набитые старинными книгами, рукописями, свитками, и опять камнями, черепками и разным другим хламом. Письменный стол тоже был завален черепками, камнями, сосудами и сосудцами, кипами бумаг и предметами, назначение которых трудно было отгадать. Чтобы присесть, пришлось отодвинуть каменый крест и несколько мамонтовых клыков. Одним словом, обстановка довольно импонирующая, до хозяина включительно, напоминавшего старинного голованьского чаровника и кудесника.

— У нас нет древностей? — заговорил Сергей Степаныч, когда я предательски пожаловался на Ивана Алексеича.— Ха-ха! Вы посмотрите кругом — это только часть. А сколько лежит в подвале, в амбаре, на чердаке...

— Но ведь это доисторические предметы! — оправдывался Иван Алексеич.

— Есть и исторические... Сколько угодно. Вот у меня целый шкаф с древнерусскими материями и шитьем, кокошники, женские украшения...

Поддерживать разговор со специалистами вообще довольно трудная вещь, а со специалистами-любителями в особенности. Иван Алексеич напрягал все усилия, чтобы хоть до некоторой степени попасть на высоту положения, и мне делалось немного совестно, что человек мучается прямо из-за меня. У меня, к счастью, нашлось несколько частных вопросов, касавшихся археологии, и я поспешил выручить знакомого моего знакомого.

— Видите ли, моя задача сейчас сводится к тому, чтобы доказать, что доисторическая культура территории домосковской Руси заимствована с далекого востока, вернее — с северо-востока,— оживленно объяснял Сергей Степаныч.— И представьте, у меня в руках есть верное доказательство... да. Ясно как день. При раскопках часто встречаются украшения из янтаря, но янтарь-то красного цвета, какого нигде в Европе не встречается. Понимаете?.. Кажется, пустяки, а между тем в руках уже целая нить, по которой я и добрался.. Да вот я вам сейчас покажу.

Мы имели удовольствие рассмотреть целую коллекцию доисторических янтарей и убедились, что между ними есть и красные.

— Может быть, они покраснели от долгого лежания в земле,— попробовал догадаться Иван Алексеич.

— Отчего же другие янтари остались желтыми?— почти обиделся Сергей Степаныч и торопливо спрятал свою коллекцию, точно глаза непосвященных могли ее оскорбить.

3

От красных янтарей мы каким-то удивительным образом переехали к древней иконописи. Предварительно были осмотрены ризы обронного (глубокая резьба по металлу), сканого (филигранное тож) и басменного (штампованные на тонких листах) дела, со всевозможными рясно, ожерельями, поднизями и цацами, а потом уже перешли к самым образам.

— Я вас попрошу, господа, на чердак,— предлагал любезный хозяин.— Собственно, у меня там отдел церковной археологии...

По узкой лестнице мы пробрались наверх, где был устроен мезонин, заваленный сейчас сплошь какой-то церковной утварью и образами старинного письма. Было тут и паникадило, и подсвечники, и колокола, и даже целые царские врата.

— Подлинниками не могу похвастать,— объяснял Сергей Степаныч,— но списки хорошие, и есть подозрение относительно некоторых, что они, кажется, оригиналы... Вот образ новгородского пошиба, а это два образа первого и второго строгановских писем... Тут фряжское письмо царских кормовых зографов... Обратите внимание... вот здесь... Видите, у Спаса на лбу из пробора выделяются два традиционных волоска? Потом, у ангелов, видите, за ушами вьются белые волоски? Это так называемые «слухи»... Но я дорожу особенно царскими вратами, на которых — вот посмотрите наверху — изображено таинство причащения в двух видах, а не тайная вечеря, как нынче.

— Где вы могли достать такие редкости?— удивлялись мы от чистого сердца.

— Где? Да ведь на это положена была вся жизнь...

— А вы давно начали заниматься археологией? — спросил я.

— Да как сказать... не особенно... Всего лет сорок пять... Да, около этого... Я еще мальчишкой лазил по старинным колокольням, и все меня интересовало, а потом гимназистом я уже делал раскопки, потом... одним словом, вся жизнь ушла на это дело.

— Скажите, пожалуйста, вы имели какие-нибудь субсидии для этого?

— Я?! Боже меня сохрани...— обиделся Сергей Степаныч.— Все, что вы видите, собрано на личные средства, без всякой посторонней помощи. Даже совершенно наоборот: я со стороны видел только одни препятствия, и какие препятствия... Ведь в последнее время археология сделалась модной наукой и к ней примазались разные ловкачи... да. Давеча-то я даже испугался, когда вы подъехали... Ха-ха! Пуганая ворона куста боится... Представьте себе, какой со мной случай вышел. Приезжает ко мне нынешний модный казенный археолог — у него, конечно, и всякие открытые листы и рекомендации, и прогоны, и суточные,— да, приезжает. Ловкий такой молодой человек... «Вы, наш многоуважаемый Сергей Степаныч, не откажитесь принять участие в выставке, чем всех нас много обяжете — и графа Икс, и князя Зет, и баронессу Игрек...» Понимаете, не говорит человек, а поет. Ну, признаться, я немного оказался разиней... Что же, думаю, дело подходящее. И давай все свои коллекции ворошить да систематизировать. Уж половина была запакована в ящики, как на счастье подвернулся один знакомый и говорит: «Что вы делаете, Сергей Степанович? Представите вы свои коллекции на выставку, а с вас и потребуют объяснения, на каком таком основании вы производили раскопки... Потребуют да и задержат у себя». Понимаете, куда оно пошло?

— Д-да...— ужаснулись мы в один голос.

— И ведь подбираются ко мне. И так и этак, но я даже ворота на запоре держу. Не отдамся живым...

— А если бы администрация заявила непременное желание приобрести ваши коллекции?

— Э, тогда я свалил бы все на барку, вывез по Головне в озеро и бросил все в воду. Не доставайся никому...

Эти разговоры, видимо, волновали и огорчали Сер-

гея Степаныча, но он попал на свою зарубку и шел дальше.

— Да уже что говорить о модных археологах!.. По простоте души я некоторое время надеялся на городское самоуправление и на земство... Да, было... И что же? Я предлагаю им так: я пожертвую вам все свои коллекции, но с тем условием, чтобы вы выстроили для них особый музей, а затем чтобы я оставался до своей смерти хранителем и распорядителем этого музея. Кажется, немного? И представляете себе: не принимают. Губернатор что-то имеет против меня...

Старик сделался грустным, припоминая обиды неблагодарных современников. Провожая нас, он, однако, вдруг повеселел и сообщил вполголоса, точно опасаясь, что могут подслушать его тайну самые стены:

— А я не унываю... Нет, не унываю! Пусть теснят, пусть пренебрегают, а я им покажу одну штучку... Вот, видите ли, у меня есть сын, он скоро кончает университет... да... Мальчик способный и серьезный. Прошлое лето он уже ездил в экспедицию... в устья Лены... да... то есть какая это экспедиция: на свои средства ездил. И, представьте, мальчик открыл там месторождение красного янтаря и привез мне образцы. Теперь уже не может быть сомнения, но пока это секрет. Да... Я им всем покажу «нашего многоуважаемого Сергея Степаныча»! Меня не будет — сын останется... да.

Мы ушли от почтенного старца в грустном настроении. Я невольно припомнил других излюбленных провинциальных людей, а Иван Алексеевич встряхивал головой и наконец проговорил:

— И сын такой же будет... Должно быть, это в крови. Вообще, очень почтенный старик, и где-нибудь в другом, более культурном государстве, он составлял бы гордость соотечественников.

IV

Мещанин Мотылев

1

...Перед маленьким домиком, на воротах которого была прибита большая вывеска: «Типография Мотылева и контора редакции «Пропадинского Курьера»

толпились кучки любопытных. Даже сеявший вторую неделю назойливый осенний мелкий дождь не мог охладить этого стадного внимания. Впрочем, сегодня толпа была права: хоронили Мотылева, Никандра Мотылева, которого знал не только весь Пропадинск, но и вся губерния. Он умер скоропостижно, как было оповещено в газете, но это было неверно, он умирал уже давно, но не хотел поддаваться болезням и умер буквально на ходу. Толпа в большом масштабе почти всегда справедлива, у нее является какое-то массовое чутье, и теперь слышались такие рассуждения:

— Не такой человек, чтобы лежать... Ну, и сгорел на работе.

— Себя не жалел, вот главная причина.

Какой-то сгорбленный седой старик показал палкой на окно и проговорил:

— Заступа наша померла, вот как надо сказать-то. Никого не боялся Лекандра Семеныч. С губернатором разговаривал... Своими глазами видел: губернатор говорит и Лекандра Семеныч говорит.

Толпа все росла. Кроме случайных зевак начали появляться люди, которые пришли со специальной целью «проводить Мотылева». Большинство были мещане, мелкие торгующие, мастеровые — одним словом, люди, которым приходилось иметь дело с Мотылевым, когда он служил в мещанской управе, потом в Думе и, наконец, «состоял в земстве». Для всех этих людей в Мотылеве умер свой родной человек, знавший вдоль и поперек, где и как болит у маленького безответного человека.

— Это его газетина извела,— резонировал кто-то в толпе.— Ни днем ни ночью с ней не знал покою... Вот и уходился.

— А не газетина, так другое бы выискал. Такому-то орлу не сидеть на одном месте.

— Теперь все дыханут спокойно: и голова, и управа, и купцы. Некому будет их теснить.

— А Черноризцев остался — он ту же линию поведет.

— Повести-то поведет, да толку от этого не будет: у Черноризцева душа будет малым делом покороче. Правильный человек, а дерзости настоящей, как у Лекандры Семеныча, и нет.

— Куда ему! Одним словом, белоручка... А Лекан-

дра-то Семеныч и на коне, и под конем бывал. Сам жил и других ущитит в лучшем виде.

Именно в этот момент Черноризцев, низенький и плотный господин, пробирался сквозь толпу и слышал от слова до слова выданную ему характеристику. «Короткая душа» его немного задела, и он оглянулся на говорившего — это был какой-то мещанин в пиджаке и картузе, которого он видел в первый раз. Впрочем, это было мимолетное ощущение, сейчас же исчезнувшее. Черноризцева узнали и пропустили в калитку — парадное крыльцо по-провинциальному выходило во двор, и перед ним стояли похоронные дроги. На крыльце Черноризцева встретила жена Мотылева, худощавая высокая женщина с каким-то покорным лицом,— это последнее выражение как-то особенно теперь шло и к моменту, и к ее траурному платью, и ко всей печальной обстановке.

— Все готово, Анна Даниловна? — для чего-то спросил Черноризцев, пожимая ей руку.

— Да, все... Священника ждем.

— Не нужно ли вам что-нибудь?

— Нет, благодарю... Все есть. Наборщики все устроили... Стараются.

Около вдовы жались мальчик лет одиннадцати в гимназическом мундире и девочка лет пятнадцати в гимназической форме. Это были «начинающие сироты», как определил их про себя Черноризцев и молча погладил по голове мальчика, походившего на отца как две капли воды. Да, скверно... Если бы Мотылев подождал умирать лет десять — совсем бы другое вышло. Малы детки, всего напринимаются в сиротстве... У него невольно сжалось сердце, когда он вспомнил про свою дочь, совсем еще маленькую девочку, и мысленно проговорил глупую фразу: «Все люди смертны».

Покойник лежал в зале, которая заменяла редакционную комнату. Сейчас она показалась Черноризцеву и меньше, и теснее, хотя он бывал здесь ежедневно.

— Пожалуйте сюда, Аркадий Яковлич...— шепотом пригласил его типографский фактор.— А здесь очень много народу набралось.

— Это, вероятно, все родственники?

— Да, у нашего брата, мещан, родни — до Москвы не перевешаешь... От бедности плодятся. Пожалуйте в кабинет...

В кабинете сидели почетные лица: фельетонист «Курьера» Аполлон Сорокин, белокурый, молчаливый и желчный субъект, мещанский староста Губкин, дальний родственник Мотылева, член земской управы Чернышев, корректор Ольхин, учитель гимназии Барышев, сотрудничавший в «Курьере» потихоньку от начальства, бухгалтер городского банка Щелковский и еще несколько человек, незнакомых Черноризцеву. Он в качестве редактора являлся здесь самым почетным гостем, что его сейчас очень смущало. Пожалуйте, господа, что за церемонии... У всех у нас один редактор — смерть. Все разом заговорили на тему о смерти, причем считали необходимым вздыхать и делать грустные лица.

— Жить бы надо Никандру-то Семенычу,— как-то обиженно заявил мещанский староста.— Какой человек-то был... да...

Все чувствовали себя неловко и вздохнули свободнее, когда в дверях показался отец Антоний, чахоточный, зеленый, умиравший лет тридцать. Он неловко здоровался со всеми, чувствуя, что каждый думает: «Тебе бы, отец Антоний, помереть вместо Мотылева». Показалась в дверях голова отца дьякона и скрылась —отец дьякон боялся почему-то Черноризцева, как сочинителя.

К выносу тела в комнатах образовалась настоящая давка. Неподвижность покойника производила удручающий контраст. Черноризцев подошел к гробу и посмотрел на него в последний раз, то есть в последний раз в этой домашней обстановке, в этих стенах, где еще недавно раздавался его голос, слышались шаги, легкое покашливание и где проходила вся трудовая жизнь изо дня в день. Смерть мало изменила лицо Мотылева, еще не старое, обрамленное небольшой белокурой бородкой. Вот и этот красиво вылепленный лоб, и мягкий русский нос, и твердо сложенные губы,— Мотылев улыбался чрезвычайно редко, и чувствовалось какое-то усталое выражение в преждевременных морщинах на лбу и вокруг глаз. Черноризцева удивило, что волосы на макушке у Мотылева совсем уже поредели,— он этого не замечал раньше.

— Добре потрудивыйся...— заметил отец Антоний, торопливо надевая ризу,— он все делал торопливо.

— Да...— ответил Черноризцев.— Было поработано.

— Поторопился Никандра Семеныч.

Подошла вдова с детьми. Она, видимо, ничего боль-

ше не слышала и не замечала, поглощенная мыслью, что сейчас его унесут из родного гнезда и никогда он не вернется в него. Дети жались к ней. У девочки лицо было заплакано, а мальчик еще плохо понимал, что происходит кругом. Вид сирот опять произвел тяжелое впечатление на Черноризцева. Он один знал, что покойный решительно ничего не оставил семье, кроме долгов,— и дом, и типография, и разное имущество было опутано целой сетью мелких, средних и больших долгов. Уже теперь, наверное, все кредиторы насторожились и ждут только удобного момента, чтобы в клочья разнести жалкие остатки никогда не существовавших мотылевских богатств. Кредиторы — это последний акт жалкой комедии, которая называется жизнью. А сколько раз Черноризцев советовал Мотылеву позаботиться о семье и не увлекаться разными предприятиями.

— Вы это относительно денег, Аркадий Яковлевич?— удивлялся каждый раз Мотылев.— Помилуйте, самое пустое дело... Вот только немного управлюсь с обстоятельствами и живой рукой капитал наживу.

Мотылев действительно несколько раз наживал капитал и потом разорялся. Он относился к этому философски, и так же смотрела жена. Последним «обстоятельством» была своя газета, которая не столько поглощала средств, сколько отнимала у Мотылева все свободное время.

— Вот ужо газета пойдет, тогда и своими делами займемся,— повторял Мотылев, по-мещански встряхивая головой.— Деньги дело наживное...

Но время шло, а Мотылев все сильнее и сильнее затягивался в газетное дело и все меньше занимался теми предприятиями, которые давали ему раньше средства.

Все эти мысли промелькнули в голове Черноризцева, как ночные птицы. Вот уже дьякон сделал возглас, послышалось стройное пение хора певчих... Фельетонист Сорокин неистово крутил свою козлиную бородку, чувствуя, как у него слезы подступают к горлу. А вот гроб точно сам собой поднялся кверху и, покачиваясь, медленно поплыл к выходной двери.

2

Дождь продолжал идти с прежней назойливостью. Публика шлепала по грязи немощеной улицы. Процессия растянулась. В воздухе периодически поднималась

волна грустного похоронного мотива. До приходской церкви, где должно было происходить отпевание, нужно было пройти больше версты. У Черноризцева явилась предательская мысль сесть на своего извозчика и уехать вперед, но ведь другие шли, и ему сделалось совестно уехать одному. Рядом с ним шагал мещанский староста Губкин, напрасно стараясь выбирать места посуше; он подтягивал певчим и несколько раз повторил:

— Эка грязь, господи... В третьем году вон там, в ложке, целая почта утонула. Едва бастрыгами добыли... Никадр-то Семеныч уж как достигал эту грязь, а ничего не мог поделать. Бог веку не дал, а то бы достиг...

— Вы думаете? — машинально спрашивал Черноризцев.

— Беспременно... Такой уж был человек.

У всякой толпы есть своя физиономия и свой характер. Черноризцев, вглядываясь в провожающих Мотылева, определил ее мещанской, а он с Сорокиным, Барышевым, Щелковским и Чернышевым представляли исключение, вернее — чужих людей. Они портили своим присутствием картину: это свои провожали своего. Ведь вот эта среда выдвинула Мотылева, он оставался в ней «родовичем» и до конца сохранял кровную связь. Как давеча хорошо кто-то сказал, назвав покойного «заступой». Да, Мотылев и был заступой, отстаивая всю жизнь мирской интерес, для которого забывал о самом себе. В сущности, Черноризцев только сейчас понял, что такое был Мотылев, понял именно благодаря провожавшей его мещанской толпе, дававшей ему неиссякавший запас энергии. Тут была кровная органическая связь, и Мотылев шел только в голове, в чем даже не было особенной заслуги: не он, так другой. Будет и другой Мотылев, потому что невозможно без заступы.

Всякая смерть наводит на философские размышления, а особенно смерть близкого человека. В самом деле, что такое мещанин Мотылев? Человек целую жизнь трудился, хлопотал, волновался, рассчитывал, и вдруг нет мещанина Мотылева... В «Курьере» прочитают его некролог, а потом забудут, точно его никогда и на свете не существовало. Какой-нибудь летописец города Пропадинска занесет в свои анналы, что была-де типография мещанина Мотылева, издававшего (?) пер-

вую газету,— и только. От этих мыслей Черноризцеву делалось и жутко, и обидно, как от всякой несправедливости. Ему хотелось даже крикнуть этому будущему летописцу: «Летописец, ведь мещанин Мотылев — сила...»

— Да, да, сила...— вслух думал он, едва вытаскивая ноги из грязи.— Сила почвенная, органическая, а не то что мы...

Ему сейчас вспомнилась кольнувшая его давеча характеристика: «Короткая душа». Что же, в сущности, ведь совершенно верно... И очень метко сказано. По ассоциации идей он начал думать о себе, стараясь смерить самого себя мещанином Мотылевым. Да, он, Черноризцев, был таким маленьким человеком, из разряда тех, которые гордятся своей порядочностью. Маленького Аркашу воспитывали дома, потом в гимназии, потом в университете — каждый успех был куплен дорогой ценой. А маленький мещанин Мотылев в эти годы уже добывал себе хлеб насущный, помогал отцу и с головой ушел в деловой мир живых людей, живых отношений и еще более живых злоб своего тревожного мещанского дня. Аркаша Черноризцев всю жизнь катался по рельсам, проложенным задолго до него, а мещанин Мотылев тащился проселками, через великие грязи и темные леса. И все-таки в конце концов они встретились.

Сейчас Черноризцеву было немного совестно вспоминать об этой первой встрече, и он начинал чувствовать себя виноватым.

Был зимний вечер. В квартире Черноризцева всегда царил уютный комфорт, а в зимнюю погоду это особенно чувствовалось — там сейчас за стеной и холод, и ветер, и темь, а тут и тепло, и светло, и уютно. Черноризцев сидел у себя в кабинете и занимался. Эти вечерние занятия он ставил себе в особенную заслугу, потому что другие в это время бездельничали, играли в карты и просто убивали время. Если что-нибудь нарушало заведенный порядок, Черноризцев считал себя вправе сердиться. Прислуга знала характер барина и не допускала по возможности в эти часы никого незнакомого. Но именно в этот суровый зимний вечер горничная Агаша осторожно покашляла у дверей кабинета.

— Что вам нужно, Агаша?

— Барин, там какой-то человек в кухне...

— Ну? Ведь вы знаете, Агаша, что я занят...

— Я говорила... Он беспременно желает вас видеть по какому-то делу. Очень, грит, нужно... Он не пьяный, барин, а просто мужчина средних лет, и в спинджаке, в том роде, как прасол.

Слово «нужно» решило дело, потому что в качестве корректного человека Черноризцев преклонялся пред ним.

Через минуту в кабинет вошел Мотылев. На первый раз он произвел на Черноризцева невыгодное впечатление, тем более что он смутно припомнил, что недавно слышал эту фамилию: или какой-то Мотылев кого-то обокрал, или какого-то Мотылева за что-то судили в окружном суде — одним словом, что-то в этом роде. Впрочем, нежданный гость держал себя просто и непринужденно.

— Чем могу вам служить? — сухо спросил Черноризцев.

— Видите ли, Аркадий Яковлевич, дело совсем особенное...— замялся немного гость.

— Именно? Я человек занятой, и, извините, мне некогда...

— Я сейчас... Видите ли, Аркадий Яковлевич, я хочу издавать газету...

— Вы?!

— Да, я-с...

— Для чего же вам нужна газета?

— Как для чего, Аркадий Яковлевич? Ведь газета нужна... И я пришел посоветоваться с вами и попросить вас, не согласитесь ли вы быть редактором...

Оборот получился совершенно неожиданный.

— Почему же вы обратились именно ко мне? — спросил Черноризцев, подозрительно оглядывая странного гостя.

— Да так... Вы-то меня не знаете, а мы вас очень хорошо знаем, Аркадий Яковлевич. В самый раз вам быть редактором... Уж вы извините за смелость, что беспокою вас, а только дело-то совсем особенное.

Это был интересный разговор во всех отношениях. В первый момент Черноризцев отнесся к Мотылеву очень недоверчиво, а потом этот неизвестный человек овладевал им в течение двух часов и овладел. Мещанин Мотылев изложил подробную программу предполагаемой газеты и наметил содержание на несколько лет вперед.

— Аркадий Яковлевич, ведь газета — все! — восторженно повторял Мотылев.— Вот мы сидим у вас в кабинете, погасите лампу — то же самое и без газеты. Сейчас у нас в думе купеческая партия всем заправляет, а господа дельцы учат, как всякий закон обойти. Ведь это каменная стена, через которую и не перелезешь, а тут в газете и разоблачим начистоту. Все дело будет как на ладонке. Тоже и в других частях...

Мысль о своей газете несколько раз приходила в голову Черноризцеву, но она осталась в области несбыточных мечтаний. Как да что, да где найти людей, да откуда взять средства и т. д. Для мещанина Мотылева подобных вопросов не существовало. Только бы открыть газету, а там все будет.

— Виноват, я позволю себе нескромный вопрос,— заметил в конце первого же совещания Черноризцев.— У вас есть средства?

— То есть в каком смысле средства? — удивился Мотылев.

— Да ведь для газеты нужны, во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги...

— Ах, вы вот про что, Аркадий Яковлевич...

Мотылев даже улыбнулся и тихо прибавил:

— Будьте спокойны, все будет. Лично у меня ничего нет, но на дело добудем...

Черноризцев, как большинство интеллигентных людей, боялся так называемых практических расчетов, потому что всегда жил на готовое. Ведь рассчитывают, соображают и рискуют купцы, промышленники и вообще люди, которые не получили от родителей приличного состояния, а сами не могут заработать приличного жалованья. У Черноризцева оставалось какое-то смутное недоверие к этим людям, и он был убежден, что они только тем и живут, что обманывают друг друга. И вдруг такой именно человек сейчас сидит у него в кабинете.

— Я считаю своим долгом предупредить вас, что никаких обязательств денежного характера я не могу обещать. Мои личные средства принадлежат целиком моим детям...

— Помилуйте, Аркадий Яковлевич... Уж это не коснется вас.

Черноризцеву показалось, что мещанин Мотылев посмотрел на него с сожалением.

Закончился этот первый разговор уже совсем бестактным вопросом со стороны хозяина.

— Простите, еще один нескромный вопрос: ваша фамилия мне знакома... может быть, я ошибаюсь... вы судились недавно?

— Да, да... И не один раз, Аркадий Яковлевич. Как-нибудь от свободности расскажу... Судился три раза и оправдан. Наше такое дело, что постоянно ушки на макушке...

С этого знаменательного вечера прошло целых десять лет совместной работы по газете, и Черноризцев никак не мог избавиться от какого-то органического чувства недоверия к своему компаньону, в чем так сейчас раскаивался.

Да, целых десять лет... Шагая сейчас за гробом, Черноризцев опять проходил этот длинный и превратный путь. Сколько раз у него опускались руки, и сколько раз выручал его мещанин Мотылев, выручал своей непоколебимой верой в дело, своей неистощимой энергией, а главное простотой. У него все выходило как-то необыкновенно просто. Сказал и сделал, взял и сделал... Ни сомнений и оглядываний, ни разочарований. А потом, сколько было в нем деликатности... Последнее знал только он, Черноризцев, а все остальные видели в Мотылеве беспокойного человека, который не останавливался ни перед чем. Кому он не насолил в Пропадинске? Сколько раз его судили, теперь уже за газету? И никогда ни одной жалобы, ни одной минуты сомнения... Да, это был типичный мирской человек, являвшийся полным противовесом развинченным интеллигентным людям.

Дождь продолжал идти. До церкви процессия добралась только через час. Черноризцев остановился у высокой паперти и смотрел, как гроб поднимался по ступенькам все выше и выше. У него что-то сдавило горло, и он отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Боже мой, как следовало беречь этого человека! — думал он, обвиняя себя в эгоизме.

1893

25 Заказ 363

Комментарии

В книгу, предлагаемую вниманию читателей, входят рассказы Мамина-Сибиряка, созданные им в разное время, как в восьмидесятые годы — на Урале, так и в девяностые — девятисотые, когда он жил в Петербурге. В одних по-прежнему «рельефно выступает особый быт Урала» (В. И. Ленин), другие переносят нас в столицу, раскрывают проблемы, волнующие «среднего человека», говорят о нарастающем протесте против груза «обыденщины», против неосмысленного существования.

По-разному складывалась и судьба этих рассказов, имеющих самые разнообразные жанровые определения: эскиз, очерк, быль, сказка. Одни еще при жизни писателя были включены в сборники «Преступники», «Легенды», «Детские тени», другие же не переиздавались, хотя и не были слабее: либо тематически не вписывались они в сложившиеся книги, либо создавались позже. Такие рассказы, как «Макарка», «Боговая искра», «У святых могилок», «Полонянка», после перепечатки в известном собрании сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка, изданном товариществом А. Ф. Маркса в Петрограде (1915—1917), больше к читателям не доходили. Другие, как «Лесоворы», «Излюбленные люди», в это собрание сочинений не вошли и стали доступными только в публикациях журнала «Урал» (1971, 1983). Многие рассказы, которые печатаются в настоящей книге, известны по ряду публикаций советского времени.

При всем тематическом и жанровом многообразии представленные в книге рассказы очень цельно характеризуют русскую жизнь уже далекого от нас времени, выражают некоторые важные стороны дарования Мамина-Сибиряка, порой не столь ярко выступающие даже в известных, популярных его произведениях.

В рассказах этого тома отражены и существенные особенности уральской жизни, всегда привлекавшей писателя. Все они построены на очень конкретных явлениях и лицах, что часто подчеркивается либо формой воспоминаний, либо повествованием от авторского наблюдающего «я». Кажется, что писатель безыскусно рассказывает о том, чему был свидетелем, и не спешит вывести отсюда какой-либо общий закон земного бытия. Но вы невольно шаг за шагом приобщаетесь и к незнакомым фактам уральской действительности 50—80-х годов XIX века, и к широкому пониманию мира, законов развития общества и человека. Открывается не только уголок новой для нас жизни, но и возможность глубокого понимания ее.

Мамин-Сибиряк, конечно, осознавал бесправие и приниженность рабочего населения Урала. Но он полагал, что «неумирающий дух протеста» все равно теплится в самых жестоких условиях насилия и эксплуатации. «Глухая борьба» и «взрывы дикой воли» — те оригинальные формы, в которые выливается этот протест в эпоху крепостничества и развития металлургической промышленности там, где жило «осевшее в горах население», бежавшее на окраины России от гнета помещиков или преследования церковников. В очерках «Разбойники», рассказывая о тех, кто оставил след в памяти народа,

он обращает внимание читателей на народную оценку самого существования «разбойных людей», которые пользовались «всеми симпатиями массы». Рассказы о них входили в поэтический репертуар жителей заводских поселков.

«Разбойничество», вынесенное еще из русского средневековья, когда действовал популярный в народных песнях «добр-удал-молодец», разумеется, не могло что-либо изменить в социальных обстоятельствах жизни. Больше того, оно само несло насилие и кровь. И все же, замечает писатель, в нем выступал «глухой протест всей массы заводского населения». Сочувствие вызывало то, что человек пошел против воли тех, кому подчинено все и вся. За этим виделся воодушевляющий пример. По удачному выражению писателя, разбойник «являлся необходимым действующим лицом, как производивший известное брожение фермент».

В композиции маленького цикла «Разбойники» «преступления» «вольных» заводских людей противопоставлены преступной практике крепостников и государственного аппарата, что так наглядно показана в рассказе о «каторжных», пострадавших либо за ничтожный проступок, а то и за отстаивание своей чести и достоинства.

Мамин-Сибиряк остро чувствует движение истории. Он убеждает нас, что сами преступления, их характер, как и характер тех, кто нарушает закон и нравственность — явление исторически изменчивое и всегда зависящее от состояния самого общества.

Вторая тема: человек — труд — природа, одна из ведущих в творчестве Мамина-Сибиряка, звучит и в рассказах нашего сборника. Рассказ «Макарка» — это гимн трудовому отношению к жизни, ответственности человека перед людьми и перед живой природой.

«Отпетый» Макарка в труде преображается. Конский пастух, он поэтически относится к своему делу. Вспоминая прошлое, больной человек и сегодня думает о других, о людях, о конях, оставшихся без хозяев. Он пытается напомнить об осиротевшей скотине, делает все, чтобы она была кем-то привечена.

«Волчья песня» — рассказ о подлинных первооткрывателях золотых приисков, результатами опыта и труда которых пользовались богачи. В общей погоне за деньгами и они поют свою «волчью песню».

Во встрече двух людей в рассказе «У святых могилок» (так называется башкирское урочище со следами прежних могильников) открываются совершенно разные человеческие типы: бывший исправник, паразит, думающий лишь о том, кому бы снова сесть на шею, и труженик, крестьянин, бредущий на новые земли. Рассказывая о том, как их ходок расписал житье на богатых землях Сибири, Мосеич весь подчинен мысли о труде. Его обижает циничный смех бывшего исправника, который в мечтах о свободном труде на «своей земле» видит только тягу к богатству.

Коренные уральские крестьяне на Чусовой тоже прочно включены в мир природы и работы. Рассказывая о путешествии в очерке «Горой», писатель восхищается этими людьми, сам облик которых говорит о трудовой основе их бытия.

Мамин-Сибиряк обращает внимание на выстраданную точность нравственных оценок народа, не допускающего «баловства» там, где человека ждет напряженный коллективный труд.

Столкновение права труда, права на богатства земли, равного для всех людей, и права собственности, на страже которой стоят суд, прокуратура, полиция, лесная стража, система законов, тюрьма, каторга, раскрыто писателем в очерке «Лесоворы». В 1891 году, работая в столичной газете «Русская мысль», писатель напечатал очерк под выразительным заглавием «Хищники». Юридическая практика русского буржуазного государства знала «хищников» как людей, которые самовольно рубят принадлежащий заводчи-

кам лес или собственным трудом добывают драгоценные металлы, право на которые закреплено за «владельцами». Мамин-Сибиряк доказывает, что все люди могут и должны пользоваться земельными богатствами, и развивает мысль, что при правильной эксплуатации природных богатств их достало бы всем. Хищниками — он уверен — должны называться не те, которые проходят перед судами как порубщики, а те, кто, владея всем, не отвечает за развитие национального хозяйства «Лесоворы» в убеждающих картинах позволили увидеть противоречие, о котором говорилось в «Хищниках».

Третья тема Мамина-Сибиряка в рассказах о народе — это духовная жизнь тружеников. Страстное искание справедливости выливается в уродливые формы, скрывающие за собой нежелание жить в покорности, в подчинении, как живут все. Об этом идет речь в эскизе «Боговая искра». Автор наблюдает людей, принадлежащих к секте «неплательщиков», но не вдается в вероисповедные вопросы. Писателя интересует социальное содержание их протеста и особенно сам факт, что среди тех, кто погружен в обыденные хлопоты, мелочи и заботы, появляются люди думающие, ищущие. В этом он видит проявление неисчерпанности духовных сил народа, знак существования «ключей», «которые пробиваются на поверхность земли из неведомой глубины, неведомыми путями».

Во всех этих рассказах Мамин-Сибиряк верен правде жизни, верен факту, который всегда у него ведет к обобщениям. Выводы же он поручает делать читателям. Его обобщения не высказаны, но путь к ним подсказан, методы понимания жизни открыты, а потому итоги, к которым приходит читатель, верны и однозначны.

В девяностые годы Мамин-Сибиряк смелее, свободнее, раскованнее выходит за пределы бытописи и обращается к жанру легенды.

Писатель открыл цикл легенд «киргизской сказкой» «Баймаган», которая написана им в 1886 году. Это произведение было прочитано на заседании общества любителей российской словесности при Московском университете, когда писатель был принят в его члены. Затем шли созданные в 1889—1892 годах собственно легенды. В 1899 году автор собрал их в книге, так и названной: «Легенды». Кроме публикуемых в настоящем издании в книгу входили «Сказание о сибирском хане, старом Кучуме» и «Слезы царицы». «Сказание...», между прочим, обратило на себя внимание композитора А. Г. Рубинштейна, который хотел написать оперу на его сюжет.

Критика встретила книгу очень хорошо. Рецензии на нее появились в ряде газет и журналов. В легендах многие увидели либо попытку автора реконструировать какие-то известные сюжеты, либо даже простое литературное воспроизведение имеющихся фольклорных легенд. Крупный ученый-востоковед А. Алекторов, хорошо знавший народное творчество казахов и киргизов, в журнале «Русская мысль» (1895, № 5) писал: «Мамин-Сибиряк передает стародавние сибирские сказания, в которых вымыслы народной фантазии тесно переплетаются с подлинными историческими преданиями, сохранившимися в памяти зауральских инородцев». Он так и говорит: «...автор собрал пять легенд, придал им изящную литературную форму, причем мастерски сохранил дух и тон киргизов, сложивших эти повествования». Он еще раз подчеркивает, что легенды «имеют в своей основе, несомненно, исторические предания». Высоко оценивая художественные достоинства, рецензент предсказывает успех книги «не только в России, но и за рубежом». Он отмечает: «В твердо выполненном рисунке, в ярких и, вместе с тем, нежных тонах легенды эти дают совершенно новые картины очень мало знакомого нам мира — средневековой, пограничной с Россией Азии».

Мамин-Сибиряк решительно отвергает саму мысль о заимствовании им сюжетов-легенд, о простом воспроизведении фольклорных образов. В письме известному переводчику Ф. Ф. Фидлеру он жалуется на «обиду», нанесенную

ему «Русской мыслью», столь уверенно заявившей об обработке им готовых сюжетов. Мамин-Сибиряк пишет: «А этого не было. Все мое собственное измышление, и только придана форма восточной легенды... Все типы, все завязки, вся конструкция действия — мои от первого слова до последнего». О заблуждении рецензента он пишет и редактору журнала В. Гольцеву. В письме он уточняет круг «заимствованного»: это «язык, восточные обороты речи и характерные особенности конструкции самой темы». Писатель решительно заявляет: «Содержание всех легенд, характеристики действующих лиц, типы и завязки всецело принадлежат мне, и никакими посторонними материалами я не пользовался и ничего не собирал».

Как видно из опубликованных ныне записных книжек Мамина-Сибиряка, он все же тщательно изучал работы по этнографии и фольклору народов Сибири и делал из них выписки. Но характер записей действительно таков, что основной тезис писателя подтверждается. Он не фиксирует ни сюжетов, ни отдельных мотивов каких-либо сказаний, ни фабульных элементов, которые могли быть использованы. Писатель отмечает отдельные слова, собственные имена, изредка обычаи. Внимание его сосредоточено на стилистических, образных средствах национальной поэзии тюркоязычных народов.

Легенды создавались человеком, проникнувшим в поэтическую культуру других национальностей России.

А. М. Скабичевский в «Сыне отечества» (1899, № 237) верно объяснил интерес к сказанию, легенде, аллегории, «какие нынче так часто появляются в нашей литературе», стремлением ее «выбиться из оков натурализма и облечь в живые образы те философские и моральные идеи, которые бродят в умах общества, не находя соответствующих форм в мелких фактах будничной жизни».

Переход к этому новому для писателя жанру был подготовлен его устойчивым вниманием не только к фактам жизни, но и к фольклорной их оценке и интерпретации.

Все легенды, объединенные общим «высоким» отношением к жизни, вместе с тем различаются по жанровым особенностям, по способу развития действия, по содержанию.

В «Баймагане», в первой публикации названном «киргизской сказкой», писатель остается в круге этнографических деталей, которые воспроизводят быт, и лишь накладывает на рассказ о подлинной жизни батрака его сон, в котором герой становится баем. Увидев всю будущую свою жизнь в богатстве и сытом довольстве, с чем сопряжено горе и страдания многих людей, он, пробудившись, избирает путь бедности, но путь человечески добрый.

Стремление трудящихся жить лучше сопровождается желанием быть лучше. В борьбе двух стремлений — писатель верит — побеждает второе. Идея жизни «по совести», мысль об обязательном торжестве справедливости, дружелюбия, добра были присущи фольклору как башкирскому, так и русскому. Мамин-Сибиряк сумел проникнуть в строй некоторых нравственных представлений башкирского народа, раскрыть его потенциальные духовные силы.

В восьмидесятые годы был сильным черносотенный шовинистический дух, и первая легенда Мамина-Сибиряка стала фактом общественной борьбы.

Совершенно иной характер носит легенда «Лебедь Хантыгая». В ней особенно ярко, сочно, изящно воспроизведены черты «восточного» стиля. Вместе с тем писатель, дав некоторые формулы восточной мудрости, сделал их общезначимыми.

Под покровом экзотики в легенде бился пульс современности, развивалась острая полемика, отражавшая дискуссии по философским вопросам. Это заметили опытные читатели. Близкий знакомый Мамина-Сибиряка, автор известной «Дубинушки» А. Ольхин в январе 1892 года в письме восторженно

отозвался о легенде: «С огромным наслаждением прочитал Вашего «Лебедя Хантыгая». Это наслаждение вызывалось не только изяществом формы, но и глубокой философской содержательностью произведения. Писатель отвечал своему корреспонденту, раскрывая замысел: «Легенда претендует на некоторое философское значение». Самой главной Мамин-Сибиряк считает полемически заостренную против Л. Толстого мысль, что «всякое личное самоусовершенствование основывается на эгоизме и желании быть лучше других, а это ведет к таким мелочам в великом деле спасения, как вопрос об одежде, еде и пр.». Конечно, учение Толстого многосложнее. Но писатель мог вычитать этот «эгоизм» и в сосредоточении на религиозно-нравственных вопросах, и в мелочной регламентации способов жизни и т. д. Он выступал против того, что вызывало протест Ленина, видевшего в Толстом не только выразителя крестьянских настроений, но и «пророка», который «смешон».

«Майя» — одна из самых глубоко личных легенд. Она была откликом на смерть горячо любимой жены писателя Марии Морицевны, известной тогда артистки, матери Аленушки.

Ему хотелось силу любви передать в образах народной поэзии, за которой стояла бы значительная национальная культура. В формах восточной легенды писатель нашел поэтические доказательства бесконечного достоинства любви, основанной на страсти, очищающей и возвышающей человека.

Мамин-Сибиряк обращался к теме бессмертия и величия любви и в других произведениях. В романе «Падающие звезды» в уста художника Бурхардта он вложил следующие слова, которые комментируют идею легенды: «Любовь Данте — вот идеал, потому что там любовь и жизнь — одно целое. Там любовь пронесена через всю жизнь как святыня».

«Полонянку» Мамин-Сибиряк назвал «былью». По бытовой детализации это обычный рассказ о прошлом. Однако все движение сюжета приводит к легендарному уровню страстей, чувств, взрыву воли, вызванному зовом родины. Читатель подводится к мысли, что за обычным течением жизни кроются высокие порывы.

Книга очерков «Детские тени» представлена в настоящем издании такими психологическими рассказами, как «Коробкин», «Господин Скороходов», «Сусанна Антоновна», «Тот самый, который...» и «Враг», приближающийся по размерам к повести. Мамин-Сибиряк публиковал их в «Русском богатстве» под общим заглавием и с жанровым определением — очерки. Он хотел подчеркнуть строго жизненный, «не выдуманный» характер произведений. «Враг» открывается эпиграфом, воспроизводящим газетную заметку. Автор сохраняет отсылку к определенной дате этой публикации, что еще более обязывает видеть в том, что рассказано, только правду, правду самой жизни.

Напечатанные в журнале очерки заинтересовали книжное издательство «Посредник», основанное по инициативе Л. Н. Толстого, и вышли в нем тремя изданиями.

Очерки привлекли внимание критики. Ни «Уральские рассказы», ни «Горное гнездо», ни «Золото», вышедшие раньше, не вызывали столь большого количества журнальных и газетных откликов, как «Детские тени». О книге Мамина-Сибиряка напечатали рецензии журналы «Русская мысль», «Северный вестник», «Книжки «Недели», «Новости печати», газеты «Русские ведомости», «Русская жизнь». О ней упоминалось в обзорах новых книг и на страницах других газет.

Авторы рецензий склонны были видеть в книге выход писателя на новую дорогу. Вместо Урала, который был почвой и предметом его писательского внимания, привычная для литературы обстановка и люди столицы. Вместо повествования, стимулирующего читательскую активность, здесь почти притчевая назидательность, что соответствовало духу времени. Подчеркивалась

жизненная, житейская правда сюжетов всех очерков, тонкий психологический анализ состояний, казалось бы, в избитых ситуациях.

Первым по времени написания был рассказ «Коробкин» (1885), продолжающий гоголевскую тему. Человек весь погружается в повседневный быт, в заботы о мелком, сиюминутном, ненужном, теряя способность быть человеком. Героиня рассказа Капочка предсказала Коробкину эту «правильную» дорогу, когда он прошел мимо ее порыва, ее судьбы, ее жизни. Но трагическая случайность — смерть единственной дочери заставляет героя прокрутить ленту жизни в обратном направлении, и тогда становится очевидным, что сам он поступился счастьем двух понимающих друг друга сердец. И осеняет его на грани сумасшествия мысль, что жизни самых отдаленных людей связаны между собой, что нет случая в жизни человека, а есть закономерное «наказание» за забвение в себе человеческого, за невнимание к другим, за утрату способности трепетно чувствовать счастье любви.

Логика мысли ведет писателя к исследованию судеб детей, живущих в стенах города из серого камня, не знающих ни полей, ни зеленых лесов, обреченных на медленную смерть. Городского сапожника Гаврилыча покоряет духовная сила семилетнего «господина Скороходова», много знающего, впитывающего все сведения о широком мире, хотя видит он из подвального окна только темный угол двора. Любовь, сочувствие, уважение к стойкому и умному мальчику поднимают мастерового к новому осознанию целей жизни, ценностей ее.

Другие дети, как Сусанна Антоновна из одноименного рассказа, теряют не здоровье и жизнь, а нравственную цельность. Впитывая навыки, привычки, цинизм актерской среды, впрочем, лишь в увеличенном виде воспроизводящей такие же качества «среднего человека» вообще, Сусанна Антоновна даже в пробуждающейся любви к «гуттаперчевому мальчику» старательно повторяет уродливые формы отношений, усвоенные ей. Мальчика с раннего детства калечили физически — Сусанну Антоновну точно так же калечили нравственно. Ответственность возлагается не на родителей — они сами несчастны,— но на всю общественную систему, мир, чуждый истинной гуманности.

В микрокосме детей лишь повторяется макрокосм жизни взрослых.

Очерк «Тот самый, который...» построен оригинально. Обычная тема адюльтера, ревности, бытовых конфликтов между взрослыми поставлена рядом с темой невиновности, чистоты, беззащитности ребенка, который не должен страдать от того, что мир взрослых — плохой, грязный мир. За бытом поднимается более значительный, главный, самый серьезный вопрос — о чистоте отношений и любви к детям.

«Враг» был напечатан в журнале уже после того, как цикл сложился. Но он и завершает всю книгу, и в развернутом виде, показывая взаимные отношения всех проблем, поставленных в предыдущих рассказах, наиболее глубоко раскрывает вопросы нравственных неурядиц, нравственной неразборчивости, нравственной черствости. За все, что оказалось притупленным, смятым в бытовых отношениях людей, за детей, заброшенных и гибнущих, жизнь наказывает: лелеемый ребенок становится жертвой тех же эпидемий, которые уносят обреченных детей.

Писатель остро ставил вопрос о детях обездоленных, брошенных, эксплуатируемых и в своей публицистике, а иногда даже в театральных рецензиях.

В отчете о постановке пьесы Г. Гауптмана на сцене Михайловского театра в Петербурге он предлагает от «теоретической немецкой девочки», действующей и страдающей в пьесе, перейти к детям столичных улиц. Парадоксально заостряя вопрос, писатель напоминает о безумной дешевизне человеческой жизни, о том, что никто не слышал о подкинутых телятах и поро-

сятах, а число подкидышей-детей исчисляется тысячами. Он с тревогой и гневом говорит, что Воспитательный дом, куда попадают дети бедняков, матерей-одиночек, кормилиц, сдающих своих детей, чтобы выкармливать за деньги чужого ребенка, является своеобразной фабрикой, десятками тысяч отправляющей своих питомцев на тот свет.

В очерке «Враг» писатель утверждает, что детей, истребленных нуждой, голодом, плохими жилищными условиями, больше, чем людей, погибших в прошедших войнах.

Притчевый характер очерков, отмеченный Е. Аничковым, автором большой статьи о творчестве писателя, заострял их проблематику. Становилось ясно, что надо смотреть на жизнь с «гневным расположением», как говорил Гоголь, перестать видеть ее «равнодушными очами». Завет писателю — быть проповедником, оставаясь художником, Мамин-Сибиряк в книге «Детские тени» выполнил с большим тактом.

Почти в конце творческого пути, осмысливая изменения в составе интеллигенции, в ее позициях, интересах, столь обнажившиеся в ходе революции 1905 года, писатель решительно высказался в пользу сохранения «наследства» шестидесятых годов. В рассказе «Мумма» в рамках одной семьи представлены различные типы людей: от Муммы, так и оставшейся «шестидесятницей», до Нинки-буржуйки и сколка с социально-политического деспотизма — Вадима.

Над всеми характерами поднят революционер, прошедший ссылку в далекий Вилюй, тюрьмы, скитания. И в формах поведения Яким Образов рисуется как студент-шестидесятник. Сильный, размашистый характер героя получает дополнительные краски, когда читатель узнает, что через десятилетия он сумел пронести чувство любви, возникшее еще в юности.

Рассказ был полемичным. Либеральные круги отказывались от великого наследия революционно-демократической мысли, дискредитировали фигуры деятелей той эпохи, изображая их вульгарными материалистами, аскетами, лишенными тонких чувств. Мамин-Сибиряк спорил с ними, продолжая тему рассказов «В худых душах», «Первые студенты», написанных в восьмидесятые годы.

В названии цикла очерков «Излюбленные люди» было что-то архаическое, напоминавшее полузабытые реалии Древней Руси. В старину «излюбленными» называли людей, отмеченных особыми душевными достоинствами. Народ облекал их правом творить суд, ценя их бескорыстие и твердость в отыскании правды. Этот общий заголовок четырех очерков Мамина-Сибиряка был очень злободневен — он удовлетворял громадную потребность читателей услышать слово писателя о людях «подвига, веры и ясно осознанной цели», как точно сказал А. П. Чехов в некрологе об известном путешественнике Пржевальском. Эта потребность «борьбы, движения, труда» была одной из форм выражения новой исторической эпохи, начальной границей которой В. И. Ленин назвал 1895 год.

О людях активной жизненной позиции, тружениках на пользу Родины и рассказал Мамин-Сибиряк в своих четырех очерках, подчеркнув при этом необыкновенно развитое у них чувство ответственности за общественное дело, бескорыстие. Писатель наталкивал своих читателей на мысль, что стремление во всем видеть выгоду неизбежно обедняет личность. Только бескорыстный трудится, побуждаемый собственной душой и еще — благодарным чувством общности с другими.

Верный главному направлению своего творчества, всегда опирающегося на факты действительности, писатель не стал, что называется, «сочинять», а рассказал о подлинных деятелях краеведческого движения Урала.

Но героев своего публицистического гимна в честь подлинных ценностей личности, не ожидающей никакой мзды за свое служение делу истории, Ма-

мин-Сибиряк назвал вымышленными именами. Он писал не мемуары, а создавал типы людей самой «почвы», глубоко симпатичных ему, являвшихся знамением времени.

В первом очерке «Великий человек на малые дела» за образом Аристарха Иваныча стоит один из учредителей Уральского общества любителей естествознания в Екатеринбурге Павел Михайлович Вологодский (1841—1888). Он много сделал для организации Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года. Именно этой выставке в очерке уделено большое внимание. Мамин-Сибиряк тоже принимал участие в проведении ее 14 июня — 30 сентября 1887 года, состоя членом жюри по ряду отделов. В петербургской газете «Новости» было опубликовано 17 его отчетов. Писатель не во всем был единомышленником организаторов выставки. Еще в 1886 году он выступил с критикой ее программы в местной газете «Екатеринбургская неделя». Он хотел, чтобы в экспозиции демонстрировались не только успехи промышленности Урала, но и ее отставание, бесхозяйственность в использовании богатств края. Его не устраивало также то, что программа выставки не предусматривала показ жизни самих рабочих, чьим трудом все создается. Мамин-Сибиряк писал: «Живая рабочая сила совсем игнорируется, а будут фигурировать одни машины,— по нашему мнению, и первому двигателю можно было бы уделить уголок».

Как и герой очерка, П. М. Вологодский умер вскоре после выставки, 17 апреля 1888 года. Мамин-Сибиряк откликнулся на его смерть теплым некрологом, опубликованным в «Записках Уральского общества любителей естествознания» (1888, т. X, вып. 1).

Как и в очерке «Великий человек на малые дела», Дмитрий Наркисович подчеркивает в некрологе связь духовного облика «радетелей» за общественные дела с благородными человеческими качествами «реалистов» шестидесятых годов XIX века. И говорит об этом так: «Если всякий думал и заботился только о себе, то для Павла Михайловича интерес жизни сосредоточивался в общественной деятельности, в тех вопросах и стремлениях, которые придали шестидесятым годам такую интересную окраску».

Идея высокого бескорыстия выражена в заключительных строках некролога: «Какая похвала может быть выше: целую жизнь человек хлопотал о других, забывая о себе».

С одним из героев следующего очерка «Два летописца» автор знакомил нас уже в предыдущем рассказе, где говорится и о высокой оценке им деятельности Антропова, и о несправедливом отношении к его труду на выставке, отмеченному лишь похвальным отзывом. В очерке «Старая Пермь» (1888) Мамин-Сибиряк рассказал о знакомстве с В. Н. Шишонко, автором многотомной «Пермской летописи». Здесь он тоже остановил внимание на явной нелепости, когда громадный, самоотверженный труд местного историка был отмечен лишь серебряной медалью (так было в действительности), а за описание путешествия по Сибири итальянский профессор Сомье получил золотую.

Когда Шишонко в 1889 году умер, Мамин-Сибиряк напечатал некролог в газете «Деловой корреспондент» (№ 205). Материалы этой статьи широко использованы писателем и в очерке «Два летописца». Мамин-Сибиряк хорошо показал те трудности, которые стояли на пути Шишонко, в частности высокомерное недоверие к историку только на том основании, что он не имел специального образования.

Второму летописцу в очерке повезло меньше. О нем сказано скупо. За фигурой Минусова легко распознается известный автор «Географического словаря Пермской губернии» и многих публикаций архивных документов Н. К. Чупин (1824—1882). Мамин-Сибиряк настороженно относился ко всякой самоизоляции человека от потока жизни, к его замкнутости, сосредоточенности

на документе, архиве, истории вне прямой связи с болящей современностью. Н. К. Чупин, по мнению писателя, был именно таким краеведом.

С этим связан и второй круг раздумий, очень интересных для нас в очерке «Два летописца». Они касаются места краеведения в общей системе знаний.

В очерке «Наш многоуважаемый...» место действия несколько зашифровано. На Урале мы не найдем города, который бы имел кремль и при этом стоял бы на железной дороге, да еще известен был бы во времена нашествия Тохтамыша (1382). Однако Мамин-Сибиряк в своей работе «История Урала» подчеркивает, что Прикамье составляло издавна один из «концов» новгородской земли, и его существование уходит действительно в далекую историческую перспективу.

Пермь во второй половине XIX века стала одним из важных пунктов археологической работы. Археологу Бородковскому, видимо, приданы черты тогдашних крупных деятелей-археологов, совершенно бескорыстно отдававшихся своим научным интересам: А. Е. и Ф. А. Теплоуховых и Н. Н. Новокрещеных. А. Е. Теплоухов, бывший крепостной, ученый, лесовод, получивший образование в Лесной академии в Саксонии, с 1867 года занялся также археологией. Эти занятия увлекли и его сына Ф. А. Теплоухова. Их коллекции, состоящие из семи тысяч предметов, демонстрировались на выставке в 1894 году в Перми, а затем поступили в пермский музей. Большой след в археологии Урала оставил Н. Н. Новокрещеных. Управляющий горным округом, он прославил себя раскопками знаменитого Гляденовского городища. Раскопки эти дали около двадцати четырех тысяч предметов. Его печатные работы, как и работы Теплоуховых, входят в основной фонд работ по археологии Урала.

В своем очерке писатель развивал тему, которая и сегодня актуальна. Где храниться археологическим коллекциям, предметам древности, собранным на территории края,— в центре ли, на месте ли? Мамин-Сибиряк полагал, что история принадлежит краю, вещи, собранные энтузиастами-краеведами, не должны раздергиваться по отдельным собраниям в центре. Жизнь подтвердила правильность мысли писателя. Самое заглавие очерка «Наш многоуважаемый...» отражало своеобразие позиции «ученых» археологов: раздавая комплименты местным деятелям, печатая похвальные статьи об их занятиях, они пытались «приобщить» их к сонму людей «большой науки», чтобы тем вернее воспользоваться коллекциями.

Завершается цикл очерком «Мещанин Мотылев», в центре которого образ деятеля демократической печати.

Мамин-Сибиряк чуть ли не всю жизнь чувствовал себя не только писателем, но и газетчиком. Еще в ранней юности он был репортером, входил в одну из первых репортерских артелей в Петербурге 1874—1877 гг. В восьмидесятые годы он выступал с публицистическими газетными очерками на страницах «Русских ведомостей», «Новостей», «Волжского вестника», «Восточного обозрения», в 1886 году сотрудничал в газете «Екатеринбургская неделя», две его статьи были напечатаны в «Ирбитском ярмарочном листке». Нравы прессы изображались им в романе «На улице» («Бурный поток»), много страниц отведено было этой теме в романе «Черты из жизни Пепко», в «Хлебе» он с большой теплотой осветил трудную жизнь провинциальной газетки.

Но в выборе мест газетного сотрудничества Дмитрий Наркисович был щепетилен. Он не печатался на страницах газет, зарекомендовавших себя в качестве реакционных или даже просто безыдейных. Ему хотелось, чтобы пресса выражала интересы «средних людей», и люди, руками которых она делается, не только в понимании жизни, но во всем поведении, по способу жизни, по поглощенности общественными делами, по полному бескорыстию

были бы истинно демократическими деятелями демократической печати. Печать должна делаться теми, кто может быть «заступой простых людей», как сказал один из провожавших Мотылева в последний путь. Отстаивая «мирской интерес», Мотылев забывал о себе самом. И здесь стержнем личности было бескорыстие и понимание человека как части общества, а радости жизни — как служения интересам этого общества.

Национальная почва России — видел Мамин-Сибиряк — рождает бескорыстных, энергичных людей, объединенных «деятельной любовью» к простым людям, к науке, к истории края и нации.

РАЗБОЙНИКИ

Впервые — «Русские ведомости», 1895, № 45, 54, 67, 96. Перепечатаны в составе сборника «Преступники». М., 1902. Публикуются по тексту сборника «Преступники». М., 1906.

С. 7 *Жеребей* — самодельная пуля для охотничьего ружья.

С. 14 *Кордегардия* — помещение для военного караула.

С. 15 *Провиденциальный* — судьбой предопределенный.

Египетские работы — большой, изнурительный труд, подобный затраченному на строительство египетских пирамид.

С. 17 *Драгоннада* — здесь — насильственное размещение в домах раскольников ненавистных им по религиозным причинам казаков; во Франции XVII века в домах протестантов размещали на постой драгун-католиков.

С. 25 *П-ский* — А. Поклевский-Козелл, крупнейший винный заводчик на Урале.

С. 27 *После 19 февраля* — после манифеста о крестьянской реформе 1861 года.

МАКАРКА

Впервые — «Природа и жизнь», 1904, № 1. Печатается по тексту этой публикации.

ГОРОЙ

Впервые — «Сибирский сборник»/Научно-лит. периодическое издание под ред. Н. М. Ядринцева, приложение к газ. «Восточное обозрение», 1886 кн. 1. Перепечатано в газ. «Волжский вестник», 1886, № 117, 119, со ссылкой на разрешение ред. сборника, а также в газ. «Екатеринбургская неделя», 1886, № 24, 26. В 1893 году рассказ вышел отдельной книжечкой (Спб.: «Издатель»), а в 1903 году издание было повторено в Москве Д. П. Ефимовым. Печатая рассказ отдельной книжкой, автор сократил его и изменил подзаголовок: вместо «Из летних экскурсий по Уралу» было поставлено «Из летних скитаний по Уралу». Печатается по тексту первой публикации.

С. 56 *Куда-то под хивинца ушел...* — был взят в армию для участия в Хивинском походе русских войск в 1873 году.

ВОЛЧЬЯ ПЕСНЯ

Впервые — «Журнал для всех», 1899, № 2. Печатается по тексту этой публикации.

У СВЯТЫХ МОГИЛОК

Впервые — сборник журнала «Русское богатство»/Под ред. Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко. В 2-х частях. Ч. 1. Беллетристика. Спб, 1900. Печатается по тексту этой публикации.

С. 74 *Исправник* — в дореволюционной России — глава уездной полиции.

«Замирял» еще Шамиля... — участвовал в войне на Кавказе против Шамиля (1799—1871), предводителя горцев, боровшихся за независимость.

С. 76 *Шляпа-гречневик* — из грубого войлока цвета гречи.

С. 77 *Престидижитатор* — манипулятор, фокусник.

БОГОВАЯ ИСКРА

Впервые — «Русская жизнь», 1891, № 233. Печатается по тексту этой публикации.

С. 89 *Пониток* — верхняя одежда из шерстяной домашней ткани с льняной или пеньковой основой.

С. 90 *Карц* — карцер, тюрьма.

Сотский — род полицейского надзирателя по выбору из крестьян.

С. 91 *Д. Мордовцев* — русский и украинский писатель, историк (1830—1905).

С. 97 *Сгалом* — с насмешкой.

ЛЕСОВОРЫ

Впервые — «Русская жизнь», 1893, № 53. Перепечатан — «Урал», 1971, № 7.

С. 99 *Обжорный* — обжорный ряд на рынке, где торговали щами, пирогами и прочей снедью.

Судебный пристав — полицейский чиновник, исполнитель судебных решений.

С. 105 *Золотая рота* — босяки; неработающие бедняки.

С. 106 *Посессионная дача* — государственный лес, закрепленный для пользования за частным заводом.

БАЙМАГАН

Впервые — с подзаголовком «Киргизская сказка» — напечатан в «Сборнике общества любителей российской словесности на 1890 год». М., 1891. Рукопись в рук. отд. Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина с авторской датой — 1886. Вошла в книгу: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Легенды. Спб, 1898. Подзаголовок здесь снят. Печатается по тексту этого издания, сверенному с рукописью.

ЛЕБЕДЬ ХАНТЫГАЯ

Впервые — в сборнике «Помощь голодающим», вып. газ. «Русские ведомости», М., 1892. Легенда вошла в книгу «Легенды», 1898. В 1911 году выпущена отдельно в издательстве «Вятского товарищества» (Спб). Печатается по тексту книги «Легенды», 1898.

С. 128 *Тайша* — калмыцкий старшина.

МАЙЯ

Впервые — в «Московской газете», 1892, № 352 и 355. Вошла в книгу «Легенды», 1898. Печатается по тексту этого издания.

ПОЛОНЯНКА

Впервые — «Всемирная иллюстрация», 1892, № 1207, т. 19, № 11. Печатается по тексту этой публикации.

С. 149 *Орда* — так называли степь, лежащую к югу от Урала, и все народы, населявшие ее — башкир, киргизов, калмыков.

С. 150 *Барантачи, баранта* — по объяснению самого писателя, баранта — «древний обычай кочевников угонять чужой скот, захватывать чужое имущество в качестве возмещения за грабеж, учиненный иноплеменниками; самовольное возвращение похищенного, награбленного» (см. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Орда.— «Русские ведомости», 1888, № 169). Барантачи — те, кто выполняет этот «закон».

С. 151 *Бешмет* — верхняя распашная одежда, по талии присборенная.

КОРОБКИН

Впервые — «Волжский вестник», 1885, № 196, 200, 204. Рассказ был включен в книгу «Детские тени», 2-е изд. М., 1901, печатается по тексту 3-го изд. Спб, 1909.

С. 160 *Епитрахиль* — часть облачения священника, расшитый узорами, длинный, надеваемый на шею передник, носится под ризой.

Отходная — молитва, читаемая над умирающим человеком.

ГОСПОДИН СКОРОХОДОВ

Впервые — «Русское богатство», 1893, № 5. Очерк был включен в первое издание книги «Детские тени» (М.: «Посредник», 1894). Перепечатывался в последующих изданиях книги. Публикуется по изданию: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Детские тени, Спб, 1909.

С. 196 *«Мы Расеюшку наскрозь пройдем...»* — солдатская песня времен русско-турецкой войны 1829 года

Паскевич И. Ф. (1782—1856) — наместник Кавказа, командовал русскими войсками во время указанной войны.

СУСАННА АНТОНОВНА

Впервые — «Русское богатство», 1893, № 8. Очерк вошел в первое издание книги «Детские тени» (М.: «Посредник», 1894), перепечатывался в последующих изданиях книги. Публикуется по изданию: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Детские тени. Спб, 1909. Очерк «Сусанна Антоновна» представляет собой переработку очерка «Антоша», напечатанного в «Саратовском дневнике», 1888, № 220, 223, 225, 229.

С. 202 *Вантрилог* — чревовещатель.

С. 207 *Гросс-шкандал* — большой скандал.

ТОТ САМЫЙ, КОТОРЫЙ...

Впервые — «Русское богатство», 1893, № 7. Включен в первое издание книги «Детские тени» (М.: «Посредник», 1894). Перепечатывался в последующих изданиях книги в 1902, 1909 гг. Публикуется по изданию: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Детские тени. Спб, 1909.

ВРАГ

Впервые — «Русское богатство», 1894, № 11, 12. Включен во второе издание книги «Детские тени» (М., 1902). Печатается по тексту книги: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Детские тени. Спб, 1909.

С. 243 *«Копорки»* — жительницы села Копорье, некогда известного древнерусского города, ныне — деревня Ломоносовского района Ленинградской области.

С. 253 *«Шестерка»* — презрительное название официанта в трактире.

С. 259 *Тамерлан* — Тимур (1336—1405) — среднеазиатский полководец, совершал грабительские походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию и др.

Генрих VIII — английский король (1491—1547).

Фра-Дьяволо — герой одноименной оперы французского композитора Франсуа Обера (1782—1871).

С. 298 *Голконда* — древнее государство в Индии, славилось богатствами.

МУММА

Впервые — «Русская мысль», 1907, № 1. Печатается по журнальному тексту.

С. 340 *Бальмонт* — Бальмонт К. Д. (1867—1942) — русский поэт-символист.

С. 341 *Ницше «Так говорил Заратустра»* — Ницше Ф. (1844—1900) — немецкий философ-идеалист.

Его книга «Так говорил Заратустра» посвящена идеалистическому культу «сильной личности». Положения ее использовались фашизмом для оправдания своей идеологии.

С. 344 *Емль его и давяше* — Взяли его и давили, иносказательное обозначение политической реакции.

С. 345 *«Иных уж нет, а те далече...»* — цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 8, строфа 51).

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ЛЮДИ

Верные — в газете «Русская жизнь», 1893, № 53, 54, 57. Перепечатан — «Урал», 1983, № 1.

С. 352 *По матрикулам вылетели из университета...* — с справкой о сданных экзаменах, так исключали студентов, участвовавших в революционном движении.

С. 370 *Ренсковый погреб* — лавка, где торговали виноградными винами.

С. 374 *Фряжское письмо царских кормовых зографов...* — иконы школы московских художников конца XVI — начала XVII в., находившихся на государственном содержании.

С. 381 *Бастрыги* — толстые жерди. Использовались как рычаг.

СОДЕРЖАНИЕ

Мамин-Сибиряк Д. Н.

М22 Рассказы разных лет/Подготовка текста и коммент. И. А. Дергачева.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985.— 400 с., портр.

В пер.: 2 р. 20 к. 100 000 экз.

В книгу вошли рассказы, написанные Д. Н. Маминым-Сибиряком в восьмидесятые — девятисотые годы. Среди них: «Макарка», «Горой», «Боговая искра», «Лесоворы», циклы очерков «Разбойники», «Излюбленные люди», произведения из книг «Легенды» и «Детские тени».

М $\frac{4702010100\text{-}014}{М158(03)\text{-}85}$ 42-85 ББК 84Р1

ИБ № 1332

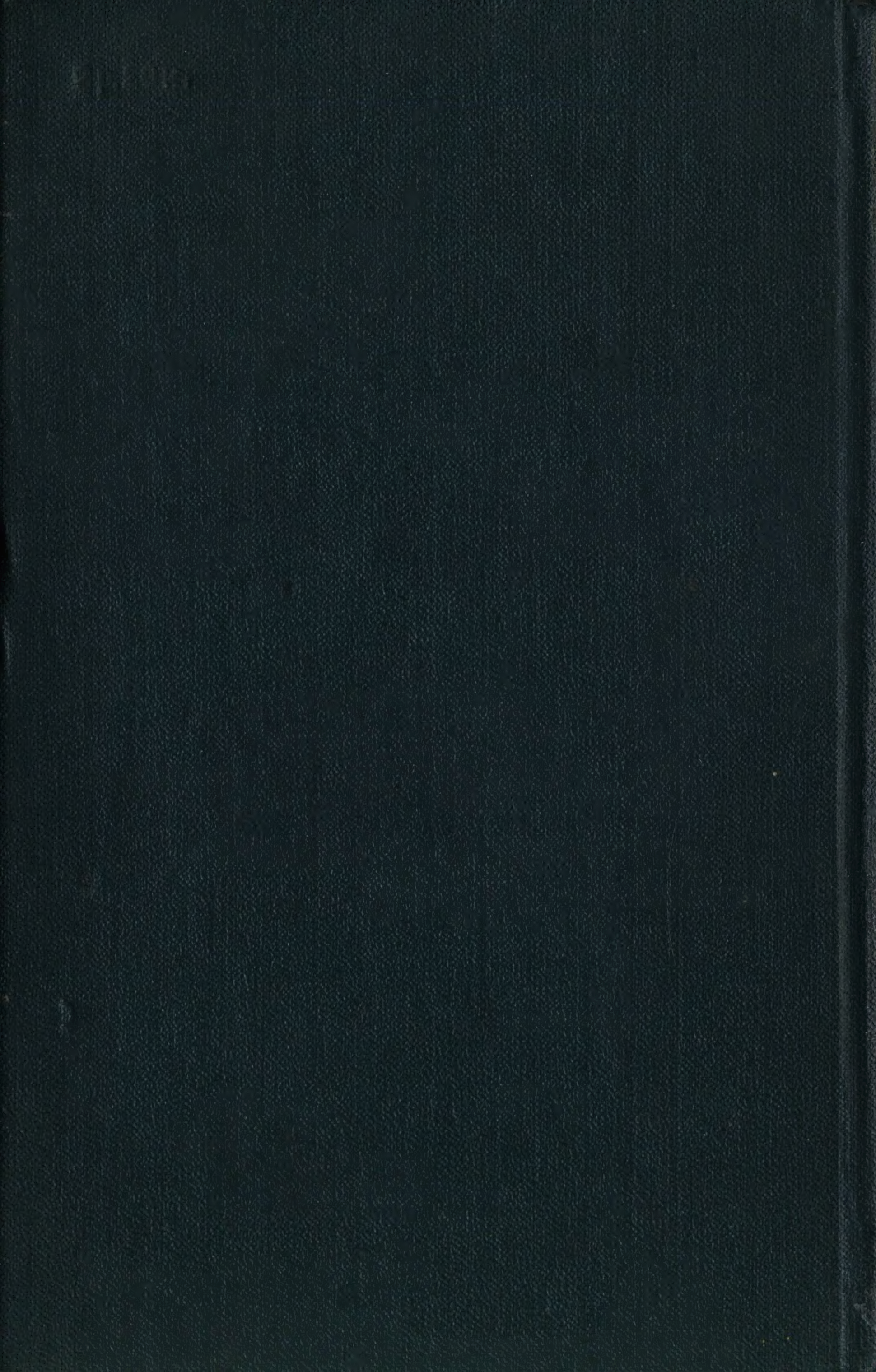
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Редактор М. А. Федотовских
Художник В. Д. Сысков
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры Е. И. Ерина, О. А. Малютин

Сдано в набор 04.06.84. Подписано в печать 19.11.84. НС 12344. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,1. Усл. кр.-отт. 21,1. Уч.-изд. л. 22,0. Тираж 100 000. Заказ 363. Цена 2 руб. 20 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.




Д.Н.МАМИН-СИБИРЯК